

05

1805

5-25

9

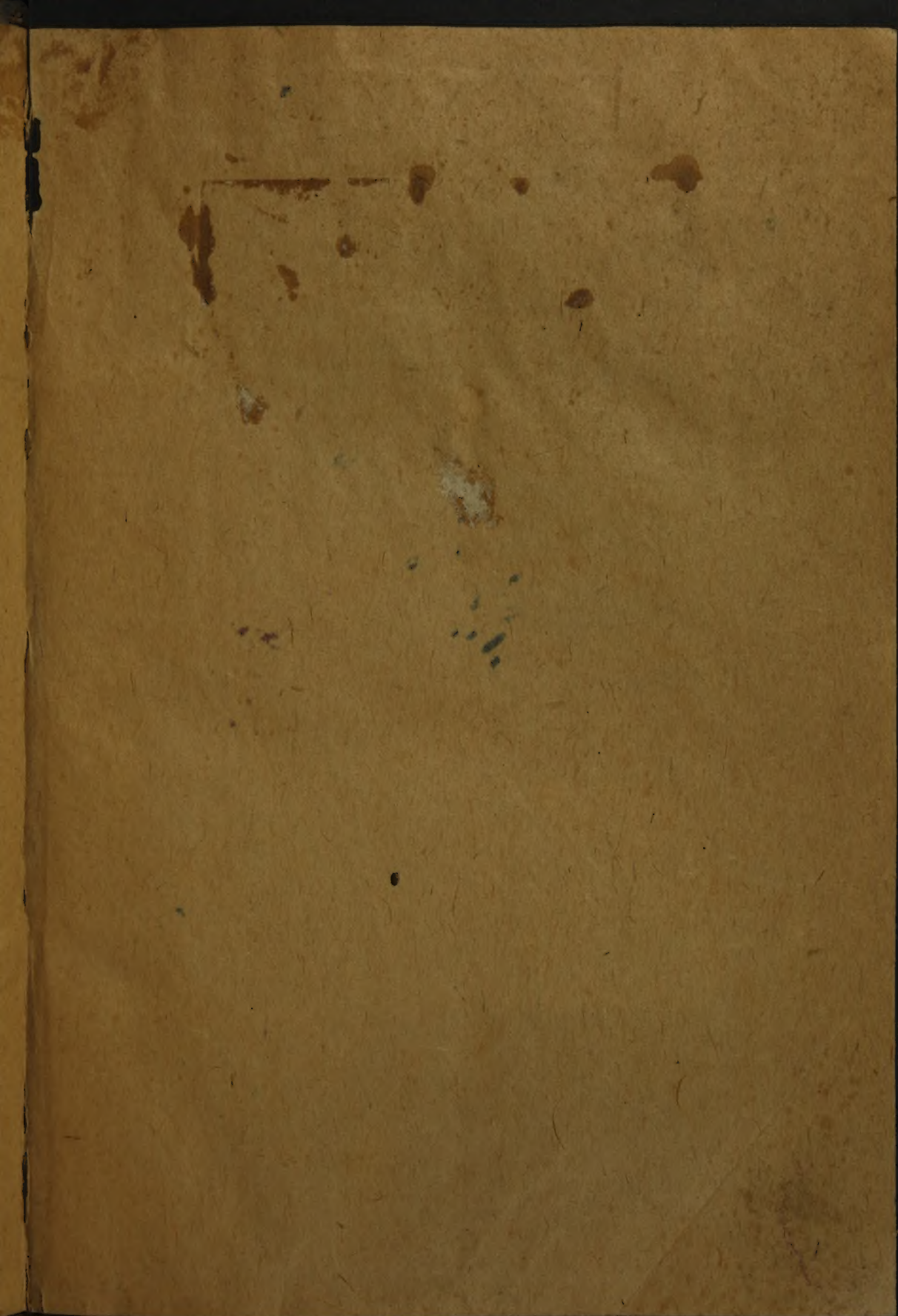
14915

0

РАЙОННО-ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
г. Тюмень

Время печати	№ под- писчи- ка	Впечатле- ние о жизни	Время печати	№ под- писчи- ка	Впечатле- ние о жизни
-----------------	------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------------

Время
печати
№ под-
писчи-
ка



5-
0.5
5-9.5

~~4/44~~

5-9.5

ВЫЛОЕ

14915

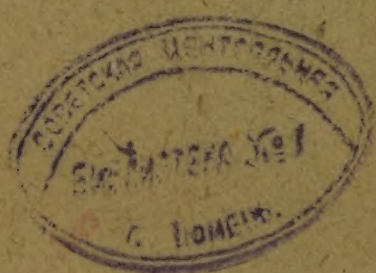
II 39

14915

~~14915~~

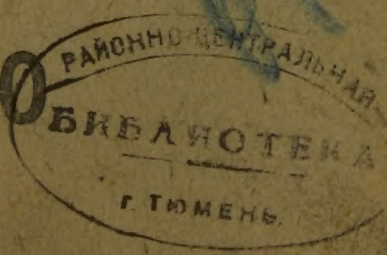
24698

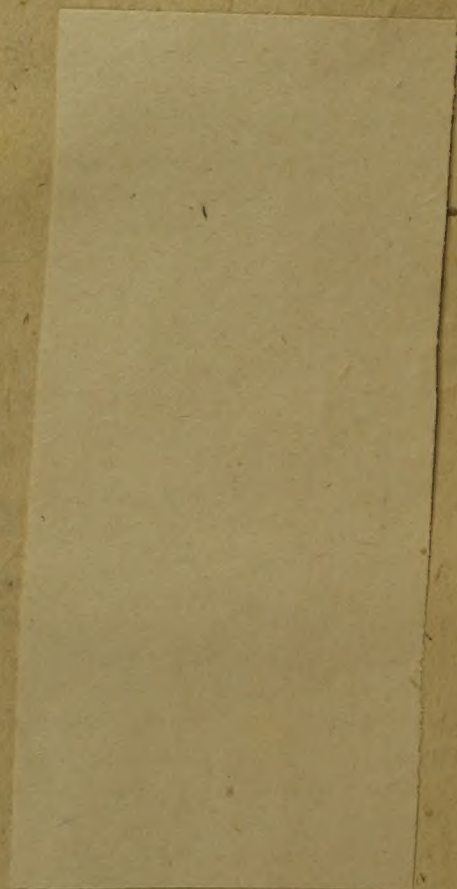
2/1 p.



№ 20

1922





0-5
1446. 1449

0-5
6-95
3483

Материалы для характеристики В. Г. Короленко.

... „Со слезами на глазах прочитала в газете, что умер Владимир Галактионович. Это несомненно праведник перед Господом. Утешаю себя только тем, что он наверно будет в Царстве Небесном“.

Так мне пишет одна женщина из Лукояновского уезда, Нижегородской губ. В „голодной год“ Короленко долго жил у этой женщины и очень сдружился и с нею самой, и с ее семьей, которая усердно помогала ему кормить голодающих. Яркая выраженная религиозность ничуть не помешала дружбе. Но это я сейчас отмечаю только мимоходом, а подробнее вернусь к этой черте, когда коснусь широты взглядов Короленко и в области религии, и в области политики. Цитата из письма приведена мною из-за чрезвычайно удачного слова—праведник. В Короленко действительно были все черты праведника, святого и даже мученика: доброта, любовь к людям, справедливость, бескорыстие и непреодолимое стремление, как выражаются, реагировать на неправду. Из-за этого свойства Короленко попадает и в тюрьмы, и в ссылку. Название мученика заслуживают не только смертью, но и страданиями без смертельного исхода. Ведь не называют солдат, павших на полях сражений, мучениками. И, наоборот, вполне правильно так называть жертвы жестоких гонений. Была в Короленко и более мелкая черта праведников—любовь и жалость к животным. Он и скот миловал. Это видно из его очерка бойни в Чикаго и его неприязни к охоте. Однажды Короленко выстрелил в птицу, которая была вне всякого выстрела.

— Вот и отлично—сказал он весело.—И ей не вредно, и нам удовольствие.

Тридцать с лишним лет тому назад я имел счастье познакомиться с Короленко. Приблизительно в то время один американский репортер так описал его внешность: „Короленко—красивый мужчина небольшого роста, крепкого сложения, по наружности способный переносить большие физические лишения. Курчавая, каштановая борода обрамляет его лицо. Волосы его густые, слегка вьющиеся. Глаза—светло-карие. Черты лица мягкие. На лбу у него неразглаживающиеся морщины, характерные для людей, постоянно погруженных в глубокие мысли“. Набросок верный и порождает во мне желание дать тебе верное и простое описание внутреннего облика Короленко, его характера, его, психологических свойств.

Верно, что Короленко был праведником, но это еще далеко не исчерпывает моей задачи. Были святые и не умные, и не талантливые. Ум, доброта, справедливость, отзывчивость, бескорыстие, юмор и художественный талант — вот, думается мне, самые главные черты Короленко. За ними идут менее крупные: прилежание, деликатность, скромность, веселость и др.

До ольно распространен парадоксальный взгляд, что будто крупным людям свойственны крупные слабости и даже пороки. Карты Некрасова, алкоголь Эдгара По, женолюбие Байрона, жадность Вэкона и т. д., и т. д. „И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он“. Сложился даже взгляд, что, как „умный человек не может быть не плутом“, так и великий человек обязательно должен сильно хромать на которую-нибудь ногу. Громадна заслуга Короленко в том, что своим примером он опроверг эти лукавые измышления. Этот же вопрос разрешил и Чернышевский своим Рахметовым с единственным пятнышком из области сигар. Короленко любил повторять, что порок есть порок и никакими добродетелями он не оправдывается, что напрасны попытки подрыва некоторых положений нравственности именованием их „ригоризмом 60-х годов“ и „буржуазной чистоплотностью“. Люди, знавшие Короленко, подтвердят, что нельзя было даже представить себе его балующим самого себя, покупающим себе что-нибудь тонко-гастрономическое, какую-нибудь парфюмерную роскошь, какую-нибудь новомодную материю или отдельное купе и т. д.

Отзывчивость и обостренная склонность реагировать на неправду порой переходит в донкихотизм. Хотя Белинский и назвал испанского рыцаря благородным и признался, что очень его любит, но, несмотря на это, Короленко, конечно, не хотелось когда-либо напомнить собою Дон Кихота, и поэтому он подчеркивал, что не надо „высовываться“, не надо накликать на себя гонений.

— Не следует высказывать из своего ряда при виде всякой несутразности. Но иногда судьба подходит к вашему ряду, подходит к вам и берет вас за пуговицу, и тогда вы обязаны выйти вперед и сказать и сделать должное.

Однако, слишком часто бывает, что судьба и за пуговицу не может вытащить иного героя, который упирается и говорит, что его хата с краю, что пусть лучше оторвется пуговица, лишь бы не ввязаться в историю. По скромности Короленко преуменьшал свою отзывчивость: по большей части он не дожидаясь буксира за пуговицу и выступал вперед.

В советской прессе правильно указано, что Короленко одинаково отрицательно относился и к царскому насилию, и к насилию революционному. Вот выдержка из письма от 30 апр. 1920 г. Полтава:

... „У меня сильная усталость сердца. Если прибавить, что Полтава около десяти раз переходила из рук в руки, что каждый раз приходится хлопотать о какой-нибудь стороне, что дело идет часто о жизнях, то легко понять, что сердцу успокоиться не на чем, и усталость все прогрессирует. Когда нас завоевала „партия порядка“ — денники, то установили такой „порядок“, который мало отличался от разбоя. Три дня прямо грабили еврейское население без перерыва. Потом стали грабить с перерывами. А перед уходом

устроили в Фастове и др. местах прямо резню. Кроме того, стали расстреливать своих же офицеров, которые ждали их прихода, как избавителей. Повидимому, офицерство хотело доказать, что только они, истинные добровольцы, имеют право на лавры, а кто хоть поневоле и временно служил большевикам, — заслуживают расстрела и уже во всяком случае должны считаться ниже их. Бывших офицеров гоняли по улицам в тюрьмы и нескольких расстреляли. Я ходил к коменданту, указывал, что все это офицерство осталось от эвакуации добровольно и ждало их, как избавителей, что теперь таким остается только оставаться против убеждения в противном лагере. На все я получил приличный ответ: генерал сказал, что он — военный, рассуждать не имеет права и должен исполнять приказ. Украинский язык в приказах они объявили „галицийским“, а в просторечии — „собачьим“. Были изредка среди офицерства, порядочные люди, но в массе это были те самые „г. г. офицеры“, о которых мне пришлось прежде писать („Нравы офицерской среды“). Когда я пришел к какому-то казачьему полковнику сказать, что на улицах идет грабеж, он ответил, что это обычная вещь. И только за мою негодующую реплику сказал адъютанту: „Запишите“. Но не сделал ровно ничего. И я не удивляюсь, что „память их погibe с шумом“.

Само собою разумеется, что взгляды Короленко на насилия, погромы и казни находятся в теснейшей связи со взглядами его на политику, на партию и на религию. Все эти идеи образуют, в сущности, одно целое, именуемое миросозерцанием, и для последовательного ума, каким, конечно, был и Короленко, невозможно было в одном отделе держаться принципов, например, теологических, в другом — позитивных, а в третьем — метафизических. Принципы всех отделов должны быть согласованы, приведены к одному знаменателю. Каковы же были политические взгляды Короленко и к какой партии принадлежал он? На этот вопрос очень многие ответят, что он — эн-эс, то-есть, народный социалист, к каковой партии принадлежала вся редакция „Русского Богатства“ последнего времени. Но вот письмо, в котором мы находим определенную похвалу меньшевизму.

Письмо от 23 июля 1917 г. Хатки.

... „Здесь у нас пока тихо, и спокойно. Зять мой, К. И. Ляхович работает в губернском комитете и принимает деятельное участие в местной жизни. Он — с.-д. меньшевик. Малый дельный, разумный и горячий. Часто становится в оппозицию господствующим течениям и недавно сложил с себя звание городского гласного, куда был избран“.

Правоверный эн-эс может сказать, что меньшевики ему нравятся лучше коммунистов, но назвать меньшевизм „самой разумной партией“ правоверный эн-эс не может, так как „самой разумной“ должна, конечно, казаться ему его собственная партия. С другой стороны и приведенных строк еще слишком недостаточно, чтобы заключить о принадлежности Короленко к меньшевикам. Да и действительно он никогда к ним не принадлежал. Вот что он пишет в письме от 21 февр. 1907 г. из Полтавы на эту тему:

... „Неделю уже хвораю. Не думайте, что „от огорчения“. Провал свой лично я перенес более, чем философски. Я ведь прежде и не собирался в Думу, а только в выборщики. А это уж так вышло: неудобно было отступать в трудных обстоятельствах. Блок мы все-таки сколотили и шли довольно дружно. На правом фланге лохвицкие „прогрессисты“, на левом — эс-деки с колеблющимся отрядом крестьян, в центре кадеты и „беспартийный Короленко“ со знаменем объединения в руках. И победа, несомненно, была бы наша. Победили нас не баллотировочные шары, а канцелярские перья „в комиссиях“, которые еще в самый последний день выхватывали у нас выборщиков. Несколько правых прошли всего одним голосом. Я на перебаллотировке все-таки получил абсолютное большинство. Теперь прибавьте сюда 15 „кассированных“ у нас голосов (даже без тени законных причин), и вы увидите, что сей провал не провал, а только скандал и озорство“.

Во-первых, здесь налицо самое настоящее соглашательство. Но этого мало. В центре слились кадеты и „беспартийный Короленко“, значит, из всех партий, образовавших блок, Короленко всего ближе был к кадетам. Но он и не кадет. Вот письмо от 17-го июля 1911 г., в котором он восхваляет левых социалистов, видимо, с-р-ов, которые „погибали, но не гнулись“. Только октябристы и еще более правые, примирившиеся с казнями и с „военно-скорострельной юстицией“, вызывают в Короленко совершенно отрицательное отношение.

... „Россия страна политически отсталая, в ней нет зрелых, сложившихся партий, политических группировок, приемов и традиций. Это грех, общий для всей России. Но если вся Россия не окатаилась и еще политически не умерла, то, конечно, это благодаря в значительной степени (если не всецело) „левым“, то-есть людям, которые среди общей апатии и унылой покорности все-таки продвигали жизнь; сознание политического достоинства, гражданский темперамент. Это делалось часто не так, как следовало, но все же не напрасно. При возникновении первой российской конституции общее движение было движением благодарности к тем разнообразным группам людей, которые погибали, но не гнулись. Группы эти я понимаю очень широко, не исключая и земцев, и писателей, и „третий элемент“, и так называемых „крайних“. И совершенно не понимаю, почему теперь, когда „движение“ потерпело неудачу, вину в этом возлагают на „левых“. Все люди, все человеки, это верно. Сделано много глупостей. Но хуже всяких глупостей мертвая пассивность, неподвижное спокойствие. А уж в этом то они менее всего повинны перед российской историей. Уж тем, что они не мнят с разными „печальными необходимостями“ вроде военной-скорострельной юстиции (как это сделали октябристы), они являются живым элементом будущего. Лучше с ними проигрывать, чем торжествовать с теми, которые освящают и поддерживают бесправие.“

„И, может быть, увлекся далее, чем следует и опровергаю более того, что станут защищать, но за последнее время раздаются слишком часто желчные нотки и склонность к излишнему осуждению „левых“. Я причисляю сюда и кадет“.

Из письма от июня 1916 г. Хатки.

... „Вы знаете правду: „Савельев не был человеком, шедшим на пролом“. Порой, в давние годы, когда случалось идти вместе, приходилось иногда досадовать на те запутанные тропы, которыми люди его типа и его поколения протаскивали земское дело. Но теперь, когда подводили итоги, становится ясно, что в лице А. А. Савельева закончилась честная трудовая жизнь. Теперь общественность наша начинает выбираться из чащи этой дремучей и долгой реакции, и приходится признать, что люди того земского типа сделали много нужной и не легкой работы. Да, он своей жизнью экзамен выдержал“.

Из письма от 18 июня 1916 г. Хатки.

... „Смерть Савельева повлекла во мне много старых, хороших воспоминаний. Сел было, чтобы написать кое-что но пока еще приходится отложить. О нем придется написать особо. Для меня в нем целая типическая полоса провинциальной жизни“.

Смерть земца и кадета Савельева вызывает у Короленко оценку этого типа людей. И Короленко высказывает ему свою полную симпатию. Но как человек очень умный, Короленко подчеркивает, что не оденывает кадетизм вне времени и пространства, не считает эту партию всегда и повсюду одинаково полезной. Нет, Короленко одобряет кадетизм в земстве только как „полосу провинциальной жизни“.

После сказанного не покажется удивительным, что Короленко не сочувствовал „кадетству некоторых сотрудников „Русск. Богатства“. Он, конечно, приветствовал и споры, и полемику по этой линии, но находил ошибкой сплошное осуждение кадетизма, который в свое время и в пределах своих последователей принес несомненную пользу.

К социал-демократам Короленко питает определенное уважение. Вот его не двусмысленное мнение:

Из письма от 9 сент. 1915 г. Джанхот.

... „Вы хотите знать мое мнение о немецком социализме? Социализм вообще явление чрезвычайно серьезное, а немецкий социализм, быть может, серьезнее других. Явление это только до известной степени (так сказать, в идее) интернациональное и оно, слишком закономерно объявило упразднение наций. История до сих пор еще идет стихийно национальным путем и, когда эта стихия хлынула, — все постановления интернационально-соц. конгрессов разлетелось, как плотники под напором моря. Это была огромная неудача фантастических надежд, но немецкий социализм виноват тут не более, чем другие. И, если хотите, тот протест, на который оказалось способным меньшинство немецких социалистов, представляет все-таки явление замечательное и более замечательное, чем кажется. И я думаю, что оно еще не сказало своего последнего слова“.

Левее социал-демократии лежит область, где, по мнению Короленко следует двигаться уже очень осторожно. Ориентация родины, отечества, интернационал — вызывают у Короленко большие сомнения.

Из письма от 23 июля 1917 г. Хатки.

... „Вы пишете об ошибках хороших людей. Есть это и это было неизбежно. Долго сдавленная пружина расправляется слишком стремительно. Повидимому, теперь много ошибок уже сознано и из них главная: непризнание важности „отечества“. Загнивавшие полностью расхожего „патриотизма“, мы отвергли и великий патриотизм во имя будущего единого человечества. За это приходится всей России платить“.

По вопросу об уничтожении смертных казней А. Карр заметил:

— Пусть начинают господа убийцы, пусть они покажут пример.

В продолжении всей своей сознательной жизни Короленко задумывается над вопросом об „абсолютной ценности жизни“, о казнях и о терроризме. В итоге после ряда оговорок он все-таки оправдывал террор, как единственно возможный метод протеста в мрачные дни тиранства.

— Жертвы были необходимы. Они отстаивали честь народа, они установили предел терпению. И Толстой, несмотря на свою проповедь непротivления злу, когда узнал о гибели Целе, воскликнул, что это очень хорошо.

Коммунизм для Короленко „большой вопрос“. Если он относится к коммунизму не вполне отрицательно, то во всяком случае находит необходимым быть весьма осторожным. Вот два письма на эту тему:

Из письма от 9 июня 1920 г.

... „Для меня большой вопрос — есть ли коммунизм та форма, чрез которую должно пройти человечество. Форм осуществления социальной справедливости много и еще нигде ни разу (за исключением разве религиозных общин и то не надолго) мы не видели удачной коммуны. Одни истории сравнивают опыты коммунистов с пацсоном для благородных девиц — формой, в которую человечество не вставляется, не изломав ее. Я думаю то же. Вообще форма будущего общества еще не готова, и она будет результатом долгой органической работы и свободной человеческой борьбы, при чем разные формы будут рождаться, бороться за существование, исчезать, заменяться новыми и т. д. И только в результате такой свободной борьбы человечество будет менять формы своей жизни. Что значит: нужно переродиться? Нужно не переродиться, а постоянно перерождаться, так как процесс этого перерождения бесконечен, по крайней мере, так же, как и сама жизнь. Кризисы и потрясения вызываются искусственной задержкой этого процесса. Поэтому до сих пор мы знали только политические, а не социальные революции. Последние — только, как частичные последствия политических. Социальный переворот может быть только результатом всеобщего и органического созревания новых социальных учреждений и свободного не бюрократического творчества.“

Из письма от 7 марта 1921 г.

... „У нас с засевом плохо и никакие тут декреты не помогают. Нельзя приказом загнать стихию: А когда побуждение подавляется, когда приходится работать под угрозой, что плоды работы будут отняты под влиянием еще далекого „антрусизма“, то у современного человека такого, каков он теперь и каким еще будет долго, долго — невольно опу-

скаются руки. А когда они опускаются, то никаким приказом их не поднять. Это было во время великой французской революции и будет еще долго, пока постепенно не переродится человечество“.

Из приведенных мнений Короленко о разных политических партиях — о коммунизме, социализме, кадетизме, октябризме и пр., — видно, что Короленко — человек очень широких взглядов. Он — беспартийный в лучшем смысле этого слова и правильно себя так называет в письме о полтавских выборах в Думу. „Беспартийность“ порой прикрывает, как маска, настоящее лицо, а порой под беспартийностью прячут простое политическое недомыслие. Но Короленко истинно беспартийный, и это потому, что он шире отдельных партий. Он находит пользу и правду в целом ряде программ — от социалистов до кадетов включительно, и только за этими пределами кончаются его симпатии.

Все, что левее социализма, кажется Короленко не по плечу для современного человека, каким он является теперь и „каким еще будет долго, долго“. А октябристы и все еще более правые отталкивают Короленко своим неприкрытым эгоизмом, своею „всемерно-скорострельной юстицией“, которой они стремятся „переспорить“ всякую оппозицию. Об анархизме Короленко даже не упоминает в своих письмах, так как и менее левый коммунизм считает содержащим в себе слишком много „преувеличений и фантазий“. По натуре, вероятно, по своей уравновешенности Короленко совершенно не склонен к какому бы то ни было максимализму, к крайностям, к теориям, доведенным за пределы здравого смысла.

Есть люди, считающие, что истина только в их вере, в их программе, все же остальное — ересь, зло, надувательство, достойное гонений, и в лучшем случае, — ошибки невольные. Таковы фанатики религиозные и политические. Но, конечно, следует оговориться, что всякому депутату, парламентарию, всякому политику приходится быть партийным и не расплываться в неопределенности, а всякому вероучителю нельзя не держаться своего берега. Однако, и в этих обстоятельствах отсутствие узкого фанатизма должно сказываться в терпимости к чужим мнениям, в приветливом отношении к возражениям, к инакомыслящим, в искреннем сочувствии к вечным принципам свободы. По складу своего ума Короленко не годился ни на роль проповедника какой-нибудь веры, ни на роль партийного политика. Он был для этого слишком широким, он слишком хорошо видел правду и за пределами своего участка и слишком ясно понимал условности в своих собственных границах.

— Меня очень стесняет, — говорил не раз Короленко, — когда слишком догматически ссылаются на буквы постановлений каких-нибудь съездов или конференций. Среди моих товарищей есть большие знатоки таких параграфов, они знают слово их удерживает.

Слишком резкие споры, слишком грубая полемика — „топорная“, с „барабанным слогом“ — всегда огорчали Короленко.

— Более сдержанный тон был бы сильнее. Зачем исходить из недоказанных положений, что ваш противник непроходимо глуп и бесчестен. Во-первых, может с этим не согласится, а, во-вторых, и лезть не полагаются за победу над ничтожеством,

В письме от 24 июля 1899 г. Короленко пишет:

...„Самшал, что Р. вас „поливает“. Ну, для журналиста, делать нечего. Прочитав вашу заметку, я только пожалел, что вы ее немного перегрузили. Легкая, мимолетная заметка в шутилом тоне была бы сильнее. А впрочем, — вообще верно“.

В споре между религией и наукой Короленко был всецело на стороне последней. Он признавал, что человечество от фетишизма переходит к идолопоклонству, к многобожию, к теологии, к метафизике и к научному позитивизму. Но это не мешало Короленко признавать и то, что мировые загадки все же остаются нерешенными, что область знания еще мала и людям предстоит узнать гораздо больше того, что уже выяснено. В письме из Полтавы от 11 октября 1920 г. Короленко пишет:

...„Я думаю, что с религиозным чувством еще не покончено, и я думаю, никогда покончено не будет. Да и не желательно это. Конечно, религия вносила много суеверий, но она всегда представляла и много положительного. С точки зрения миропознания она представляет своего рода мировую гипотезу, обобщающую все, что человечество в его широчайших слоях знает в мире. С ростом знаний растет и религия. Между религиозными представлениями людей, приносящих богам человеческие жертвы, и таким же представлениями классического грека лежит бездна. Такой же шаг вперед можно видеть между политеизмом и представлением о едином Боге, в котором уже мелькает сознание о единстве сил природы. Но религиозное чувство присоединяет к этому сознанию также и нравственные выводы, которые ему соответствуют. Без гипотезы не обходится и наука. Без такой обобщающей мировой гипотезы никогда не обойдется и человечество. По мере роста познаний о мире меняется и религия. Теперешние церковные религии уже явно не поднимают за собой объема человеческих знаний. Но и наука уже не мирится с плоским материализмом, который думал, что разрешил все задачи, положив в основу плоский миршчик—атом и его элементарные физические свойства. Теперь перед новыми представлениями об атоме, уходящем в бесконечную относительность, прежний материализм кажется просто смешным, и науке предстоит множество новых вопросов. А с тем вместе, распространение просвещения в широких массах будет делать новые, научные понятия все более широкими и универсальными. И вновь должна будет (не скоро, может быть) появиться, обобщающая мировая гипотеза, которая объединит в едином все, что даст человечеству наука, объединит новое миропонимание с самыми глубокими стремлениями человеческого духа. Это и будет новая религия“.

Сухая схоластика, религия обрядов, деревянного масла, бесплодные и формальные догматические споры—вот что претило Короленку. На берегу, на Святом озере с легендарным градом Китежем, Короленко долго толкается между народом, слушает гусиное цепие, останавливается под деревьями у импровизированных алтарей, слушает бесконечные религиозные споры... „Ночь я простоял всю на ногах, сидя в густой толпе у старой часовни...“

Утомленные лица миссионера и двух священников, кучи книг на аналое, огни свечей, при помощи которых спорившие разыскивали нужные тексты в толстых фолиантах.... На заре я с трудом протолкался из толпы на простор и усталый, с головой, отяжелевшей от бесплодной столастости этих споров, с сердцем, сжимавшимся от безотчетной тоски и разочарования, — пошел по полевым дорогам... Короленко ощущает лишь тоску от споров между религиями. Он знает, что тут нет истины ни на чьей стороне. Иное дело — спор научный. И все-таки Короленко не думает, что с религиями покончено.

Да он этого и не желает. Он только против неподвижных, застывших религий, не признающих новых завоеваний ума. Религия должна быть развивающейся, эволюционирующей, живущей дружно с науками, всегда ими исправляемой и освежаемой. А Бог, душа и загробная жизнь пусть остаются задачами и загадками религий. Не раз, добываясь категорических ответов, спрашивал я Короленко — есть ли Бог, есть ли душа и верит ли он в загробную жизнь? Но ответы получались всегда в духе вышеприведенного письма. Категорических, „топорных“, как он выражался, ответов он не давал, хотя и признавал, что Бог, душа и загробная жизнь не что иное, как гипотезы, но вместе с этим он указывал, что если есть гипотезы, стало быть, есть что-то неизвестное, что эти гипотезы стремятся охватить. И попытки эти будут бесконечны, так как предметами этих поисков являются вещи, которые всем кажутся понятными, по которым человечество не узнает никогда.

Война задала целый ряд самых сложных и трудных вопросов. Допустима ли война предупредительная, превентивная, нужно ли обороняться, и что будет с идеей интернационала, где кончается необходимая оборона, и вмешивать ли контрибуцию, позволительны ли аннексии, и что разуметь под самоопределением народа в смешанных национальных случаях? И т. д., и т. д. Все эти вопросы стали не только перед учеными специалистами, но и перед всеми народами — участниками войны. Тем более интересно было узнать мнение Короленко, которому я и написал несколько писем. По слухам, он был настроен не только оборончески, но даже желал „войны до победы“, как гарантии от будущих нападений, хотя это и казалось уступкой национализму и как будто тормозило пришествие желанного братства народов. К сожалению, мои письма с вопросами не дошли до адресата и ответы оказались далеко не полными. Вот что написал Короленко:

... „Вы, очевидно, не считаетесь с цензурой, — с этим новым фактором в переписке. Ваше письмо, как и другие, я получил всерьез и с полным вниманием. В начале, с неграмотки письма или не доходили, или доходили до такой степени искромсанные пошляками, что получалась какая-то бахрома. И только когда корреспонденты стали принимать в соображение, что не следует писать все о каких-то вещах, и, таким образом, перестали затруднять цензуру, — наша переписка кое-как налаживалась, и теперь я получаю, как пишется, большинство посылаемых мне писем. Вы не прониклись еще этим сознанием, затронули неудобные темы, и в нашей переписке произошел перерыв“.

Из письма от 17 февраля 1915 г. Ларден. Франция.

... „Что я думаю о войне? Вообще война—дело, само собой разумеется, очень плохое, и я не понимаю тех торжествующих фанфар, которые звучат по этому поводу в нашей печати. В одной статье прямо писали, что нам была нужна война потому, дескать, что мы погрязли в „Венах“ и т. д. Вот так масштаб! Огромное явление, масса смертей, разорение... и это „нужно“ для исправления какого-то кучки. Но даже и в более широком смысле я не думаю, чтобы можно было так ставить вопрос: война была нужна... Она была неизбежна, и ее следует принимать, как неизбежность печальную, тяжелую и, в общем, отвратительную. Нужно и победить, так как Германия, несомненно, самый агрессивный в милитаристическом смысле элемент и явно стремится к гегемонии. Но праздновать по этому поводу какие-то именины сердца, надеяться на какие-то экстренные блага в ближайшем будущем—особых оснований не вижу“.

Слухи оказались верными: Короленко пишет, что нужно победить немцев, так как они желают поработить. Конечно, Короленко стремился к победе не для ограбления Германии, не для отнятия земель от турок, а только в пределах необходимой обороны, только ради гарантии от будущих нападений. Однако, русские ведут себя при успехе так несправедливо, что Короленко приходится оговариваться. Надо победить, но нельзя победе и радоваться—таково противоречивое положение вещей. Россия в столь ненадежных руках, что доверять им невозможно. От самообороны они переходят к нападению и к жестокому угнетению. Из обиженных превращаются в обидчиков. Луз перегибается в обратную сторону и превращает патриотов в пораженцев, желающих, чтобы русских выгнали, например, из Галиции. Ничего в этом взгляде Короленко нет удивительного: можно было предвидеть, что этот беспристрастный человек именно так и выскажется. Вот его письмо от 14 авг. 1915 г. из Эссенуков:

... „Я с вами согласен, что теперь война менее понятна народу, чем прежде. Что такое превентивная война или что такое война империалистическая,—это, конечно, непонятно. Но что немец уже взял Варшаву и нацелился уже на Петроград (защитит ли его эта новая блинчик?),—это народ понимает, чувствует, как и то, что его послали с дубиной против немцев. Понимает с такой жуткой ясностью, которая должна бы навести на размышления, гораздо более глубокие, чем пока это видно из „петербургских настроений“.

Из письма от 21 дек. 1915 г. Полтава.

... „У нас уже налетают черными галками известия о взятии яко-бы Риги. Наверное—пока это еще чушь, но того и гляди, появится в газетах известия „утешительные“, что Рига для нас значение не имеет, и что самое худшее, что мы можем сделать германцам, это поддаться им этот, ни к чему ненужный город! Проклятая эта война, и выдумал ее мрачный дурак. В конце концов после общей свалки „победителю“ тоже останется только повеситься“.

Из письма от 18 июня 1916 г. Хатын.

... „Письма Е. и А. получил. Мне не совсем понятно то место, где А. говорит об „известной нации“. Евреи? Неужели, по его наблюдениям, они делают

кислые мины при известиях о наших успехах. Я живу в черте оседлости дольше А., знаю многих евреев, которые со мною откровенны, и ничего подобного не замечал. Правда, и при победах, и при поражениях им особенно радоваться (т.-е., как евреям) не приходится. Их положение — это положение изболевшего человека, которому плохо приходится при всякой перемене. Поэтому у них вид хронически не только кислый, но и горький. Но чтобы они радовались или надеялись, что немцы придут в Киев, — это едва ли. Ну а цельной, захватывающей радости, — это не скажу, чтобы испытывали и все русские. Я искренно желаю победы союзников над Австро-Германией, но при радости, когда это осуществляется, невольно приходит в голову: уже побывали мы раз за рубежом и столько наделали гадостей с Дудыкевичами и Евлогиями, да и опричь них, что грустно и стыдно думать о том, что за громкими победами непременно потянется эта гнусность по отношению к населению, к его вере, языку, его школе, его национальности, не говоря об обычных насилиях над личностями, честью, имуществом... Да нужно желать одоления по многим соображениям, но при сем — нечего греха таить — кисло-вато не для одних „украинomanов“ и „известной нации“. Надо это признать по человечеству. Опять — правда есть правда и имеет свои права. „Восторг внезапный ум пленил!“ Этого завидного чувства нам испытывать целю, захватывающе почти не приходится. Что ж, обойдемся как-нибудь и без восторга. Поддаться немецкому игу нельзя и не следует. Иго есть иго, — вещь унижительная и подлая, но я не вижу в войне ничего, кроме печальнейшей необходимости, и изнанку ее чувствую очень сильно и не забываю, что не одним „украинomanам“, но и просто украинцам, т.-е. миллионам людей этого племени в Галиции ли или у нас, она еще более чувствительна. Не говори уже об „известной нации...“ Ну это я так... Не могу относиться к этим вопросам „по сенаторски“.

Из письма от 12 окт. 1916 г. Полтава.

...Одну мою заметку в „Р. Бог“ цензура зарезала. Другая без этой осталась висеть в воздухе. В первой я говорил о заключении униатского митрополита Шептицкого в монастырь. За что? Очевидно, за то, что он — униат и глава униатов. Это дает указание, что ждет Галицию в будущем: преследования за веру. Я имел в виду ряд заметок в этом направлении, но, очевидно, не удастся. Евлогий и Дудыкевич уже, под шумок, успели определить политику России и стали неприкосновенными... Еще бы. Ведь это претенды политики Бобринского“.

Война расшевелила, конечно, и еврейский вопрос. Антисемиты стали кричать, что евреи, угнетаемые в России, все пораженцы, желают немцам побед и даже активно помогают врагам России, шпионят и предают. Причиной естественной — еврейское бесправие, по тем не менее русские вынуждены обезопаситься, то-есть, „принять меры“, а меры эти, конечно, практически выливаются в жестокости. Евреев выселяют, угоняют, мучат, заложниками и очень часто казнят в порядке „военно-скорострельной юстиции“. В начале октября 1914 г. я послал Короленко письмо одного литератора, затронувшего этот вопрос о пораженцах и о праве евреев помогать немцам.

На это письмо Короленко ответил немедленно письмом от 12 окт. 1916 г.

...„Вы хотите знать мое мнение о присланном письме. Его точку зрения я отлично понимаю: над евреями произведено и производится столько подлостей, в том числе специально „военных“, что было бы естественно, если бы все евреи были силовь пораженцами. Автор принимает последнее за факт и только оправдывает его. Эта точка зрения очень распространенная. Говорят, не так давно в каком-то заседании ее развивал Родзчев. Винавер резко ему возразил: „Мы не требуем права на замену“. Есть латинский афоризм: *ab posse ad esse non valet consequentia* — нельзя заключать от возможного и существующему. „Было бы естественно“. Может быть. Но есть ли это возможное в действительности? — это вопрос. Что среди евреев-интеллигентов есть пораженцы — это конечно. Пораженческая точка зрения глубока и живуча. Славянофилы — ип. Черкасский и Аксаков были пораженцами в севастьяпольскую кампанию. С тех пор многое изменилось, но не настолько, чтобы перекоренить это настроение. После победы над турками в 1876 — 77 г. реакция пошла ускоренным шагом, а японская победа дала нам конституцию. Я сам далеко не пораженец, но знаю много хороших людей, далеко не молодого возраста, которые находятся в большой нерешительности. Нельзя целно и с непосредственной радостью приветствовать, например, второй поход на Галицию, когда видишь и знаешь, чем уже ознаменовалась первая победа, сколько мерзостей наделали над населением, сколько воровства, васслий над людьми там произведено.... Это война! Пусть так. Но какой же восторг при таких победах? Но это не только война. Это еще и похитва. Обещали „освободить“ Галицию, т. е., ее население, а вместо того погнали административно в Сибирь галичан, которые говорят и пишут на родном украинском языке. Покровительствуют вору Дудикевичу и ссылают честных людей. Хозяинизм Бобринский, теперь посылают Тренова. Тут не восторг, а негодование и стыд.

„Но и отвлекся от вопроса... И все-таки не вся русская интеллигенция — пораженцы. Значит, есть нечто, что меняет это настроение. „несмотря на все“. Есть такие причины и у евреев. Мне пришлось за границей встретиться с очень умным сионистом. Тогда как раз шли слухи о повальном шпионстве и предательстве евреев. Я задал вопрос: сколько тут правды? И он ответил: „Тут совсем нет правды. Тут ее меньше, гораздо меньше, чем было бы „естественно“ при данном положении“. И он объяснил мне исторически национальный инстинкт евреев, заставляющий их быть верными тем народам и странам, которые являются их отечествами, каковы бы они не были... Не стану повторять его доводов, тем более, что, быть может, мне удастся привести их в литературе. И перед вторичным заболеванием начал повесть из жизни еврейской (и отчасти русской) интеллигенции, где касалось этих вопросов. Написал почти половину, но смерть Иллариона и потом мой болевой выплесок меня из этой колен. Итак, несмотря на то, что это было бы „естественно“, для меня сплошное еврейское пораженчество — под большим вопросом и даже более. Недавно я написал в „Русск. Вед.“ статью о марьяновской измене. Один из

очень дрих эпизодов этого предрасудка: „было бы естественно“, — но не было фактически, а было совсем другое“.

Чрезвычайно досадно, что Короленко не изложил в приведенном письме объяснений „ужного сиониста“. Так мы и не узнали его исследований того еврейского мистиката, который заставляет евреев быть верными тем странам, которые являются их отечествами. Обещанной статьи Короленко не написал, и неизвестно, найдут ли дочери Короленко в его бумагах эти интересные материалы. А пока это не опубликовано, и позволю себе привести мнение одного еврея, увы, не ученого сиониста, а совсем простого и даже необразованного. На Короленковский вопрос он мне ответил:

— Зачем буду я желать победы немцам? При них мне много труднее было бы кормиться, чем при русских. Немцы — доки, сами норовят повсюду снить сливки. А русские ленивы и не оборотисты. При них мне кормиться легче.

Нижеследующие письма относятся к 1917—1921 гг. и все из Полтавы. В них есть пробел за то время, когда на Украине не было Советской власти и когда не было почтовых сношений между Полтавой и Петербургом. Приводимые письма касаются равнообразных фактов окружающей жизни, и хотя разбираться в них не легко — уж слишком все глубоко всколыхнулось, Короленко тем не менее освещает явления всегда интересно и оригинально. Правда — единственная цель Короленко, а потому он без всяких предубеждений и порицает, и хвалит и правых, и левых, и белых, и красных. Один журналист так формулировал тайну своего ремесла.

— Чужих бранить, своих хвалить.

Короленко был всегда противником этого фанатизма и непременно являлся „судьей правливым“, потому-то его отзывы интересны и поучительны. В виду этого желательно, чтобы и белые, и красные отнеслись к письмам Короленко терпимо и покойно. А невольные и всегда возможные ошибки легко исправимы.

Из письма от 9 ноября 1917 г. Полтава.

... „У нас прошел слух, что Керенский идет с фронта с внушительными силами. Так ли? И есть ли теперь какая-нибудь „внушительная сила“ на какой-нибудь стороне? Вообще, есть ли теперь „воля России“, то-есть преобладающее стремление среди тысяч противоречивых импульсов, — это вопрос. У нас не знают болезни, какой бывает в здоровых организмах. а затяжной, долгий „лихис“. Это всегда хуже“.

Не очень ясно, что разумел тут Короленко. Тогда, — в 1917 г. — немцы были предвидеть, что и в 1922 г. власть советов будет налицо. Вероятно, в 1917 году Короленко думал, как и многие тогда, что большинство продержится максимум несколько месяцев.

В 1919 г. Короленко с опасением говорит о грядущих и возможных переменах, которые всегда сопрягаются жестокостями. В душе его заметно противостоит то настроение, за которое его упрекают в настоящее время советские

газеты. Насилия и жестокости глубоко огорчают Короленко. Он тратит свои угадающие силы на бесконечные хождения по разным учреждениям с единственной целью — спасти хоть некоторых. Короленко знает, что в пылу борьбы многое кажется преступным, что потом в более спокойные дни перестает так квалифицироваться, и поэтому он добивается, чтобы не судили спешно. Это всегда полезно, но в революционные периоды это особенно желательно, так как все старые нормы сброшены, а новые еще не установлены и в великой смуте умов бурлит и кипит страшная разногласия о том, что хорошо и что дурно, где пороки и где добродетель. Эта смута умов глубоко огорчала Короленко. Он и до революции любил повторять, что со старой моралью нужно обращаться осторожно. Конечно, мораль, как и религия, не должна быть неподвижной и застывшей, мораль должна эволюционировать, жить, развиваться, очищаться, но при чистке морали должна быть осмотрительность, очень нужно подумать перед тем, как выкидывать какую-нибудь заповедь. Ведь если она ценилась веками, как что-то полезное для людей, вероятно, в ней и действительно была ценность. Например, заповедь — не укради. Однако, советские газеты изо дня в день дают богатый материал, доказывающий, что бандитизм, воровство и казнокрадство разлиты у нас эпидемически повсюду и прямо отравляют жизнь. Революционные трибуналы вынуждены энергично бороться со всякого вида кражами, грабежами и разбоем, и все понимают, что старая заповедь — не укради — должна быть водворена на свое прежнее место. Короленко всегда настойчиво поддерживал эти мысли: „не отбрасывайте легкомысленно старой морали, а то легко с водою из ванны выплеснуть и ребенка“.

Зная глубокую приверженность Короленко к этому ходу мыслей, я и фразу его о „моральном крахе“ встретил, как старую знакомую. Короленко с огорчением стал замечать, что революция себе самой вредит ошибками издательства. Конечно, это естественно: революции не делаются хладнокровно и покойно, неспеша и размеренно. Из храмов выносят богов — и тех, которых следует, и тех, которых можно бы оставить. И это тревожит Короленко. Он всю жизнь желал революции, работал в ее пользу, боролся, жертвовал собой. Поэтому и ошибки ее — действительные и кажущиеся — болезненно отзывались в сердце Короленко, как ошибки родных и любимых детей. Он скорбит об ошибках только потому, что они вредят самой же революции, мешают ее успеху, ее триумфу. Под этим углом надо смотреть и на критику Короленко: ее цель — помочь революции, а не повредить ей.

Из письма от 22 февр. 1919 г. Полтава.

... „Мы теперь „под большевиками“. Надолго-ли? Бог весть. Не хочется как-то и думать о близости, может быть, новой перемены. Всякая смена несет волну жестокостей, и не видно просвета.“

„Впрочем, — не видно пока. Я верю, что просвет может быть близок, но жду и его не от торжества того или другого оружия, а от просветления общественного сознания“.

Короленко надеется не на пушки, а на просветление умов. Этот взгляд и справедлив, и чрезвычайно характерен для Короленко. Тяжело переживать

Если бы это понимание было шире распространено весной 1920 г., то и продналог мог бы быть введен не весной 1921 года, а годом раньше. Очень жаль, что Короленко не имел под рукой газеты, чрез которую он бы, конечно, сумел обратить внимание на свой верный диагноз посевной болезни. Целый год голода был бы сокращен, а с этим было бы избегнуто громадное количество страданий.

Из письма от 7 февр. 1921 г. Полтава.

... „Свое мнение о происходящем я уже высказал в шести письмах к А. В. Дуначарскому. При свидании здесь, в Полтаве, когда мы говорили об этом, он высказывал намерение ответить мне и затем переписку эту напечатать. Но затем ни ответа, ни тем более напечатания не последовало. Моим знакомым он говорил, что писем еще не получил (он уезжал на месяц в Таганрог). Но теперь я знаю, что мои письма дошли все, но результат, повидимому, тот же. Да я и не ожидал другого“.

Из письма от 26 февр. 1921 г. Полтава.

... „Движение в стране становится все медленнее, жизнь замирает. Теперь у нас то и дело из Харькова приходят пешком (более 300 верст да еще при жестоких морозах). Поговаривают о движении на перекладных. Да и тут беда: лошадей мало и ямщиков тоже“.

Острый вопрос об интервенции стал, конечно, и перед Короленко. И он разрешил его отрицательно. Во-первых, все интервенции ни к чему не привели, они не достигли тех целей, которые они себе ставили. Сторонники интервенций хотели получить реставрацию, если не всего минувшего режима, то хоть некоторых его черт: например, признания частной собственности. Затем только опыт, незамаскированный войной, может показать, что из переживаемого правильно и полезно и что ошибочно и вредно. Письмо от 7-го марта 1921 г., к сожалению, слишком коротко и неполно для вопроса такой важности, хотя все же вскрывает мысли автора.

... „Что касается вопроса — будет ли у нас весной война? — то в этих вопросах считаю себя совершенно некомпетентным и мало провинциальным. Думаю только, что „доброжелатели России“, которые желают ей войны, желают ей зла, и что этим путем не поможешь. Россия уже доказала, что с таким „доброжелательством“ она справиться может и, что оно только скрывает настоящее положение вещей: можно, говорить, — мы бы давно уже справились, если бы не внешняя война... Гораздо хуже войны — постепенное, но неуклонное ослабление жизненного темпа страны, остановка колес, заводов, железных дорог. А это только прикрывается внешними обстоятельствами“.

Весна 1921 года опять ставит перед Короленко вопрос о праве собственности на урожай. Короленко повторяет свои мысли весны 1920 г. Удаленный от официальных сфер, Короленко не знает, что декрет о продналоге уже готов и так же мотивирован, как мотивировано его собственное мнение. Все это только усиливает наше уважение к ясности понимания и проникательности Короленко. Вот это письмо от 7-го марта 1921 г.

... „У нас с засевами тоже плохо, и никакие тут декреты не помогут. Нельзя приказом заменить стихию. А любовь к себе и к семье — стихия. И когда это побуждение подавляется, когда приходится работать под угрозой, что плоды работы будут отняты под влиянием еще далекого „альтруизма“, то у современного человека, каков он теперь и каков будет еще долго, долго, — невольно опускаются руки. А когда они опускаются, то никаким приказом их не поднять. Это было во время великой французской революции, будет еще долго, пока постепенно не переродится человечество“.

Следующее письмо, от 21 марта 1921 г., Короленко посвящает аресту Ляховича, вскоре умершего от тюремного тифа. И личное горе не лишает Короленку способности судить беспристрастно, объективно. Он огорчен и за певиншую жертву, погибшую по недоразумению, и за революцию, которая лишилась в лице Ляховича истинного друга, верного слуги прогресса. А ведь революции далеко не богата людьми честными, развитыми, трудолюбивыми и бескорыстными. Революция только такими и держится, как держались, по сказаниям, грешные города немногими праведниками. Гибель таких людей, как Ляхович, увеличивает лишь шансы мрачной и даже черной реакции, как и непущиме насилия льют воду только на мельницу царизма, шансы которого пропорциональны ошибкам вольным и невольным, практическим и принципиальным и особенно последним. Все эти мысли Короленко выражает покойно, сдержанно, без тени раздражения, искренним тоном огорченного друга. И этому можно только удивляться, так как иные из ошибок бьют прямо по семье Короленко, испытывают его терпение, как испытывала судьба безропотность библейского Нова. Но в характере Короленко нашлась и эта черта праведников: он не сшибся с общественной точки зрения, не стал на почву узкого личного и семейного эгоизма. И революция много выиграет, когда допустит, — пусть в „дискуссионном порядке“ — такую честную критику, такое неподкупное слово искренней оппозиции его величества пролетариата.

Весна 1921 г. осветила вопросы и о недосевах, и о неурожае. Появился страшный призрак надвигающегося голода. Опять среди искренних сторонников прогресса возникли опасения: справятся ли с бедствиями советские власти? Не сватится-ли России на дно реакции? Конечно, над этими вопросами задумывается и Короленко и выказывает опять свою необыкновенную проникательность. Как весной 1920 г. он указывал на необходимость установления принципов продналога, декретированного лишь год спустя — весной 1921 года, так и теперь, весной 1921 г., он видит неизбежность того, что потом получило название „новой экономической политики“.

Смерть Ляховича явилась для Короленко очень тяжелым ударом. Он повторяет это во всех своих письмах того периода. Мучит и расшатанность здоровья. В душу заползает грустное сознание, что следы от ударов судьбы не исчезнут до конца жизни, раны не зарубцуются. Из писем почти совсем исчезают искры известного Короленковского юмора. Короленко странно устал.

Солнце клонится к закату, появляются признаки приближающегося вечера, за которым ночь...

Из письма от 14 июня 1921. Полтава.

...И опять принялся за работу, и она у меня подвигается, но чувствую что след (от смерти Ляховича. — С. П.) останется на всю жизнь. И главное — ощущение полной бессмыслицы этой гибели“.

В течение всей своей жизни Короленко постоянно отрывается от своей литературной, художественной работы и уходит „с головой“ в практическую общественную деятельность, в борьбу, в помощь нуждающимся и т. д. В молодости, про которую Короленко любил говорить с улыбкой: — „Мы тогда думали перевернуть весь мир!“... — идет полоса дани политике. После заточений и Якутии Короленко поселился в Н.-Новгороде, кормит голодающих, „ведет кампании“ против местных черносотенцев, банковских и земельных хищников, неустанно развивает местную газетную прессу, не забывая и политику. Н.-Новгород это, так сказать, неминуемая станция для проезжающих товарищей в Сибирь из России и обратно. Конечно, очень многие из этих проезжающих навещают Короленко и даже останавливаются у него. Просьбы, советы, помощь, хлопоты. Нижегородский жандармский генерал Познанский „ставит в счет“ Короленко его постоянные сношения с неблагонадежными.

— „Это правда и это вполне естественно, — ответил Короленко, — мои товарищи знают, что очень бы меня огорчили, если бы, очутившись здесь, ко мне бы не заглянули. В дни ссылки у многих из этих людей я нашел и помощь, и утешение, и поддержку, и ободрение. Было бы нехорошо с моей стороны не выказать им теперь привета“.

Генерал не может не признать логики этих слов, но, конечно, остается недовольным и доносит... „Короленко очень подозрителен в политическом отношении, но так умен, хитер и осторожен, что изобличить его в чем-либо очень трудно. Квартира Короленко в Нижнем-Новгороде служит как бы станцией для всех ссыльных, возвращающихся из Сибири, и сборным местом для неблагонадежных лиц, проживающих в Н.-Новгороде“.

В 1893 году Короленко едет за границу, в Швецию, Данию, Англию, Францию и Америку, главным образом, чтобы помидать эмигрантов, чтобы посмотреть, как складываются оппозиционные силы за рубежом. Это путешествие, конечно, привлекло к себе внимание департамента полиции, по архивным документам которого Покровский составил интересную статью — „В. Г. Короленко под надзором полиции“, — напечатанную в „Былом“ за 1918 г. Об этой статье Короленко упоминает в вышеприведенном письме из Полтавы от 10-го ноября 1920 года. К сожалению, другое письмо, написанное Короленко об этом же предмете, до меня не дошло. Погибнув по дороге в почтовом чреве вытвовой. Хотя Короленко и описал свое путешествие в поэти „Без языка“, но поездка была гораздо более политическая, чем литературная.

— „На время складываю с себя свои писательские обязанности,—говорил Короленко.—И записную книжку буду вынимать пореже. Надо отдохнуть. Как пишешь все мало-маленьки пригодное прячет в свой мешок, так и писатель все заносит в свою книжку. Это утомляет. Надо отдохнуть“.

... „Если еще книжка № 13 „Близкого“—июль 1918 г.—вам не попадалась то прочтите там статью Покровского. В ней вы встретите не мало любопытного из нашей общей нижегородской жизни, в том числе и о вас лично, о В. А. Горинове и о мн. других. Интересно донесение в деп. полиции о нашей с вами американской поездке, при чем почтенный Сергеев, одно время сожителем милейшего Гольденберга, оказывается заправским сыщиком. Правду сказать, у меня не осталось сколько-нибудь яркого воспоминания об этой фигуре. Помнится, как-будто блондин, небольшого роста, державшийся довольно спокойно и ничем не выдававшийся. Мне как-будто вспоминается, что вы в одном из своих писем упоминаете также, что под видом репортера приходил к нам тоже сыщик или, вернее, detective из прославленного впоследствии паникертовского учреждения. Есть тут и это, что мне кажется, что вы будто бы писали мне о другом—о русском или еврее, который вам так не понравился. Тут о нем ничего нет.

„Любопытна полемика в донесениях департаменту полиции Баранова ¹⁾ и Познанского ²⁾). Интересно, что Баранов до конца как будто держится благожелательных нам отзывов по поводу газеты, хотя едва ли она особенно ему улыбалась. Помните отзыв вам Адикаевского. Баранов очень нас хвалил (перед Феоктистовым), но бывают такие похвалы, после которых газет не разрешают. Кажется, это вам сказал и Адикаевский.

„Не помню я Елизаветы Протопоповой, которая, по сведениям Познанского, провожала нас на вокзал в день отъезда в Петербург. Какая-нибудь ваша родственница?

„Есть и неточности. Зволянский, видимо, по мне почему-то благоволил и в своей записке представил мои объяснения в благоприятном с точки зрения департамента смысле. По поводу присяги делает излишнее ударение на том, что я присягу принимал со всеми. В тексте моего отказа прямо сказано, что я не искал этого повода для демонстраций и вместе со всеми служащими был на панихиде. Но когда ко мне лично обратились, как к сильному, с этим прямым вопросом, то у меня явилось желание ответить искренно. И я от присяги отказался, потому что видел слишком много произвола и злоупотреблений. В разговоре со Зволянским я только сослался на этот текст, в том смысле, что, дескать, довольно же было делать такие вызовы“.

В Лондоне все дни уходило на свидания с эмигрантами. Особенно интересовал Короленко С. М. Кравчинский. Конечно, газеты отметили приезд Короленко, и наш номер в гостинице осадили интервьюеры. На меня выпала интересная роль переводчика, так как Короленко был „без языка“. Знакомые

¹⁾ Н. М. Баранов—нижегородский губернатор.

²⁾ Н. Н. Познанский—жандармский генерал.

Кравчинского англичане попросили его свести их с Короленко, рассказы которого имели в Лондоне большой успех. Кравчинские устроили „вечер“, собравший несколько десятков человек эмигрантов и англичан. Леди и джентельмены поочередно разговаривали с Короленко, увы, не без переводчиков. Некоторое из вопросов были интересны. Одна леди спросила, почему Короленко недостаточно любит и недостаточно уважает цивилизацию, почему он довольно часто поэтизирует некультурность, даже дикость? И привела примеры: Макар Тюлин и многие другие типы рассказов взяты из некультурных слоев и опознаны. Даже музыкальные инструменты технически-совершенные принимаются в сравнении с простой дудочкой в „Слепому Музыканте“. К этому леди прибавила, что ту же черту она усматривает и вообще в либеральной, левой русской литературе. Русские, может быть, с некоторой натяжкой находят „искру божью“ на дне жизни, где нет просвещения, нет культуры, и тем как бы отрицают цивилизацию. Народники поэтизируют крестьян и вообще прогрессивная русская литература как бы боится отмечать положительное в высших, культурных классах. Короленко ответил, что высшим классам в России и без помощи литературы хорошо живется и что „идти к обиженным“, униженным и оскорбленным всегда было и будет делом правильным.

Я немного уклонился в сторону, вспомнив приведенный разговор леди с Короленко. Цель моя — подчеркнуть, что в течение всей своей жизни Короленко постоянно и сильно отвлекается от литературной, художественной работы и отдает массу времени и сил общественной деятельности.

Подводя итоговую нижегородский период своей жизни, Короленко сказал в своей прощальной речи:

... „Лес рубят, щепки летят... Одною из таких щепок носился и я по обширному литейскому морю, пока, наконец, меня не принесло к нижегородским берегам.... В январе 1885 г., вечером, я подвезжал по Волге к Нижнему. Долго мимо меня мелькали огоньки налево и направо... Наконец, наши сани стали подниматься по Магистратскому съезду на набережную. Одинокий фонарь освещал крупную надпись на каменной стене: „Чаль за кольца, решетку береги, стены не касайся“... Я послушался и причалил за кольцо. Не могу сказать точно, вполне ли исполнено мною предостережение: очень может быть, что порой и не поберег ту или другую решетку, коснулся той или иной стены, пользовавшейся неприкосновенностью, но причалил все-таки так плотно, что вот уже 11 лет я с вами и считаю себя почти нижегородцем“.

... „Да, провинция затягивает! — продолжал Короленко. — Не картами и вином, а проснувшимися в ней живыми местными интересами“. И по собственному своему сознанию, Короленко нашел, что провинция отняла у него слишком много от литературы. В половине 90-х годов Короленко решил перескочить из Нижнего Новгорода в Петербург и там заняться литературой более плотно. Но это ему не удалось. Комиссии, комитеты, заседания, собрания, Литературный Фонд, суд чести, издательская сторона „Русского Богатства“, постоянные посетители с разнобразнейшими делами и пр. и пр., — все это отрывало Короленко от литературной работы. 29-го января 1896 г. Короленко писал:

... „Что сказать вам о себе: трудно в'ехать в колею. Все мечтал об устройстве своей жизни на студенческий лад. Вы уже, вероятно, знаете первые результаты: холод, угар, сырость, хозяйка-гарпагон. Ложились, обливая себя кругом пашатырным спиртом и поручая живот свой воле Божией, вставал с головной болью от угара и немедленно вступал в бой с хозяйкой из-за тонки и закрывания печей. Вчера вышел из терпения и пошел искать новую квартиру. Ходил, ходил, наконец, под вечер набрел, а сегодня переехал“.

Из письма от 30 января 1898 г. Петербург.

... „Здоровье мое идет на поправку. Очень меня удручают разные общества, заседания, прения и пр., и пр. Когда кончится мой срок, хочу решительно снять с себя всю эту толчею разных добровольных обязанностей, в которую попал как-то незаметно“.

Петербург разочаровал Короленко. 3-го дек. 1896 г. он оттуда писал:

... „Чувствую, что и мултанское дело стоило мне большой усталости, а отдыха у меня совсем нет. Наоборот, — усиленная работа. Вы не представляете себе, как мы здесь все вспоминаем о Нижнем. Для детей это какой-то потерянный рай, да и я теперь вижу, что никогда уже, вероятно, не буду окружен такой дружеской атмосферой. Жизнь не повторяется, и то, что осталось позади, — исчезает безвозвратно“.

Из Нижнего Короленко переехал в Петербург, а из Петербурга Короленко, можно сказать, бежал в „тихую“ Полтаву опять с самыми твердыми намерениями — воздерживаться от общественной деятельности и уйти с головой в литературу. Но жизнь опять разбила доброе намерение. Пришлось не мало похлопотать с устройством себе „хаты“, а тут „провинция“ опять стала затягивать“. Подходили первые года японской войны и неудавшейся революции 1905 и 1906 гг. Подкатила волна погромов. Надо было выступать на митингах и уговаривать. Об этом Короленко вспоминает в следующем письме от 1-го апр. 1917 г.

... „Писем, и что хуже — телеграмм получаю массу, не успеваю отвечать. Местная жизнь тоже задевает. Порой приходится выступать публично. Мне всего интереснее говорить с простыми людьми. Недавно говорил на митинге на одной из темных окраин города, откуда во все тревожные дни грозит выползти погром. Аудитория была внимательная. Я выбрал взглядом два-три лица с особенно малокультурными чертами и говорил так, как будто есть только они. И это меня завлекло. Когда я видел внимание, а потом и интерес, любопытство и признаки согласия по мере продолжения, — то это возбуждало мысль и воображение. Теперь работаю над популярной брошюрой для народа, в которой показываю, как последний Романов разрушал и разрушил самодержавного идола. Много и у нас несласженного и шероховатого. Много выплывает мелкого, самолюбивого, честолюбивого, демагогического“.

Опять Короленко в гуще общественной деятельности. Как и в 1905 году, он и в 1917 году держит речи на митингах, предупреждает погромы, разъясняет. Опять литература отложена. В самом конце настоящего очерка будет приведено письмо Короленко, написанное очень незадолго до его смерти. В нем

он подводит итоги и останавливается на том, что его смущало всю жизнь: на своих частых и продолжительных уходах от литературы в общественную деятельность. Короленко, подобно Жанне д'Арк, спрашивает себя: хорошо-ли делал, что свои мирные занятия сменял воинственным мечом, от рабочего стола уходил так часто в борьбу? И отвечает он очень мудро, что ничуть в этом не раскаивается: делал то, чего не мог не делать. Может быть, борьба настраивала Короленку, отражалась в его писаниях и пленяла читателей именно своим политическим духом.

Усталый, тяжело больной, дрогнувшим почерком пишет Короленко следующее письмо всего за четыре месяца до смерти. И опять об общественной деятельности, о голоде и о помощи несчастным. Вот по истине человек на своем великом посту.

... „Здоровье мое плохо, а тут меня выбрали почетным председателем комитета помощи голодающим. Силы мои уже не прежние, но делаю, что могу... стараюсь не утомиться. Сегодня у меня совещание статистиков. Мне винало на долю написать обращение к Европе... Сделаю, что могу, но у меня нет цифровых данных, да, к сожалению, и нигде их нет. Писал Григорьеву и Пешехову, но ответа еще не получил. В виду этого обратился к местным (полтавским) статистическим силам. Здесь есть люди очень серьезные, в том числе бывший сотрудник Н. Ф. Анненского по Нижнему Аронский и еще Я. К. Имшенецкий, с которыми и предстоит мне сегодня совещание. Есть и еще очень серьезные статистические силы... Больше не пишу, чтобы не утомиться перед совещанием“.

Не только дипломаты пользуются языком чтобы скрывать свои мысли. Ведь про обыкновенных смертных говорят, что надо съезть с человеком три пуда соли, чтобы его узнать, и добавляют, что у каждого человека несколько характеров: как он сам себя воображает, каким его понимают другие и каким он есть в действительности. Причины всей этой запутанности и в нежелании, и в неумении быть правдивыми, откровенными. Интимные разговоры и частные письма порою как бы освещают человека, показывают его нутро. Эту роль играют и письма Короленко, но только не в сильной степени в виду некоторых черт его характера. Короленко был уравновешен, сдержан, правдив и откровенен. Поэтому картина мало менялась с переходом от официального к интимному. Короленко интимно писал и разговаривал почти так же, как и для широкой публики. Ниже приведены письма Короленко с отзывами о Чуковском, Горьком, Толстом, Ренне, Раковском и др. Короленко никогда не думал, чтобы эти письма попали в печать и все-таки все его замечания мало отличаются от его отзывов для огласки. Редкая согласованность между „быть“ и „казаться“, редкое отсутствие злословия, зависти, пересуд.

Из письма от 24 авг. 1910 г. Хатки.

... „О Чуковском и окончательного мнения еще не составил. В нем есть что-то привлекательное. Кажется, он сильно был захвачен атмосферой „сверх-

человечества" и тому подобного декадентства. Но теперь много читает и много работает и, м. б., эта атмосфера прогонит прежнее. Если натура сильная, то и выйдет из болезни. Работает он построчно, а это, я знаю, что такое даже при хорошей плате. То, что он пишет, мне редко нравится: выхватывает у писателя поводы для парадоксов. Но, например, заключительная глава об Андрееве хороша и тон хороший, хотя все же Андреева не охватывает".

Из письма от 24 августа 1910 г. Хатен.

... "Писал я вам в прошлом письме, что был у Толстого? Это посещение оставило во мне наилучшее воспоминание. Я видел Толстого три раза. А верхом, действительно, ездит, как старый казак".

Из письма от 12 августа 1910 г. Хатен.

... "На обратном пути из Петербурга я заезжал в Ясную Поляну к Толстому. Он на меня на этот раз произвел впечатление бодрости, какой я (после того, как видел его в Гаспре в 1903 г. больного) и не ожидал. Провожал меня в коляске. Потом среди ливня сел на верховую лошаадь (без, мне бы то ни было помощи) и вместе с секретарем Бугаевым группой всадников помчался обратно. Ум свеж, речь бодрая, чувствуются проснувшиеся, да, кажется, и незамыленные, художественные интересы".

Из письма от 3 сент. 1910 г. Хатки.

... "Вчера получил письмо от Горького. Он, между прочим, пишет, что газетные известия о том, что он якобы просится в Россию, — такой же апокриф, как и его "беседа с итальянским королем". Я думаю, что и присланная вами вырезка о Леониде Андрееве относится к тому же апокрифическому циклу. Я виделся с Андреевым в Алупке, и теперь он приезжал ко мне в Куккулу. Общее впечатление от "личности" хорошее. По натуре — человек простой и душевный. Встретился я также с Репниным, и он меня почти обворожил. Вообще нынешнее лето дало мне много хороших знакомых и хороших впечатлений".

Из письма от 26 февр. 1921 г. Полтава.

... "От Горького ни на письмо о Филатовых, ни на письмо о Z ответа нет. У него, вероятно, слишком много дел. Впрочем, — не в ответе суть, — было бы хоть что-нибудь сделано".

Из письма от 24 мая 1920 г. Полтава.

... "Известие ваше о Ф. Д. Батышкове меня поразило самым печальным образом. Когда-то мы были гораздо ближе. Не знаю, что именно послужило причиной нашего сравнительного отдаления, но я продолжал относиться к нему, как к очень душевному и хорошему человеку, и еще сегодня утром написал ему письмо, когда получил ваше с огорчившим меня до глубины души известие".

Из письма от 23 июля 1917 г. Хатки.

... "Вы пишете о Горьком. Я вообще не сочувствую его большевизму и понимаю, что многое в его публицистических выступлениях неправильно. Большевизм принос много вреда вообще, но, — что хотите, — в подлунность и шпионство вождей я не верю. Бурдез тоже, по моему, в этом деле сканда-

лись. Недавно обвинял Раковского, а я Раковского хорошо знаю и то, что писал в его защиту,—совершенно верно. Я ждал, что Бурцев представит хоть какие-нибудь доказательства, но вместо этого он уклонился от третейского суда. Не хорошо это. Причислять с такой легкостью заведомо честных людей к шпионам—значит, в сущности, реабилитировать шпионство. Старая истина: нужно бороться только честными средствами, а Алексинский в этом отношении далеко не разборчив“.

| Из письма от 25 авг. 1920 г.

...„Получил от Горнифельда известие о смерти Э. Д. Крюкова. Очень жалею об этом человеке. Отличный был человек и даровитый писатель. Умер и И. Шмелев. Как подумаешь,—так еще недавно оба начинали свою литературную карьеру“.

Настоящий очерк я начал цитатой из письма, в котором Короленко был назван праведником. Характерною чертою в этом направлении может служить отношение Короленко к деньгам, к имуществу и вообще к материальной стороне жизни. Однажды при мне один наш общий знакомый показал Короленко только-что найденный на улице кошелек с деньгами, сережками, золотым наперстком и т. д. С этими вещами лежала и бумажка с адресом человека, жившего на Дальнем Востоке. Короленко совершенно рассеянно скользнул глазами по ценностям, но внимательно прочитал бумажку и сказал, что надо бы непременно поскорее возвратить адрес: ведь, может быть, потерявшей очень тяжело лишиться возможности писать тому, кто заброшен так далеко. Такое же было отношение Короленко и к подаркам: он принимал их совершенно просто, так сказать,—мимоходом, никогда не благодарил преувеличенно, и, взяв принесенное, продолжал разговор. И чувствовалось, что подарок ваш так же просто перейдет к первому нуждающемуся. Вспоминая все это в связи с обвинениями, будто Короленко не понял революции и коммунизма, невольно думаешь, что нет ли в суждях побольше любви к собственности, чем в судимом.

За одну литературную работу Короленко был награжден золотой медалью. Довольно долго пролежала она, изрядно забытая, в письменном столе. Но вот обнаружилась сильная нужда в одном знакомом семействе; Короленко очень пожелал помочь, а так как денег в наличности не оказалось, то вспомнил о медали и понес ее в ломбард. Там у ценовника была очередь. Короленко стал ждать и глубоко задумался, а когда очутился у ценовника, то не нашел уже медали в кармане. Короленко был очень огорчен, но только тем, что за его рассеянность пострадала несчастная семья.

...„Есть в Нижнем некто Ю.—человек „отягченный в семействе своим количеством членов“, но лишенный работы. Видно, с горя он стал посылать мне свои стихи, в которых звучит воля души. На мой отзыв об этих стихах (посоветовал бросить) он признался мне, что его посягательства вызваны тлившей нуждой от безработицы. На этот раз уж именно—„нужда песенки

поэт". Так вот; нельзя ли узнать об этом Ю., навестив его, что ли, и, буде его оправдание в писании стихов правильно,—дать ему где-нибудь, как-нибудь, какую-нибудь работу. Было бы это—доброе дело и доказало бы еще раз, что и поэзия может иногда пригодиться".

Из письма от 23 апреля 1903 г. Полтава.

...По поводу „дворянства“. Собственно я себя скорее причисляю, к разночинцам: дед и отец—чиновники, прадед—какой-то казачий писарь. Крепостных у нас никогда не было; земельных владений—тоже. Что касается до „неумения устраивать свои дела“, то это может быть, и правда, хотя тоже с ограничениями. Я никогда не был особенно в моде и никогда по возможности не допускал в свою душу мыслей о соперничестве в популярности. Мне хотелось и хочется сказать кое-что, что было бы моим собственным и что я считаю нужным. Есть еще много этого, невыполненного, и предо мною еще вереница планов. Вопросы денежные всегда стояли для меня на втором и даже на третьем плане. Впрочем, книги мои идут не хуже, чем в первые годы, и это, конечно, мне приятно".

Из письма от 24 мая 1920 г. Полтава.

... „Вы спрашиваете,—на что я живу? На что буду жить в будущем, более или менее близком—не знаю. А пока мои книги продаются в „Задруге“ и книгоиздательстве писателей. В прошлом году в Одессе был издан II-ой том „История Современника“. Ну, вот и перебиваемся пока без особого труда. Распространился слух, что будто бы я получаю какую-то казенную субсидию. Этого нет и никогда не будет“.

Из письма от 25 мая 1920 г. Полтава.

... „Живу на средства от книгоиздательств и особенной нужды не испытываю, несмотря на то, что „в семействе своем, как говорит один персонаж Островского, обременен количеством членов“. Открыт мне кредит у „Задруги“, которая рассчитывает издать полное собрание сочинений. Вот и сейчас посылаю туда четвертую часть III-го тома, а недавно послал в „Минуш. Годы“ очерк—„Пугачевская легенда на Урале“. Было одно время, что у нас вышла заминка вследствие прекращения сношений, и мы стали кое-что продавать из ненужных вещей. Пронесся слух, что Короленко бедствует. Но мы скоро эти слухи рассеяли. Вот и все. Я вообще здоровьем плох, но голова еще работает изрядно. Вижу уже желанный берег в „Истории Современника“. Подъезжаю к Якутской области и думаю о том, когда закончу том III-ий возвращением в Россию,—буду ли продолжать „Истор. Совр.“ или возьмусь за кое-что из беллетристики. Вообще, еще не сдаюсь“.

Прошел слух, что после смерти Ляховича полтавские власти предложили Короленко пашек, так как он болен и в лице Ляховича лишился в семье главного работника. Передавали, что Короленко отказался и при этом сказал:

— „Очень благодарен за доброе желание мне помочь. Однако, и должен помнить, что всю жизнь высказывался против всяких привилегий. И теперь, когда вы предлагаете мне привилегированный пашек, я должен применить к себе те правила, которые рекомендовал другим“.

В следующем от 13-го июня 1921 г. вопрос о нем описан немного иначе, но только немного. Это легко объясняется известной скромностью автора.

Говорят, что гений, ум и талант, между прочим, выражаются в способности сосредоточивать особенное внимание на данном предмете. Отсюда и анекдотическая рассеянность многих великих людей. Наблюдалась эта черта и у Короленко. Оторванный от работы, он отвечал неохотно, невпопад. Родные и близкие в таких случаях говорили:

— Хотя Владимир Галактионович и вот тут сидит, но он отсутствует.

По уверению Зомбарта, Карл Маркс понимал людские пороки гораздо лучше, чем добродетели. Короленко—наоборот. Вообще, очень проникательный, он порой неверно оценивал людей, но замечательно, что эти ошибки всегда были из области переоценки добра: склонность считать людей, лучше, чем они есть. Может быть, этот романтизм отразился и на стиле Короленко. В одном из своих писем Чехов назвал стиль Короленко изысканным. А Чернышевский просил Иллариона Короленко:

— Скажите, при случае, вашему брату, чтобы он избегал не-простых сравнений.

Стилистические способности были семейной чертой Короленко. Юлиан, старший брат Владимира, писал необыкновенно легко, красиво и образно. Слова и обороты его никогда не затрудняли. Немного понимая в музыке, он одно время давал музыкальные рецензии в одну газету и писал их очень недурно только благодаря стилистическим способностям.

С юного возраста, — говорил Короленко, — у меня проявилась склонность, когда я иду один, слагать не только отдельные фразы, а чуть не целые страницы. Вероятно, так и изощряется способность слога: голова постоянно работает над формами мысли.

Но, к сожалению, довольно часто искусство в стиле и даже изрядное писательское дарование не гармонирует с другими чертами.

— Судьба порой возлагает литературные таланты на спины порядочных ослон, — любил повторять Короленко.

Семнадцать лет тому назад я напечатал в „Нижегородском Сборнике“ очерк о Короленко, который тогда был здоров, бодр и весел. И очерк мой несколько вышел оживленным искрами Короленковского юмора. Теперь, когда Короленко уже нет, и очерк мой выходит траурным и минорным. Да и время теперь слишком трагическое. Но все же правды ради надо упомянуть, что юмор, веселость, умение смеяться — были выдающимися чертами Короленко. Не даром он особенно любил Диккенса и Гоголя. Юмор выручал Короленко во время

чествований, юбилеев и разных других „высокоторжественных“ случаев, когда так легко быть смелым, уподобившись тем, которые „носят свои головы, как святые дары“. Вот для примера несколько писем.

... „Не так давно я прочитал в „Нижегородском Листке“, что Соединенный Клуб собирается отметить день моего рождения и при том почему — то 15-го июня. Хотя 50-ая годовщина совсем не такое событие, которое приятно праздновать и отмечать особенным образом, но уж если это неизбежно, то и должен сказать, что родился не в июне, а 15-го июля, на Св. Владимира, когда в Нижнем поднимаются армарочные флаги. В нашей семье был обычай — не обижать святых и давать имена по святым. Таким образом, отец мой получил название Галактиона; его брат пошел на созвучного святого и всю жизнь прожил редким именем Никтополиона. Мои братья получили Юлиана и Илариона, и, родясь и в день святого Иоса, то быть бы мне Иосом Короленко. К счастью, родился на Владимира, — одного из благозвучнейших святых, — и таким образом избег остальных“.

Из письма от 21 мая 1913 г.

... „Получаю приветствия „по случаю шестидесятилетия“... Это, вероятно, опять наврал календарь. Прежде писали мое рождение 15-го июня. Я попросил исправить, чтобы не получать поздравлений и на Антона, и на Онуфрия. Исправили: подвинули на месяц, только не вперед, а назад. И это как раз к шестидесятилетию“.

Из письма от 16 июля 1920 г.

... „Сердце плохо, и лето не принесло заметного улучшения. Даже сапожное дело стало утомительно. До сих пор в течение двух лет я им развлекался, а встать обув всей семьи держал в исправности. Теперь с сокрушением сердечным вижу, как на ней появляется все больше изъязв, а помочь не могу“.

Из письма от 30 апр. 1920 г. Полтава...

„У нас были колонии из России (около 7 тысяч детей). Надо отдать справедливость: обе стороны относились к детям внимательно. Большевикам и Бог велел: это они послали детей, но и денники отпускали средства и облегчали задачу. При сем случае на мою квартиру было сделано нападение 2-х вооруженных бандитов. Они узнали, что при эвакуации большевики сдали на Дигу все заботы и оставили нам два миллиона, которые в этот день и ночь находились на моей квартире. И вот два бандита пришли к нам под вечерок в расчете, что мы испугаемся, потребовали отдать им деньги. Но никто из нас не растерялся, а я схватил одного за руку с револьвером. Произошла борьба. Адашья Семеновна и Наташа линулись мне на помощь. Раздался два выстрела, и дело их было испорчено: когда лянться сторонний помощ. Оба убавили, оставив одну пулю на полу в простреленную дверь, а в это время Соли с деньгами высочила в окно и сбросила деньги к соседям.“

... „Мне тоже смерть не страшна, — писал Короленко 14 июня 1921 г., — хотя хотелось бы „досмотреть до конца“. Кроме того, у меня есть семья,

и мне не хотелось бы расставаться с ней преждевременно. Мы, в особенности в эти мрачные дни, стали очень дружны“.

Короленко хотелось дожить до конца „переходного времени“, и он очевидно, думал, что это не за горами. Но вышло иначе: близким оказался его собственный конец. Смерти Короленко не боялся, хотя и не утешал себя мыслями о загробной, вечной жизни, где нет разлуки с любимыми людьми. О смерти он всегда говорил с глубокой серьезностью и сдержанностью. Вот некоторые из его писем, характерные в этом смысле. Из письма от 21 дек. 1915 из Полтавы о смерти брата Илариона:... „Мы с Соней вернулись из Джанхоты, оставив Илариона под зеленым холмиком над его домом. Теперь при спуске в Джанхотскую щель по новому шоссе—его могила сразу видается в глаза“... О смерти К. И. Лиховича—мужа дочери, которого В. Г. очень любил, он написал 26 апр. 1921 г. в следующих выражениях:... „О Лиховиче писать уже нечего: 12 дней назад мы его похоронили. Не стану писать, как это нас всех в семье убило. Бог знает, из-за чего погиб хороший человек“. А вот из письма от 27 апр. 1903 г.

... „Мамаша очень больна. Трудно произносится это слово, но, кажется, безнадежно. Доктора говорят, что у нее горловая чахотка. Я долго думал, что они ошибаются, но во всяком случае,—чахотка-ли, малярия-ли—все плохо, и улучшения не видно, слабеет с каждым днем. Мы надеялись на весну и на воздух, но теперь у нас весна давно, погода прекрасная, вывозим мамашу в сад,—но есть вещи, которых не остановишь... Но будет об этом.“

Из письма от 15 июня 1915 г. Хатки.

... „О смерти А. Н. Анненской я узнал в Бухаресте из „Русск. Записок“. Авдотья Семеновна знала раньше, но мне в дороге не сказала.“

Из письма от 5 июня 1916 г. Хатки.

... „Прочел в „Речи“ вашу заметку о покойном Савельеве. От всего этого пахло и многими трогательными воспоминаниями и болью. Один из моих товарищей по Петровской академии не так давно, выражаясь лесоводственными терминами, писал мне: „Умер-ли такой-то и такой-то. Да, наше поколение вступило в оборот лесорубки“. Относительно Савельева это давно перестало казаться неожиданным, и все же сердце сильно сжалось при известии“.

С уверенностью можно сказать, что и к собственной своей смерти Короленко относился спокойно, как к „вещи, которую не остановишь“. Ни фраз, ни позирований. Чувство и мысли были слишком глубоки для мишуры, хотя бы в глазах некоторых и эффектной.

Старый звонарь „опустил на грудь свою седую голову... мысль вспыхивает, как угасающее пламя, скользит ярким, быстрым лучом, освещающим все закутки прошитой жизни“... Вспоминает свою жизнь и Короленко в письме от 16 июня 1920 г. и подводит итоги:

... „Оглядываюсь назад. Пересматриваю старые записные книжки и нахожу в них много „фрагментов“, задуманных когда-то работ, по тем или иным причинам, не доведенных до конца. Такие отрывки выписываю в отдель-

ную большую книгу, чтобы облегчить дочерям работу по приведению в порядок моего небольшого, впрочем, литературного наследства. Вижу, что мог бы сделать много больше, если бы не разбрасывался между чистой беллетристикой публицистикой и практическими предприятиями, в роде мултанского дела или помощи голодающим. Но ничуть об этом не жалею. Во 1-х, иначе не мог. Какое-нибудь дело Бейлиса совершенно выбивало меня из колеи. Да и нужно было, чтобы литература в наше время не оставалась без участия в жизни. Вообще я не раскаиваюсь ни в чем, как это теперь встречаешь среди многих людей нашего возраста: дескать, стремились к одному, а что вышло... Стремилась к тому, к чему нельзя было не стремиться при наших условиях. А вышло то, к чему привел „исторический ход вещей“. И, может быть, без наших „стремлений“ было бы много хуже“.

С. Протопопов.

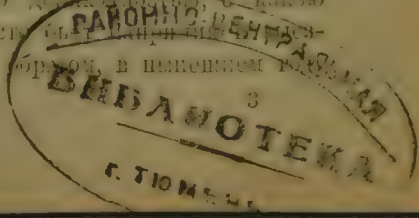
Агония „Современника“.

Последние месяцы существования Некрасовского „Современника“ представляют, прежде всего, незаурядный интерес, как один из наиболее ярких и драматических моментов в истории русской журналистики. Как ни как, агонизировал журнал, основание которому положили сам Пушкин, журнал, со страниц которого раздавалась страстная проповедь Белинского и в числе сотрудников которого лобызали чуть-ли не все представители славной плеяды писателей 40-х гг., журнал, сделавшийся с начала 60-х гг. органом и политического, и социально-экономического, и философского радикализма, преставленного такими именами, как Чернышевский и Добролюбов. В настоящей статье, однако, и предполагаю осветить последние месяцы существования Некрасовского „Современника“ не только с указательной точки зрения; мне хотелось бы также остановиться и на той роли, которая в описываемый момент выпала на долю редактора-издателя „Современника“ Николая Алексеевича Некрасова, уже около 20 лет (с января 1847 г.) стоявшего у кормила „Современника“. Роль эта будет мною охарактеризована на основании некоторых понятий т. е. еще не появившихся в печати данных.

В течение всего своего существования под редакцией Некрасова „Современник“ подвергался беспримерной по своему упорству неусуной травле. Отсылая интересующихся ее перипетиями к статьям А. Ершова („Из истории русской журналистики“, „Образование“, 1903 г., №№ 10 и 11) и жана („Черты редакторской деятельности Некрасова“, „Голос Минувшего“, 1915, № 10 и „Из истории Некрасовского Современника“, „Ежемесячный Журнал“, 1916 г., № 6), перейду к описанию тех условий, при которых „Современнику“ пришлось существовать с сентября 1865 г., т. е. с того времени, когда был введен в действие новый закон о печати. Закон этот, не лишенный, при новаторском отношении к нему, либеральной видности, так как он для целого ряда периодических изданий упразднилась предварительная цензура, таил в себе не мало неприятных возможностей для отечественной журналистики. В самом деле предварительная цензура, чрезвычайно стеснявшая, конечно, журналистику в свободном выражении ее мыслей, имела все же то удобство, что, до некоторой степени, ограждала издания от загромождения. Разве эти издания, освобожденные цензурой, то ответственность за нее, так, во всяком случае, перекладывалась в теории, падала на цензора, подписавшего ее к печати. Редакторы и авторы, претерпевшие мучительную процедуру прохождения через цензуру, Сиданов и

Харибды данного литературного материала, при таком порядке, могли себя чувствовать, по завершении этой процедуры, относительно спокойными. Конечно, в данном случае приходится говорить лишь об относительном спокойствии, ибо бывали примеры, что, наряду с цензором, пропустившим статью, отвечать за нее, если она почему-либо вызвала неудовольствие высшего начальства, приходилось и редактору, и автору, но все же, вообще говоря, стереотипная фраза: „Печатать дозволяется. Цензор такой-то“ — позволяла редакторской и авторской груди свободно вздохнуть. Новый закон, взамен предварительной цензуры, выдвигал административное усмотрение. Любая книжка „бесцензурного“ журнала могла вызвать кару в виде объявления предостережения, а получение трех предостережений влекло за собой приостановку издания. Право объявления предостережений предоставлялось министру внутренних дел, главе того самого ведомства, к которому принадлежали и главное управление по делам печати, и цензурные комитеты, стяжавшие себе впоследствии такую печальную известность. Что они стяжают се, об этом легко было догадаться, ибо в эти quasi новые учреждения были привлечены на службу прежние цензурные чиновники. Часть прогрессивной журналистики, в лице журналов „Русское Слово“ и „Современник“, хорошо понимала, что особенно радоваться по случаю упразднения предварительной цензуры не приходится, и не побоялась высказать свои опасения в особых статьях. Одолевали сомнения на счет нового порядка и искушенные в цензурных бурях Некрасова, о чем можно судить по скептическому тону его „Песен о свободном слове“, в особенности по стихотворению „Литераторы“. Однако, горькая действительность превзошла самые смелые ожидания. Предостережения градом посыпались не только на издания с ярко прогрессивной физиономией, но даже на издания умеренно либерального и даже патристического (славянофильского) лагеря. В особенно тяжелом положении оказались, конечно, „Современник“ и „Русское Слово“. Здесь, само собой разумеется, сыграла роковую роль непримиримость установившейся за ними репутации. В архивах главного управления по делам печати я нашел недатированный, но, несомненно, относящийся или к 1864, или к 1865 гг. отзыв об этих журналах влиятельного чина ора Елсвева. Он настолько характерен, что его цитирование будет привести полностью тем более, что он еще не появлялся в печати.

„Современник“ и „Русское Слово“ принадлежит к одному литературному направлению; главные черты каждого суть: оппозиция правительству крайности политических и нравственных мнений, социально-демократические стремления, наконец, религиозное отрицание и материализм. Различие между этими двумя журналами состоит, во первых, в том, что статьи „Современника“ составляются с большим талантом и строже подгоняются под один цвет, чем статьи „Русского Слова“. Этот последний журнал допускает иногда и статьи умеренного оттенка, но зато, не имея способности проглотить свое направление с той последовательностью и беспримысленно-тонкою доктринальностью, с какою провозит его „Современник“, „Русское Слово“ чаще всего выдает себя, говоря преимущественно на резких фразах. Таких фраз, в частности, „Вызов“ № 20.



некоторые его статьи были даже рельефнее „Современника“. Далее социализм „Русского Слова“ выводится из-бы из начал науки и из экономических требований нашего народа, тогда как „Современник“ основывает его часто на пожеланиях своего сердца и стремится иногда довести его до самого грязного коммунизма. „Русское Слово“ придает иногда своему материализму характер скептического реализма, „Современник“ же отвергает все эти тонкие оттенки одного и того же направления и берет только окончательный его цвет. Самые крайние и чуждые учения, давно уже потерявшие кредит в Европе, падают себе отголосок в этих журналах. Если разбирается какой-нибудь известный иностранный писатель, то только для того, чтобы, на основании нескольких вырванных из него мыслей, проводить оппозиционное или религиозно-отрицательное направление; все-же, что есть в этом писателе консервативного в том или другом отношении, подвергается осуждению, как отсталость и предрассудок.

Правительство почти вовсе игнорируется в этих журналах: великие преобразования нынешнего царствования приписываются всемогущему духу времени, неотразимой силе обстоятельств, инициативе журналов и т. п. Правительство же едва удостоивается при этом снисходительного одобрения за то, что оно не упорствовало, не отвергло настояний упомянутых могучих деятелей».

Точка зрения Еленева разделялась большинством цензурных деятелей того времени, а потому неудивительно, что первая же „бесцензурная“ книжка „Современника“ заставила их забыть тревогу.

Текст нижеследующего донесения петербургского цензурного комитета в главное управление по делам печати от 11 октября 1865 г. за № 746 (см. „Дело канцелярии Гл. Упр. по делам печати, № 73, по прошению издателя и редактора журнала „Современник“ дворянина Н. Некрасова и состоящего в чине VIII класса А. Пыгина об освобождении упомянутого журнала от предварительной цензуры. Началось 15 сентября 1865 г. Решено 30 июля 1868 г.“) свидетельствует, что большее всего было узвлено цензурное ведомство статьею Антоновича, развивавшего как раз те самые скептические мысли о новом законе о печати, о которых говорилось выше.

„Октября 4-го с 11 часов по-полудни поступила в С.-Петербургский Цензурный Комитет книга „№ VIII Современник, за Август месяц 1865 г.“, журнала, изъятая от предварительной цензуры.

„Цензор, которому передана была книга на рассмотрение, 9-го сего октября заявил в заседании Комитета, что в статье означенного № „Современника“, озаглавленной „Надежды и опасения“, автор ее, Антонович, представив действия французской администрации по делам печати в виде произвола и личной мести, возбуждающих презрение в обществе, и дав понять, что того-же самого можно ожидать и у нас, имел, очевидно, по мнению цензора, целью: во 1), уронить и опозорить в глазах читателя вновь изданный закон о предостережениях, во 2), придать будущим действиям нашей администрации по применению сего закона характер произвола и своекоры-

ствия, в 3) предварительно возбудить к сим действиям презрение в обществе и в 4), запугать самую администрацию и выговорить вперед своему журналу сочувствие и уважение общества, в случае могущих последовать предостережений.

„Такозые попытки, обнаруженные автором в приведенной статье, должны были бы, по мнению цензора, подлежать преследованию на основании 9 ст. п. 1 отд. IV Высочайше утвержденного 6 апреля сего 1865 г. мнения государственного совета; но, принимая в соображение, что автор, дабы устранили или, по крайней мере, ослабить для редакции судебную ответственность, прибегнул к обыкновенному литературному обороту и отнес все оскорбительные отзывы не прямо к закону 6 апреля и не непосредственно к существующим у нас правительственным учреждениям, а к французской администрации, и вообще придал своим рассуждениям такую форму, как-бы они касались не самого закона, а только возможного со стороны нашей администрации злоупотребления оным, цензор находит, что судебное преследование этой статьи может или вовсе оказаться несостоятельным, или, по крайней мере, повести к изысканию, не соответствующему тому вреду, какой, несомненно, последует, если закон, только что изданный, и действия правительственной власти, даже прежде их обнародования, будут подвергаться осуждению и посямению, хотя-бы в виде для всех понятных наведений и сближений.

„С.-Петербургский Цензурный Комитет, принимая в основание заявление цензора о вышеприведенной статье означенного номера журнала „Современник“, разделяет мнение его, что судебное преследование статьи сей может оказаться несостоятельным, и потому, руководясь конфиденциальною инструкцією, данною цензорам, имеет честь предоставить о вышеизложенном на усмотрение Главного Управления по делам печати“.

Следуют подписи председателя действительного статского советника А. Петрова и секретаря колл. сов. Селезнева.

Упомянутый выше цензор Еленев, очевидно, был неудовлетворен отзывом своего сотоварища об августовской книжке „Современника“ и, finding его недостаточным, решил его дополнить новыми обвинениями. О степени усердия Еленева в данном вопросе позволяет судить новое отношение цензурного комитета в главное управление по делам печати от 18 го октября 1865 г., за № 766:

„В заседании С.-Петербургского Цензурного Комитета, 13 сего октября, слушано было заявление цензора Еленева о некоторых статьях № 8 „Современника“ за август сего года, которые, хотя по форме изложения и не представляют, по мнению г. цензора, достаточных оснований к судебному преследованию, но по своей цели и содержанию составляют нарушение закона о печати и притом выражают собой главные черты направления этого журнала.

1. „Новые времена“, статья, заимствованная из одного английского журнала и описывающая общину реформаторов, существующую в Нью-Йорке и устроенную по началам коммунизма. В статье восхваляются, между прочим, свободные половые отношения, существующие в общине; приводится реш.

одной женщины (члена общины), которая осуждает брак, как самоубийство любви, как затверделые цепи, называет это учреждение сказочным чудовищем, престол которого стоит на человеческих черепах, и требует свободы брачных отношений, в виде ли многогамии, или же в виде бигамии и полигамии (стр. 376. 383—384). Редакция „Современника“ с своей стороны находит, что такие требования весьма естественны, в виду существующего уже мармонства и отдельных последователей и последовательниц бигамии и полигамии (370).

2. „Надежды и опасения“. Автор, сделав переход от цензуры книг к общему правительственному надзору, упрещает наши правительственные власти в духе соглядатайства, говорит, что русский ум, вследствие постоянного гнета всеобщей цензуры и привычки ко всегдашнему повиновению, был забит и пригнуплен (стр. 175). При новых цензурных постановлениях, подчиняющих литературу цензуре преследовательной, мысль попрежнему остается стесненною, и все облегчение сводится лишь на освобождение слога от цензурских поправок. Сказав, затем, что даже и эти, чисто формальные, облегчения возбуждают радость писателей, автор прибавляет: „удивительно, как губительно действует на человека рабство, как извращает и убивает в нем все хорошее, что могло-бы украшать его при свободе. Малейшее ослабление рабского гнета, тяготеющего над человеком, уже возмущает его в собственных глазах. Трудно себе и вообразить, как было-бы хорошо, если бы люди были свободны во всех отношениях (178)“. Высказывается предположение, что безцензурные и подцензурные издания будут отличаться одними лишь внешними удобствами, а не существенными правами. Такое предположение подтверждается, между прочим, и тем, что управлять и руководить бесцензурною прессою призваны те-же самые деятели, которые прежде занимались цензурою предварительною. Таким образом, за приобретение одних внешних удобств бесцензурные издания должны внести залог и подвергаться всем карам административной мудрости и административного произвола (180—183). Действия цензуры предварительной преимущественно управлялись не законом, а капризом и произволом высших административных лиц. На предварительную цензуру возводится обвинение, что она прятала свои запрещения, как нечто неблагоприятное, и вообще действия ее подвергнуты насмешкам и осуждениям (188, 194, 195). Цензор считает также нужным заявить, что в этой статье делается обращение к Министру Внутренних Дел с просьбою: во 1-х, не давать предупреждений за статьи, в которых будут подвергаться умеренной критике действия нашей администрации, во 2-х, чтобы, в случае задержания или конфискации какого-нибудь М. издания, дозволено было извещать о том подписчиков, и чтобы сама администрация объявляла причину таковой меры; в 3-х, чтобы точнее было определено, что должно подлежать рассмотрению Духовной Цензуры (193).

3. „Фердинанд Лассаль“. Горачее сочувствие к демократизму и нехваление политического агитаторства Лассалья: 1).

¹⁾ Против этих строк сбоку сделана пометка синим карандашом: „3) Стихи Некрасова о цензуре“.

4. „Парижские письма“. Выражает, между прочим, сочувствие французской революции 1789 г. и осуждение монархического начала не только в виде нынешнего империализма, но и в виде легитимистской или орлеаннстской конституционной монархии.

5. „Записки Современника“. Пропаганда, довольно впрочем сдержанная, хотя и крайне абсурдная, социального демократизма, но идеям Лассаля, и некоторые следы коммунистических тенденций. Доказывается право крестьян на вознаграждение из общей выработки, т. е. из той массы капиталов, которая, составляя сбережение, сделанное руками рабочих классов, несправедливо отдана в руки капиталистов (321).

„Комитет, находя, согласно с мнением цензора, что вышеупомянутые статьи, появившиеся в неподцензурном издании, хотя и не представляют достаточных оснований к преследованию, но характеризуют направление журнала „Современник“, считает долгом на основании конфиденциальной инструкции, данной цензором, заявить о них Совету Главного Управления по делам печати в дополнение к представлению своему от 11-го сего октября, № 746“. Подписи тех-же А. Петрова и Селезнева.

Хотя приведенные донесения цензурного комитета не повлекли за собой непосредственных нар, но, как увидит читатель, послужили материалом для последующих репрессий против журнала.

Вторая „бесцензурная“ книжка „Современника“ вызвала еще более недоброжелательное отношение цензурных сфер. Вот текст донесения цензурного комитета в гл. управление от 5-го ноября 1865 г. за № 814:

„В заседании С.-Петербургского Цензурного Комитета 3 сего ноября слушан был следующий доклад цензора Еленева о IX книжке (за сентябрь) „Современника“ 1865 г.:

„Статья „Записки Современника“. Автор старается доказать, что из земель и капиталов, принадлежащих нашим привилегированным классам, крестьяне имеют право по малой мере на такую часть, которая представляла бы ценность в 6 миллиардов рубл., что составит по 1000 рубл. на ревизскую душу (стр. 92—94). Дворянское землевладение и промышленные капиталы составились у нас, по утверждению автора, путем крепостной зависимости, налогов и казнокрадства; теми-же путями крестьянин лишен был капиталов, составляющих результат его труда и его законную собственность. Роль, какую при этом играли землевладельцы и капиталисты, была несправедлива и бесчестна. Так как подобное положение создано было законом, то автор требует, чтобы закон же и исправил его, возвратив крестьянам отнятое у них достоинство и сделав их из работников капиталиста. Пока это не будет исполнено, до тех пор привилегированные классы должны быть почитаемы заедателями крестьянского хлеба и состоящими в долгу у крестьян (94—95). Далее автор рисует самыми резкими чертами глубокое нравственное падение высших классов, вследствие их долгой привычки жить на чужой счет. Выражаясь словами Лассаля, он говорит, что каждый член высших сословий по принципу праждеба развитию и благосостоянию народа, что по самой этой противоположности

интересов высших сословий и народа все высшие классы необходимо должны быть безнравственны, жить одною страстью к корысти и наслаждениям, неизбежно должны сопротивляться всему великому и доброму в народной жизни, проклинать всякий успех в ней, быть, одним словом, врагами народа (97—98). Автор огулом обзывает все высшие классы испорченными, образ их действий бесчестным и постыдным, и такие определения выводит не из каких-либо частных недостатков и пороков высших классов, а из самого сословного их значения, из того факта, что они владеют землею и капиталами, которые, по понятиям автора, несправедливо отняты у народа (98). Автор говорит, что так называемое им заедание мужицкого хлеба, под которым он разумеет факт принадлежности земли и капиталов высшим сословиям, есть дело более бесчестное, чем шулерство и подделка ассигнаций (102). В дальнейших своих рассуждениях автор, хотя и не решается еще высказать ясно свои собственные понятия об общественном устройстве, но в выражениях, до крайней степени резких, нападает на современное устройство общества за то, что оно, с одной стороны, терпит существование капиталов и поземельной собственности высших классов, и с другой—допускает существование рабочего класса и наемной работы, что оно признает личную собственность, личную выгоду и соревнование необходимыми условиями всякого производительного труда. Такое общественное устройство автор называет илотством, похищением народного достояния, посягательством на личность массы, спекуляциею над народом, а политико-экономическую науку, признающую те-же начала, именует подлою и безнравственною. Наконец, автор приходит к заключению, что высшие сословия только тогда могут подавать надежду на некоторое нравственное улучшение, когда они ликвидируют свой долг народу, откажутся от заедания мужицкого хлеба и от обладания похищенными у народа капиталами (103—112).

„Принимая в соображение, что статья „Записки Современника“ осуждает в самых резких выражениях существующее повсюду и неотвратимое никакими искусственными системами неравномерное распределение собственности, что она выставляет существование капиталов и личной поземельной собственности, как действие насильственное и бесчестное, что существование рабочего класса и вытекающую отсюда необходимость наемной работы она изображает, как илотство и вырождение человеческой личности, как спекуляцию над народом, что она старается, наконец, доказать необходимость возвращения рабочему классу отнятых у него земель и капиталов, цензор полагает, что упомянутая статья составляет прямое оспаривание и отрицание повсюду существующих и общепризнанных начал собственности, и потому, на сие. Высочайше утв. 6 Апреля 1865 г., Мнения Государственного Совета, Отд. IV, ст. 9, п. 3, подлежит судебному преследованию.

„Во-вторых, означенная статья, утверждая, что дворянство и вообще привилегированные классы несправедливо владеют достоянием, которое по праву должно-бы принадлежать крестьянам, изображая эти классы глубоко безнравственными и, по самому принципу их существования, враждебными остальному

народу выставили самый факт владения землею и капиталами действительном бесчестным и постыдным, означенная статья, очевидно, стремится доказать злобредность высших классов для народного благосостояния и представить их в несправедливом и презрительном виде. При всем том цензор полагает, что эта статья, по форме изложения, не может быть отнесена к роду воззваний, упоминаемых в Высочайше утв. 6 апреля Мп. Госуд. Сов., Отд. IV, ст. 9, п. 2. Под воззванием законодательство обыкновенно разумеет непосредственное возбуждение к какому-либо преступному деянию, обращенное или ко всему населению, или к известной его части; упоминаемая же статья есть литературное рассуждение, хотя и написанное в духе крайних социалистов, но ни к кому в особенности не обращаемое и притом недоступное пониманию простого народа. Потому цензор полагает, что приведенная выше статья закона 6 апреля, в ее буквальном смысле, не может быть применена к статье „Записки Современника“.

„С.-Петербургский Комитет, соглашаясь с мнением цензора, имеет честь представить его на заключение Главного Управления по делам печати.“

„Вместе с сим, цензором заявлено было о нижеследующих статьях означенной книжки „Современника“, которые, хотя и не представляют достаточного повода к судебному преследованию, но составляют, однако, нарушение закона о печати и притом выражают собою главные черты направления этого журнала.“

1. „Об особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия“. „Статья Лассали“. Заключает в себе превознесение начал демократической революции 1848 г. Высшие классы признаются нравственно развращенными; господство над государством должно принадлежать рабочему классу.

2. „Интересы дворянства или интерес барона Френкеля, что дороже „Московским Ведомостям?“ Статья эта, на основании устава банка Френкеля, старается доказать, что это предприятие есть не более, как обман, рассчитанный на несостоятельность заемщиков, вследствие которой Френкель за 5 мил. бумажных рублей станет хозяином русских имений сперва на сумму ¹⁰⁰ мил., а потом и более (7—8). Делается намек на лица, пропандирующие план Френкеля, имея в виду поделиться с ним барышами (9). В заключение автор говорит, что устав банка отдаст наших землевладельцев и капиталистов на эксплуатацию Френкелю, что устав этот нерасчетлив в политическом отношении, чудовищен в финансовом и сверх того противен самой букве нашего законодательства (26).

3. „Русская Литература. Губернская пресса“. Насмешки над губернской администрацией, по поводу распоряжений некоторых губернаторов, заглаженных в местных губернских ведомостях.

О чем Комитет, на основании данной цензором конфиденциальной инструкции, и имеет честь заявить Совету Главного Управления по делам печати“. Подписи А. Петрова и Селезнева.

Это отношение цензурного комитета придало вопросу о „Современнике“ такую остроту, что он был подвергнут обсуждению на ближайшем заседании

совета главного управления по делам печати. В качестве материала на заседании были заслушаны выписка из последнего отношения комитета и письменное мнение члена совета В. Фукса, которому еще в октябре было поручено составить отзыв о направлении „Современника“ вообще и о направлении его последних книжек в особенности (см. „Дело канцелярии Гл. Управл. по дел. печати“, за № 40. Началось с 6-го сентября 1865 г. Решено 28 декабря 1865 г.). В своем мнении Фукс так характеризовал прошлое „Современника“: Журнал „Современник“, по поводу обнаруженного им вредного направления, был приостановлен в 1862 г. на восемь месяцев. По возобновлении своем, по истечении срока приостановки, этот журнал дал своим читателям романы „Что делать“ г. Чернышевского и „Смелый Шаг“ г. Леона Брауди, в которых выразилось то же самое направление журнала, которое вызвало временную его приостановку. Независимо от сего, в течение последних двух лет, в этом журнале помещались ученые статьи и обозрения общественной жизни, направленные, с крайне редкими исключениями, к той же цели. Эта цель журнала заключалась не в литературном только выгилизме, но и в политическом и общественном; она состояла в стремлении к поколебанию авторитета правительственных распоряжений и высших классов общества, которые были постоянно выставлены исключительно в виде недобросовестных эксплуататоров низших слоев народа, далее в подрывании основ собственности, семейного союза и общественной нравственности. Такой взгляд на направление „Современника“ был высказываем как в здравомыслящей части публики, так и в журналистике. Но направление это до 1 сентября сего года, будучи скрываемое, хотя не всегда с успехом, цензурой, не могло приносить много вреда, особенно в виду последовавшего, под влиянием многих последних событий, отрезвления молодежи. Затем, с выходом этого издания из-под цензуры, в публике разнеслась молва, достигшая и до правительственных сфер, что редакция означенного журнала, в виду новых более льготных для отечественной печати условий, намерена умерить свое направление и свой тон. И, действительно, в первой, вышедшей без цензуры, августовской книжке редакции, в статье под заглавием „Итоги“, путем довольно ловких, хотя и натянутых выводов, старается представить себя в ином свете как перед обществом, так и перед правительством, с которым журнал, по словам статьи, как будто действовал заодно и для достижения тех же целей в борьбе с большинством общества. Но этот умеренный поворот только и остался на страницах передовой статьи августовской книжки, ибо в прочих статьях той же книжки журнала развиваются совершенно прежние его тенденции, которые во второй, т. е. сентябрьской книжке, доходят до крайнего выражения, благодаря отсутствию цензуры, переставшей уже быть препятствием той аффектации, которая не может не действовать возпламенятельно на молодежь, доселе еще далеко не ожившую к сему журналу.“

В дальнейшем Фукс давал обзор содержания „предосудительных“ статей августовского и сентябрьского ММ. Ссылаясь на статьи „Новые времена“ (М 8), „Идежды и опасения“ (там же), „Записки Современника“ (ММ 8 и 9), он формулировал их предосудительность или в выраженных, тождественных

с формулировками цензурного комитета, или в выражениях, представляющих их вольным пересказ. Характерно, что перечень «предосудительных» статей был дополнен Фуксом указанием на стихотворение Некрасова, «Газетная», в августовском №, где «изображено в оскорбительном виде существующее, а следовательно охраняемое силою закона звание цензора, в особенности на стр. 511, от слов „освежившись“.... до слов: „труден мой путь“. Данный отрывок в стихотворении читается так:

Освежившись холодною клюквой,
Он ²⁾ прибавил:—А что я терпел!
Не один оскорбленный писатель
Письма бражные мне посылал
И грозился... (да шутишь, приятель!
Меры я подлежащие брал).
Мне мерещились авторов тени,
Третьей ночью еще Фейербах
Мне приснился—был рот его в пене,
Он держал свою шляпу в зубах,
А в руке суковатую палку....
Мне одна романтика чуть-чуть
В маскараде... но бабу—нахалку
Удержали... Да, труден наш путь!

Закончил Фукс свой доклад совету гл. упр. нижеследующим заявлением:

„На основании вышеуказанного, разделяя мнение с.-петербургского комитета о предосудительности направления двух вышедших без цензуры книжек «Современника», я не разделяю, однако, его заключения о том, что большая часть статей, по неумовности преступного их содержания, должны быть оставлены без последствий, и что только оспаривание начал собственности во второй статье под заглавием «Записки Современника» должно подлежать преследованию, а также, что это преследование должно быть судебное. Находя необходимым не оставить без надлежащего взыскания ни одной из указанных во всем отрыве статей, из которых действительно не все могут быть успешно подвергнуты судебному рассмотрению, а с другой стороны, признавая полезным, помимо свойственной судебной процедуре медленности, предварить как «Современник», так в лице его и другие редакции от дальнейших попыток к пропаганде подобного направления, я полагал бы обилие журналу «Современник» первое предостережение“.

При обсуждении предлагаемой Фуксом меры среди членов совета произошло разногласие. Председательствующий (очевидно, М. Щербинин) и члены действительные статские советники Ф. Толстой, А. Петров и Мартинов всецело присоединились к мнению Фукса, но «либеральная» часть совета (разумеется, здесь можно говорить об очень относительном либерализме), в лице тайных советников Тирунова и Тютчева (поэта) и действительных статских со-

²⁾ Он—это цензор.

ветников Варадинова и Гончарова (автора «Обломова») настаивала на возбуждении против «Современника» судебного преследования. Соображения Тютчева, Турупова, Варадинова и Гончарова, изложенные ими в особой записке, сводились к тому, что в статье сентябрьской книжки «Записки Современника» заключается прямое оспаривание начал собственности, предусмотренное в пункте 3, ст. 9, отд IV высочайше утвержденного 6-го апреля 1865 г. мнением государственного совета, что статья эта напечатана без подписи автора, следовательно, имеет характер статьи руководящей, выражающей убеждения и направление журнала «Современник», статьи, если и не представляющей по внешней форме своей характера открытого воззвания, то во всяком случае обращающейся к массе читателей с явным намерением возбуждения вражды в одном сословии против другого, что, не будучи противно буквальному смыслу соответствующей статьи закона, во всяком случае противно ее духу. В происшедшем обмене мнений большинство, — заметим, кстати, что большинство это было большинством одного голоса, к тому же голоса самого докладчика, — указывало, что речь идет не только о вредном направлении данной статьи, но о вредном направлении всего журнала, а потому «карательная мера должна быть принята не против одного факта, но против всего направления журнала. Судебное же преследование казалось бы возможным только против одной статьи». При этом большинство отмечало, что так как в статье «Записки Современника» не заключается «прямого» оспаривания начал собственности, а лишь косвенное, то это обстоятельство может послужить на пользу обвиняемых. «Наконец, представляется неизбежным принять в соображение, что в случае судебного преследования обвиняемые в оспаривании начал собственности будут стараться придать частному процессу — характер процесса сословного и могут усвоить себе роль адвокатов угнетенных классов, и потому, на первых порах нашего гласного и независимого судопроизводства, при неотъемлемом праве прессы знакомить публику со всеми подробностями судебных прений, при характере дела, не допускающего решения при закрытых дверях, едва ли может быть признано удобным судебное разбирательство настоящего вопроса». Министр внутренних дел, гр. П. А. Валуев утвердил мнение большинства, и 10-го ноября «Современнику» дано было первое предостережение за оскорбление начал брачного союза (ст. «Новые Времена» в № 8-м), за косвенное «поричание начал собственности в применении к капиталистам, несправедливо будто бы приписывавшим себе сбережения рабочих классов» (ст. «Записки Современника», в № 8 м), за «прямое оспаривание и отрицание» начал собственности (ст. «Записки Современника», в № 9) и за возбуждение «вражды к высшим и вообще к имущественным классам, выставляемым, по самому принципу их существования, безразличными и зловредными для народного благосостояния» (там же). В пояснение предостережения было сказано, что оно вызвано вредным направлением журнала вообще и была приведена подробная квалификация предосудительных статей из доклада Фука, с упоминанием и стихотворения «Газетная». Того же 10-го ноября, которым было датировано предостережение, о нем было официально сообщено редакторам «Современника», как это

является из нижеследующего автографа Некрасова, сохранившегося в делах гл. управления по делам печати:

„1865 года ноября 10 дня в десять часов и три четверти вечера отношение главного управления по делам печати от сего числа за № 472 нам объявлено и приложенное при оном заявление о распоряжении министра внутренних дел по предмету объявления первого предостережения журналу „Современник“ нами получено, каковое будет немедленно напечатано, согласно порядку, указанному в статье 31, разд. II Высочайше утвержденного 6-го апреля сего года мнения государственного совета.

Издатель и редактор „Современника“ Николай Алексеев Некрасов.

А. Пыпин.

Объявлено и выдано помощником надзирателя штабс-ротмистром Кулябко“.

Третья „бесцензурная“ книжка „Современника“, т. е. № 10 за 1865 г., в свою очередь, привлекла подозрительное внимание цензурных инстанций. В статье Антоновича „Суетумудрие Дня“, цензор Еленев, а вслед за ним и цензурный комитет готовы были усмотреть, как это видно из отношения комитета в главное управление от 25-го ноября, за № 877, неуважительное отношение к православию и вообще к христианской религии, но „принимая во внимание, что автор далеко не высказывает своих мыслей ясно и категорически, а дает их понять посредством различных намеков, сопоставлений и умышленного смещения слов и понятий, одним словом, посредством той условной и искусно запутанной фразеологии, смысл которой вполне ясен лишь для читателя, привыкшего к подобному способу выражения и близко знакомого с направлением журнала“, полагали, что „суд затруднился бы признать в этой статье явное и положительное нарушение закона“. Еще большие опасения со стороны цензора и комитета возбудил рассказ Успенского „Деревенское востречие“. В статье этой, читаем мы в отношении комитета, „выводится на сцену развратный, буйный и обезумевший от пьянства левчий Пикитич. Потеряв голос от перепоя, он получает сперва место диакона, а потом, как видно по смыслу всего рассказа, назначается священником; продолжает вести самую развратную жизнь, убивает жену и за это отставляется от служения. В рассказе встречается несколько выражений кощунственных и оскорбляющих религиозное чувство. Например, одно действующее лицо духовного звания, по словам автора, высказывает такие качества, имена которых можно брать только из истории ветхого завета и притом не позднее появления 10-заповедей: любостяжанье, лжесвидетельство, страстное желание чужого осла и вола и всякого скота. Автор выражается, что в этом действующем лице „разгадываются библейские похоти“, и здесь же упоминает о „старинных книгах, сказках и житиях“, очевидно, разумея в том числе и священное писание, как то является по смыслу речи (412). Представив в самом полном виде жизнь мелкого чиновничества и городского духовенства, автор заканчивает картину следующими словами: „геморрой, поносницы и ревматизмы принимались хозяйничать и оставалось только желание, пронесенное в целостности чрез всю жизнь и состоявшее в том, чтобы как-нибудь попасть в царство небесное, ибо в аду жара пред-

ставилась до такой степени ужасною, что одна капля воды равнялась целому кувшину холодного кваса, который в сей тленной жизни всякий чиновник выпивал заном с просонок" (421). При чтении Никитичем Апостола, любители его голоса, по словам автора, принимались в церкви трепать в ладоши (419). В рассказе „Деревенские встречи“ содержится, во 1-х, кощунство над священным писанием, над верою в будущую жизнь и над церковным богослужением, и, во 2-х, оскорбляется священнослужительское звание. По неимению прямого закона против кощунства посредством сочинений, а также по отсутствию в законе статей против оскорбления священнослужительского звания, цензор полагает, что статья эта могла бы подлежать судебному преследованию на основ. ст. 1356 улож. о наказ., как сочинение, явно противное нравственности и благопристойности. Но, принимая в соображение, с одной стороны, что кощунство заключается лишь в некоторых отдельных выражениях этой статьи и скорее может быть приписано нравственному невежеству автора, чем умышленному намерению оскорблять религию, а с другой стороны—выведенное изображение развратного духовного лица представлено, как частный случай, возбуждающий ужас и отвращение в других действующих лицах духовного звания, цензор и относительно этой статьи полагал бы более удобным отложить судебное преследование до того времени, когда совокупность нескольких нарушений закона представит к тому более достаточные поводы“.

В заключение в отношении цензурного комитета содержалось указание на эпиграф к стихотворению Некрасова „Железная дорога“ в котором был поименован гр. П. А. Клейнмихель. „Подобное выставление имен высших правительственных лиц, заявлял комитет, крайне неуместно“.

Отношение комитета было передано на рассмотрение члену совета главного управления Мартынову, который составил по поводу него обстоятельный доклад. Доклад этот, представляющий собою весьма ценный документ для характеристики как цензурных нравов того времени вообще, так и отношения цензурного ведомства к „Современнику“ приведем полностью:

«При рассмотрении представления с.-петербургского цензурного комитета, от 25 ноября за № 877, я нашел изложенное в нем заявление цензора о 10 книжке „Современника“ требующем исполнения как потому, что цензор счел нужным сделать замечание только о 3-х статьях, входящих в состав означенной книги, так и потому, что замечания, сделанные им по поводу стихотворения „Железная дорога“ и статьи „Суемудрие Дня“, я нахожу слишком умеренными, и к тому же и заключения о них не соответствующими их вредному направлению.

„Видяне соглашаясь с суждениями г. цензора, по поводу статьи „Деревенские встречи“, я долгом считаю обратить внимание совета и на некоторые другие статьи октябрьской книжки „Современника“, отличающиеся непрерывным стремлением к осуждению существующего в нашем государстве порядка вещей, посягнувшие на священный отпечаток социалистических мудрствований, и в особенности возбуждающие неприязнь и даже презрение к некоторым сословиям, служащим постоянно мишенью для сотрудников „Современника“:

„1) В статье Очерки истории русской литературы“, за подписью „Грицко“, автор, говоря о современной деятельности нашей литературы и утверждая, что „идеи, являющиеся в Европе, непременно найдут свой отзыв у нас“ (стр. 239), заканчивает период мнением, что „вопросы, которые разрабатывались в Европе, от 1840 до 1848 г., разрабатывались и продолжают разрабатываться у нас“. Чем автор силится доказать, что коммунизм и социализм не перестают гнездиться в России.

„В той же статье (256), описывая деятельность цензора, говорится: „Вот почему, пока есть цензура, каков бы ни был закон ее, он не может сохранить для литературы законной свободы“. Замечательная антипеза—закон, препятствующий законности, была бы только бессмысленным противоречием, если бы не скрывала в себе намерения служить порицанием цензурного законодательства.

Далее (стр. 273), говоря о бывшем в царствование Екатерины II меценатстве, не сдерживаясь прибавляется: „Дело в том, что расстояние от одного сословия к другому в то время еще существовало“, предоставляя читателю сделать из сего категорический вывод, что в настоящее время оно уже более вовсе не существует.

„2) В статье „Хроника жизни солдатского сына“ за подписью Свеченко, автор напугает все возможные, а потому часто и недозволенные усилия, чтобы выставить существовавшее прежде в России учреждение военных кантонистов в самом потрясающем виде. Не сомневаясь в том, что в учреждении этом таились существенные недостатки, признанные самими правительством, распоряжением которого кантонисты уже лет 8 тому назад упразднены, простой здравый смысл, уже без ближайшего знакомства с самим делом, не может признать подходящими к истине те страшные картины быта кантонистов, которые эффектно одна за другою рисуются автором, очевидно, чтобы возбудить самое жестокое порицание (ст. 289) против учреждения, существовавшего у нас много лет. Этою целью, однако, автор статьи не ограничился; представляя кантонистов угнетенными даже негров Южной Каролины, он в лице угнетателя, с совершенно пероковскими наклонностями, выставляет молодого офицера, лучшими препровождениями времени которого служат—возбуждаемые по приказанию его кровавые драки между кантонистами (294-295), зверское с ними же обхождение во время учения (298-до 301 и друг.), пенитенциальные шутки над кантонистами во время их кушаний (стр. 302) и т. п. И затем, говоря о качествах этого офицера, присовокупляет: к сожалению он не из солдат—он получил образование в одном из заведений, называющихся периклассными,—и происходил из хорошей фамилии (стр. 314). Все эти чрезмерно увеличенные рассказы и в особенности последние приведенная речь, по моему мнению, до крайности оскорбительны для чести войска.

„3) В статье „Суетное Дни“ за подписью Антоновича, под видом полемики с газетою „День“ и под предлогом опровержения особых мнений о народности русской, проводимых этим изданием, автор, хотя и сдержанно, но в весьма резких выражениях возбуждает умы противу истины православной веры,

говори, „что она к нам занесена из Византии в то время, когда это государство гнило и продуктами своего разложения заражало все, соприкасавшееся с ним“ (стр. 185), выражая затем желание, чтобы „свободный ум перестал находиться под ферулою раз навсегда установленных тезисов предания“, и осмеивая Хомякова, утверждавшего, что надлежит „науку подчинить высшим началам, которые нам изстари завещаны православием“ (стр. 196).

„Кроме этого ярко очерченного противурелигиозного направления, та же статья содержит в себе похвалу всем возможным революционным началам, как упомянуто в вышеизложенном допесении цензора и, наконец, неоднократно, в самых насмешливых оборотах речи, бросает нарекания на правительственные учреждения и на отношения к ним всего народа, утверждая, что „за непремением свободы мы должны себя считать скотами бессмысленными и бессловесными“ (стр. 125), и что русский народ чуть-ли не вступил в торг с правительством о своих правах (стр. 205).

„Обращаясь за этим к стихотворению за подписью Некрасова „Железная дорога“, я нахожу с своей стороны мнение об оном г. цензора чрезмерно снисходительным и отчасти неуловимым. Нельзя без содрогания читать эту страшную клевету на первое благотворительное предприятие нашего правительства к усовершенствованию на западный образец наших путей сообщения, клевету, изложенную в весьма звучных стихах, напоминающих собою балладу Бюргера. Автор утверждает, что люди, употребленные на работах „гробы обрели здесь себе“, — что рельсы дороги вместо подушек укреплены чуть-ли не на „восточках русских“, что „начальство секло народ“, предоставляя ему право „мерзнуть и гибнуть от цынги в землянках“. Не удовлетворяясь общими выражениями наглой клеветы, автор позволяет себе даже сделать произвольное исчисление мучеников, потерпевших смерть за железную дорогу — утверждая, что таковых „пять тысяч“. Наконец, в эпиграфе упомянуто, вещь всем известная, что главным строителем дороги был граф Клейнмихель, очевидно, с целью возбудить в читателях негодование против этого имени, рассчитывая на страшную эффектность стихотворения, каковое указание лица и самый способ изложения минимых злоупотреблений по построению дороги, вовсе не подходит под требование ст. 16-ой, 4 отд.

„Ко всему этому нужно прибавить, что, сколь мне известно, стихотворение это подверглось уже несколько лет тому назад запрещению, по существовавшим цензурным правилам, что могло служить автору достаточным указанием на неуместность печатать оного в издании, освобожденном от предварительной цензуры.

„Из числа всего мною приведенного из статей 10 октябрьской книжки „Современника“ в особенности, по мнению моему, заслуживают нареканий и преследования статьи:

„1) „Суетумудрие Дня“, как заключающая: а) неприличные суждения о значении православия вообще и в особенности в отношении к событиям отечественной истории (стр. 195 и 196), б) сочувственные отзывы о неспровержении алтарей и престолов и насмешки над уважением к религии и

законам (стр. 188), в) глумление над нашим государственным устройством, равно над отношениями народа к высшей власти (стр. 195 и 205).

„2) Стихотворение „Железная дорога“, как представляющее сооружение этого пути результатом притеснения народа со стороны правительства, с возбуждением негодования против высшего правительственного лица.

„В виду подобного неумолкающего настойчивого проповедования ложных идей, постоянной грубейшей клеветы как на правительственные учреждения, так и на сословия и частных лица, и принимая во внимание: во 1-х, что в 10 октябрьской книжке „Современника“ неоднократно нарушаются правила, изложенные в статьях 13 и 16 отд. IV, и во 2-х, что за подобные отступления от цензурных правил уже однажды по журналу совета 9-го ноября, утвержденному г. министром внутренних дел, „Современнику“ объявлено предостережение, я полагаю бы сделать этому журналу второе предостережение в лице его ответственных издателя и редактора».

„Либеральная“ часть членов совета пыталась возражать Мартынову. Попытку такого возражения, облеченного в очень осторожную форму, представляет отзыв Гончарова, напечатанный впервые в книге Мазона об этом писателе. По поводу стихотворения „Железная дорога“ Гончаров замечал, что от него, как и от других стихотворений Некрасова, „ожидать вреда для общества“ не приходится, так как „благодаря натяжкам, преувеличениям и односторонности, этим господствующим чертам в стихотворениях Некрасова“, „к ним недоверчиво относится теперь и самое юношество“. Что касается „Суетумудрии Дня“ и „Деревенских встреч“, то в них признаки общего направления „Современника“, хотя и обнаруживаются, „но не довольно ясно и сильно, чтобы настала немедленная потребность дать второе предостережение“. Нужно, так заканчивает Гончаров, „повременить до следующей или следующих книжек, когда по всей вероятности лягут новые и более осязательные поводы по второму предостережению, если только „Современник“ не решится изменить своего направления, чего, впрочем, конечно, никто не ожидает“. Гораздо принципиальнее, чем Гончаров, ставил вопрос другой член совета гл. упр. Ф. М. Толстой, письменное мнение которого подписал и Тютчев. Отмечал, что в полемической статье „Суетумудрие Дня“ допущен ряд выражений, неприличных по тону и неловких по редакции, которые и дали повод к обвинениям автора в кощунстве и неуважении к православию, Толстой и Тютчев отказываются признать, что у автора на самом деле было подобное намерение, тем более, что „сущность статьи, заключающаяся в стремлении доказать превосходство западного просвещения и европейской цивилизации над невежеством древней России, не может быть порицаема“. В рассказе Успенского Толстой и Тютчев, в свою очередь, усматривали лишь „неловкие выражения“; цель же рассказа, „заключающуюся в том, чтобы представить в самом отталкивающем виде последствия пьянства“, считали заслуживающей одобрения. Особенно любопытна заключительная часть мнения Толстого и Тютчева:

„Конечно, тон и направление, отличающие журнал „Современник“ от прочих периодических изданий, проглядывают и в этих статьях, но они не

проникнути тем духом социализма и ненавистью к поземельной собственности, которые подвели предшествующий № „Современника“ под заслуженное административное взыскание. Без сомнения, желательно, чтобы у нас было поменьше журналов, придерживающихся направления „Современника“, или даже, чтобы их вовсе не существовало, но, к сожалению, последнее предложение невозможно иначе, как при строгой подцензурной прессе. Вообще желательно было бы, чтобы русская пресса пользовалась с наибольшею умеренностью правами и льготами, дарованными ей указом 6-го апреля; но во всяком случае совет, я полагаю, должен установить существенное различие между подцензурными изданиями и изданиями, освобожденными от предварительной цензуры. Обязанность совета строго преследовать учения, стремящиеся поколебать должное уважение к существующим законам, но опыт доказал, как весьма справедливо заметил его превосходительство Федор Иванович Тютчев, что ложь, мудрствование и другого рода опасные уклонения и увлечения прессы несравненно успешнее опровергаются и даже иногда вовсе искореняются открытым противодействием благомыслящих даровитых писателей, которые неминуемо оставят без возражения самые вызывающие разглагольствования, если журнал, напечатавший их, подвергся уже административному предостережению. На основании этого опыта, и выработался, мне кажется, новый закон по делам печати, и я сомневаюсь, чтобы излишняя строгость, т. е. преследования, помимо цели и основной мысли, каждой отдельной фразы, соответствовали бы видам правительства, признавшего за благо изменить и пополнить существовавшие постановления о печати новым узаконением. Вследствие всего вышесказанного, я полагаю, по крайнему моему убеждению, что статьи „Суемудрие Дяди“ и „Деревенские встречи“ не подают повода ни к судебному преследованию, ни к административному взысканию. 4-го декабря 1865 г.“

Умеренная группа членов совета и на этот раз потерпела неудачу. Большинство требовало предостережения, которое и было объявлено 4-го декабря, по утверждению мнения большинства министром. Текст предостережения (он перепечатывался неоднократно), равно как и мотивировка его всецело базировались на отзыве Мартынова. Из отношения с.-петербургского обер-полицеймейстера генерал-лейтенанта Анненкова в гл. упр. по делам печати известно, что „заявление по предмету второго предостережения журналу „Современник“ было вручено А. И. Пылину того же 4-го декабря в 11 ч. вечера.“ Относительно вручения повестки Некрасову дело оказалось сложное. „Причем долгом считаю присовокупить, читаем в официальном сообщении г-на Анненкова, что по случаю отсутствия писателя Некрасова из квартиры своей, посланный мною дежурный офицер разыскивал его в нескольких местах, не мог отыскать его и, наконец, ожидал на квартире его, куда он возвратился уже в час ночи. Где и вручил ему, Некрасову, означенное заявление с подписанием на самом отношении главного упр. по делам печати“.

Насколько удручающе являлась атмосфера, царившая в это время в гл. управлении, видно хотя бы из „Дневника“ Никитенко. Вот очень характерный отрывок, относящийся как раз к декабрю 1865 г.: „Вечер про-

сидел у меня Гончаров. Он с крайним огорчением говорил о своем невыносимом положении в совете по делам печати. Министр смотрит на вопросы мысли и печати, как полицейский чиновник; председатель совета Щербинин есть ничтожнейшее существо, готовое подчиниться всякому чужому влиянию, кроме честного и умного, а всему дает направление Фукс и делопроизводитель. Они доносят Валуеву о словах и мнениях членов и располагают его в известным решениям, настраивая его в то же время против лиц, которые им почему-нибудь не угодны. Выходит, что дело цензуры, пожалуй, никогда еще не было в таких дурных, т. е. невежественных и враждебных мысли руках“.

Как ни усердствовал вдохновляемый Фуксом Валуев, однако, тогдашняя общественная среда была такова, что в ней находились люди, готовые обвинить его не больше, не меньше, как в потворстве крамольной печати. В архиве главного упр. сохранилось интереснейшее письмо на имя Валуева Андрея Николаевича Муравьева, брата знаменитого Муравьева Виленского, известного в светском кругу своими многочисленными сочинениями по церковным и богословским вопросам:

„Милостивый Государь

Петр Александрович!

Прочитав в 182-м № „Петербургского Листка“ второе уже предостережение „Современнику“, где сказано, что статья его заключает в себе сочувственные отзывы о ниспровержении алтарей и престолов и глумление над нашим Государственным устройством, над отношениями народа к правительственной власти и над уважением к религии... я ужаснулся, но, признаюсь, когда я прочел, что за все это сделано только предостережение, и уже вторичное, я было хотел улыбнуться, но невольно опять ужаснулся, когда сообразил, что такими поблажками правительственная цензура, долженствующая охранять веру и правительство, вместо того как бы подает руку возмутителям общественного порядка, умножая их торжество и роняя свое достоинство столь малодушными предостережениями, которые уже лучше было бы не оглашать на русской почве, если не хотят действовать, как следует, для водворения порядка против подобных возмутителей оного.

„Простите искреннему слову православного человека, любящего свою родину.

„С глубочайшим уважением имею честь вашего высокопревосходительства покорный слуга Андрей Муравьев. 10 декабря 1865 г. С.-Петербург“.

Валуев ответил на это письмо очень кратко, разъясняя, что в случае третьего предостережения издание может быть или совершенно прекращено, или приостановлено на срок до шести месяцев. „В этом именно, — писал министр, — заключается значение предостережений“.

Едва-ли будет ошибочно заключить, что письмо А. Н. Муравьева, брата грозного искоренителя польской крамолы, друга митрополита Филарета, человека, имевшего значение в сферах, не осталось без влияния на Валуева, укрепив этого последнего в его намерении не пускать „Современника“

Некрасов, при его связях и знакомствах в цензурном ведомстве, не мог не понимать, что над его журналом нависла гроза, и вот он решается для предотвращения ее принять некоторые меры.

В бумагах поэта сохранился нижеследующий черновик его письменного обращения, повидимому, к председателю совета главн. управления по делам печати, М. П. Щербинину:

„Существование журнала с двумя предостережениями невозможно, подобно существованию человека с пораженными легкими. Чтоб выиграть несколько дней жизни, эти люди, выходя на воздух, надевают на рот особенный снаряд, который и мешает дыханию, и вместе с тем, как думают, способствует продолжению его.

„Современник“ отныне должен являться в публику в подобном снаряде. Как будет ему дышаться, какова будет его речь,—об этом бесполезно говорить. Величайшим для меня счастьем было бы закрыть журнал теперь же, не подвергаясь неприятности присутствовать при медленной агонии журнала, на который потратил я лучшие мои силы, работал над ним в первое десятилетие почти один. Но ликвидировать дело, длившееся 20 лет,—внезапно, в один месяц, при тех затратах, которые сделаны мною на следующий год и при некоторых других обстоятельствах, о которых по краткости сей записки считаю неудобным говорить,—слишком убыточно и тяжело.

На ликвидацию мне необходим следующий год, который во всяком случае будет последним годом существования „Современника“ под моею редакцией.

Итак, цель издания „Современника“ в следующем году—единственно хозяйственная. Уже самая эта цель обязывает меня действовать со всевозможною осторожностью; в моем положении и в виду этой цели самое удобное было бы для меня возвращение к предварительной цензуре, но мне сказано, что подобное возвращение невозможно. Между тем, при всей моей готовности подчиниться требованиям правительства, продолжение журнала без предварительной цензуры сопряжено для меня с риском, угрожающим ухудшить мое положение, и о я не владелец „Современника“, а только арендатор его, обязанный в случае запрещения журнала заплатить владельцу его 8500 р. с.

В этих обстоятельствах прибегаю к вашему превосходительству с покорнейшею просьбою дать мне неустную гарантию, что изложенный мною план ликвидации журнала может быть доведен мною до конца, заявляя с своей стороны полную готовность подчиняться тем условиям, в которые для этой цели ваше превосходительство найдете нужным поставить мой журнал. Почту себя много обязанным, если XI книжка „Современника“, составленная до получения второго предостережения, будет предварительно пересмотрена; охотно исключу статьи, на которые мне будет указано. Таким образом, и на будущее время готов буду, по представлении книги в комитет, вместо положенных двух дней медлить выпуском ее в свет по целой и более, лишь бы уберечься предостережения. Есть еще обстоятельство, о котором я должен заявить вашему превосходительству. Два предостережения, данные „Современ-

нику", внушили публике мысль, что существование этого журнала будет весьма кратко. Вследствие этого подписка остановилась. Чтоб иметь подписчиков... необходимо рассеять эту мысль, объявив публике, с одной стороны, что по смыслу закона, и третье предостережение не есть еще непременно смертный приговор журналу, а, с другой стороны, то, что мною приняты меры, при которых я питаю надежду избежать третьего предостережения. Итак, да не будет принято подобное объяснение с моей стороны как бы за жалобу мою публике на полученные мною предостережения.

В заключение, покорнейше прошу ваше превосходительство довести эту мою записку до сведения г. министра внутренних дел и совета по делам печати.

Было ли послано настоящее письмо своему адресату, — сказать трудно. Больше вероятней, конечно, за то, что было. Некрасов по натуре своей принадлежал к числу тех людей, которые, придя однажды к определенному решению, в особенности в отношении вопроса практического, делового, не склонны бывають менять его. За всем тем только нахождение беловика даст возможность категорически утверждать, что письмо было послано. Во всяком случае, несомненно, что сношении по данному вопросу у Некрасова с цензурным начальством имели место. В бумагах Н. А. Плетнева, собственника журнала „Современник“ (Некрасов был только его арендатором), сохранилось письмо Некрасова к нему от 19-го декабря 1865 г., в котором Некрасов настаивает на уничтожении в контракте об аренде „Современника“ пункта, обязывающего его, Некрасова, уплатить Плетневу 30 тыс. руб. асигн. „вследствие явного нарушения нами постановлений цензуры“, мотивируя свою просьбу тем, что „теперь, собственно, у нас цензуры нет, но запретить журнал могут всякий раз, как это задумается министру внутренних дел“. В конце этого же письма Некрасов характеризует положение „Современника“: „Он получил два предостережения (впрочем, не думайте, что предостережения получены одним только „Современником“, — у нас для начала на них довольно щедр). После третьего предостережения, журнал, по закону, закрывается временно от двух до шести месяцев, а потом предостережения снимаются впрямь до новых. Я, однако же, надеюсь избежать в следующем году 3-го предостережения, для чего принял свои меры и имел объяснения с начальством. Насчет запрещения журнала мне положительно заявлено, что подобного намерения нет у правительства; я ставил вопрос прямо, предлагая, что сам лучше закрою журнал, если имеется подобное намерение. Самое худшее тут то, что два предостережения публика наша, по новости закона, приняла за близкие предвестники смерти журнала, и подписка на 1866 год остановилась. Теперь я хлопочу, чтобы рассеять это предубеждение и с этою целью написал объяснение, которое я пишу в публику, показав предварительно министру“.

Пришедшая выписка убеждает, что переговоры Некрасова с цензурным начальством касались как раз тех пунктов, которые составили содержание его чернового письма г. Щербинину. Результатом этих переговоров поэт мог считать себя успокоенным тем более, что цензура не стала протв.

БИБЛИОТЕКА
Г. Т. 100

вика" в ближайшие месяцы несколько ослабела. По крайней мере, в официальной форме вопрос о „предосудительности“ той или другой статьи „Современника“ отнюдь не возбуждался. Конечно, это далось не даром... Книжки журнала очень обесцветились и потускнели. Однако, и в прежней истории „Современника“ бывали моменты, когда приходилось, если можно так выразиться, „сдавать с тона“, но эти моменты бывали обыкновенно не слишком продолжительны. Можно было надеяться, что и в данном случае обесцвечивание и потускнение, вызванное угрожающей позицией, занятой главн. управлением по делам печати, не затянется особенно долго. За то продолжавшаяся приостановка в подписке не могла не тревожить Некрасова, как это видно из его письма к В. И. Фуксу от 22-го января 1866 г., извлеченного нами из архивов гл. упр.:

„Милостивый Государь
Виктор Яковлевич.

„Подписка на „Современник“ идет очень тихо. Видно, что бояться подписываться. Каждое почти требование выражает опасение, что журнал будет запрещен. По сей поре всего 2100 подписи!... Единственное средство поправить дело—выпустить поскорее первые книги и сделать их, как можно, живее и лучше. В этих видах хотелось бы поместить в 1 № рассказ Салтыкова. Г. Мартынов нашел, что он может идти; только уж очень много отметил фраз, требующих исключения или смягчения. Может быть, вы взглянете снисходительнее. Будьте добры, просмотрите поскорее этот рассказ и другую статью, оставленную мною у вас. Теперь уже нужно решение вопроса о них и вот почему я вас беспокою этой просьбой. Мне бы хотелось выпустить 1 книжку к 1 февраля.

Примите уверение в совершенном моем уважении и преданности.

Н. Некрасов“.

Письмо это, между прочим, весьма показательно в том отношении, что обнаруживает, какой фикцией была так называемая „бесцензурность“ журнала; в действительности, чуть-ли не каждую статью, могущую возбудить подозрительное внимание цензурных властей, приходилось посылать на предварительный просмотр наиболее придирчивых членов гл. упр. по делам печати, каковыми, без сомнения, являлись Мартынов и Фукс. С другой стороны, приведенное письмо дает основание утверждать, что достижение той „хозяйственной цели“, которую Некрасов имел-де в виду, по словам его письма к Щербинину, оказывалось очень и очень сомнительным, так как подписка на журнал дала довольно таки плачевные результаты. В свое время автором этих строк были опубликованы цифры подписчиков на „Современник“ за все время его существования, исключая 1866 г., т. е. с 1847 по 1865 г. Вкратце, причем лишь в первый год существования журнала число подписчиков определялось в 2000, т. е. было равно числу подписчиков в 1866 г. По времени наибольшего процветания „Современника“, напр. в 1860 г., оно доходило до 7000 т., в 1865 же году колебалось между 6000—5000—4600 и 4250. Беря

даже эту последнюю цифру, относящуюся ко второму полугодю 1865 г., и то придется заключить, что подписка на журнал в 1866 г., по сравнению с предыдущим годом, упала вдвое. Это обстоятельство заслуживает особого внимания, тем более, что та хозяйственная цель, о которой только что говорилось, вызывалась не только стремлением оградить себя от убытков—мотив эгоистический,—как это можно заключить по письму к Щербинину, а некоторыми „другими обстоятельствами“. Об этих последних Некрасов, конечно, не мог говорить в письме к начальнику гл. управления по делам печати, он ограничился лишь глухим о них упоминанием, а между тем они играли едва-ли не главную роль. Что это были за обстоятельства,—об этом Некрасов поведал в письме к Плетневу: „Панаев умер, оставив долгу на своей половине „Современника“ до 17 т. руб. сер. Два наши сотрудника—один смертью, другой ссылкой лишены были возможности возместить своею работою значительную сумму, которую редакция выдала им вперед; для погашения этих-то долгов издавал я „Современник“ в последние годы: сверх того, после Панаева осталась мать, старуха 75 лет, без куска хлеба, сын 4 лет—тоже; после Чернышевского—жена и двое малолетних детей; после Добролюбова двое малолетних братьев; всем этим лицам дается кусок хлеба и иным средства к воспитанию из средств „Современника“, который с каждым годом приносит менее. Чтобы выдавать вам полную ренту, я должен снимать этих бедных людей, долг тоже почти не убывает. Неужели вы будете меня теснить?“

Справедливость фактических данных, здесь содержащихся, может быть проверена по конторским книгам „Современника“, хранящимся ныне в Пушкинском доме при Академии Наук. Таким образом, к мотиву эгоистическому, вполне впрочем, законному, ибо стремление оградить себя от убытков—стремление, конечно, законное, присоединялся мотив альтруистический—желание поддержать семьи Панаева, Чернышевского и Добролюбова. Мы уже не говорим о мотиве чисто идейном—возможности проводить при посредстве журнала то направление общественной мысли, в справедливости которого Некрасов был вполне уверен. Не останавливаясь на вопросе о гражданской убежденности Некрасова, которому посвящено немало страниц в нашей большой работе „Черты редакторской деятельности Н. А. Некрасова“ („Голос Минувшего“), отметим, что Некрасов был чрезвычайно заинтересован в дальнейшем существовании „Современника“ и, как было указано выше, после своих переговоров с цензурным начальством, т. е. в декабре 1865 и в течение первых 3-х месяцев 1866 г., не имел особых поводов чрезчур тревожиться за его существование. Но вот произошел роковой выстрел Каракозова, и наступили общепознанные его последствия.

„Петербург погибал,—так описывает это время Салтыков-Щедрин в своих „Господах Ташкентцах“,—стихии смешались. Наводнение следовало за наводнением; адмиралтейство уже уплыло; с часу на час ожидали, что поплывет Петропавловская крепость, последний оплот. Публицисты гремели; общественное мнение требовало быстрой и действительной Немезиды. Образовались, как водится, под предводительством отставных генералов, несколько частных

компаний для истребления зла; акции разбирались на расхват, тем более, цена им была назначена копейка серебром... Объявлен был поход против неблагонадежных элементов... Все чувствовали, что надо вырвать „зло“ с корнем, все издавали дикие вопли... В чем заключилось зло?... Наступает минута какого-то адского откровения. „Либералы!“ — раздается победный клич, и все, что чувствует себя бодрим, — все складывается в одну яму и немедленно отдается на поруганье“...

О том, как чувствовали себя „либералы“, под которыми, само собой разумеется, понимались все прогрессивно-настроенные элементы общества, начиная от умеренных (либералов в узком смысле этого слова) и кончая крайними левыми („нигилистами“, по тогдашней терминологии), рассказал в своих воспоминаниях Елисеев (см. нашу статью „Редакция „Современника“ в 1866 г.“, „Голос Минувшего“, 1916 г., № 1). Вот несколько ярких отрывков из них:

„Я был арестован и отвезен в крепость 28 или 29 апреля. Но самым злополучным временем было не то, когда меня посадили в крепость, — напротив, по заключению в крепость я значительно успокоился, — а время, проведенное от 4-го апреля до 29-го апреля в тревожном, ежедневном, ежечасном ожидании обыска и ареста, которое не давало покоя ни днем, ни ночью. Тот, кто не жил тогда в Петербурге и не принадлежал к литературным кругам или, по крайней мере, не был к ним так или иначе прикосновенен, не может представить той паники, которая здесь происходила. Всякий литератор, не принадлежавший к направлению Каткова, а не принадлежала к этому направлению вся тогдашняя литература, считал себя обреченною жертвою и был уверен, что его со ipso непременно, потому только, что он литератор, арестуют. Так все были убеждены, что граф Муравьев держится вполне взглядов Каткова и следует его указаниям. Сотрудники „Современника“, на которых Катков смотрел, как на очаг и притон всяких зловерных учений, тем более были уверены в неизбежности такой участи для себя... Что касается до меня, то я был уверен, что меня непременно арестуют и, начиная с 4-го апреля, находился в постоянном нервном возбуждении и непрестанной тревоге, не имея возможности ничего сделать и ни о чем думать, кроме ожидаемого ареста и неизбежно сопряженных с ним разного рода самых неутешительных возможностей в жизни моей и моей жены и в настоящем, и в будущем. Это тревожное состояние увеличивалось существовавшею кругом меня паникою в обществе. Каждый день, и всегда почти утром, приносили известия: сегодня ночью взяли такого-то и такого-то литератора, на другое утро опять взяли таких-то и таких-то и т. д. Эти известия дополнялись каждый почти раз сообщением истинных или придуманных подробностей о жестокости и нахальстве офицеров, производивших эти аресты, обыски и ищемьи. Мало по малу чуть не половина известных мне литераторов была взята. Затем стали сообщать слухи о привозимых целыми вагонами арестованных в разных провинциях, в особенности в Москве. Стали ходить слухи, что этих привозимых из других городов в Москву до того много, что ими полна вся Петропавловская крепость, все тюрьмы, все тюремные отделения при частях. Всеми этими

слухами, непрестанно возрастающим тревожным состоянием, бессонными ночами и до того был эневроирован, так близок был к полной прострации, что подумывал идти сам прощаль, чтобы меня заключили в крепость... Прощающий эти строки скажет: да ведь это такая постыдная трусость, какую только можно представить! Да, я должен сознаться, что я далеко не отличался храбростью, и если могу чем утешить себя, то только тем, что, припоминая прошедшее, не припомню никого из людей, которые находились в обстоятельствах, подобных моим, и вели бы себя храбрее меня; крайняя угнетенность духа была тогда более или менее общею среди литераторов...

Не забудем, что эти строки принадлежат перу Григория Захаровича Елисеева, типичного шестидесятника, разночинца, сурового радикала, промежуточного такую жизненную шкалу. Некрасов же по происхождению и своим прежним литературным связям и знакомствам принадлежал к людям 40-х г., к поколению, далеко не отличавшемуся нравственной стойкостью шестидесятнических-разночинцев. Для него было вполне естественно гораздо в большей степени поддаваться тем настроениям, которые Елисеев определяет, как „самая постыдная трусость“ и „крайняя угнетенность духа“. Здесь уместно будет напомнить, что, обладая незаурядной чисто физической отвагой (сколько медведей погибло от его руки, а медвежья охота—дело далеко не безопасное), Некрасов не обладал в некоторых отношениях отвагой нравственной. Он сам хорошо понимал это, мучительно скорбя, что не принадлежит к тем избранным натурам, „у кого не слабели шаги перед дверью тюрьмы и могилы“ (стихотворение „На смерть Д. И. Писарева, 1868 г.“). Его собственные шаги,—увы!—перед этою роковою дверью слабели. Он „к цели шел колеблющимся шагом“ он „для нее не жертвовал собой“ (стихотворение „Неизвестному другу“, 1867 г.). Конечно, произошло это не в силу каких либо индивидуальных особенностей, а вследствие целого ряда социальных влияний. Поэт имел полное основание утверждать, что „на всех рожденных в двадцать пятом году и около того отяготел жестокий фатум“, вытис из под которого нет возможности („Человек сороковых годов“, 1867 г.). Люди, прошедшие „через цензуру всех николаевских годов“, не в силах „гибнуть жертвой убеждения“ (там-же). А он как раз и родился „около“ 25-го года, как раз и прошел „через цензуру всех николаевских годов“. Неудивительно, что эти „года гнетущих впечатлений“ оставили в его душе „неизгладимый след“; он унаследовал от них „привычки робкой тишины“ (стихотворение „Неизвестному другу“), от которых не смог отрешиться до конца дней своих. Характерно, что подобные горькие признания срывались с уст Некрасова не только в конце 60-х годов после рокового в его жизни „Муравьевского инцидента“, но и значительно раньше. Для примера сопомним, хотя бы на известное стихотворение „Поэт и гражданин“ (1856 г.), где поэт говорит, что когда ему пришлось выбирать, что делать—„сложить смиренно руки“ или „поплатиться головою“, его „душа пугливо отступила“; он не скрывает этой „горькой правды“, склонил „робкую“ голову „при слове честный гражданин“ (под гражданином Некрасов разумеет человека, готового „идти в огонь за честь отчизны, за убеждение, за любовь, идти и гибнуть безупречно“).

На этой почве произошел некоторый разлад между поэтом и его музой: „склонилась муза лик печальный и, тихо зарыдав, ушла“. Правда, ушла не безвозвратно, но „с тех пор не часты были встречи“ с нею:

Угрозой, бедам, придет
И шепчет пламенные речи
И поет гордые поет:
Зовет то в города, то в степи,
Заветным умислом полна,
Но загремят внезапно цепи—
И нигом сбросится она.
Не вовсе я ее чуждался,
Но как боялся! как боялся!

Чувства растерянности, уныния и, скажем прямо, боязни властно овладели душой Некрасова после 4-го апреля. Первое, за что он взялся, чтобы оградить свой журнал и себя от возможных репрессий, это был цензорский карандаш. Опасаясь, что в невышедшей еще мартовской и в подготавливаемой к печати апрельской книжке „Современника“ могут встретиться статьи, способные дать повод к этим репрессиям, он принялся марать их в корректурах. В стихотворном послании к Асташеву, приглашавшему его приехать в Любань на охоту, Некрасов прямо сознается в этом:

На письмо твое должен сказать:
Не за картами гну теперь спину,
Как позволите вы полагать.
Отказавшись от милой цензуры,
Погубил я досуги свои,—
Сам читаю теперь корректуры
И мараю чужие статьи!
Побежал бы, как школьник из класса,
Я к тебе, позабывши журнал,
Но не знаю свободного часа
С той поры, как свободу узнал..
Одолела дикта забота,
Позабыл я, что значит игра,
Позабыл я, что значит охота,
Потому что Валуев сердит;
Потому что закон о печати
Запрещенный журналу грозит,
Если слово обронить некстати.

Подписано это стихотворное послание 7-м апреля 1866 г., т. е. оно вышло из-под пера поэта на третий день после Каракозовского выстрела. Цензорский карандаш, по необходимости занятый Некрасовым, в его руках оказался, помыслимому, далеко не совершенным оружием. Не учитывая размеров надвинувшейся грозы, Некрасов не успел приспособить мартовский номер „Современника“ к требованиям того нового курса, который установился в правительственных кругах после 4-го апреля, когда на бюрократическом

горизонте ярко воссияла звезда известного своею крайней реакционностью гр. М. Н. Муравьева-Вилenskого, получившего, вместе с назначением председателем следственной комиссии, чуть-ли не диктаторские полномочия. Цензурное ведомство, не возбуждавшее в течение первых трех месяцев 1866 г., никаких официальных обвинений против „Современника“, сразу зашевелилось, и 22-го апреля цензурный комитет отправил за № 361 длинное допоселение в главное управление по делам печати, которое воспроизводило доклад цензора Еленева о помещенной в мартовской книжке „Современника“ статье Ю. Ж. „Вопрос молодого поколения“. Обвиняла статью в том, что она „направлена против русского дворянства и написана в социально-демократическом духе“, цензор все же заключал, что „при всей резкости выражений этой статьи и крайности проводимых в ней социально-демократических идей, она, по форме изложения, не имеет, однако, характера воззваний, возбуждающих вражду сословий“... На эту точку зрения встал начальник главного управления М. Щербинин: в обширном письме „мнения“ он доказывал, что статья Ю. Ж. „имеет прямою целью возбудить вражду всех сословий против принципа дворянства“ и что, кроме того, она „прямо направлена к поколебанию основ начала собственности“, а потому-де есть полное основание к возбуждению судебного преследования против журнала. „Мнение“ Щербинина восторжествовало, и 16-го июня 1866 г. главное управление отправило на имя прокурора с.-петербургского окружного суда, за № 1209, нижеследующее отношение, основанное на данных Щербининского „мнения“:

„В № 3 ныне закрытого по Высочайшему повелению журнала „Современник“, за минувший март месяц, была помещена статья, подписанная буквами Ю. Ж., под заглавием: „Вопрос молодого поколения“.

Основная мысль этой статьи заключается в том, что помещики, не при-
выкнув исторически ни к труду, ни к правильному и бережливому хозяйству
а также лишившись, вследствие эманципации, своих достатков, напрасно хло-
почут, после освобождения крестьян, поправить свои дела новыми займами, так
как они употребят эти займы непроизводительно и, следовательно, останутся
в прежнем критическом положении, или не найдут в этих займах, при от-
сутствии знаний и привычки к труду, достаточных средств для поправления
своих хозяйств,—в обоих же случаях помещики, несмотря на свои новые зай-
мы, не будут иметь возможности удержать принадлежащие им земли, которые,
будучи все более обременяемы долгами, непременно должны перейти от поме-
щиков к вулакам-спекуляторам.

В этом общем содержании, под формою парадоксальной экономической
теории, проводится идея о неспособности и тупеестве всего владеющего сосло-
вия, а, с другой стороны, мысль о безнадежности настоящего землевладения
в России. И то, и другое выражено в таких резких формах, которые озна-
ченными воззрениями при распространении их печатным словом дают положи-
тельно вредный характер. Взгляд на неспособность и тупеество помещичьего
сословия облечен в форму рассуждений о барстве; барство это рассматривается
в своем прошедшем, настоящем и будущем. В прошедшем барство, по отзыву

автора, было вместе с крепостничеством грубым орудием дисциплинирования массы (стр. 6), удерживавшим народ от более тесного совершенного объединения (стр. 7) и бывшим по сему источником политической слабости народа (там же). Противопоставив свободное село барским владениям, автор находит, что этот именно исторический порядок препятствовал „положить предел великим толкам о необходимости барской опеки в той или другой форме над народным трудом“ (там же); упомянув затем, что барское начало сверх того тормазит цивилизацию (стр. 8), Ю. Ж. говорит, что сохранение барского начала оказывается политическою бестактностью, но, не останавливаясь на этом, он заявляет (на той же стр.), „что и по замене крепостного состояния наемным трудом народ остается попрежнему беден и нецивилизован, а состояются отдельные состояния, которые тратятся и употребляются тем же порядком, как и в крепостных условиях“. Восставая на этом основании не только против крепостного, но и промышленного барства, автор находит в батраческой системе препятствие к правильному разливу богатств.

Очертив враждебно „историческую роль имущественного сословия, выразившись столь же враждебно при этом не только против упраздненного крепостного, но и против вольнонаемного труда, автор рисует настоящее наше помещичье сословие самыми мрачными красками, не щадя при этом крайних циничных выражений. Так, напр., на стр. 3 он спрашивает, „что безразличнее в сущности жизни на чужой счет, а между тем эта-то жизнь на чужой счет составляла всю подкладку барской крепостной гордости“. Далее сказано: „барство везде, где оно ни существовало, было тем горделивее, чем шире оно могло распоряжаться чужим трудом и видеть доблесть в тратах на широкую ногу“. На стр. 4 говорится: „оно училось гордиться этой властью над чужим трудом и возможностью расточительности“; и далее: „оно понимало свое барство и грубо и материально: иначе оно не издерживалось бы и не проматывалось бы, между тем, как теперь всю политическую роль оно полагало в мотовстве“; а несколько ниже: „оно довольно, когда его тешат картинами застольного пьянства“; на стр. 5 сказано: „оно довольно, поддерживая дух барства в школах и молодом поколении, отняв кусок хлеба у детей и зеппин“ до слов: „называется патриотизмом“. Обращаясь к будущему, автор в циничных же выражениях довершает картину материального и нравственного падения помещичьего сословия, на стр. 15 от слов: „они готовят себе последнее разорение“... до слов: „выставит эту бутылку“ на стр. 16-й.

Из вышесказанного очевидно, что помещичье или вообще настоящее владеющее сословие выставлено не только неспособным и бесполезным, но вредным в прошедшем, ненавистным в настоящем и будущем.

Рассматривая затем воззрения автора на безнадежность настоящего землевладения в России, необходимо принять во внимание, что в статье обе формы хозяйства, существующие рядом в действительности, а именно: помещичья усадьба и крестьянское сельское общество выставлены, как два враждебные элемента, друг друга исключаящие. Процветание помещичьего хозяйства грозит, по отзыву Ю. Ж., батрачеством. „Поддерживать хозяйство помещиков одно

средство", по его словам, "это зарезать крестьянское хозяйство, не хозяйственным, а насильственным путем привилегий" (стр. 12).

Отсюда следует, что, распространяя мысль о невозможности сохранения на будущее время в руках помещиков их земель, доказывая, что переход этих земель к крестьянам обуславливается материальными и моральными выгодами самих помещиков с их потомством, равно интересами самой страны и безисходностью настоящего поземельного положения владельцев, автор тем самым порицает существующее распределение землевладения и колеблет начала собственности вообще.

На сем основании, Совет главного управления по делам печати полагал: подвергнуть судебному преследованию автора статьи "Вопрос молодого поколения" и ответственного редактора журнала "Современник", во-первых, за возбуждение ненависти и распространение оскорбительных выражений против дворянства, в качестве владеющего сословия, и во вторых, за распространение понятий, направленных к поколебанию и порицанию начал собственности. Такое заключение совета утверждено г. министром внутренних дел.

Сообщая о вышеизложенном вашему высочородию, с приложением № 3 журнала "Современник" за текущий год, для надлежащего распоряжения, главн. упр. по д. печати считает долгом присовокупить, что ответственными в настоящем случае лицами, на основ. ст. 2 по IV отд. закона 6 апреля 1865 г., представляются: 1) бывший ответственный редактор упомянутого журнала, состоящий в чине VIII класса Александр Пилип, жительствующий на Васильевском Острове, по Большому проспекту, в доме Вундерлиха, под № 24, и 2) автор статьи "Вопрос молодого поколения" надвор. советн. Юлий Жуковский, — жительствующий у Владимирской церкви, в Дмитровском переулке, д. Миллера, ~~как видно из сообщения Главног. Конторы бывшей редакции означенного жур-~~нала в канцелярию главного управления от 15 сего июня № 240. Подписал: начальник главного упр. сенатор Щербинин. Скрепил: правитель дел. (подпись).

Читатель видит, что почти два месяца прошло с возбуждения цензурным комитетом вопроса о статье Ю. Ж. до обращения главного управления к прокурору. За это время Муравьев успел распорядиться участием "Современника". Для нас важно было, однако, выяснить, как оценивало цензурное ведомство статью Ю. Ж. Нет никакого сомнения, что о предстоящей цензурной атаке против мартовского № "Современника" Некрасов, при его цензурных связях, узнал значительно раньше, чем цензурный комитет послал свое донесение в главное управление, т. е. раньше 22-го апреля. Когда же именно? Ответить на этот вопрос с полною определенностью нельзя, но весьма возможно, что узнал Некрасов о нем около или даже накануне того рокового дня 16 апреля, когда он, "спасая, по выражению П. М. Ковалевского, направление" ченой своего доброго имени, прочел стихотворное приветствие Муравьеву. Если в стихотворении, посвященном Осипу Комиссарову и написанном, надо думать, под непосредственным впечатлением Каракозовского покушения, зазвучали "верноподданические" ноты, совершенно несвойственные поэзии Некрасова, то в приветствии Муравьеву развивалась тема, чрезвычайным образом дисгармонизировавшая с преж-

иними песнями музы мести и печали: Некрасов выступил в роли послеобеденного пияты, улаживавшего слух вельможи своими хвалами, и хвалами не за что иное, как за кровавую расправу с польскими борцами за свободу. Мы не будем подробно останавливаться на данном эпизоде, о котором имели случай высказаться в прежних наших статьях, напр., в статье „Редакция „Современника“ в 1866 г.“; отметим только, что его трудно рассматривать иначе, как совершенно недопустимый компромисс с совестью. И если, с одной стороны, его породило желание „спасти направление“, то, с другой стороны, в нем сказались яснее, чем где бы то ни было крайняя растерянность и даже „трусость“ поэта в Елисеевском смысле этого слова. Что Некрасов имел основание „трусить“, это с полной определенностью подтверждается воспоминаниями того же Г. З. Елисеева и его жены об обстоятельствах, сопровождавших временное задержание Некрасова на квартире только что арестованного Елисеева. По рассказу Елисеевой (см. статью „Редакция „Современника“ в 1866 г.“), гвардейский офицер Теньков после того, как ему не удалось установить, что Некрасов личный знакомый Елисеевой, и он должен был отпустить поэта, „чуть-ли не с пеною у рта и с сжатыми кулаками начал кричать на Елисееву, что она у правосудия выхватила самую ценную добычу, что они много бы дали, чтобы найти какой-нибудь ключик или иной повод взять этого подлеца, что она не понимает, какой это вредный незуит, и что из-за него половина сидит, а он остается невредимым и катается в колясках, что он думает подкупить правосудие, написавши и читавши стихи в честь Муравьева, но... уж, погоди,—не увернется он, не может быть, чтобы нельзя было его запоянать“... Г. З. Елисеев излагает данный эпизод так: „на другой день после моего ареста Некрасов храбро явился на мою квартиру, чтобы освятиться, что случилось и как. Я говорил „храбро“ потому, что ни один из моих товарищей и вообще никто из сотрудников „Современника“ не решился этого сделать... Гвардейский офицер при появлении Некрасова немедленно арестовал его... Освободив поэта после вопроса Елисеевой и присутствия, офицер одумался и раскаялся в том, что отпустил Некрасова. „А это все вы виноваты,—ворчал он,—то и дело обращался к моей жене с упреками. Со страху Некрасов очень легко мог бы сказать что-нибудь такое, что послужило бы на раскрытие заговора. Некрасов, наверное, играет здесь не последнюю роль“...

Случая оба рассказа, нельзя не прийти к заключению, что агенты Муравьева были убеждены в „причастности“ Некрасова. Он, конечно, об этом знал и, естественно, опасался за себя. В его взволнованном этим опасением мозгу возникали различные соображения о том, что надо сделать, чтобы уцелеть, и он с жадностью слушал советы „благожелателей“. Когда один из них (старшина Английского клуба гр. Строганов), высказал убеждение, что стихотворение от него могло бы подействовать на Муравьева и укротить его, то Некрасов жадно схватился за эту мысль, надеясь обезопасить себя и в то же время спасти „Современник“. В результате—публичный позор (Муравьев отвернулся от Некрасова по прочтении им стихов) и „черное пятно“ на всю жизнь и на

репутации). Не следует, однако, упускать из вида, что в минуты наибольшей растерянности Некрасов продолжал живо ощущать свою связь с сотрудниками „Современника“, и, один из всех, не побоялся явиться на квартиру арестованного Елисеява. Уже один этот факт с достаточной яркостью свидетельствует, что Некрасов не стал идейно чуждым своим соратникам по журнальному общественному служению, и что, следовательно, и речи быть не может о каком-либо ренегатстве с его стороны. Растерянность и даже „трусость“ обнаруживают слабость душевную; ренегатство обозначает душевную низость. Обвинить в ней Некрасова на основании данного эпизода было бы совершенно несправедливо. Но „приспосабливаться“ приходилось очень, тем более, что надежды на спасение „Современника“ все еще не были утеряны... Пришлось до крайности обесцветить апрельскую книжку „Современника“, на страницах которой появилась, вкратце сказать, и ода Комиссарову; такой же участи подверглась и майская книжка. Однако, ей не суждено было появиться в свет: „Современник“ был запрещен по высочайшему повелению, которое было объявлено Пышину (Некрасов в 20-их числах мая 1866 г. уехал в Ярославскую губ. в свое имение Карабику) 1-го июня. В нашем распоряжении имеется документальное доказательство того, что решение запретить „Современник“ было принято в высших сферах вне всяких сношений с главным управлением по делам печати. Среди членов совета этого последнего нашелся даже один, попытавшийся в последнюю минуту отвести уже занесенную над журналом карающую руку. Об этом свидетельствует еще не появившееся в печати письмо Ф. М. Толстого гр. П. А. Валуеву:

„Милостивый Государь Петр Александрович!

В качестве члена совета, наблюдающего за „Современником“, почитаю священным долгом формально заявить вашему высокопревосходительству, что вредное и предосудительное направление этого издания, на которое указано в высочайшем повелении, в настоящее время изменилось совершенно.

Редакция „Современника“ отстранила вовсе, по указанию совета, от участия в журнале некоторых из зловернейших писателей (как, например, Антоновича и Ю. Жуковского), и в последних двух номерах, в 4 и 5-м (последний не вышел еще, но находится уже у меня для просмотра), нет ни одного слова, напоминающего прежнее направление „Современника“.

На явное это отречение от прежних заблуждений обращено уже внимание всей журналистики (за исключением, конечно, „Моск. Ведомостей“), а потому и полагаю, что при обнародовании постановления о прекращении „Современника“ следует по возможности избежать осуждения настоящего направления этого журнала. Председательствующий советом по делам печати и все члены совета дополнительно могут засвидетельствовать о справедливости моего показания — касательно перемены направления „Современника“, — обстоятельством, которое при подписании журнала и по долгу чести обязан буду заявить.

Почитаю также обязанностью приосвободить, что издание „Современника“ не составляет исключительную собственность редакции, а есть также единственное достояние и наследие семейства писателя И. Панаева.

Бесыма может быть, что последнее обстоятельство и вынудило отчасти нынешнего редактора Некрасова покориться беспрекословно всем требованиям совета.

Преграждение „Современника“ в конце разоряет неповинное семейство Панаева и даже не по вине настоящего редактора, который в виду сохранения Панаевыми законного их наследства, сделал все возможные уступки требованиям совета и изменил совершенно направление журнала.

Я не смею надеяться, конечно, что слова мои могли бы отсрочить исполнение высочайшего повеления, но почитаю своим связанным долгом, в виду высочайшего рескрипта от 12-го мая, представить все вышележащие обстоятельства на благоусмотрение вашего высокопревосходительства.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностью честь имею быть вашему высокопревосходительству покорнейший слуга. Ф. Толстой.

31 Мая 1866 г.

P. S. Статьи и набор каждого № стоят до 2000 р.—плате приступлено к напечатанию 6-го №, следовательно, не признается ли возможным немедленно уведомить редакцию о постигшем ее несчастии, дабы не вводить ее в напрасные „убытки“.

Было бы ошибочно, основываясь на содержании этого письма, заключать о намерении Некрасова изменить своему идечному знамени. Из воспоминаний Елисеева известно, что „зловреднейшие“ сотрудники отнюдь не были отставлены Некрасовым, а сами покинули его после его обедненного выступления. Но если бы они его и не покинули, дальнейшее сотрудничество их в „Современнике“, по крайней мере в ближайшие месяцы, сделалось фактически невозможным, ибо грозило самому существованию журнала. Вообще создалась столь тесная атмосфера, что приходилось думать не столько о том, чтобы неуклонно проводить прежнее направление, сколько о том, чтобы сохранить журнал для будущего, преследуя в настоящем преимущественно „хозяйственную цель“, о которой несколько месяцев Некрасов писал Щербинину. Раз дело обитоило так, то Некрасову, утомленному апрельскими передышками, не было надобности безотлучно стоять у редакционного перилла, и вот он, передав редакцию Ивану А. И. Пышину (об этой передаче официально было извещено главное управление по делам печати), уезжает в Карабику. Пышин, без сомнения, получил от поэта вполне определенные инструкции вести журнал в духе апрельского номера и стал для себя эти инструкции приемлемыми, очевидно потому, что создавшееся положение вещей не оставляло никакого иного выхода. Вообще, самый факт продолжавшейся совместной работы Пышина с Некрасовым представляется высокознаменательным в виду того, что Пышин был человеком вполне определенных политических взглядов и сам по себе является веским доказательством того, насколько необоснованны были заподозрения Некрасова в ренегатстве. Ренегатства, конечно, не было, но попытки, вполне сознательные попытки ввести в заблуждение невинное начальство, весьма возможно, имели место. И попытки эти, если считать письмо Ф. М. Толстого к Валуеву искренним, блистательно удалась: цензурные аргументы дались в обман. Конечно, можно говорить о сомнительности подобного

рода приемов с правственной стороны. Но, ведь, не применялись эти приемы из года в год и не одним только наиболее умелым в их применении Некрасовым, но и другими редакторами, едва-ли было бы возможно длительное существование прогрессивной журналистики в России в середине и второй половине прошлого века. Таковы уже объективные условия деятельности русских журналистов до-революционного времени.

Позднейшими отголосками агонии „Современника“ явилось судебное разбирательство дела Ю. Г. Жуковского, как автора статьи в мартовском номере „Вопрос молодого поколения“, и А. П. Пыпина, как ответственного редактора журнала, пропустившего эту статью, и возбуждение вдовой Плетнева ходатайства о разрешении возобновить ей издание запрещенного „Современника“. Процесс Жуковского и Пыпина был одним из сенсационных и вызвал большое оживление в обществе; подсудимые отделались сравнительно легко: окружной суд их оправдал, а судебная палата, куда Вадуев перенес дело, приговорила того и другого к 3 неделям ареста на гаушвахте и ко взносу штрафа по 100 руб. с каждого. Почему, в качестве ответственного редактора, к суду привлекался Пыпин, а не Некрасов? В архиве гл. управления имеются документы, дающие исчерпывающий ответ на этот вопрос. Это — официальные заявления Пыпина и Некрасова в главное управление от 15-го сентября 1866 г. о том, что первый из них „принимает на себя ответственность за учений, критический и политический отдел“, а второй — „за беллетристический отдел“ „Современника“. В „Архиве с. Карабики“ напечатано, между прочим, письмо Пыпина к Некрасову, в котором есть указание на какое-то „заявление“ Некрасова, относящееся к процессу. И, говорит здесь Пыпин, „не имел, никакой в нем необходимости“, и „с самого начала думал, что оно едва-ли было бы уместно и сколько-нибудь могло помочь делу, потому, что для суда важна была официальная ответственность, лежавшая на всех, и от которой я никогда бы не отказался“. При некоторой неопределенности этих слов, все же едва ли возможно сомневаться, что, составляя свое „заявление“ и отсылая его Пыпину, Некрасов думал не об уклонении от ответственности перед судом, а о том, чтобы разделить эту ответственность с Пыпиным.

Второй отголосок запрещения „Современника“ — это восподданнейшее прошение вдовы Плетнева о разрешении ей возобновить издание „Современника“ (см. „Дело гл. упр. по д. н.“ № 426-а; началось 22 декабря 1866 г.; решено 1 апреля 1867 г.). Доказывая в нем, что наследники Плетнева отнюдь не ответственны в заблуждениях последней редакции, навлекших на журнал запрещение, а между тем от этого запрещения весьма существенно пострадали их интересы, А. Плетнева просила государя „сохранить за семейством Плетнева дар, врученный ему Пушкиным“. „Так, читаем далее в прошении, были поощрены права собственности тех ведомств, газеты которых подверглись запрещению по вине их редакций. Но примеру этого, я осмеливаюсь именем моего покойного мужа и малолетних его детей прибегнуть к вашему, императорскому величеству с восподданнейшей просьбой дозволить наследникам Плетневых пользоваться правом собственности на литературный журнал

„Современник“ и действовать впредь на основании высочайшего указа от 6 апреля 1865 г.⁴

Плетневой постеснялись ответить категорическим отказом и начали тянуть дело. В результате она все же ничего не добилась. Очевидно, правительство решило ни в коем случае не допускать возобновления „Современника“, хотя бы под редакцией архи-благонамеренных лиц. Двадцатилетняя неустанная пропаганда Некрасовским журналом идей политического и социального раскрепощения русского народа сделала самое имя его ненавистным в бюрократических сферах. Но тем горячее были симпатии к нему передовых кругов русского общества. И если не считать другого Некрасовского же журнала—„Отеч. Записки“, можно утверждать, не рискуя впасть в преувеличение, что русская журналистика XIX века не знала журнала, более читаемого и почитаемого, чем „Современник“.

В. Евгеньев-Максимов.

Литературные воспоминания¹⁾

I.

Когда я стал печататься—это, конечно, установить не трудно. Но очень трудно точно сказать, когда я начал писать. Сколько я себя помню, я—марад бумагу своими „сочинениями“. И так думаю, что сочинять стал со второго класса гимназии, а может быть, и раньше. Всякая прочитанная мною и оставившая сильное впечатление книга заставляла меня немедленно приниматься за сочинительство. Писал я тайком от родителей и почему то больше всего стыдился этого. Не потому, что эти упражнения могли бы встретить неодобрение—скорее, наоборот. Особенно со стороны матери, в черновых тетрадках которой я, любознательствуя, напел не мало так называемой „литературы“. Но эти писания казались мне чем то таким интимным, что обнаружить их было бы для меня все равно, что раздеться при посторонних и ходить нагишом. Поэтому писания свои я прятал под тетрадками и книгами. Запоров и замков в шкафчиках и столах не было, и потому, я уверен, что при инспекторских осмотрах мама наверное находила мои писания и прочитывала их. Но, будучи женщиной чуткой души и понимая стыдливость мою, она ничем знакомства с моими писаниями не обнаруживала. Только иногда, по теплоте и проникновенному взгляду ее чудесных любящих глаз, я мог догадаться, что она знает какую то мою тайну. Но я молчал. Молчала и она.

О чем я писал? Обо всем. Помню, что писал исторический роман в подражание „Войне и миру“. Писал на листках маленькой тетради в 1,16 долю и начинал почти так же, как у Толстого, с разговоров о войне... Тогда это не казалось странным—такое точное воспроизведение. „Творчество“ почти совпадало с переноскою. Помню, однажды я прочитал в книжке „Рус. Вест.“ какую то банальную повестушку, которая произвела на меня сильное впечатление, главным образом, тем, что герой и героиня приходили к любовному объяснению под грохот бури, грома и шум дождя. Мне страх как это попра-

¹⁾ Литературные воспоминания А. Р. Бугеля, рисующие быт и нравы прессы, (и в частности, так называемой малой) имеют значение не только историко-литературное, но общее историческое: они дают фон, на котором развивалась русская общественность в самое глухое время правительственной реакции дней Александра III. Подробности быта и положения печати в восьмидесятых и девяностых годах прошлого века весьма существенны для истории освободительного движения. Прих. ред.

вилося, т. е., вероятно, что это так декоративно. Эффект казался мне по-образно прекрасным, и я немедленно стал писать такую же повесть, т. е. своими словами изобразил шум дождя, блеск молний и грохот грома, и влюбленных героев, с которых струится вода.

Когда я стал постарше и обратился к другим книжкам, зуд поэтического сочинительства попрежнему не покидал меня. Прочитал „Записки охотника“ Богрова—книгу, небезинтересную с бытовой стороны, но довольно слабую в отношении литературного вкуса, и стал писать нечто вроде этих „Записок“. Прочел статью Беллинского с „Горе от ума“, и немедленно написал критическую статью о комедии Грибоедова, где повторил по-детски все мысли Беллинского.

Еще постарше я стал писать сатиры и памфлеты из жизни родного города. Тогда я уже осмеливался их читать среди кружка знакомых. Находили, что зло и забавно. Было это, вероятно, ужасно. Я думаю, что не было, главное, ни малейшего вкуса в этих писанинках. Моя мечта, моя затеянная мысль, моя точка были в том, что я должен быть писателем. Сильно я себя помню—мне рисовались две карьеры: военачальника и стратега, причем и располагал вокруг Мозиря батареями и эскадроны (огромное впечатление произвел на меня том Михайловского-Данилевского „Отечественная война.“ из которого я, кстати сказать, узнал, что в нашем городе стоял корпус Орлова), и, во-вторых, писателя. Во исполнение первой моей мечты, и, случалось, целыми часами просиживал над кучей стальных перьев, изображавших неприятельские рати, и старался обить их с позиций искусными фланговыми ударами. Во исполнение второй, я марал бумагу. Почему-то большое впечатление производил на меня роман Смирновой в „Отеч. Зап.“—„Соль Вавилона.“ Герои звали Черныш. Я засыпал и просыпался с именем Черныша и задумал немедленно такой же роман. Любопытно, что, например, „Губ. Очерки“. Щедрина я читал с удовольствием, но на подражание он меня не вызывал.

Классные сочинения я писал довольно охотно, но увлекался ими редко. Тискал я в них, без разбору, что подвернется. В 5-м классе и, кажется, звернул что-то из Шапова, да так ловко, что учитель наш, Александр Никол. Вулган, не догадался, а только нашел, что я обнаруживаю большие способности и даже с некоторым недоумением принес тетрадку в класс. „Будешь сочинителем,“—сказал он. В 6-м классе я был оставлен на второй год потому, что в экзаменационное сочинение „О пользе типографического искусства“ звернул что-то из статьи Писарева о панне Иннокентии. Источник моих вдохновенных мыслей не был открыт, но „дурной дух“ был ясен для нашего директора,—С. П. Фелицына. Келати. о Писареве. Он был совершенно прав, и я помню его. Назвался он мне очаровательным. И странно: не столько мысли Писарева назывались очаровательными, не столько широкое понимание этого критика повлияло на меня даже и кажется, что смутно и протестовал против множества и, например, Пушкина я продолжал любить по-прежнему любовью.—Очаровательным был для меня задор Писарева, пленительная была смелость его, бодрость. Не то было важно, что он протестовал, а то, как он насмехался: иная насмешка,

поленивает зубы и носом своего пинает направо и налево. Вот это писатель! Вот это идеал! Вот это литература! Увы, у меня были, как видно, задатки плохого литературного вкуса и неудержимое влечение к фельетонизму. Каюсь. И если я впоследствии—очень впоследствии—от этого в некоторой мере исправился, то это обошлось не без труда и не без ломки моей натуры. В 7-м классе—эх меня бросало!—я стал читать „Иолит. Экон.“ Милля с примечаниями Чернышевского и усердно писал „комментарии“—воображаю!

Так шли мои школьные годы. Я читал все, и беспорядочно. Я писал все, и также беспорядочно. Даже пробовал стихотворство. Но, это выходило окончательно бездарно. И действительно, версификация мне никак не давалась,—и поднес я не написал пары приличных стихов. Органическое отсутствие стихотворческого ритма—надо полагать.

„Писательские“ мои способности были известны, разумеется, всей гимназии, и я очень рано стал их эксплуатировать, составляя „заданные сочинения“ за четверку табак или связку баранок и пару припиков. Случалось, что я ухитрился одновременно писать 5—6 сочинений на одну и ту же тему, не повторяясь и по возможности разнообразя их. В таком случае я бывал снисходителен, и мог довольствоваться парой баранок или тетрадкой папиросной бумаги. Платили балбесы из купеческих еврейских семейств, лет на 5—6 старше меня. Они то и прививали мне корысть. Но так как в то же время они были и надуты, и так как ни выкурить больше табаку, ни съесть больше баранок, чем положено, невозможно, то эта отрасль натуральных заработков не получила развития.

В конце моего пребывания в гимназии в своих классных сочинениях я уже не прибегал к наивному плагиату. Учитель, Фил. Фил. Адвокатов (чернигов. гимназии) похваливал, но находил—и совершенно справедливо—в писаниях моих фельетонизм. Однако укоры эти я не принимал серьезно,—писаревское неприятие с отвагой продолжало назаться мне идеалом возможного для писателя совершенства.—но я просто стал относиться осторожнее и писать сдержаннее. В результате сочинение на экзамене зрелости „Развитие направлений в русской литературе в первой половине XIX столетия“ было признано всем педагогическим симулянтством „блестящим“ и, как образец, послано „в округ“. Что я там писал—не помню.

И вот я отправился в Петербург. Барьера писателя продолжала мне кружить голову. Иногда, правда, просеивалась и другая соблазнительная мечта—адвокатура. Я защищаю невинно обвиненного, и все дамы, а особенно одна, под черной вуалью, восхищены мною и отсыплют цветами. Но эта мечта не задерживалась. Я должен существовать пером. Мне было лет 6, у нас были гости и пиан-пой, и у меня в памяти остались слова отца, который, положив руку мне на голову, сказал: „Желаю бы я, чтобы он написал столько книг, сколько он побыл стоком“. Слова эти оставили неизгладимый след. Книг я много в свет не выдал, но написал всякой всячины, точно, много.

Был и в Петербурге в битком набитом номере в синем домашнем кафтане, перерезанном лазуряно-серым лагем и рыцарским нагрудником. Было

мне неполных 18 лет, и жизнь казалась невероятно прекрасной. Уже за Рижской я познакомился с красивым брюнетом, с прелестной черной бородой, — грузинско-сириначем Караевым, который предложил мне поселиться у его хозяйки. Он снимал комнату в д. № 37 по В. Подъяческой у каких-то евреев, и говорил, что там найдется комнатка и для меня. Меня встретила толстая, очень толстая еврейка, с мясистым, добродушным лицом, и показала мне свободную комнату... Это была маленькая комнатная щель, у входной двери. Стояла узкая кровать, и напротив маленький столик, и это создавало такую тесноту, что пробираться между кроватью и столиком можно было только боком. А когда я ложился на кровать, то мог свободно положить ноги на подоконник. Но был светлый солнечный августовский день, стояла комнатка 6 р. в месяц, и мне все это, включая толстую хозяйку, показалось превосходным. Караев в соседней комнате уже играл на скрипке, и на душе у меня была музыка. Петербург того времени был, конечно, не тот колоссальный Петербург с 2½ миллионным населением, какой мы знали пред войной и во время войны. В нем в ту пору (1882 г.) числилось только 850.000 жителей. Но он подавлял меня, и когда я попадал в свою комнатку, то терял сразу все расположение духа и легкую свою беззаботность. Мне было первое время страшно — страшно, что вот я, человек, микроскоп, а пропадаю, как песчинка, в этом океане, который меня не знает, которого я не знаю, и в котором совсем нет души. Вот именно это противоположение давило меня. Ни в Мозыре, ни в Чернигове, ни даже в Киеве, где я бывал раза два, — этого противоположения бездушности города и моей маленькой одушевленной личности я не испытывал. Но в Петербурге я долгое время не мог отделаться от этого ужасного впечатления одиночества на улице — пока лица, дома, магазины не привыклились, и не стали как будто новыми знакомыми.

Университет, товарищи, новые и старые, которых я встретил (среди них, земляк мой, одноклассник, сын священника Мозырского уезда, Митрофан Корженевский), лекции, профессора, сходили — все это первое время совершенно заглушило писательский зуд. Я перестал быть писателем *in spe* и бумагома-ракою, и стал студентом. Конечно, достал плед и толстую палку, и чувствовал себя необыкновенно торло, когда вознесшиеся фем говорили на улице: „студент, одолжите панировку!“ Факультет в то время был, действительно, блестящий, хотя старые студенты говорили: „Ну, какой же теперь это факультет? Вот два, или три, или четыре года назад был факультет так факультет!“ Однако, читая Сергеевича, Тургенева, Янсона, Коркунова, Полетайкускую экономию — само собой, самый важный для передового студента предмет — читая Чоломиз Вреден, при котором ощущал, что он не столько читает, сколько совершенно бесполезен. Это был веселый бонвиван, и если нужно было создать живое олицетворение буржуазного экономиста, спокойного, всем довольного и твердо убежденного в нескончаемости *juste milieu*, то, конечно, это был Вреден. Его книга, курс его, была написана ужасным языком. Фразы, вроде „лучи света, развивавшиеся о бытовую ограду современности, освещают политико-экономические задачи,“ и т. п. повторялись на каждой странице. Частенько

даже нельзя было понять, что он хочет сказать. Но лектор Вреден был занятный. Он рассказывал анекдоты об акционерных обществах, о великих финансистах, о том, что директор учетного банка, Зак, играет на скрипке, и о том, что газеты надо читать не с первой, а с последней страницы, где объявления, так как там настоящая жизнь. Он был неглуп, может быть, даже умен, и во всяком случае в обстановке всеобщего сильного подозрения, в котором держалась университетская наука, а, в особенности, такая заведомо неблагонадежная (что будущая наша революция полностью подтвердила), как политическая экономия, сумел своим жеманщиством и легкомыслием избрать самую блуждающую часть.

Талантливым и наиболее увлекательным для молодежи лектором был Коркунов, читавший энциклопедию права. Тогда он еще доцентствовал. Он читал лучше, чем писал. У него не было „бытовых оград современности“ à la Вреден, зато было щегольство архи-ученой терминологией, что вполне извинительно, впрочем, для молодых ученых, которые „хочут свою образованность показать“. Напечатанные его лекции совершенно не считались с тем, что их будут изучать вчерашние гимназисты, да еще толстовской гимназии, вытравившей всякий философский дух и всякую склонность к умозрительному мышлению. Я был подготовлен своим, хотя беспорядочным, но все же усердным чтением и жадностью своего восприимчивого ума более других, — однако, и мне приходилось потеть над лекциями Коркунова. Большинство же просто заучивало философскую экзегезу идей права наизусть и поугайски повторяло слова, не вникая в их смысл. В устном чтении Коркунова исчезал в значительной мере дух дешевого и скороспелого приват-доцентского галлереитства, да кроме того, у Коркунова была горичность, отсюда живая, убедительная интонация, часто раскрывавшая значение его речи. У него была маленькая смежная, огненно-рыжая борода, которая как то особенно убедительно тряслась, когда ему хотелось чтонибудь доказать. Во всяком случае, его я слушал усердно. Сергеевич, Вас. Пв., был известен, как замечательный ученый, — т. е. у студентов это была установленная репутация, — тем более, что в сочинении своем „Вече и Князь“ он осторожно проводил идею народоправства. А это уже был патент на непоколебимую репутацию, так же, как и то, что А. Д. Градовский сотрудничал в „Голосе“ и был известный поклонник конституционализма. Я не хочу умалять заслуги ни того, ни другого. Оба были, действительно, хорошими профессорами, известными, талантливыми исследователями, безупречными общественными деятелями. Но я говорю лишь о том камертоне, по которому строилась вся русская жизнь. Теперь, когда измеришь потухшим взором всю глубину исторических событий явственнее видишь далекое корня и пути происходящего.

Читал еще историю римского права Ефимов, — тоже доцент, совершенно незначительная личность. Никто его не слушал. И я часто думаю: какого пленительная гармония римского права, этой несравненной умственной и моральной дисциплины для этого мира, что, даже при таком преподавании, нужна эта была дисциплина для всей юрасской мысли!

Итак временно я забыл о литературе и предавался науке. Читал Мона, Фюетель де Куланжа „La cité antique“ и Альфреда Фюлье — „О свободе воли“ — для Коркунова. Знал я по-французски, что знают обыкновенно гимназисты, даже из числа преуспевающих. Для того, чтобы почитать Фюлье, я принялся за Поль де Кока. Прочитав романы его „Вельвилльскую девицу“, „Gaston le mauvais sujet“ и „Une grappe de groseille“ — и настолько, что называется, „насобачился“ (ибо преимущество Поль де Кока перед другими авторами для изучения франц. яз. заключается в том, что его можно и должно читать без словаря, не обременяя себя), что смог кое как одолеть и Фюлье, и написать даже реферат по сему поводу. Сколько помню, Фюлье, будучи детерминистом, пытался „примирить“ его с внутренним убеждением в существовании „свободы воли“. Поэтому он построил теорию „свободы в выборе мотивов поведения“. Коркунову эта теория представлялась чрезвычайно занятной и удовлетворительной. В сущности, эта теория довольно наивная — вроде „не вмер Давида, а болочка задавила“. И теперь уже не помню всей цепи хитроумных сплетений Фюлье, которыми он подпирал свою теорию, но в реферате я ее изложил довольно добросовестно, хотя и вступая изредка в дискуссию. Особенный полемический выпад сделал я по поводу его ссылки на диалоги Платона, где этот мудрейший человек проповедует (кажется, в „Каликлате“) идею аристократической олигархии. В качестве обязательного демократа 18-ти летнего возраста, я, что называется, разделил Ренана „под орех“. И тут Коркунов молвил одно слово, за которое я ему глубоко благодарен, ибо с тех пор, быть может, у меня начался ускоренный процесс обратного развития. Коркунов сказал: „Вот вы говорите, равенство, полное равенство и т. п. Однако, ведь вы не сидите за обеденным столом с ассенизатором, который 1 — в истинах“. Бывает так, что и слово-то не Бог весть какое умное, а ударит по теплу. Так меня это слово ударило. Вообще, значение слов, составляющих переломный пункт в умственной жизни, крайне загадочно. Например, и был очень богомольным и религиозным мальчиком, когда однажды на слова мои „Бог накажет“ выслушав от товарища гимназиста ответ: „Поди ты к черту со своим Богом“. Он выразился еще грубее. И с тех пор мой религиозизм дал трещину. У меня появились материалистические мысли. Долго жевание мне в голову, — до тех пор, пока умудренная жизнь не стала формировать идеалистического миропонимания и глубокого убеждения в трансцендентальности истины.

II.

Дни шли за днями. Обычные студенческие дни. Утром университет с его шумною жизнью, сосредоточенною не столько в аудиториях, сколько в минувальной и буфете с читальной залой. Ходящие на чайники в товарищах и к курящим, жившим на Кавказской улице — прогуляться! Конечно, опера — в то время итальянская — и дежурный за галереями билетами. И тут должен сделать признание, весьма, быть может, неожиданное для тех, кто привык считать меня театралом — драматическим критиком по преимуществу.

что в драматический театр в первый год своего студенчества я не ходил, а посещал оперу. В Александринском театре за целый год был, кажется, единственно на „Ревизоре“. Хлестакова играл Петипа и это единственный, кого я запомнил, и то, как я теперь понимаю, потому, что меня поразили необыкновенные птаны Хлестакова-Петипа—канареечного цвета и совсем невиданного мною покроя. Оперыда морали: не надо верить в особую врожденность вкуса—вкус и влечения воспитываются. По бессознательному влечению, и должен был бы стать компримарно в опере (голосом у меня был) или во всяком случае музыкальным рецензентом. А вышло иное.

Вскоре, однако, первые бурные впечатления студенчества улеглись. Когда Сергеевич, открывши мне историю русского права, начал свою лекцию обращением: „милостивые государи“, мне показалось, что небеса раздвинулись предо мною, и я ахнул—буквально ахнул—каждый раз это радостное и почетное обращение. По нестепенно вошел в привычку и „милостивые государи“, и лекции. Мне остался недочитанным. Боюсь, что Фюстель де Колюжж—тоже. Легкая восприимчивость, переменчивость, живость права, то, что называется „интерпретизмом“, слишком владела мною и ровным образом толкали меня на ту стезю, которая должна была стать стезей, увы, едва ли достаточно удовлетворившей меня жизни—на стезю журнализма. Бунагомараны опять стали любимыми зачиткой моих ночных доутов в уютной моей комнатке. Я сидел на кровати, а бумага лежала на столе, и я марал. Собственно, марал без всякого определенного плана. Почему то я стал увлекаться юмористическими журналами, и верхом литературного блеска мне казались „Стрелок“, а затем журнал Лелкина „Осколки“. И думаю, что это не моя только слабость и не только мой личный конфуз. Как известно, со „Стрелок“ началась литературная деятельность Чехова, а Н. Ф. Васильевский (Бува), это как то рассказывал, что и первые опыты М. Горького появились там же у него в журнале. Очевидно, есть какой то закон возраста, когда тянется на забавку: с одной в поле и с другой в литературе. Эти юмористические журналы представляли, представляли быбочками. При том эта особенная литература—страшно коротенькая. Что-то блеск и фиксирма—оно и го ое. Среди сотенных юмористических журналов у меня был свой герой, если хотите, идеал. Это был некто, подписывавшийся Н. Гроз. Только через много лет я узнал, что это был псевдоним В. В. Вилибинина. С Вилибинина я моя впоследствии в жарких отношениях и очень любил его. Но литературным героем его уже не считал, хотя, несомненно, он был человек замечательный. Я думаю, что и много больше развратнее то, что литература не была его единственной деятельностью: он занимал какой то довольно ответственный пост в политике. Увы, что может быть приятнее? И это особенно было он и вероятно для меня в то время, когда я мечтал об Н. Грозе, как о великом, непременно замечательном, непременно блестящем (с латинским постом) писателе. Ничего я не удивлялся на улице на все антипатичные лица и думаю про себя: вот это Н. Гроз! А Н. Гроз сидит в это время в политике, а в политике сидит счастливо-сладкими тисками разные вещи пакеты. И нос у Вилибинина

был, как говорится у Гоголя, самый обыкновенный пис, и при этом с краснотой...

Бывало, сидишь пред листом бумаги и придумываешь разные каламбуры или что-бы сентенции и афоризмы и юморески, или чтонибудь пародическое. Например, антитеза à la Виктор Гюго: „Черт и ангел! Рай и ад! Зубной врач и мозольный оператор!“ И т. п. Я решительно теперь не помню, какие такие замечательные строчки сочинил я и отправил по почте в редакцию „Стрекоза“... И затерял, вообще, девять десятых своих писаний, разбросанных по разным изданиям. Подписался я М. О. Зырянин. Это мне казалось, по меньшей мере, столь же остроумным, как И. Грэн, и столь же каламбурными. Выходила „Стрекоза“ по субботам. Помню осенний сыновотный вечер, когда я пересохишим языком спросил у газетчика на углу Вознесенского и Екатерининского № „Стрекоза“, уплатив 20 коп. из тонкого своего кошелька. И когда я развернул № у газового фонаря, и увидел на 3 или 4 странице часть своих „мыслей“ или „афоризмов“, подписанных „МОЗ“, то буквы, по истине, запрыгали у меня перед глазами.

Выло это в октябре 1882 г.

Я долго лежал на кровати, обдумывая это невероятное и торжественное событие в моей жизни. Я забыл сказать, что в этому времени хозяйка моя переехала на другую квартиру, на Вознесенский пр., и комната у меня была на 1½ руб. дороже и значительно лучше. Хозяйка моя была очень добрая женщина, и иногда прибегала к весьма оригинальной форме помощи. Я держал свои деньги в ящике комода, который никогда не запирался. И вот, случалось, ищу я каких-нибудь 3 пятака, которые, по моему расчету, у меня еще остались, и на которые можно купить фунт хлеба и две сосиски, и вдруг нахожу пятиалтынный, сверк пятаков, или двугривенный. Зная свою беспорядочность, я долгое время радовался этим сюрризмным находкам, и отправлялся сбежать к Шметову в вухмистерскую, где за 30 коп. давали два блюда, и как *hors d'oeuvre* сколько угодно редьки, красовавшейся на столе! Но когда однажды, тщательно обыскав ящик и выбрав все содержимое, и все таки нашел на следующий день, кроме своего пятака, еще и пятиалтынный, — я и сконфузился, и разозлился, и пошел объясняться с хозяйкой. Она опустила глаза и упорно отрепалась, но я, раз навсегда — о, я был дьявольски горд! — попросил ее больше не разыгрывать роли доброй феи. Она была, кстати, очень небогата, схоронила старика мужа, и целые дни бегала по кредиторам покойного, стараясь получить что-нибудь из старых долгов. В общем это была добрая душа, но ясно, что с ней говорить о литературной карьере я не мог. Единственный человек, которому я мог бы сказать это и выслушать в ответ то, что, казалось, мне было необходимо, — был Корженевский. Он жил в помещении Вильямова при университете, и это было чертовски далеко. Пришел я не любил коллегии. Недалго до этого в университете был ряд сходок и демонстраций по поводу этой коллегии, и я в них тоже участвовал, и когда приехал градоначальник Гессеер и стал нас уговаривать разойтись, то разумеется, я не ушел, а сдунил с восторгом речь М. А. Мандельштама (послед-

стыли известного пристрастного поборенного и члена гадетской партии), произнесенную им с высоты вешалки в интеллигентной. Потом я вместе с другими был отведен в манеж Павловского училища и пр., и хотя я не пострадал, ибо лжно держал себя не как демонстрант, знающий, из за чего он демонстрирует, а как сущий дурак, но мне было все это неприятно, включая коллегию. Тем не менее, после двухчасового восторженного лежания на кровати, я отправился на Васильевский Остров, захватив с собой, разумеется драгоценнейший, исторический № „Стрелок“. Я застаю Корженевского за лекциями по минералогии, и, повидимому, не в очень хорошем настроении, так что минут 10 я не решался заговорить с ним. Наконец, решившись, вытащил спомканный лист и прокашлявшись от смущения, протянул Корженевскому: „А тут, Митрофан, -- сказал я -- есть мое“...

Митрофан возил в меня свои злые, черные глаза, и молвил: „Ну, ну, давай“... Затем прочитал. Но моему, он ни разу не улыбнулся. О, жалкий злбый юмориста! Сердце у меня похолодело. — „Ну, что-же, валий“ — сказал он по прочтении. „Когда за гонорар?“ О гонораре я забыл, хотя при моих финансах (руб. 20—25 в мес., получавшихся с трудом из дому) — это был вопрос очень важный. Помня в журнале, — узнал, что редактор принимает по средам на Николаевской ул. Должно быть, и гонорар там же платят. Строк было напечатано — 40 или около того. Ежели в каждом № хотя по 40 строк, то выйдет рублей 8—9 в месяц и это значительно улучшало финансовое положение.

— Я тебе говорил, дурак, что напрасно не хлопотал о стипендии, — сказал вычитательно Митрофан — Ну, пиши, черт с тобой! ... — Поощрение было не особенно замечательное, так что из за отсутствия должного консонанса я скоро ушел, тем более, что до смерти хотелось творить, творить, творить... Было сочинено еще несколько „афоризмов“ и „сентенций“, — между прочим, помню такую мысль, достойную Лябрюера и Лиропифуко: „Паряд — оружие женщины. Поэтому побежденная женщина слагает свое оружие“. Затем была написана пародия на новую „психологическую“ манеру Максима Велиского, начинавшаяся так: „У него где-то что-то внутри стукнуло. Вынув из стола что-то гладкое и холодное, он приставил его к виску. Что-то в нем и вне его не давало чему-то покоя“. И т. д. Все это сочинилось, перемаривалось, дегустировалось на тысячу ладов, переписывалось — с субботы до самой среды. В среду я отправился на Николаевскую, в редакцию „Стрелок“. Было часов 5 хмурого осеннего дня. Я шел и ни о чем не думал. То, что предстояло, было так огромно, что и мыслей нельзя было собрать. Сейчас не помню я ни дома, ни входа. Кажется, что помещение было в первом этаже. Зато хорошо помню, что вывеска редакции и конторы была маленькая, фасад же был занят вывескою: „Фабрика научных интелпелей Г. Корифельда“. Что Герман Корифельд был издателем „Стрелок“ — это я знал, но что вместе с тем юмористическая система не только в такой связи, но и в такой подчиненной у научных интелпелей — это я узнал, лишь когда вошел в редакционное святилище. Коридоры в целом ряд комнат были уставлены напольными шкафами, дакими-то тюками и т. п. Свет еще не зажигался, и в полу-темной развешенной

комнате, куда меня вели, я заметил у окна двух собеседников: одного сухощавого, среднего роста, с рыжеватыми усами, и другого, — низенького, с длинными вьющимися волосами. Разговор у них шел бойкий и оживленный. Было совершенно ясно, что низенький, с длинными волосами был сам Василевский, несравненный Буква, король остроумия, и другой, очевидно, какой-то сотрудник, а может быть, просто знакомый редактора. Разговор длился довольно долго, так что я имел достаточно времени, чтобы оглянуться. Но было досадно, что не давали света. Несколько раз в дверях появился невысокого роста господин, „седой паружности“, грузно и нескладно ступавший и усердно похваливавший. Однажды он сказал не то с поменким, не то с еврейским акцентом: „Ну, что же, Николит Федорович?“ Но ответа не последовало, и седоватый господин исчез во внутренних апартаментах. Наконец, собеседники стали прощаться. Наступил критический момент: сейчас ко мне подойдет низенький человек с длинными волосами, сам Буква, и скажет: „Это вы М. О. Зырянин? Давно жду знакомства с вами!“ И вот первое разочарование: низенький господин с длинными волосами, нахлобучив жгущую парикомую, настоящую литературную шляпу, вышел, а ко мне подошел аккуратно подстриженный сухощавый человек, с острыми глазами, и слегка вьющимися рыжеватыми усами. И я сразу почувствовал тоску. Что я говорил — не помню. Что говорил Василевский — тоже не помню. Кажется, говорил, чтобы отнесл материал на Офицерскую, к нему на миварвиру. Разговор длился ровно $\frac{1}{2}$ минуты. Он боком сунул мне руку, уже полудостоверившись, и я явственно услышал: „7 коп. за строку!“ Правда, стоял замечательный гонорар превышал все мои ожидания. „Сколько же получает Эмил Пуи?“ — мелькнуло у меня в голове. Эмил Пуи был мой любимый поэт из „Стрекозы“ — образ почти столь же величественный и загадочный, как и И. Грэк. Однако, несмотря на ожидавшее богатство, на душе у меня было тоскливо. Вышел седоватый человек и снова спросил: „Ну, что же, Николит Федорович?“ „Сейчас, Герман Карлович!“ Это был сам издатель. Герман Карлович поднял с пола толчок с лагушными котомками, сунул мне в карман „Грише! Грише! возьмите это! Что такое за безобразие!“ И еще подождать, и когда Герман Карлович снова повернулся на пороге, он посмотрел на меня через очки и сказал: „Хотите гонорар?“ „Хочу“ — ответил я. „Заходите!“ И зашел в другую комнату, где стоял большой конторский стол. Герман Карлович вынул толстую книгу, долго записывая мою фамилию, потом вынул №, посмотрел на сиюю карандашную подпись, и заткнул меня расписавшись в книге (рука у меня шибко при этом дрожала). Прочитав в р. 64 к. Я заткнул свою записную книжку, где был записан этот мой первый гонорар. Какое самое сильное впечатление было в моей жизни? Первый пенал или первый гонорар? На завтра я отнес на Офицерскую новые свои „пронзения“ которые и появились в 2 №№, и Герман Карлович выдал мне уже 7 р. 56 коп. Вообще дела мои превосходно. В большом доме Личачева по Василевскому пр. уг. Ед. теритогофск го. битком набитом студентами, я уже имел солидную репутацию литератора. Мои литературные планы ширились. И мечтал уже о некоторой журналистической значительности. Но тут случилось несчастье...

На склоне дней, когда дьявол уже не может больше грешить и поневоле становится отшельником,—вообще, критически относившись к своей особе. И теперь, после того, как мною столько написано, слишком написано,—уже писак переписак,—я вижу, как много было в моем умонаклонении хитроуслетного и единственно к формальной цели направленного остроумничания. По мере сил, я старался от него избавиться, но избавился ли? Тогда это умонаклонение было господствующим. Я прочитал статью о Гартмане и его „Философии бессознательного“, которая тогда была в большой моде и еще совсем нова, и наполнился известным его афоризмом: „Das Nichtsein ist besser als das Sein“ „небытие лучше бытия“. Легати сказать, эта мысль проше и поэтически выражена в „Эдипе“ Софокла: „Лучше совсем не родиться, а кто родился—тому скорей умереть“. Но и Гартману и его афоризму повезло—это была тема дни. И вот, я, понатужившись, засел за юмористическую философию на мотив этого афоризма. Мне это, яко бы юмористическое, перевертывание казалось необыкновенно остроумным и глубоким, и считал я это свое „произведение“ удачным из всего, что я написал. Отнес, и стал дожидаться следующего М. „Стрелеви“. И вот, представьте мой ужас, когда я, вместо напечатания этой „юморески“, нашел в „Почтовой ящичке“ следующие слова: „Примите касторового масла вместо гонорара“...

Это была катастрофа, и, быть может, почтенному Н. Ф. Василёвскому, который так обидительно поднес мне касторового масла, даже на ум не могло прийти, какое это имело на меня огромное влияние. Начать с того, что, будучи от природы очень стидливым и самолюбивым, я долгие годы носил, так сказать, в сердце открытую рану, и как то сиротался. Я боялся выступать. И сейчас — смелно сказать! — на незнакомом месте чувствую себя, как дебютант. И стал избегать редакции, и возненавидел юмористические журналы, я боялся генералов от литературы, и по сей день мне все кажется, что они могут посмотреть на меня сверху вниз, и тогда старая обида загорается в душе, и полузаживший рубец от раны краснеет и наполняется кровью. Среди разных других причин, заставивших меня долгое время скитаться по более или менее сомнительным литературным закоулкам и углам,—воспоминание об этом грубом ударе хлыста по юмористическому моему самолюбию играло, я уверен, не последнюю роль.

Первая моя мысль была о том, не прочитали-ли все мои товарищи и знакомые о роковом предложении касторового масла. Дня два я нигде не показывался. Потом рискнул. К счастью, кажется, никто не прочитал „Почтового ящичка“, а и прочитал, так не обратил внимания. С этой стороны я успокоился, но литературным упрямлением моим пришел конец. Я не писал ничего почти год, т. е. может быть, для себя чтонибудь карандаш, но даже и не поминил о том, чтобы печататься. Снова окунулся и с головой ушел в студенческую жизнь, готовился к экзамену, летом уехал к себе на родину, и все время кутался с бродячей группой актеров, игравших в Мозире. Я играл самые неподходящие и неуместные роли: Золотова в „Горькой Судбине“, Шингелиберга в „Розовых яблоках“, Акулину в „Горькой Судбине“, и даже купца из „Маскотти“ —

вообще, помогал этим потерпевшим, но милым созданиям, чем мог. Играл я, вероятно, сиверно, но так как все кругом было также сиверно, то и не надеялся в худую сторону. По литературу, писание — к чорту, к чорту, в шапку, в подыладку!

Совершенно не могу припомнить, каким образом и по чьей инициативе и вдруг стал петербургским фельетонистом екатеринославской газеты „Днепр“. Я начал в ней сотрудничать зимой 1883 г. Во главе газеты стоял Г. И. Шрейдер, впоследствии известный соц.-революционер, политический эмигрант, бывший до октябрьского переворота во время революции петербургским городским головой. Издателем газеты состоял некто Белиев, присяженный поверенный. В числе сотрудников был Ганейзер и др. Газета была направленная и бойкая, и выходила, кажется, 3 раза в неделю. Так как главное управление по делам печати очень быстро заметило в газете „душок“, то оно придумало весьма любопытную меру „пресечения зла“: именно цензурирование газеты, издававшейся в Екатеринославе, было передано в Москву! Газета, естественно, скоро захирела...

Я думаю, что меня отрекомендовал редакции „Днепра“ кто-нибудь из екатеринославских студентов; их была целая куча в знаменитом доме Лихачева, и хотя я в то время жил уже на Измайловском проспекте, у немки, имевшей модный магазин (ход через кухню, 7 р. в месяц), но частенько посещал эту компанию. Иначе я не могу себе объяснить происхождение моего сотрудничества. С Г. И. Шрейдером я так и не имел за всю жизнь случая познакомиться, а с Ганейзером, кажется, познакомился в начале девятисотых годов. Но у меня, помню, было письмо на редакционном бланке, с приглашением сотрудничества и с разными редакционными desiderata. Гонорар был мне назначен 2 коп. со строки. Я писал раз в неделю фельетоны, а иногда и корреспонденции, и подписывался „Аэрка“. Должно быть, писания мои нравились, потому что я получил еще одно письмо от редакции. Писал я страстно и либерально — обо всем: о крестьянском и дворянском банке, о театрах, в которых я не бывал, о совместительствовавших сепаторах, которых не видел, о постройке Святого рыбка и муниципальных скандалах, по газетным сведениям и т. п. Вероятно, это было вполне по вкусу провинциального читателя того времени. Конечно, я любил писать, и писал охотно. По гонорару, увы, не получал, хотя позволял себе неоднократно напоминать об оном. Дела мои были совсем фи-напсовы. Отцу я врал из самолюбия, что „существую литературно“, да и обстоятельства у него были тяжелые; жил-же я на стипендию в 15 р. в месяц, да иной раз на урокишке перепадает чтонибудь. Я обедал — блестящий обвинитель сенаторов и петербургского городского головы. Аэрка — за 8 к. в студентеской кухмистерской на 16 линии, и оттуда перешелом каждодневно к себе домой, на Измайловский проспект! А гонорара все не было и не было. И вот, однажды утром — дело было на масле, чуть-ли не в субботу — я получил сообщение, что приехал издатель газеты, Белиев, и просит меня зайти. Я подумал, что мне следует — сумма была чудовищная — 128 рублей! Встал я сизарину, поспирился на последний пятиалты-

„un oeuvre bien étrange“ — есть такой падалин либерализма, который наилучше способен погубить его. Будто бы, глядя из редакции „Новостей“ из окна министерской квартиры (на Мойке — редакция „Новостей“ помещалась в длинном одноэтажном, с подвалом, доме, существующем и по ныне), всемогущий министр говорил окружающим: „Посмотрите, вот мой противник: дурак, жид и либерал“. Я думаю, конечно, что это motto обчинили недоброжелатели О'Кунча. О. К. Потович, в сущности, был недурной и нелинейный образованный человек. Но он страдал не то самолюбием, не то каким-то вадевиллиным эгоцентризмом. Кто-то из сотрудников прозвал его не без меткости — „Я сам“. Я узнал О. К. Потовича довольно близко в 1900 или 1901 г., и меня поразило, при всей его доброте (он мне оказал небольшие, но тому времени, однако, для меня ценную услугу) и даже при несомненной правильности суждений, какой-то дурией тон, наскарыз его провикавший. Я бы сказал, что он был лишней такта и притом очень развязен. Газета же была „серая“ и серостью своей испугала свой либерализм. Он не умел подать газетного блюда, и кроме того был плохой полемист, чем бессовестно, надо сознаться, пользовалось „Новое Время“. Буренин еженедельно изощрял над бедным Потовичем свое остроумие. Что он писал! То он изображал его владельцем кассы ссуд, то сидищим в „микве“ и кладущим „Новости“ „под стегно“ талмудистом. То он писал по поводу переделки „Misérables“ Потовичем в пьесу: „Гюго и Потович! Величественный океан поэзии и грязная канля миквенной воды! Мобблан романтизма, и маленькая ничтожная луковича у его подножия“. Самое глупое в поведении Потовича было то, что он не молчал, а неудачно отругивался; он совершенно не умел с достоинством держать себя. Так, например, ему очень хотелось, когда, на горе себе, он пустился в драматургию, чтобы об его пьесах были замечания в „Новом Времени“. Написав пьесу „Дочь“, он немедленно через одного из сотрудников послал об этом заметку в „Нов. Время“. Старик Суворин очень любезительно исполнил желание Потовича, заметка была напечатана, но, к сожалению, вырвалась досадная опечатка: было напечатано, что О. К. Потович написал новую пьесу „Дичь“. Как молодой пикадор, я впоследствии долгое время привязывался к Потовичу, и из всех сил драгил его. Даже к бородачке его, действительно, странной, украшавшей центр его лба, и приставал. Сейчас мне это не столько забавно, сколько стыдно вспоминать. Но илюкотал темперамент, и чорт знает на что уходил!

О Потовиче мне еще придется, надеюсь, вспомнить. Сейчас я сделал невольное это отступление, увлекшись в сторону. Хотел же я сказать, описывая добросовестно свою газетную карьеру и подготовляя объяснение дальнейших своих zigzags, что вот был, как будто, случай папаша на линию. Статьи была напечатана, видимо, поправилась — почему бы Потовичу было не поощрить неизвестного молодого автора, автор бы тоже вышел! Но поощрения не было. Мени в редакцию не знали, а я, подаяно, боялся и нес туда показывать. Так это дело и замерло.

Несколько месяцев, а мне разных брутисмов для себя, а ничего не писал. Не писал, би, может быть, и очень долго, если бы не случай. У меня был

земляк, студент К., человек столь же назойливый, бесцеремонный и храбрый „безумством храбрых“, сколь я был застенчив и стыдлив. Он успел вторгнуться в разные редакции, и, между прочим, в „Петер. Газ.“, где ему иногда поручали маленькие отчеты о разных „собраниях“. Писать он был не мастер—вернее, совсем не умел писать. И вот, в один прекрасный день он мне предложил исполу работать в „Пет. Газ.“. Он д. будет ходить по собраниям, а я буду излагать его „высказывания“ и заметки, а гонорар—5 коп.—пополам, по 2½ коп. за строку. Предложение мне очень понравилось; это было как раз то, что нужно. Деньги требовались до-зарезу, знать меня никто не знал, К. будет бегать, а я только стану заниматься „письменной работой“. Так и пошло. Часов в 10—11 вечера, а то в 4—5 дня ко мне забегал К. с ворохом записок, а я, не утомившись даже выслушать его до конца, тут же, походя, писал и придавал „литературную форму“. „Литературная форма“, видимо, правилась, потому что заказы К. из редакции так и сыпались, и на мою долю приходилось в одну неделю руб. 15, что представляло уже, так сказать, капитал и давало возможность существовать совсем безбедно. К. знал вкусы редакции и давал свои указания, которым и безропотно следовал: в описании выставок или торжеств следовало непременно вставлять фразу: „В публике было много хорошененьких дам“ или „Среди многочисленной публики выделялся ряд хорошененьких и нарядных дам“. Редактор, повидимому, был эстет по дамской части. Бывало, увлечешься описанием какойнибудь кустарной выставки, которой, конечно, и в глаза не видел, размахнешься, закончишь какиминибудь хлесткими афоризмом, да так и сдась. К. на ходу набрасывает палито и мчится, но вдруг возвращается: „Эх, А. Р.,—что же вы про в числе которых было много хорошененьких дам не поставили? И две строчки лишку, да и звучит для конца красиво!“

Однажды—то было раннею весной—к концу экзаменов, К. явился торжественнее обыкновенного, и, потирая руки, как он делывал в случаях волнения, сказал мне: „Худекову так нравится моя работа (я так смирился духом, что даже не обратил внимания на то, что К. считал писание в газете своей работой), что он предложил мне написать ряд очерков о Виземской Лавре. По 6 коп., батенька, и строчек можно валить в каждом очерке по 300—400. Так вот, батенька, давайте! У меня и редакционное удостоверение припасено“. И он показал мне редакционный бланк, на котором значилось, что такой-то (или ред.) командирован для осмотра так называемой Виземской Лавры. „А как же и то надо?“ У меня ведь нет удостоверения!“—„Пустяки,—решил К.,—я вас выдам за своего секретаря“.

„Виземская Лавра“—именно многие даже название это забыли—был громадный старинный, с флигелями и пристройками дом на Садовой близ Забалканского (где ныне новые пятиэтажные дома), представлявший настоящее „лицо Петербурга“. С незапамятных еще к тому времени только строили, поэтому огромный „Лавра“ была соединением парижских „Halles Centrales“, с их полумраком, изысканной хитроумностью, суетнеперевозом и т. п., и петербургских трущоб доброго старого времени. Полница давно махнула рукой на Лавру.

Тогда бы не очень дебоширили и воюющих безобразий не делали. Может быть, конечно, тут было и своего рода „сотрудничество“, или официальное непротивление злу. Но несомненно, что Вяземская Лавра была самым любопытным, самым оригинальным углом старого Петербурга. Тут жили пропойцы, оставшие чиновники, мелкие закладчики, фабрикантши ангелов, безработные, сутенеры, специалисты по мелким кражам, почему либо потерявшие клиентов, дешевые проститутки, котировавшиеся не выше полтинника, следочницы, татары старьевщики, зеленщики, ярославские мальчишки, приехавшие в Питер делать карьеру, и пр. и пр. Тут была своя аристократия, своя иерархия, свои социальные классы, своя борьба „за освобождение труда“—вообще все свое, как в жизни, но через призму Вяземской Лавры. Бесконечные корридоры и лестницы напоминали средневековье. Газовый рожок, а чаще керосиновый ночник тускло освещал целые кварталы пиццет и порока. Нас встретил управляющий домом, которому К. отрекомендовал меня быстро и решительно „Александр Романович (?)—мой секретарь“. Я не протестовал ни против Романовича, ни против титула. Управляющий был хитрейший мужчина—это я даже при своей тогдашней юношеской неопытности и тогдашнем молокосостве заметил. С полицией он ладил, надо было и с прессой лагидить. Вероятно, охотно сунул бы что нибудь в руку, но К. был слишком крек, а я—слишком глуп. Он не решался, и оговорочно пробовал почву. Показал кое-что, но не самое неказистое. Когда же я ему сказал, что де интересно было бы посмотреть для литературного, так сказать, интересу самое „дно“,—он долго угощал нас чаем с рожком, и не совсем охотно повел нас в какие то катакомбы, где у дверей разных коридоров стояли огромные, грязные левицины и дико ругались. Я старался более или менее запоминать что видел, хотя видел мало но я надеялся на фантазию. Ах, эта молодая фантазия! Отчего теперь есть все сорта уловок, все тонкости литературных приемов, все ухищрения мастерства, а строить не из чего—нет фантазии, которая тогда населяла мир и творила все из ничего!

Я накатал одним духом 4 или 5 очерков. В основание, кажется, были положены смутные воспоминания о „Notre Dame de Paris“ и „Misérables“ Виктора Гюго. В Вяземской Лавре жили: Гавроши—спичечники, Жеметальды—зеленщики и следочницы и добрый Квизимоде, хромоу бочар. Строчки набегали сами собой... Худеков был в восторге, К. приобретал день ото дня бо́льшую важность; я же жил, жизнь, как пьяница вино. Все было хорошо, все прекрасно. Получив около 40 р. гонорара на свой паи, я собрался домой на летние каникулы, и чувствовал то, что должен, вероятно, чувствовать молодой колос, наливающийся влагоу будущего зерна...

Я перешел на 4 курс, приехав осенью в Петербург, и, не имея „помощи“ со стороны К., который почему то „разошелся“ с газетой,—кажется, попробовал что-то писать самостоятельно, и жестоко провалился—я очень бедствовал. Два по два, по три приходилось сидеть на следке с чаем. В ту пору мы, студенты старших курсов, усердно посещали заседания юридического общества (по субботам), где разбивался проект нового уложения

ного уложения. Заседания были на редкость оживленные и яркие. Кроме профессуры, в заседаниях принимали участие многие сенаторы и светила адвокатуры. Талантливее и остроумнее всех был П. Я. Александров, прославившийся своею защитою Веры Засулич. Он был, можно сказать, до краев переполнен едким сарказмом. Худой, с маленьким, некрасивым, странно усеченным лицом, напоминающим обгрызанную селедку, он говорил высоким, режущим голосом, с злобною ирониею и большим сосредоточенным темпераментом. Лично мне его ораторский талант представляется и поныне, кажется, одним из самых ярких и замечательных. Несколько напоминал его, по мифистифическому тону, известный Герценштейн, убитый союзом русского народа, только темперамента александровского у последнего не было. „Хорошо было бы дать заметку в газету!“ — надумал я. Но в какую? Ясно, что и „Нов. Времи“ и „Новости“ имеют тут своих корреспондентов. Это были две единственные не политические газеты того времени, да еще „С.-Пет. Вед.“, перешедшие недавно под редакцию В. Г. Авсеевца. Разве попробовать в „С.-Пет. Вед.“? Так я и решил. Утром я написал заметку, строк в 50-60, и отдал со страхом и трепетом швейцару. Редакция помещалась на Троицкой ул., вблизи Графского переулка. Показалось мне, что швейцар крайне презрительно взглянул на мое пальтишко, сверх которого был накинут драпный плащ, и это привело меня в окончательное смущение. Ранним утром побежал я к газетчику, купил „С.-Пет. Вед.“ — и в хронике нашел свою заметку, целиком и даже без всяких изменений. Вопрос шел, значит, о том, чтобы получить гонорар и пообедать. Я вызвал К. и сказал ему: „Слушайте, я сам отнес заметку, сам придумал обратиться в редакцию „С.-Пет. Ведом.“ — по всей справедливости, это мои деньги. Тут рубли на 3½. Но за гонораром пойдете вы, потому что я стесняюсь, — и тогда, извольте, поделимся“. К. сейчас же пошел, а я считал минуты. Ждать пришлось не долго, так как жил я по близости, на углу Невского и Лигейной. У К. нос был повешан на кивку. „Гонорар выдается по субботам“ — сказал он грустно. А был понедельник... Мучительно долго тянулись дни. Наконец, наступила суббота. И тут случилось еще осложнение: К. отдал в починку пальто и не мог выйти. Пришлось пойти самому. Я не в силах передать, как я волновался и какую удивительную фигуру представлял собою, сплав визу у швейцара пальто и поднявшись в помещение конторы и редакции. На мне, помню, была совершенно адютантская визитка, спитая „лучшим“ мозырским портным, с полами, расхлывшимися чуть ли не от горотника, неопределенного цвета брюки „с искрой наваринского дыма“ и узелковый, десятиконечный черный бантик вместо галстука. Взглянув в зеркало, я увидел бледное худое лицо с взлохмаченной кошкою волос и грустно-растерянными глазами. Вдобавок университетский наш доктор, — изрядный коновал, надо сказать правду, — пришег мне ланцетом подбородок, отчего образовалось огромное черное пятно... Ассамблея была редкая. Пересохшим языком я объяснил очень строгой даме, сидевшей за главным столом, цель моего посещения, причем на слове „гонорар“ голос понизился до шепота умиряющего. „Ваша фамилия?“ сказала она тоном начальницы женской гимназии. Я пролепетал: „Потру-

дитесь подождать, присядьте". Я скромненько, воздушно касаясь стула, присел у окна. Весь этот день, сыгравший главную роль в моей жизни, я помню с отчетливейшими подробностями. По петербургскому обыкновению, день выдался серый, дождливый, пасмурный, и хотя время еще было не позднее, часа 4 пополудни, но уже стемнело. То и дело, в комнату из боковых дверей входили и выходили разные люди. Со священным трепетом думал я про себя: «это сотрудники». Случалось, что они подходили к столу, где сидела строгая дама, и расписывались в книге, а она им выдавала деньги. „Гонорар!“—соображал я и помню, что ни малейшего удивления не вызывало во мне то, что они получали деньги, а я сидел и ждал. Понятно, что я должен ждать, и это совершенно в порядке вещей—они, сотрудники, получают, а я, молодой человек в пиджотской визитке, должен ждать. От множества лиц, мелькавших предо мною, и от волнения, я не запомнил ни одного лица. Все они сливались для меня в какой-то величественный организм газеты, которой, можно сказать, огнедышащий кратер я видел в первый раз в жизни. Из комнаты направо доносились громчайшие раскаты смеха и рокочащий громоподобный голос. „Должно быть, сам редактор!“—решил я. Но дверь отворилась, и, звякая шпорами, оттуда появился саперный, нал мне показалось, подполковник или полковник, с эселебантами, и тем же громоподобным голосом попросил выдать ему гонорар. «Сейчас, Владимир Карлович!» Владимир Кирлович повернулся на каблуках и, сказав что-то молодой копторщице, расхохотался так, что задрожали стекла. Это был В. К. Петерсен, писавший под псевдонимом «Н. Ладожский» литературные и общественные фельетоны—человек одаренный и умный, о котором, к сожалению, в литературе не осталось почти никаких следов. Умер он в чине генерал-майора, и в „Нов. Времени“ был ему краткий некролог—тем дело и кончилось.

Тянулось мое сидение уже больше часа. Я не испытывал, конечно, нетерпения, ибо то, что я видел, было для меня заманчивее самой интересной сказки из „Шахерезады“. Уже совсем смеркло, когда, припадая на одну ногу, прошел мимо меня сухоощавый человек среднего роста, с редкой, седоватой шевелюрой, и дама, сидевшая в конторе, сказала: „Вот, Василий Григорьевич,—сотрудник, о котором вы спрашивали.“ Господин живо на меня оглинулся, протянул мне руку и сказал: „Пожалуйста, зайдите ко мне“, и направился вперед в смежную комнату. Все это продолжалось одно мгновение, но мысль моя прожила десять лет. Господин посмотрел на меня в кабинете еще раз умными, черными глазами и молвил: „Это ваша заметка об юридическом обществе?“ „Моя“. „Она хорошо написана, литературно. Пишите дальше“. Я пролепетал: „О чем?“ „О чем хотите! Вы знаете языки?“ „Более или менее французский.“ „Ну, это немного!.. Вот если бы знали немецкий...“ Я промолчал. „Вы студент?“ „Да“. „Так пишите... У вас есть перо“. „И об юридическом обществе можно?“ Он улыбнулся: „Можно“.

Я вылетел из кабинета, как птица, и только на лестнице вспомнил, что не получил гонорара, и вернулся назад. Получил я 3. р 15 коп,—помню отлично. В этот день я обедал с приятелем, ныне прис. пов. (виноват, право-

заступником) В. Г. Гензенин, на углу Невского и Митейного в „шикарной“ пухлястерской—за 40 к. с кофе. У меня горели щеки от возбуждения, и уже в 7 час. вечера я был в юридическом обществе. Даже огней не зажигали, и с час я бродил по темному коридору.

Так началась моя настоящая газетная, уже не прерывавшаяся, карьера. В. Г. Авсеенко я многим обязан, и этому человеку, помогшему мне овладеть „тайной“ журнализма и оторвавшему меня, принадлежат самые лучшие мои воспоминания. Он был первый, который не прошел мимо и оглянулся на случайного автора. По натуре В. Г. Авсеенко вовсе не был экспансивен и отнюдь не принадлежал к числу увлекающихся людей. Он был скорее сух уравновешен и сибарит. Но он был литератор, в истинном смысле этого слова. Он был от литературы. Оттого он и обратил внимание, вероятно, на заметку в 60 строк—он в ней заметил печать литературы, то, что в журналистике ценится все меньше и меньше. Журналистика отрывается и отрывается от литературы, и наша русская следует в этом отношении примеру западной. Я помню, как француз—приятель, Жюль-Буа, тоже начинающий литератор, сказал мне наставительно в 1894 году в Париже, увидев, что я записался в отеле—«*Journaliste*»: «*Dieu vous garde! Понимте: Homme des lettres*». „Журналист—это просто «*canaille*»; все же, что сколько нибудь грамотно,—это „литератор“. И тон Буа напомнил мне раздражение директора Борденава из „Нана“ который возмущался, когда ему говорили „ваш театр“.—«*Ne dites pas mon théâtre: dites mon bordel*».

В. Г. Авсеенко не только дал мне работу и оценил мои задатки,—он руководил мною, а это еще важнее. Он правил мои рукописи. Значение литературной правки—того, что Салтыков так метко выразил в афоризме—„не он хорошо пишет, а мы его хорошо печатаем“—огромно. Правка пужна, конечно, статье, но еще больше—автору. Это предметный урок, настоящая школа литературы, воспитание вкуса. Большая убыль литературных сил началась с того времени, когда редакторами газет (а газеты поглощают по преимуществу литературные силы) стали политики, а то просто „люди с чутьем“, а не литераторы. Им некогда возиться с рукописями, да и дарованке начинающих их занимает мало. В. Г. Авсеенко был одним из немногих редакторов—литераторов. Он газету вел, может быть, не по газетному, т. е. перыночно,—оттого она и не имела рыночного успеха. Но он любил литературу, и я не могу и не хочу забыть его драгоценной заботливости о моих первых шагах. Достоевский в одном из „Дневников“ своих жельно обозвал Авсеенку—„Коленкоровых манишек бесновидный ювенал“. Это—метко. Но вместе с тем, русская литература, читавшая общественность, и *vice versa* возвела эти самые коленкоровые манишки в ранг некоего демократического флага, способного покрыть только потому, что он коленкоровый, великий груз убожества. Это—то презрение к условностям, а значит, к культуре и цивилизации, которое повлекло за собою катастрофическое оголение страны от всего, что было создано столетиями. В синодике грехов русского литературного лицемерия презрение к ювеналам коленкоровых манишек сопрягается и в одну строку должно писаться с апо-

феозом посконной рубахи, опорок и лаптей. И мы уже знаем, что из всего этого вышло... Теперь мы знаем. И может быть, теперь мы научимся больше ценить и уважать таких людей, как В. Г. Авсеенко. Насколько я его знал и в ту пору, как я его знал, В. Г. Авсеенко никак нельзя было отнести к „реакционерам“ безоглядного типа. Он очень любил, очень восторгался Тургеневым, и в миросозерцании его было много общего с тургеневским и „потугинским“ из „Дыма“. Он как-то рассказывал анекдот о том, что в бытность его в Киевском университете, студентам было задано сочинение на тему „О пользе Европы“. Эта анекдотическая тема, однако, довольно близко и точно определяла сущность его миросозерцания. Европа представлялась ему образцом для подражания, и если он не был конституционалистом в то время, когда издавал „С.-Пет. Вед.“, то это объяснялось тем, что он не усматривал ни в обществе, ни в народе элементов конституционализма, русского *tiers-état* и русской буржуазии. Достоевский высмеивает какую-то рецензию Авсеенко о французском Михайловском театре, в которой встречалось такое выражение—„теплый буржуазный жанр.“ По душе Авсеенко был, действительно, и понятен, и близок этот „жанр“, рисующий устойчивую, морально крайне дисциплинированную жизнь. Это было ему настолько близко и понятно, насколько чуждо и далеко было нигилистическое, анархическое отрицание, в чем, собственно, и заключилось наша литературное „передовое“, да и не только передовое, направление. И точно, мы еще не научились лепетать, в смысле накопления моральных и социальных ценностей, но отрицания за то были поименно пригоршни. Все хорошо, когда идет согласно закону сложения и разложения сил, и сила сопротивления учитывается, как и сила давления. Но русская литература занималась лишь созданием „контр-форсов“, и несколько не задумывалось над созданием того, что должно было испытать силу разрушительных ударов...

Я стал писать в „С.-Пет. Вед.“ усердно. Второй статейкой пустил тоже об юридическом обществе „Дуэль по поводу Дуэли“. Не помню уж как, попробовал фельетон под псевдонимом „Наблюдатель“; затем напечатал целый ряд статей по экономическим и юридическим вопросам—особенно, по поводу проекта нового уголовного уложения. По истечении нескольких месяцев, я получил предложение писать ежедневно маленький фельетон, для чего и являлся аккуратно в редакцию. И таким образом я стал профессиональным газетным сотрудником. Я работал много и упорно. Указания и изменения редакторского карандаша подвергал я обстоятельному анализу. И добивался в фельетонах своих формы с необычайною для моего „легкого“ характера настойчивостью. Случалось, что фельетон в 150 строк я писал два—три дня, перемарывал и переписывал по несколько раз и приходи в отчаяние от несовершенства своей техники и от неумения найти законченность и зримость слова. В то же время я выполнял всяческие поручения редакции—бывал в суде, в заседаниях обществ, даже не юбилее училища Правоведения присутствовал, стоял в трех шагах от Александра III и Марии Осодоровны. Воображаю, какую комическую фигуру представлял я в чужом фраке, сидевшем

на мне, как на вешалке! Эти „выезды в свет“, в качестве репортера, сослужили мне большую службу, расширив сферу моего наблюдения, сообщив много живых сведений и сведя лицом к лицу с разными деятелями того времени.

Редакцию „С.-Пет. Вед.“ составляли в то время М. М. Колювч, П. Ф. Левдик, А. А. Коган, М. Г. Вильде, Д. Н. Санинца и В. А. Лебедев. А среди сотрудников были: упомянутый уже В. К. Петерсен-Ладожский, Н. К. Морской, Н. П. Гнедич, Н. К. Галлер, музыкальный критик, проф. Н. А. Любимов, А. Н. Энгельгардт (жена известного Энгельгардта) и др. Редакция и контора занимали небольшое помещение. Из комнаты, являвшейся конторой, вели две двери в кабинет В. Г. Авсеенко и в сотрудницкую. Другая „сотрудницкая“ комната, где сидел и я, сообщалась прямо с кабинетом Авсеенко. В этой комнате, кроме меня, восседали А. А. Коган, В. А. Лебедев, а позже — М. М. Колювч. Коган был красивый мужчина, с пушистой бородой; хотя с явно еврейской фамилией, но ярый антисемит. Он был сотрудником „Московских Ведомостей“ и очень гордился знакомством с Катковым. Если память мне не изменяет, он писал в „Моск. Вед.“ под псевдонимом „Неизвестный“. У нас он вел, вместе с Левдиком, иностранный отдел, а одно время, кажется, и печать. Он почему то постоянно хмурился и утверждал, что какие-то не то обманутые мужья, не то политические противники покушаются на его жизнь. До сотрудничества в „С.-Пет. Вед.“ он долго жил за границей, бранил нашу русскую жизнь и все рвался обратно в иностранные земли. Человек, в общем, был мало общительный и не особенно приятный, хотя образованный и порою интересный рассказчик, если только не особенно завырался. В. А. Лебедев, заведывавший отделом спорта, справочником и мелкой хроникой, являлся прямою ему противоположностью. Он был из „простых“, чуть-ли не из наборщиков или корректоров, но состоял также „выпускающим №“. „Посмотрите на него, — говаривал В. Г. Авсеенко, — он ходит на каблуках, как наборщик, а если праздник, так не может не выпить“. Василий Анапиевич был остроумич и говорил „предложить“ вместо „предложить“, был очень добродушен и не лишен писательской настоящей жилки. Он умер сравнительно молодым и не успел еще расписаться, но были у него и рассказы, и статьи совсем недурные — правда, без особенных умственных усилий, но правдив и тепло написанные. Любил закусить, выпить и повинтить, причем когда режился, и партнер бранился, то только шире раскрывал синие глаза и при каждой штрафной изятке почему-то с сознанием оскорбленного достоинства приговаривал: „видите?“

Мих. Мих. Колювч, сын профессора духовной академии, довольно известного в свое время Мих. Ос. Колювча, был большим моим приятелем и таковым остался до самой своей смерти. Он был старше меня года на два, не больше, и когда я начал сотрудничать в „С.-Пет. Вед.“, он, кажется, еще состоял студентом, но уже твердо решил пренебречь дипломом, тем более, что был влюблен и собирался жениться. Получал он, по тому времени, большие деньги, что-то 400—450 руб. в месяц. И надо правду сказать, как прекрасный работник — настоящий газетный „антуха“, — он этого стоил. У него

был публицистический нерв, сарказм, известный, хотя и не очень стойкий, но так называемый „русский“ национальный политический взгляд. Он много читал, много знал и отличался блестящею памятью. При этом он обладал для газетного дела самой драгоценной чертой—внутренним тактом. Я с ним работал, много лет спустя, в „Руси“ А. А. Суворина, в революционные годы 1904—06 г.г. и еще буду иметь случай об нем говорить. В то время, про которое я пишу, он еще был, разумеется, молод, зелен, но задатки блестящего публициста были палицо. Он правил хронику и др. мелкие статьи, писал передовицы и был правой рукой В. Г. Авсеенко. Трудно себе представить более забавно-уродливую наружность, чем у Мих. Мих. Кояловича: маленький пуговкою нос, с небольшою бородавкою набодашником, маленькие, почти что свинные, хотя умные глаза, непропорционально маленькая голова на длинном нескладном туловище и при этом тонкий пискливый голос; к тому же в придачу заметная глухота, с годами все больше возростающая. Женился он на редкой красавице, в полном смысле слова, так что я ахнул, когда он меня познакомил с невестой; вообще, по этой части он был „сих дел мастер“, и после этого говорите, что „уметь любить“ не значит все!..

Мих. Густ. Вильде я уже застал zelo старым. Он копошился вокруг иностранных газет и был, что называется, старый театрал. По равнодушию своему тогдашнему к театру, я этой его особенности не ценил, как следует. Ходил он, сгорбившись, в неизменном черном скюртке, в заднем кармане которого находились бутылочка из под сельтерской воды с молоком и булочка. Это был его завтрак или ланч, или то и другое вместе. Авсеенко говорил про него, что у него от старости прекратились уже все физиологические процессы. Седые волосы его, довольно редкие, уже пожелтели. Оживлялся он только, когда заговаривали о театре. В то время воссияла звезда Е. Н. Горевой, которой страстным поклонником он числился. Откуда следует, что к разряду тонких ценителей он едва ли принадлежал. Но мне он мог говорить что угодно—я не видел ее, да и смотреть не собирался.

Дм. Петр. Сапшенца, собственно, попал в журналистику случайно,—кажется, из чиновников министерства внутренних дел, прикомандированных к „Прав. Вестн.“. Мужчина большого роста, он отличался злобною пронырью и про всех говорил дурно. Сапшенца переводил иностранные известия, затем делал передышку, ходил по комнате, разминая геморроидальную поясницу, и кистил всех направо и налево. Затем садился и повторял это последовательное чередование до конца занятий. Иногда станет у окна и смотрит на улицу. „Что смотрите?“—„Да вот, смотрю, что упряжь у А. А. Матова (полковника Семеновского полка, управлявшего конторой) все улучшается, а гонорар все уменьшается“.

О П. Ф. Левдине я буду иметь случай говорить впоследствии. Он и недолго пробыл в редакции, увлекаемый более родственными ему по духу бульварными газетами.

Сейчас мне эти первые годы представляются восхитительными. Я зарабатывал до 150—175 р. в месяц, компания подобралась приятная, жили

дружно, по-товарищески. Занятия в редакции начинались около 1—2 ч. и заканчивались в 4. В. Г. Авсеенко любил аккуратность и точность; в четыре он брал трость, желтые перчатки и отправлялся гулять пред обедом, и тут надо было кончать, хоть на полу-слове оборвать. Ввиду этого у сотрудников выработалась манера—писать, держа пред собою на столе раскрытые часы. Эту привычку и я усвоил и долгое время не мог от нее отвыкнуть. О будущем как-то задумывались мало. Когда живетел ярко—чего там заглядывать в будущее! Было здоровье, была молодость, была еще не притупившаяся острота впечатлений. И аппетит!.. Я иногда вспоминаю теперь, какие порции уписывались, случалось, на ужин в бывшем приказничьем клубе (что на Владимирской ул.), куда меня научил ходить Коган и Девдин, постоянные посетители сего учреждения! За 60 коп. давался антрекот величиною с тарелку, да еще тарелка жареного с луком картофеля!

Я сейчас стараюсь вспомнить, какие же меня, собственно, волновали в то время общественные и политические вопросы? Я писал передовые статьи обо всем, *de rebus omnibus et aliis quibusdam*, даже об иностранной политике, и фельетончики тоже обо всем—о музыкальных вечерах могучей кучки, о балалаечниках В. В. Андреева, о Стамбулове и его палочной политике, о дачах, о Боборыкине, о романе Золя. Среди бумаг у меня сохранилось несколько наклеек с старыми статьями и фельетонами из „С.-Пет. Ведом.“ Фельетончики были, как мне на нынешний взгляд кажется, суховаты, а передовые статьи, как это ни странно, несмотря на мою крайнюю молодость, были совсем настоящие. Стиль еще не выработался, а только вырабатывался, но взгляды,—сузу по просмотру—были здравые и ясные. В общем, что же требуется от газетной передовицы? Я был баловнем В. Г. Авсеенко. И из того обстоятельства, что этот, в сущности, сдержанный и суховатый человек отнесся ко мне с несерываемою симпатиею, я ясно вижу, как глубоко верна и правдива психология известного водевиля Лабиса „Le voyage de M. Perrichon“, герой которого возненавидел того, кто спас ему жизнь, и воспылал нежностью к тому, кого якобы он сам спасает.

Несомненно, во всяком случае, одно: судя по тем статьям, которые сохранились в моем архиве, репешительно нельзя найти в „С.-Пет. Вед.“ того времени признаков реакционерства. Это было скорее умеренно-либеральное направление, стоявшее во многом на основе „эпохи великих реформ“, как принято было тогда выражаться,—хотя с известными оговорками. Если принять в соображение, что то было время самой свирепой реакции Д. А. Толстого и Победоносцева, и что „С.-Пет. Вед.“ рассматривались, как „издание“, обеспеченное „обязательными объявлениями“, то следует признать, что В. Г. Авсеенко довольно искусно лавировал между Сциллой и Харибдой. По крайней мере, что до меня, то я не чувствовал в области юридических и экономических вопросов, которых, главным образом, касался, давления на свои взгляды и убеждения. Насколько я припоминаю это отдаленное время, Авсеенке давалось не легко его отщепление, хотя бы умеренное, от Катковского толка. Раза два в неделю в редакцию являлся

Н. А. Любимов, известный сподвижник Каткова, и они долго с Авсеенко ходили взад и вперед по кабинету. У нас это называлось — „губернер пришел“. Н. А. Любимов к тому времени, когда я стал постоянным сотрудником газеты, уже перестал в ней печатать свои статьи. И так как в деле предоставления Авсеенке аренды „С.-Пет. Вед.“ Любимов сыграл немалую, если не главную, роль, то было понятно его стремление удержать Авсеенко на стезе строгой катковщины. Однако, удавалось это „губернеру“ мало. Н. А. Любимов считался в катковском лагере одной из самых выдающихся сил. Немногие, быть может, знают, что цикл статей Н. А. Любимова „Против течения“, напечатанный в „Рус. Вести.“ и содержавший исторический анализ событий великой французской революции, был, между прочим, написан специально для того, чтобы доказать Александру III (хотя едва ли нужно было так усиленно доказывать ему то, чего он так страстно хотел), что Людовика XVI погубила уступчивость, и что, остановленная в начале, французская революция не имела бы дальнейшего течения. Этот взгляд считался господствующим в придворных сферах, и уже после смерти Александра III передавали следующие слова, будто-бы на смертном одре сказанные им Николаю: „Не уступай ничего, потому что, если дать палец, то они захватят всю руку“. Собственно, этот афоризм и представлял главную мысль исследования Н. А. Любимова. Бывал в редакции, — всегда гладко выбритый, всегда в неизменном черном сюртуке, — он заходил в редакционную и беседовал с нами. Ему, помню, нравились мои фельетончики, и в особенности те, в которых я „разделял“ музыку „могучей кучки“. Он, кажется, был хорошо знаком с Балакиревым и др. представителями этой музыкальной группы.

IV.

Летом же первого года своего сотрудничества в „С.-Пет. Вед.“ я внезапно стал рецензентом. Можно ли отрицать значение случая в жизни? Оглядываясь на себя, я должен сказать, что, конечно, не в смысле общих контур моей жизни, а в смысле частных, и весьма существенных, ее линий, — очень многое и важное — определялось случаем. Так было и здесь, — с театральным рецензентством, ставшим впоследствии главной основой моей литературной работы. Случай! И далее потом тоже ряд случаев!

Театральные рецензии писали в „С.-Пет. Вед.“ П. П. Гнедич, М. Г. Вильде, Галлер и, кроме того, Н. М. Безобразов, известный балетоман, камерюнкер, — личность довольно любопытная, о которой мне придется еще говорить. Я не знаю, почему, но Н. М. Безобразов прекратил свое рецензентство, а кто-то другой, который должен был писать, тоже оказался в „нетех“. Помню, я заканчивал какую-то статью самого прозаического свойства, вроде реформы мирового суда, когда меня позвал В. Г. Авсеенко. „Не поедете ли вы сегодня в „Ливадию?“ Надо написать рецензию“. Я, вытирая замасленные чернилами пальцы, сделал большие глаза. „Как же я? Да и как туда пройти?“... Я задавал самые глупые вопросы, свидетельствовавшие о том, как, в сущности, я

Был далек от театра и от мысли, что я буду писать театральные рецензии „Вы там встретите Николая Михайловича (Безобразова) — он вам все объяснит“, — сказал Авсеенко и вручил мне редакционный билет. Я принял его, как некую священную утварь. Завернул даже, кажется, в бумажку. Мысль о том, что я поеду в театр, чтобы писать рецензию, волновала меня и пугала. Я уже имел случай заметить, что в театре, вообще, бывал очень редко, а в оперке был всего раза два — на знаменитой Зориной, певшей „Чертенка“ с Давыдовым. Что же касается балета, который тогда давали с знаменитой Брианца, то в балете и на разу не был, и знакомство мое с балетом ограничивалось танцевальным дивертиссементом или номерами, неизменно сопутствовавшими по традиции оперным спектаклям. Из этих хореографических отрывков мне памятли были лезгинка, которую танцевала Петина, кажется в „Руслане“, и „танец часов“ в „Джигонде“ Понкиелли. Вот и все мои балетные впечатления. Я не скажу, чтобы я не любил театра: когда я бывал в нем, то испытывал удовольствие. Но тянуть меня особенно не тянуло. И, во всяком случае, сознание, что я еду в театр, в качестве рецензента, заранее убивало всякую мысль об удовольствии, и я думал только о том, как бы мне вынестись из глупейшего положения, в которое меня поставил В. Г. Авсеенко.

В „Ивадию“, — так назывался сад, находившийся в Новой Деревне за „Ариадней“ и Царской Славинкой, — будущий рецензент приехал на империае конки. Войдя в сад, долго искал Николая Михайловича, который мне „объяснил“, в какие двери войти и кому предъявить билет. Этим его „объяснения“ и ограничились. Весь спектакль я просидел на иглах. Выходили какие то молодые женщины в трико и коротеньких юбочках и танцевали, потом высканивала Брианца и вертелась на одной ноге, подвернув другую, и тогда кричали „браво“, а сидевший рядом со мной пожилой человек, с крашеными усами и в матового оттенка высоком цилиндре, очень наоминавшем головной убор факельщика, кричал что-то вроде „гау! гау!“ и стучал тростью. Вероятно, я был очень бледен. Я не только ничего не понимал и не соображал, но и мучительно страдал от своего непонимания, и все время беспомощно озирался окрест. В антрактах я упорно ловил Безобразова, но он был с какими-то шикарными дамами, а один акт просидел в ложе бенуара у самой сцены, с особенно шикарной дамой и особенно шикарным господином среднего возраста. Как я узнал из почтительного шопота окружающих, это были Никитина и Базилевский — она, звезда балета и подруга Базилевского; он — звезда золотопромышленности и друг Никитиной. Для меня эти имена, приводившие меня в „трепет“, были совершенно *du chinois*.

Безобразова мне всетаки удалось залучить на минутку по окончании спектакля. С великою наивностью, я спросил его: „что же мне писать?“ Но он не удивился моей наивности, и с такою же грацией ответил: „надо поддержать“. Надо поддержать! Я снова взобрался на империа конки и размышлял над роковым вопросом, как я „поддержу“ Брианца, и чек я ее „поддержу“... Потом решил, что утро вечера мудренее, и лег спать, причем снилось мне, что я сам надел трико и прошу Безобразова меня поддержать

за вытянутую погу. По утру, взяв листок бумаги, я окружил себя несколькими рецензиями, в духе и стиле которых написал „поддержанье“. Так как рецензии, вообще, были характера „поддерживательного“, то однотипность их значительно облегчала задачу. Рецензия была напечатана петитом, и Авсеенко сказал мне на следующий день: „А сегодня вы поедете в „Аркадию“. Я вздохнул, но не посмел перечить. Опять взобрался на импернал и снова поехали в Новую Деревню. Снова спросил Безобразова, как насчет французской оперетты, и снова выслушал, что „надо поддержать“. Я заметил, однако, что виду рецидива моего рецензентства Безобразов отнесся к моей особе серьезнее. Он представил меня нескольким лицам, сидевшим в рецензентском ряду, в том числе человеку, похожему на фапельщика. Это был А. Н. Похвиснев, „старейший балетоман“, сверстник детских игр Александра II, весьма любопытный обломок старого барства. Тут же я познакомился с М. П. Федоровым, посаженным редактором, как его называли, „Нового Времени“ и еще кое с кем. Они все отнеслись ко мне очень любезно и приняли под свое покровительство. Какой то господин в соломенной шляпе, с красным бритым лицом, еще не старый, неистовствовал и стучал тростью больше всех, вызывая французскую опереточную актрису. „Замечательно! Поразительно! Изумительно!“ — доскандил он поминутно с польским акцентом и оборачивался во все стороны, стремясь вызывать сочувственный восторг в окружающих, и особенно обращаясь ко мне. „Ах, этот Агеевский, — говорил мне в антракте старейший балетоман, — я понимаю, что нужно поддержать, но ведь это уже слишком! В „Листе“ никогда не знают меры“. В последнем антракте Федоров и Похвиснев пригласили меня пить чай на веранде. Похвиснев рассказал последний анекдот: „Вы знаете, какой самый чистый человек? Сын Анны! Он девять месяцев пробыл в Анне (в ванне)“. Я хохотал, пил чай и начинал уже себя чувствовать королем в своем королевстве. Мне было неполных 22-года, лягушки квакали в соседнем болоте, и может быть, даже пел соловей...

Похвиснев, как я уже сказал, был товарищем Александра II и Адлерберга и мог, конечно, сделать блестящую карьеру. Но промотался раз, — за него, по докладу Адлерберга, царь заплатил долги; потом промотался во второй раз — снова Адлерберг доложил, и снова заплатили долги, но Александр II сказал: „Что это Сашка мотает? Чтобы это было в последний раз! Безобразие!“ После чего для Похвиснева настали мрачные дни. Его пристроили в главное управление по делам печати, где он делал газетные вырезки для царя на ватмановской бумаге. Пока был жив Александр II, Похвисневу перепадало еще кое что, потому что, просматривая похвисневские вырезки, царь иногда спрашивал Адлерберга: „Ну, что Сашка? Ах, дурак!“ Адлерберг, конечно, отвечал, что Сашка без гроша, и Александр II, который вообще плохо разбирался в относительном значении денежных знаков, хохотал и говорил: „Ну, дай ему пятьдесят рублей, — нет, дайте ему три тысячи пятьдесят рублей! Ах, дурак Сашка!“ Но со смертью Александра II красивые дни Похвиснева кончились. Существовал он только на жалование, которое получал за вырезки на ватмановской бумаге, а этого было мало.

Наследства все были проедены, а привычки, и особенно к балету, остались. Тогда он стал писать балетные рецензии. Кстати, это открыло ему дорогу на пиры, устраивавшиеся в честь балетных звездочек. На пирах этих он держал себя с достоинством; черепаховое пенсне за бортом черного редингота, и затаенная корректная фигура, и подкрашенные волосы,—все это было безукоризненно, а la граф Любин из „Провинциалки“, и как Любин, он мог бы петь из „Фаворитки“ „Noi siamo poveri“. Его называли на франко-русских театральных трапезах „le doyen de la presse“, и ему неизменно принадлежало первое ответное слово за шампанским; он произносил его своим лающим голосом на чистейшем французском языке, и притом у него был „жест“. Ни он, ни окружающие не чувствовали, повидимому, что он изображает нечто вроде свадебного генерала. С сознанием достоинства и нерукотворенности балета он сошел в могилу—тихо, спокойно и незаметно,—кажется, в 1900 или 1901 г.

Мих. Павл. Федоров был одной из самых популярных петербургских литературно-театральных фигур конца XIX столетия. И он также умел с достоинством держаться в недостойном положении. В сущности, он был одной из мертвых душ, купленных Сувориним, и купленных очень удачно. Мих. Павл. был из очень хорошей семьи,—кажется, сын адмирала или что-то в этом роде. В детстве он повредил себе ногу, стал хромать, и потому пошел „по гражданской части“. Гражданская часть была, однако, у Федорова не в авантаже. Он „слепил“ с кем-то вдвоем водевильчик, перевел другой, и стал завсегда-таем кулис. Выкупные, разумеется, скоро были проедены, и тут Суворин его купил за 6.000 р., кажется, в год. Был Федоров толст, очень некрасив, с отвислым брюхом, чревоугодник, сплетник, но в общем, bon enfant и чистокровная богема—до конца своих дней. Как у Похвиснева, как у Безобразова, как у целого ряда других из этого литературно-газетного кружка, у него не было семьи, которую заменяли дружеские отношения к какой-нибудь даме полусвета. „Мертвая душа“ и подставной редактор, Федоров, однако, барским видом производил известное впечатление, а для представительства газеты это было очень важно. Он являлся в редакцию, пил чай, что-то там будто-бы читал, иногда даже объяснялся с посетителями, а затем, собственно, начинался его петербургский день. Долгое время он обедал вместе со всей газетной богемой в Малом Ярославце, где „печати“ за 75 коп. давали очень недурной обед, для обыкновенных посетителей расценивавшийся рублем и полтора. И также месяца два-три обедал в Ярославце с этой компанией, которой неизменными членами были Левдик, Л. Ю. Гольдштейн, А. А. Плещеев, М. И. Пыхлев, часто Вас. И. Немирович-Данченко, Н. М. Безобразов и др. После обеда хозяин ресторана, из уважения к гостям, предоставлял желающим кабинеты для отдохновения, и Федоров на диванчике всегда сладко часок похрапывал. Затем он садился на извозчика и отправлялся в театр—каждодневно, где нередко дремал, однако всегда на своем посту. И точно так же всегда, после спектакля, подбирал себе компанию ехать ужинать. Извозчиков он неизменно брал за плохую и за неосторожную езду, причем частенько

выходил из себя и колотил своей пухлой барской ручкой извозчика по загривку. Так как пролетарское самосознание беднейших крестьян в то время еще не просыпалось, то на извозчика рукоприкладство Федорова производило не больше впечатления, чем прикосновение мухи. Он только почесывался да посмеивался, Федоров же, успокоенный, давал при расчете извозчику лишний гривенник. Ужинал он обыкновенно у Лейнера, и начинался ужин очень оригинально—с ложечки соды, которую он выпивал, чтобы унять изжогу и вызвать аппетит. Чревоугодие было для Федорова не только сладким, хотя и смертным, грехом, но я бы сказал—средством скоротать время, которое тянулось для него нестерпимо медленно, по отсутствию всяких интересов. Когда летом Федоров лечился в Экс-Ле-Бен или Виши, то француз доктор, наблюдая этот разительный образчик русского чревоугодия, говорил про него: „с'est pas un homme, — с'est une usine à gaze“. Федоров совершенно не переносил одиночества, и потому некал молодых, как я, которые его еще хорошо не знали, которым он еще не надоел, и которые готовы были выслушивать его сплетни и разговоры. Старые приятели подсмеивались над ним и как можно эксплуатировали. При всем том, у него еще была особая беда—беда от нежного сердца, и он ревновал, что было глупо, как в смысле объективном, так и в субъективном. Однажды он, ужиная со мною у Лейнера, получил письмо, в котором значились следующие строки:

Под шляпой повою Брюно
Скрыты старые рога,—
О, Миша, Миша, мудроно—
От друга отличить врага...

Он весь помертвел лицом и съел две ложечки соды, после чего вдвойне поужинал и, закулив сигару, сказал мне: „Вот вы еще молоды... А знаете, что бы я хотел? Чистенькая, небольшая квартирка, да, и горничная молодая хорошенькая, с французским батистовым передником и в чепчике-с, да, и с париками... Да... Подает мне кофе... Да... Потом я беру французский роман, и читаю“...

Почему этот идеал жизни он не мог осуществить—я не знаю! Это имело не помещало бы его „занятиям“ в „Новом Времени“. Но видно было, как в сущности, все ему надоело—богемничанье пожилого, почти старого, человека с компанией молодых, еще полных огня и жизни, людей. Он был бесконечно податлив и совершенно бесхарактерен, но в основе, конечно, приличный человек, и я представляю себе, например, как он должен был себе чувствовать, когда по жалобе каких-то антрепренеров, возникло дело о рецензентских взятках и вымогательствах, и самого его призывали также к градоначальнику Грессеру. По его словам, Грессер сказал-де так: „Я не осуждаю, когда репортер берет там какую-нибудь благодарность, — но не вымогай. Я ведь и на приставов так смотрю. Нельзя без подарков, но шантаж—пожалуйте на гауптвахту!“ Федоров передавал эти слова Грессера без малейшей проники. Это рассуждение казалось ему вполне правильным и логическим, как вполне

уместной параллель с приставами. Одно время неизменным спутником Федорова был Мих. Ив. Пыляев, автор „Старого Петербурга“ и других подобных пысканий. Он был из купеческой семьи, такой же кругленький и толстенный, как Федоров, с розовым, как у поросенка, лицом и сложенными на брюшке ручками. Летом он посиживал на веранде „Аркадии“, про какое-то заведение поэт, сотрудник „Листка“, Иванов-Классик, сложил на одном из бенефисных хозяйских вечеров, такой экспромт:

Гостеприимная „Аркадия“
Приятством права своего
Пленить могла бы самого
Преосвященного Паллады...

Зимой Пыляев вместе с Федоровым были усерднейшими посетителями Приказничьего Клуба, о котором я уже упоминал. Пыляев терпеливо ждал, пока „дама“ его, маленькая блондинка, танцевала, а Федоров—винтил. Пыляев, вероятно, был очень ревнив—иначе трудно было объяснить его стояние часами у врат танцевальной залы. „Наблюдаю-с фанданго резвое“,—говорил он с усмешечкой.

Ник. Мих. Безобразов, собственно, примыкал только одним крылом к этой богеме. Он вращался больше „в свете“. Как я уже сказал, он был камер-юнкер. При „диктатуре сердца“ Лорис-Меликова, он состоял не то секретарем, не то делопроизводителем Верховной Распорядительной Комиссии, как ее называли, и хранил, яко зеницу ока, проект лорис-меликовской „конституции“. Он мне дал ее как то на прочтение—в синей папке, как настоящее „дело“. Конституция, действительно, была совершенно кудач. Частенько, когда надо было произвести впечатление на простоватых антрепренеров „Аркадии“, известных приятством права своего, он приезжал туда в камер-юнкерском мундире под небрежно расстегнутым пальто. На веранде тогда шло удвоенное угощение, а Ник. Мих. сообщал свои дворцовые наблюдения и разные придворные слухи. Связи у него, действительно, были, и карьера у него обозначалась прекрасная. Но как Похвистев, он быстро все промотал и к службе считался непригодным. Мнение довольно ошибочное. Когда его приятель и еще в большей степени балетоман, К. А. Скальковский, был назначен директором горного департамента, Безобразов получил должность начальника отделения и служил отлично, хотя в ботемском кружке и острили, что это не горный, а „огорный“ департамент. Позднее Безобразов был назначен от правительства директором какого-то акционерного общества рудников или чего то в этом роде в Приволжском крае и получал весьма большую „тантьему“. В качестве такого „финансиста“, он и закончил свою жизнь, совершенно отстранившись в последние годы от бывшего кружка, за исключением А. А. Плещеева, с которым отношения у него были старые и особенные, о чем мы скажем впоследствии.

Чтобы покончить с кружком „садовых рецензентов“ того времени, в среду которых я попал на первых порах, а должен упомянуть о Пав. Сех.

Макарове, седовласом бакецбардисте, номинальном, как и Федоров, редакторе „Бирж. Вед.“ Он написал оперу „Мария Делорм“, которую едва ли ктонибудь знает. Но это давало ему большую уверенность суждений. О газете он ничего не знал, и даже телеграмм не читал. Пил он преимущественно водку, так сказать, принципиально и по внутреннему убеждению. „Я водной от чахотки излечился!“—говаривал он и прибавлял: „А теперь каков“. Что не помешало ему умереть от болезни сердца, вызванной убежденным потреблением водки.

Труден только первый шаг. Убедившись в том, что мои рецензентские отметки нисколько не хуже других, Авсеенко стал, откровенно говоря, злоупотреблять моим рецензентством. Меня командировали на дачные спектакли, например, в Ораниенбаум, где была лучшая летняя труппа, с участием гастролеров. Поезд тащился в Ораниенбаум в то время 1½ часа, да столько же назад, да час на конку, да часа четыре на спектакли, и того 8 час., а зарабатывал я на рецензии рубля 2; впрочем, выдавали еще рубля 1½ на железнодорожный билет. В Ораниенбаумском театре я увидел впервые многих знаменитостей того времени—видел Волгину, красавицу и плохую актрису, видел Ермолову в „Чародейке“ и т. д. Театр, если не ошибаюсь, держал Сосновский. Среди рецензентов помню еще Н. Н. Лендера из „Нов. Вр.“, как говорили, *firsta naturel* Абариновой, на которую он был похож лицом, но *en laid*. Он жил *maritalement* с опереточной актрисой Крузовой, которая была вдвое его старше.

Припоминая это время, я спрашиваю себя: были ли разговоры о театре среди компании газетных отметчиков и рецензентов? Да, конечно, были, но исключительно характера анекдотического или фактического. Трактовать вопросы театра было совершенно не принято. Говорили о том, что, Самойлов играл хорошо то-то, а Монахов то-то, Глебова то-то, а д-р Плесси—вот то-то, а адвокат Серебряный (с которым я лет 8-10 спустя познакомился—тип замечательный!) подал гостям на десерт огромное серебряное блюдо с цветами, фруктами и совершенно обнаженной Бланш Гандон посредине. Но о теории театра или хотя бы о какойнибудь эстетической оценке никогда не говорилось ни слова. Я старался уяснить себе, почему это хорошо, а то не хорошо, и в каком смысле одно дурно, а другое прекрасно, но никакой помощи и никакого указания не получал. Я блуждал впотыях. Это было какое-то совершенно эмпирическое искусство—театроведение, и я понял, что если почему-то мне нужно писать рецензии, то иной помощи, кроме той, какую мне может оказать усердное посещение театра, и ни откуда получать не могу. И значительно позднее, когда по призыву В. Г. Авсеенки, я стал посещать Александрийский театр и мадно в антрактах прислушивался к тому, что говорили и какими словами обменивались театральные критики и театралы В. О. Михневич, Н. А. Лейкин, С. И. Худков и иные,—я не очень многому от них научился. Единственный театралый критик, который знал, почему ему правитель, и почему—нет, был Коровиков, горбатый человек, с огромным биноклем на ремешке. Но я, нахвост, забегаю вперед и нарушаю хронологическую последовательность своих воспоминаний.

V.

Осенью 1886 г. я сдал экзамены в университете и представил кандидатскую диссертацию „О находке“. Два слова о диссертациях того времени. Они писались юристами преимущественно по гражданскому праву, но не потому, что существовало такое особое пристрастие к вопросам гражданского права, а потому, что профессором этой юридической дисциплины состоял профессор Н. И. Дювернуа, очень добрый, снисходительный, живой и остроумный человек, не утративший черт французского „жманфилизма“. Все диссертации он одобрял, а весь обязательный „колоквиум“ на тему диссертации состоял в том, что, похлопывая по тетрадке, он говорил: „труд! труд!“, затем прибавлял, чтонибудь ласковое или рассказывал анекдот — тем дело и кончалось. Злые языки острили, что будто бы в тетрадку диссертации можно вписать басни Крылова, и то сойдет. Что до меня, то я довольно добросовестно отнесся к избранной мной теме, и даже проглядел в Публичной библиотеке, разбираясь с грехом пополам в смысле, 2-3 немецкие книжки. Тема о находке меня интересовала потому, что я считал глубоко безправственной и аморальной конструкцию действующего права, по которой создается премия за выполнение элементарной обязанности всякого честного человека. Как водится, Дювернуа сказал „труд“, похлопав по тетрадке, и как я заключил, едва ли дал себе труд просмотреть диссертацию. Я остановился на своей диссертации потому, что с ней связано мое случайное сотрудничество в „Судебной Газете“ — одном из оригинальнейших органов печати, порожденном реакционным и протекционным духом времени. Казалось бы ясно, что специальное, профессиональное издание должно было бы издаваться специалистом. Однако, издателем-редактором „Суд. Газ.“ состоял архитектор де-Векки, полубрусевский италианец, какими то путями получивший или перекупивший концессию. Как ни хлопотали почтенные юристы того времени получить разрешение на издание в Петербурге юридического органа, они встречали постоянно отказ, причем ссылались обычно на то, что-де один такой орган уже имеется, и в другом надобности не предвидится. Таким образом де-Векки был монополистом. Смотрел он на свое издание совершенно так, как это определил издатель „Московск. Листка“ — Пастузов, заявив на вопрос московского ген.-губернатора кн. Долгорукова, какое направление его газеты — „кормимся, ваше сиясь!“ Дело в том, что в „Судебной Газете“ печатались решения кассационных департаментов сената, и, кроме того, в почтовом ящике давались справки о судебных сенатских решениях. Таким образом, круг обязательных подписчиков был обеспечен, и де-Векки хлопотал только о том, чтобы газета поменьше стоила. В этом отношении, — *congro di Basso!* — он превзошел, кажется, всех. Всю „литературную“ часть он сдал секретарю, получавшему 75 рубл. в месяц. Этот „секретарь“ имел массу хороших познаний и неограниченное право печатать все, если только оно ничего не стоит. Иные статьи (у адвокатов) добывал сам де-Векки, обещая за то какое-нибудь дело из провинции. В то время „секретарем“ у де-Векки состоял мой товарищ по университету Розенштейн, впоследствии редактировавший

„Приазовский Край“ и умерший в молодых еще годах. Вот этот то Розенштейн, и напечатал мою „диссертацию“ в двух № № „Судебной Газ.“. Де-Воски, обвинявший пороги министерских канцелярий, мечтая, как он произносил, о „зуби—зудн“ т. е. о субсидии, ссылался даже как мне передавали, в доказательство серьезно-научного характера его „газеты“, на мой „труд“ о находке...

Вместе с большинством своих товарищей и записался в адвокатуру. Моя адвокатская деятельность была по истине ничтожна и, увы, бездарна. Из „гражданских“ дел я, через посредство товарища, взыскал 300 р. по исполнительному листу, а по уголовной части выступал дважды по назначению в выездной сессии окружного суда с участием прис. заседателей в Петергофе. Оба дела и постыдно и глупо проиграл. Первое—о поджоге нежилого строения, яко бы, из мести, было до такой степени слабо построено по части обвинения, что вопреки только своей полной неумелостью я мог объяснить обвинительный вердикт. Помню, когда присяжные заседатели сказали: „да, виновен!“,—то я инстинктивно отодвинулся от своего клиента, ражого ражего детины, опасаясь, что он, в благодарность за защиту, хватит меня какимнибудь тяжелым предметом. Второй процесс еще более интересен. Дело было о том, что некая крестьянская девушка, горничная, или, наоборот, кухарка, записала на свой десятичный паспорт младенца, рожденного ее приятельницей, матрошкой, как незаконного, для отдачи в Воспитательный Дом. За компанию попали на скамью подсудимых все—и кумовья, и виновники преступления, громко названного „секритнем прав состояний“. Дело было, в сущности, вопиющее, потому что подсудимые абсолютно не понимали, в чем их вина, и какое такое привилегированное состояние они сокрыли. Я защищал, кажется, мать. Что я горюшил—Господи ты, Боже мой! Когда стемнело и принесли в залу заседания свечи, то у меня вертелась в голове вычитанная где-то фраза из судебной речи Гамбетты—„не падо света! я и без него освещу это вопиющее дело!“ Вероятно, в таком же напыщенно-пеленом тоне я и вел защиту, упомянув несколько раз о „жертве“, находящейся в „когтях правосудия“. Помню, председательствовавший, Крестьянов, впоследствии сенатор, только головой покачал. Вердикт был обвинительный, так что даже суд был поражен и постановил ходатайствовать об освобождении подсудимых от наказания. В обоих случаях противником моим выступал Н. Г. Щегловитов, тогда молодой товарищ прокурора. Сидел он все время в расстегнутом мундире и надврательски держал себя по отношению к нам, неопытным и беспомощным молодым адвокатам. Я остановился маленько на своих адвокатских дебютах еще вот почему, между прочим. По общему мнению, я говорю хорошо. У меня хорошая дикция, громкий голос и довольно значительная сила убеждения. Я выступал как оратор довольно часто и чувствовал, что владею аудиториею. И в то же время как ужасны, как безнадежны были дебюты! Я до такой степени был убежден в полном отсутствии у меня дара слова, что до 40 лет вообще отклонял от себя всякие публичные выступления. Я не жалею о том, что не занимался адвокатурой,—я не люблю этой профессии. Не в том дело, как говорится у Байрона,—что

Юрист всегда в грязи—того не скроем.
Как нравственности жалей трубочист,
Покрыт он сажи толстым слоем:
Схенив белое, он все-ж не будет чист...—

а в том, что адвокат, особенно причиналист, как очень верно заметил в разговор со мной П. И. Карябчевский,—это неудавшийся и недокопченный эмбрион какой-то другой описли, поэтому всегда дилетант. И думаю о том, что мог бы, пожалуй, поддержки меня тогда некто сыграть и дружеский, развить в себе дар слова, и стать недурным лектором или оратором. Это могло бы вполне представить мою жизнь. Мало ли что! Но, как я уже сказал выше, в жизни очень многое зависит от случая. Здесь случай был против, а мог быть—за.

Как бы то ни было, я очень скоро решил уйти из адвокатуры, что и совершил, вконец, в 1898 г., гордо подав заявление о выходе из сословия, вместе с приятелем своим, ныне все же прис. пов. В. Г. Генкиным, тогда тоже подписывавшим в газетах.

Работая в „С.-Пет. Вед.“, я приобретал литературные знакомства и связи. Курьезны были обстоятельства моего знакомства с Вас. Ив. Непировичем-Данченко. Как-то получаю я письмо от отца, что-де в романе Непировича-Данченко, напечатанном в „Нови“ (был такой журнал, издававшийся Непировичем и подписанный из-за рамки, обозначенной подписчиками, ванде прамой, и оказавшейся бумажной нарисованной рамой),—и выведен в самом прекрасном виде. Достал я книжку этого малоинтересного журнала, и точно, в описании обеда железнодорожников выведен репортер, по фамилии Кугель, который, желая добыть сведения, спрятался под стол и обливаемый из сопелки или что-то в этом роде, занюхал с великим усердием все, что там говорилось. Был я не столько возмущен, сколько афранирован, ибо был уверен, что Непирович-Данченко о моем существовании не имеет никакого понятия. Вскоре он посетил редакцию „С.-Пет. Вед.“, и я, уловив момент, заявил ему свою претензию. Добродушный и обязательнейший Вас. Ив. был сконфужен вышней мерой этим случайным совпадением фамилий и общал в отдельном издании переделать фамилию. Он хотел вывести Шрейера, прозванного „кородем репортеров“, и по созвучию—весьма отдаленному—написал мою фамилию. Кстати, о Шрейере. Я его еще застал в числе действующей братии, но уже стариком и сильно сдавленным. Его место у приворого столба оспаривал Ц. И. Живоков, вскоре также умерший. Шрейер, точно, был юрок до крайности. Юрок и злобен, как говорят. Тогда только ввели телефоны, и он, желая насолить Нотовичу, уговорил его повесить телефон над кроватью, дабы в экстренных случаях сообщать ему лично о важных событиях. После чего Шрейер перестал и вовсе не давал Нотовичу спать, буди его по разным пустякам и юмористическим поводам. Кончилось тем, что Нотович убрал телефон вместе с Шрейером.

Внимание литературных и газетных людей обратили мои статьи (их было около 10—15), под общим названием „Молодое поколение“. Эти статьи „вышли“ № 20.

вошли в сборник „Без заглавия“, вышедший в 1900 г. В статьях этих про-
подилась мысль о том, что поколение едва ли на что годное. Многие, что
я приписывал, собственно, нашему поколению, могло быть смело отнесено
к русской интеллигенции. И тогда смутно и неясно чувствовал книжность,
искусственность, и потому безжизненность, возбуде, русской интеллигентности,
присхождение, генезис и генезисы которой, действительно, измеряются
этанами литературной мысли. То, что у Уайльда носит характер пара-
докса — о пресуществовании искусства, преодолеющего жизнь, — в сущности,
вполне подтверждается на истории русской интеллигенции. Ее крах и наша
революция тавтологичны. Россия царей была искусственна, и среди прочих
с жаром одних редкостей была и редкостная коллекция, сменявших одно другое,
литературных поколений. Все это я высказываю теперь, — и теперь это,
пожалуй, не трудно высказать — тогда же я бродил вокруг и около темы, но
очевидно, кое какие большие точки были мною нацелены я, вероятно, усмешно,
хотя при своей молодости, едва ли и был в состоянии, так следует, разби-
раться в столь сложных вопросах общественности. Во всяком случае, меня
стали звать и предлагать „аппажементы“. Не знали, увы, не туда, куда
следовало, и не те, кому следовало.. Так, я не помню, как и когда я полу-
чил первое приглашение работать в газете „Минута“.

Газета „Минута“ принадлежала Серг. Ем. Добродееву, которого я в одном
из своих ранних очерков своих вывел под фамилией Метрапашев. Он был,
кажется, из наборщиков, дошел до издательства „своим умом“. Был он кра-
сивым мужчиной, с пышной бородой, и как утверждали, основным фондом для
издательства получил через женитбу. Но главное, что помогло ему в изда-
тельстве, кроме бухгалтерской сметы, было умение ладить с Главным Упра-
влением по делам Печати. Говорили, разумеется, разное, и пошито, поже-
ранное, особенно про бесеманного управляющего делами Главного Управления,
г. С. Адриановского — будто бы не обходился без „благодарностей“. На чужой
роток, как известно, не накормишь платок. Так да, никак да, но любопытно,
что в то время, как литераторам и журналистам в самых крайних случаях
удавалось неподдаваться какой-либо концессии, купец, ежели он входил
во поле издательства, концессию получал сравнительно легко. Так, например,
илец Айфен Остолов, торгующий под фирмой „Аравия“ сушками, получил
концессию на издание еженедельного журнала „Петербург. Жизнь“, который
потом у него перекупил Петович, для бесцельного приложения к „Гово-
сению“. С. Е. Добродееву тоже были широко раскрыты двери для всякого
полюбопытства. Он издавал „Жизненное Освещение“, газ. „Сын Отечества“,
„Минуту“ и, кажется, что-то еще. Рассказывали, что „заходи в антре“ Главн.
Упр. по делам Печати, он эмпирически осматривался у дверей и только
манялся да улыбался, вытирая платком, обильный пот, а наглая стою его
запискою, и будто бы наглая стою так прикидывался эта удивительная распе-
ляция, что и этому „просто русскому человеку“ оно читало особые при-
стращающие. Не знаю. Могу лишь сказать, что с Адриановским и впоследствии
встречался очень часто, и тем особенно для себя удовольствия. Это был

хитрюга первоостатейный, „службист“ гонимый, и дела свои если делал, то очень ловко.

Итак Добродеев имел целый ряд изданий, и система его была молотить ромь на обухе. В один прекрасный день ему пришла в голову такая комбинация с давнейшей убиток газетой „Минута“. Он сдал редакционную часть „в аренду“ группе из трех лиц — П. Ф. Левикина, А. А. Плещеева и Л. Ю. Гольдштейна. В виде гонорара он им уступал все театральные объявления и вообще, все те новье, которые они привлекут, и к сему прибавил... 600 руб. в месяц субсидии. Коммерческая сделка для Добродеева была, как видите, гениальна: объявлений у него все равно не было, и, следовательно, он ничего не платил, кроме 600 руб. в месяц. Но система была невыгодна и для группы упомянутых журналистов. У них были большие связи в театральном и веселящемся мире, и ясно, что объявления они получают, и кроме того, им предоставлялась возможность — „создать газету“. А это весьма соблазнительно, для молодых людей в особенности. Люди были все способные, энергичные и даровитые — особенно двое последних. Приступили они за дело с жаром. Газета должна была быть архи-живая, архи-городская, архи-разухабистая, архи-бульварная, на французский лад. Л. Ю. Гольдштейн, которого я часто встречал у вдовы его брата, проф. консерватории Михаила Юльевича, Елизаветы Карловны, пригласил меня возобновить свои опыты в „Минуте“ новой редакцией и писать воскресные фельетоны, с платою по 3 коп. за строку. Это была плата по тому времени сносная — 9 руб. за фельетон! Вот лежит передо мной один из этих фельетонов. „Если бы я не имел чести — так начинается он, — принадлежать к благородному сословию журналистов и привычным путем шевелить струны человеческого сердца, — я хотел бы быть адвокатом и писать массачии — апелляции“. И т. д. и т. д. — длинное и бойкое шевеление пустиков об адвокатах Гурье и Нотехине, о том, что единственный либеральный, харошо омащиваемый, профессия — это адвокаты, и о художниках, и о врачах — вообще, невинно и вполне цензурно. Л. Ю. Гольдштейн много раз уверял меня, что наброски эти имели большой успех. Может быть. Кто, в конце концов, может сказать, что правится случайному читателю случайной газеты?

Я много читал газет из своего века, видел разные виды газетной бойкости, сам, могу сказать с раскаянием, отличался „режностью секунд“, как добрый сказун, но такой необычайной и совершенно ничем, в смысле бойкости, не стеснявшейся газетой, не запомню. Работала все молодежь. Приятно вспомнить, о котором я уже упоминал, В. Г. Генкель, отрекомендовавшийся мною редактору, получал 30 руб. в месяц за ежедневные передовые статьи. Все городскую хроника и ежедневные малюшечные фельетоны вел Альб. Кар. Гермонте, впоследствии редактор „Петр. Газеты“ — за 50 руб. в месяц. Когда приносили урны рано в редакцию статью, то мерили ее на пиди. За аршин полтора статьи платили рубль 3, максимум 4. При мне начинающий беллетрист, Вильямовский, приносил роман. Дежурный из славной троицы сначала трепался тетрадку в двух-трех местах, затем подкинул на руке, нечитывая.

вес. „Хотите 15 рублей?“ — сказал он. И так как Вакulовский замислился, то вторично подмигнул, и сказал окончательно: „Двадцать пять рублей. Идет?“ На этой сумме и сошлись. Роман был листов в 15 печатных. Главное, чем интересовалась газета, — это создание „сенсаций“. Так как из серьезных общественных или политических вопросов „сенсаций“ нельзя было создавать, то создавались большие легкие скандалчики. Не могу забыть „процесса-мошеника“, который создала „Минута“ из разбирательства у мирового судьи Лесного, участия дела об ударе зонтком, нанесенном репортеру Готбергу, известному более под именем „Яши“, в саду „Аркадия“ опереточной артисткой, Волынской. Яша что то наврал в газете или насплетничал, а Волынская, жена Арбенкина-Шалима, опереточного режиссера, брата С. А. Пальма, дама энергичная и бойкая, вступила с Яшей в пререкания, а затем раза двахватила зонтком по Яшиному цилиндру и сильно помала его. Это, собственно, и являлось „осью“ судебного процесса. Но „Минута“ на этой оси создала „Сauce celebre“. Полторы страницы, т. е. 9 столбцов, было отведено „процессу“. Характеристика обвиняемой и ее опереточная карьера: ее роли, баттфисы, гардероб и „relations“. Характеристика Готберга. Что представлял собой его цилиндр. Звание печачи. Гражданский истец — Н. М. Кнорозовский (мой большой приятель, сновывавшийся в 1914 г., тогда пом. прис. поверенного). Чем отличается Кнорозовский от Лашо и чем напоминает Перье. Свидетели. Биографии А. А. Итешеева, П. Ф. Левакина, Л. Ю. Гольдштейна. Их наружность. Что такое „хорошо сохранившийся мужчина“ „известного возраста“? Публика. Пятидесят характеристик, портретов и моментальных снимков. Погода. Как реагировал на процесс город, в частности Лесной, Новекий проспект. И пр. и пр. Это было, конечно, чепуха, но настолько необыкновенная, такая задорная и маломозгава, что читатель палил глаза и облизывался. Газета шла бойко, и я сейчас не помню, почему троюга бросила это дело. „Густая“ полемика между „Минуткой“ и другими листками не прекращалась ни на один день, в качестве специфического оживляющего средства. Особенно памятна осталась мне „полемика“ между Гольдштейном и Акселем Гермоикусом, которого не следует смешивать с братом его Альбертом, вновь назначенным редактором „Петерб. Газ.“ „Я бы мог в свою очередь — писал Гольдштейн — назвать Фина (искусственн Гермоикуса) гуманизмом человеком, дыривой чухонской лаббай, созревшим для ланцета гипнозником, общедоступным пинифаксом, — но из уважения к читателям воздержусь назвать его так и в полемике буду соблюдать приличие“...

Наблюдая нравы газетной Растрепяевой улицы, Победоносцев потирал руки. Лет 10-12 спустя, он сказал как то Н. Я. Щеголеву, явившемуся к нему по какому то газетному делу: „Ничего не знаю! Знаю, что есть газетные пузнички, а больше ничего не знаю!“

Как Пилат, он умирал руи. Но кто, как не он, был главным виновником понижения умственных и политических интересов русской печати? В „Московск. Сборнике“ Победоносцова есть такие строки, обращенные к представителям печати. „Кто ты, пинет он, презрительно сжимая губы, — единственно со мной беседующий? Может быть, и вовсе не хочу с тобой беседовать!“ А

не хочется—так и не беседу, — можно было бы ему сказать: силком ведь что-то не тащит. Но не в этой риторической фразе дело, а в том, что кого же и на какой предмет допускали к беседе, и не был ли лозунг: „говорите о пустяках! болтайте!“ — дан по всей линии именно правительством? Как ни далеко были Победоносцев и Д. А. Толстой от наполеоновских Морни и Мопа, это было, в сущности, одно и то же равенство по Вильгельму. И так Борзнав говорил: „mon bourgeois“ вместо „mon théâtre“, так и Победоносцев должен был говорить: „мой книжечек“ вместо „моя пресса“.

Лично для меня все это сложилось роковым образом. По живости нрава, увлекающемуся характеру, легко поддающемуся влияниям, наконец, по фельетонному складу своих первоначальных писаний, я был в полном смысле слова создан для того, чтобы стать „жертвой вечерних“ бульварной прессы. Ноги надо мной была, так сказать, рука настоящего литератора (В. Г. Алсеевко), я был еще вне опасности. Но обстоятельства скоро изменились. Кто меня мог удерживать, взрастить, поддерживать, направить? Как отнесся Потолич—я уже писал выше. Затем было „Новое время“, „кокетливая“ газета, сирена высокой марки, но тем и кончалась ее отличие от „Минут“ разного рода. Была еще, правда „литература“, о которой всегда столь пространно и торжественно писал Михайловский, но для консолидации сил которой не только ничего не сделал чинным направлением своим, но, наоборот, где и как только мог, дробил ее делением на обед и козниц. И чувствовал в себе какую то искру Божию, но жар души растрачивал в пустыню, никем не примеченный и не поощренный. А я был самолюбив и как улитка, вообще, уходил в себя. Припоминаю, например, рецензию в „Русск. Мысли“ о моей книжке „Без заглавия“. Что эта была за разгильдяйская и презрительная рецензия! Конечно, не Бог весть что и было в моем сборнике, но все же, ведь, было там чтонибудь, указывающее на возможности. Ведь, если бы рецензент, разбранив меня на чем свет стоит, указал на эти возможности и на пути к достижению их—может быть, я бы стал писать иначе и об этом, и пошел бы иным путем, иной дорогой... Но, ведь, ничего, решительно ничего! Сидели генералы, изрекавшие, как бонзы, какие то индийские слова. Мычали Губаревы из тургеневского „Дыма“, с важным видом закусывая концы бороды и приподымая указательный палец, произносили: „м-да, это очень... м-да... важно! Очень... м-да...!“

Конечно, можно заметить по этому поводу, что у „жертвопожертв“ духа большого не было. Это—верно. Но ведь не хитро с большим духом большие дела делать, а важно на большие дела малых духом подлинить...

Обстоятельства, резко выбросившие меня, и ятого, и бульварную печать, заставлялись, помимо всякого желания и восторга, также и экономических причинах. „С-Петербург. Ведом.“ давно хирели. И уже привык к некоторому комфорту, зарабатывал около 200 р в месяц, занимал две довольно большие комнаты, носил перчатки, вообще, избаловался, а между тем газета стала оплачивать работу не только крайне скудно, но и крайне неаккуратно. В месяц удавалось заработать рублей 80—90. По сложившимся привычкам, это уже была нужда, и частный заработок являлся необходимостью. В это то время

и явился змий-искуситель, в образе Аксели Карловича Гермониуса, назначенного редактором „Пет. Газ.“ вместо заболевшего чем-то вроде психического расстройства П. А. Монтеверде. Мне был сразу назначен по тому времени изрядный гонорар—7 к. за строку, и помещали меня не только охотно, но и с явным заискиванием. Это льстило молодому самолюбию. Потом предложили писать воскресные фельетоны, где я впервые стал подписываться „Номо почмъ“ в честь В. Г. Аксеевко, писавшего под псевдонимом Номо. Статьи же я подписывал „Дебютапт“. Обо мне шибко заговорили в газетном мире. Появились какие то поклонники... Так и пошло. 17 лет я писал в „Петерб. Газ.“, отдал ей лучшее, что имеется в молодости—воображение, темперамент, страсть... И скорбно гляжу на эти годы. Лично я ничего не могу сказать дурного про отношение газеты ко мне. Она не пыталась наложить на меня заметно свою руку и подчинить своим, в общем, невзыскательным вкусам. А в качестве театрального критика, скажу, что ни в одной газете я не пользовался такой свободой суждений и мнений, как там. Но увы, самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет. Газета не виновата и ничем предо мной не провинилась. Мне было слишком легко в „Петербург. Газете“. Мое искусство оставалось на уровне фельетона, и того, что я достиг в первые годы, было слишком достаточно на 17 лет „Петербург. Газеты“. Как фельетонист, я, однако, работал над собою много, но без руля и без ветрил. Я любил форму, быть может, чересчур любил ее. Статьи или фельетон складывались у меня, большею частью, под углом какой нибудь красивой аналогии или ярого контраста или блестящего, как мне казалось, парадокса или забавной остроты. В первые годы особенно, я находился под непреодолимым влиянием Гейне и его „Книжки идей“. Я часами сидел и тогда над рукописью, добиваясь, чтобы было „совсем как у Гейне“, и страдал, что так не выходит. Случалось, что обессиленный мучительным напряжением и бесплодностью усилий, я падал на постель и заливался слезами. Я думаю, что во мне были хорошие литературные стремления и была душа художника. Но это самое лучшее время своей жизни, когда молодое воображение переполнено смутными призраками нерожденных идей, я провел в самых для моего литературного будущего неблагоприятных условиях. Вот что угнетает. Я вспоминаю выражение моего талантливого друга А. И. Косоротова, кончившего свою жизнь самоубийством и написавшего незадолго до смерти в частном письме: „Горько подумать, чем бы мог быть, и какую ошцпанную сволочью сходить в могилу“. Главнее несчастье для меня было то, что по женственному своему характеру я нуждался всю жизнь в опоре, поддержке, в сомкнутом вокруг меня кольце идей, и ничего этого долгие

А. Р. Нугель.

Письмо Карла Маркса и М. М. Ковалевскому о физиократах.

Когда, в самом конце 1878 года, я издал свою магистерскую диссертацию „Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последние четверти XVIII в.“, то послал по экземпляру П. И. Таврову и П. А. Кропоткину, исполнив данные им перед тем обещания. Первый написал о ней статью в журнале „Дело“ за апрель 1880 года, второй сослался на мою книгу в одном из своих тогдашних произведений. Узнав об этих моих посланках, М. М. Ковалевский посоветовал мне послать экземпляр и Марксу, взявшись сам его переправить по назначению. Я, конечно, согласился на это предложение, и книга была послана.

Ковалевский сказал мне при этом, что Маркс читает по-русски, и что книга моя его, несомненно, заинтересует. В апреле 1879 года он сообщил мне о получении им письма от Маркса, в котором, между прочим, он благодарил его за присылку моих „Крестьян“. Соответствующую часть письма он мне прочитал, переводя ее с английского языка, на каком письме было написано, по-русски, причем я тотчас же перевод записывал. Но помню, почему он не дал мне тогда же снять с письма копию. Когда я потом напомнил ему о своем желании иметь копию, он мне сказал, что сама книга отдала в другие руки, но что оно у меня будет. Вскоре я уехал профессорствовать в Варшаву, так и не видав больше письма Маркса.

Уже много-много лет спустя, после 1905 года, как-то я спросил у Ковалевского, в присутствии П. И. Иванькова, о письме Маркса и узнал от них обоих печальную весть. Письма Маркса и Ковалевскому (так, кажется, было не одно) передали были на хранение П. И. Иванькову, в то время профессору Петровской Академии близ Москвы. Наступили вскоре после этого тревожные дни арестов, обысков и т. п., когда многие всечаски отделивались от всех, что только можно было найти у них компрометирующим в политическом отношении. П. И. Иваньков, как один из наиболее популярных профессоров „неблагонадежной“ Петровской Академии, был на очень плохом счету, и вот, его молодая жена, боясь за судьбу своего мужа, очистила его кабинет от всего, что хранить было опасно. Это, впрочем, тогда было в порядке вещей.

Предиктованный мне Новиковским перевод письма Маркса у меня сохранился, так как и вынул его в один из чистых листов, переплетенных с моим рабочим экземпляром книги. Его я и позволяю теперь себе огласить в печати, как своего рода документ, интересный по тому взгляду, который Маркс высказывает в нем о физиократах. Собственно говоря, о этой книге в письме была только одна строчка, которая для меня была очень лестной, но не в этом, разумеется, суть дела, а в том выражении, какое сделано было Марксом на мое отношение к физиократам и которое характерно для точки зрения автора „Капитала“.

Вот перевод этой части письма Маркса к Новиковскому:

„Сочинение г. Кареева превосходно (excellent). Только я не вполне разделяю его взгляд на физиократов. Я беру теорию капитала, т. е. современного строения общества. Начиная от Нети и кончая Юмом, эта теория была развиваема только по частям, — здесь кусок, там кусок, — согласно потребностям той эпохи, когда жил автор. Кенэ первый подошел к оснóву политической экономии ее настоящей, т. е. капиталистической жизни, и весь курс заключается в том, что он так поступает, повидимому, как арендатор землевладельца. Г. Кареев положительно неправ, говоря, что физиократы противопоставляли только одно социальное занятие, именно земледелие, другим, т. е. промышленности и торговле, но никогда не доходили, подобно Смиту, до противопоставления социальных классов. Если бы г. Кареев вспомнил основную мысль предисловия Рикардо к его знаменитому творению, где он рассматривает три класса государства (землевладельцев, капиталистов и рабочих, трудами которых почва обрабатывается), то он убедился бы, что первое изобретение трех классов в экономической сфере и их взаимных отношениях можно найти нóсто только в системе земледелия, как это сделал Кенэ. Сверх того, необходимо для писателя различать то, что какой-либо автор в действительности дает, и то, что дает только в собственном представлении. Это справедливо даже для философских систем: так, две совершенно различные вещи — то, что Спиноза считал краеугольным камнем в своей системе, и то, что в действительности составляет этот краеугольный камень. Поэтому неудивительно, что некоторые приверженцы Кенэ, вроде Мерсье-де-ла-Ривьера, находили сущность всей системы в ее параферналиях, тогда как английские физиократы, писавшие в 1798 году, впервые доказывали, на основании Кенэ, наперекор А. Смиту, необходимость уничтожения частной собственности на землю.“

Очевидно, замечания Маркса, касающиеся моего взгляда на физиократов относятся к следующему месту на стр. 246 моей книги. „В основу своего учения, именно сказано было там, — физиократы положили деление общества не на основании положения отдельных классов, как получающих ренту собственники, извлекающих из своих оборотов капиталисты и живущих платой за свой труд рабочие, а на основании существовавших в обществе разных занятий... За исходный пункт приняты ими не antagonизм общественных классов, а соперничество занятий..., и теоретические симпатии физиократов были не на стороне того или другого общественного положения, а на стороне извест-

ного занятия". Возмущение Маркса основано на мысли о необходимости различать две вещи: то, что писатель дает в действительности, и то, что дает в своем собственном представлении. Меня, как историка французского общества в XVIII в.ве, а не как историка политической экономии, интересовало то, что я и как думали и говорили сами физиократы, а не то, к чему логически, хотя бы и без их собственного ведома, должны были приводить их взгляды. В этом смысле мною это даже было дважды оговорено в книге: „Цель наша,— сказано было на стр. 241.— не история политической экономии, а история французского общества“, а на стр. 246 прибавлено: „впрочем, это относится уже к области теоретической части политической экономии; нам здесь нет дела до сравнения физиократов с теми учеными с системой Адама Смита и его последователей“.

Приведенные цитаты из моей книги объясняют, во-первых, против чего и кем выражался Маркс, а, во-вторых, почему его точка зрения на физиократов расходилась с моею. Меня интересовал вопрос о влиянии физиократов на практическую постановку крестьянского вопроса во Франции перед революцией, тогда как Маркс в своем выражении выдвинул чисто теоретический интерес вопроса о месте, занимаемом физиократами в развитии политической экономии, как исследования капиталистических отношений.

Интересно, что при этом Маркс приписывал родоначальнику физиократии (хотя бы и предположительно только, „повидимому“) точку зрения, на которой мог бы стоять только арендатор землевладельца. Это для меня весьма вероятное объяснение, хотя дело еще не додумывается до сознательно-классовой точки зрения. Но я думаю, что объяснение ее мною у физиократов и было, собственно говоря, тем главным, что заставило Маркса „не вполне разделять“ мой взгляд на эту школу.

Н. Кареев.

ДЕНАБРИСТ П. И. ПЕСТЕЛЬ.

Новые материалы.

I.

ДВА ПИСЬМА ИЗ КРЕПОСТИ.

1. ГЕНЕРАЛУ В. В. ЛЕВАШЕВУ.

Генерал! Я не могу дать лучшего доказательства моей полной и совершенной искренности, как представив Вам прилагаемую бумагу. Ни один из членов тайного общества не сумеет ничего против нее возразить, если только захочет быть правдивым. Возможно, что эта бумага окажется бесполезной Комитету; в таком случае благоволите представить ее только Его Величеству Императору,—в ней содержится самая строгая и точная истина. Впрочем, мне уже нет никакой надобности или интереса что-либо скрывать. Все связи и планы, соединявшие меня с тайным обществом, порваны навсегда. Буду я жив или мертв,—я отделен от него на веки. Если я умру, все кончено, и один лишь Господь будет знать, что я не был таким, какими меня, быть может, представили. Если же я, наоборот, останусь жив, то буду обязан жизнью лишь Его Величеству Императору; после амнистии мое существование будет даром Его великодушия и, следовательно, должно будет состоять только из верности, усердия и полной и исключительной преданности личности и семейству Его Величества. Это математически верно. Не так обстояло дело с покойным Государем. Об этом я мог бы сказать немало, но здесь не место и не время, да и вообще об этом не следует говорить. Простите меня за откровенность,—я нахожусь в несчастии, и в этом мое оправдание. Примите, генерал, уверение глубокого уважения, с каким я имею честь быть похерпейшим слугою Вашего Превосходительства. Пестель.

12 января 1826 г.

... Настоящее письмо и прилагаемая бумага были занесены до моего вызова в Комитет сегодня вечером.

2. ГЕНЕРАЛУ А. И. ЧЕРНЫШЕВУ.

31 января 1826.

Генерал! Восемнадцать дней прошло с того времени, как я имел честь видеть Вас в последний раз, и пятьдесят дней со времени моего ареста. Это

времени было для меня несчастьем. Я считал часы, и считал минуты. Вы не можете себе представить, как ужасно томиться в тюрьме, как страшна неизвестность о своей судьбе. Его Величество Император пожелал, чтобы я высказал все с полной откровенностью: я сделал это с невыразимой полнотой. Я ничего не утаил, совершенно ничего. Я не только отвечал на все вопросы вполне точно и правдиво, но кроме того высказал все, что только мог вспомнить. Вследствие этого я смею надеяться, что Император оставлен доволен мною в этом отношении. Этим я хотел доказать Его Величеству всю искренность моих чувств в настоящее время. Это было единственное средство, которым я мог доказать ему, как горю и глубоко я сожалею о том, что принадлежал к тайному обществу. Поверьте, генерал, что это раскаяние заставит меня испытывать непрестанные страдания и мучения, хотя и счастлив тем, что, по крайней мере, не принимал участия ни в каких действиях.

К этому еще присоединяется постоянное воспоминание о моих несчастных родителях. Они стары и болезненны, и на те немногие дни, которые им, вероятно, осталось прожить, все надежда, все их существование заключалось в их детях. Богу известно, что я охотно отдал бы за них свою жизнь, а теперь я сам толкаю их в могилу. Все, что эти слова заключают в себе ужасного и невыносимого для моего сердца, не может быть выражено и не может быть постигнуто никаким воображением. Признаюсь, что мои мысли о них не покидают ни днем, ни ночью, и что, действительно, в глубине души, я дошел до крайних пределов отчаяния. Да соблаговолит Государь бросить на них и на меня взгляд жалости и милосердия.

Я не могу оправдаться перед Его Величеством: поэтому я и не стараюсь оправдаться; я прошу лишь милости. Да соблаговолит он воспользоваться в отношении меня прекраснейшим правом король, и Бог мне свидетель, что он никогда не раскается в том, что дал себя убедить. Каждая минута моего существования будет посвящена безграничной благодарности и привязанности к его священной особе и к его августейшему совету. Я хорошо понимаю, что не могу оставаться на службе, но если бы мне только вернуть свободу! Я слишком низок перед Его Величеством, чтобы осмелеть обратиться непосредственно к нему с этим изложением моих чувств и страданий, но вы, генерал, не откажите в добродетельности: поверните мои мольбы и мое раскаяние к стопам Его Величества и сделайте все возможное с вашей стороны, по мере возможности, способствовать на этой стороне, чтобы вы могли вернуть эту вечную привязанность. Если бы я смел, я испросил бы у вас еще одно благодеяние: а именно, если Его Величество был бы так добр ко мне, прослужив, передайте мне несколько слов ласки и утешения, чтобы хоть немного облегчить эту страшную тяжесть, которая в настоящее время повисла надо мной и которая совершенно меня подавляет; или по крайней мере, сообщите мне что-либо, чтобы вывести меня из угнетенной немощности, которая, кажется, ведет к тисну раба к хижине смерти. Так как я совершенно ничего не знаю о ходе нашего дела, а это до бесконечности усиливает тревогу,

вытекающую из моего несчастного положения. Прощу вас также не забыть ходатайство, изложенное в письме, которое я имел честь послать вам 19 января, если судьба пожелает, чтобы эта просьба была признана уместной. Быть может, Господь в своем бесконечном милосердии сумеет склонить в мою пользу сердце Государя.

Примите, генерал, выражение глубокого уважения, с которым я имею честь быть вашим покорнейшим слугой. Пестель.

Жутко читать эти два письма Павла Ивановича Пестеля, знаменитого вождя декабристов и одного из самых умных людей пушкинской эпохи. Ужасом предсмертной тоски они исполнены. Печальное разочарование сквозит в каждой строке, в каждом слове. В самом деле: готовиться путем революционной диктатуры осуществить конституцию, проект которой тщательно разрабатывался много лет и в обдумывании которой вложены лучшие мысли,—а вместо того сидеть в сырадном каземате мрачной крепости; много лет мечтать о революции, которая должна быть совершена по его указаниям и под его прямым руководством,—а вместо того подвергаться допросам с пристрастием, как уголовный преступник и бессердечный разбойник; столько лет считаться достойным, в том числе в глазах самого императора, занимать высшие должности по государственному управлению—в области иностранной политики, военной или гражданской администрации,—а вместо того обвиняться в свращении молодых офицеров, которые будто бы предназначались в жертву ему самому, как революционному диктатору. И это обилие ответов на него, которыми зашлапала Следственная Комиссия почти все привлеченные к делу о заговоре...

Пестель убедился, что запыраться дальше незачем, скрывать больше нечего. Он решил дать самые откровенные показания о Тайном Обществе, об его задачах и целях. Так возникло первое из публикуемых здесь писем—от 12 января 1826 года. Оно знаменует перелом в душе Пестеля и предшествует первому обширному и откровенному показанию его от 13 января 1826 года.

Послано письмо члену Следственной Комиссии генералу В. В. Левашову, который относился к допрашиваемым заговорщикам сравнительно мягко и человечно. Письмо сохранилось в бумагах Левашова, который вообще оставил много документов по делу о Тайных Обществах у себя, и не было доступно покойному ныне биографу Пестеля Н. П. Павлову-Сильванскому, опубликовавшему все показания вождя заговорщиков, в том числе и показание от 13 января 1826 года (в книге „Декабрист Пестель пред Верховным Уголовным Судом“, Ростов-Дон, 1907).

Второе письмо послано члену Следственной Комиссии генералу А. И. Чернышеву. Этот оставил по себе самую плохую память. Он был не только придворный льстец и низкопоклонник. Бесстыжий и беззащитный карьерист, неразборчивый на средства к достижению своих целей, он заслужил презрительные отзывы всех декабристов, оставшихся воспоминания. Князь С. Г. Волкон-

ский, знавший Чернышева по его деятельности во время наполеоновских войн, кроме того, оставил убийственную характеристику его, как человека вообще и военного в частности. В деле декабристов Чернышев занял себя не только как судьи неуправедный и пристрастный, но и как действовавший в угоду Николаю Павловичу и преступно пользовавшийся пролокацией для отигощения участи всех привлеченных к делу; на нем лежит пятно низкого предательства по отношению к своему однофамильцу и отдаленному сородичу, декабристу графу З. Г. Чернышеву, которого он буквально утопил для того, чтобы завладеть титулом и огромным имением графа-заговорщика. Имен этот не утешил А. Н. Чернышева в виду противодействия знаменитого адмирала Н. С. Мордвинова, и сам император Николай Павлович презрительно отозвался об этих домогательствах своего не в меру усердного слуги. Впрочем, он утопил Чернышева и дал ему графский титул за участие в казни декабристов — в повешении Пестеля и его товарищей. Именно Чернышев велел скорей повесить вторично тех трех осужденных заговорщиков, которые сорвались с пестей вследствие плохого устройства виселиц.

И вот к такому человеку обращался Пестель в письме от 31 января 1826 года с просьбой об исходатайствовании ему полной свободы. Конечно, прощательный и умиленный Пестель не хуже других декабристов видел подлинный характер А. Н. Чернышева, конечно, он и не ждал сочувствия от этого бессердечного человека. Но публикуемое здесь письмо своим содержанием, своим тоном достаточно объясняет причины его обращения с такими мольбами к Чернышеву. Если в письме к Левашеву Пестель еще говорит о математической точности расчетов, на которых он основывает свои надежды на помилование, то в письме к Чернышеву уже не упоминается ни о логике, ни о математике. Не до того было человеку, понимшему, что ему не снагнеть, ясно видевшему уже виселицу, воздвигаемую для него Николаем Павловичем, при бессознательном содействии большинства заговорщиков, растерявшихся, запуганных, мечущихся в поисках путей для самооправдания. И все-таки он написал презираемому Чернышеву это унижительное письмо.

Публикуемые здесь впервые эти письма составлены на французском языке и сохранились в таких же копиях и бумагах Н. К. Шильдера в Российской Публичной библиотеке, откуда я извлек их вместе с другими материалами по истории заговора декабристов. В тех же бумагах я нашел и другие материалы к биографии П. П. Пестеля, печатаемые ниже.

II.

ПИСЬМА К ПЕСТЕЛЮ.

Все высоко ценящий дарования Пестеля, все указывавший ему всегда знаки уважения, но едва-ли не больше всех других это старался проявить один из видных участников наполеоновских войн, генерал А. И. Рудавич, которому судьба предоставила в 1814 году нанести последний удар Наполеону: это он лично повел русских стрелков на приступ Монмартрских высот и под

лившем огнѣ захватилъ послѣднее укрепленіе подступы къ Царину. Рудзевичъ (род. въ 1776 г., умеръ въ 1829 году) былъ происхожденіемъ крымскій татаринъ; отецъ его оказалъ какую-то важную услугу русскому правительству при захватѣ Крыма и вслѣдствіе былъ облагодѣтельствованъ императрицею Екатериною II, а маленькіе дети его были вскоре после смерти отца крещены въ православіе. Рудзевичъ былъ храбрымъ и распорядительнымъ командиромъ, проявилъ также хорошіе административныя способности въ гражданскихъ должностяхъ и былъ очень цѣнимъ Александромъ Павловичемъ, какъ начальникъ войскъ. Отличалъ его и Николай Павловичъ.

Въ то время, въ которомъ описывается его знакомство съ Н. Н. Пестелемъ, Рудзевичъ былъ командиромъ полка въ II армии, где служилъ и гваріею запорожцевъ. Сохранилась даже писемъ Рудзевича къ Пестелю, имеющихъ значеніе для характеристики послѣдняго.

Извѣстно, что главнокомандующій II арміею, знаменитый фельдмаршалъ графъ Н. Х. Витгенштейнъ, очень высоко цѣнилъ умъ и способности Пестеля, котораго онъ считалъ равно пригоднымъ и для должности министра внутреннихъ дѣлъ, и для роли дипломата, и для поста командующаго арміею. Министромъ началъ Пестель, одинъ изъ самыхъ выдающихся государственныхъ дѣятелей Николаевской эпохи, человекъ очень умный и просвѣщенный, Н. Д. Киселевъ также высоко цѣнилъ Пестеля. При всей своей придворной осторожности и дипломатичности Киселевъ не стеснялся проявлять дружбу къ Пестелю, несмотря на предупреденія придворныхъ друзей и указанія ихъ именно на политическую неблагонадежность Пестеля.

А. Я. Рудзевичъ былъ прямой, честный и храбрый воинъ. Ему чуждъ нарядная и придворная прислужничества, его служебныя возвышенія не зависели отъ чужей личной «благосклонности» и были обеспечены даровитому генералу самой его деятельностью. Поэтому нельзя недооцѣнить Рудзевича въ измѣненіи передъ молодымъ любимцемъ начальства. Единственнымъ недомолкомъ было бы для Рудзевича, если бы въ встречающемся въ его писемъ къ Пестелю названіе адреса послѣдняго выстало бы въ угодничество. Возможно, что и въ самомъ дѣлѣ были предположенія, объясняемые манерою выражаться, можетъ быть, друзьями Рудзевича, когда писали ему, что Рудзевичъ находится въ вѣдѣ у Пестеля. Но это самое они говорили про Витгенштейна, про самого Киселева. Во всякомъ случаѣ, это исключаетъ подозрѣніе въ угодничестве, которое вообще было чуждо натурѣ Рудзевича. Ницѣ бы его не цѣнилъ такъ высоко знаменитый Витгенштейнъ. Поэтому, характеристика Пестеля въ письмахъ Рудзевича имеетъ значительный интересъ для биографіи Пестеля. Въ соответствии съ этимъ, спустивъ мелкіе бытовые подробности и описаніе личныхъ дѣлъ Рудзевича, я приведу здѣсь выдержки изъ его писемъ къ Пестелю. Они начинаются маемъ 1819 года, кончатся маемъ 1822 года. Бѣтъ въ нихъ и какихъ-либо существенныхъ фактическихъ данныхъ, несправедливо оцѣнившихъ степень значенія Пестеля въ военныя дѣла, а въ ноябрѣ 1821 года, оцѣнившихъ его въ действительныхъ въ этомъ отношеніи, по видимому, со стороны и тогдашняго начальства, а, можетъ быть, и самого царя).

Пестель в это время был адъютантом графа Витгенштейна в чине ротмистра, подполковник и полковник, а затем (27 лет от роду) командиром Витеного немотного полка в парусе Рудзевича, следовательно, стал его подчиненным. Но это не понижало тона писем Рудзевича. Добавлю, что во все время адъютантства Пестеля при Витгенштейне и, во всяком случае, за все время их переписки Рудзевич не получил ни одного служебного повышения, ни одного чина. Любопытно, что после 14 декабря 1825 года было заведено дело о дружеских письмах ген. Рудзевича к Пестелю за 1819—1822 годы, но для Рудзевича это никаких последствий, повидимому, не имело. Самые краткие пометки к тексту писем приношу в соответственных местах, заключив их в другие скобки.

«И все то сделал, любезный Павел Иванович, — писал Рудзевич Пестелю в мае 1819 г. из Херсона в Тульчин, — что только чувства искреннего и дружеского моего к вам расположения уважали мне, отдав вам полную справедливость достоинства вашим. Пав. Дм. Киселев сказал мне, что он вас знает по репутации давно и много доброго о вас говорил. Любя же вас много, мы можете представить себе, что сии случаи умел воспользоваться, и много сердцу Пестеля рекомендовал так, как он того заслуживал. Человек по сердцу есть дело великое, а потому и такое право имею требовать от вас, любезный Павел Иванович, не забывайте того, что вам всю душу продал, это есть крепко любящий вас Рудзевич».

«Письмо ваше, любезный Павел Иванович, от 15 прошлого декабря, — пишет Рудзевич Пестелю из Херсона в Петербург 15 января 1820 года, — получил и вот пишу еще для меня от вас довод и тинного расположения вашего ко мне и дружбы, что вы дадите и в шумной нашей столице, при всех ее веселостях, приятных расхождений для нас, не забывайте, однако же, меня. И так, поблагодаря вас за память вашу обо мне и поздравив вас взаимно с наступившим новым годом, позвольте и мне пожелать вам от искреннего сердца моего прожить так счастливо, равно и в следующие годы в совершенном благополучии и счастии. Преданный всей душой к вам Рудзевич».

«Счастливого, любезный Павел Иванович, — пишет ему Рудзевич 7 октября того же года, — что вы так приумолили; неужели, удаляясь от нас в партию до еловых лесов, потянете тоже забыть. Правила ваши кажутся — нет, тем более они справедливы: к нам расположение и дружба должны бы нас заставить писать ко мне, хотя бы и добровольного и писке ранее ничего не было. Для меня всегда приятны были письма ваши: но вы подумали лишить меня всего удовольствия. Мои известные правила также мои, известно и то, кого я люблю и уважаю: то где бы он ни был, всегда одинаково к нему буду. И так не грешно ли вам, любезный Павел, что вы начали забывать меня... Теперь знайте мое о вашем заигрывании, какого вы убавите время и весело ли вам в Тульчине, по крайней мере теперь совестно вам будет с отозвонком на задорное мое письмо, которое служит только предлогом забыть вас и знать, что забыл Павел Рудзевич. И так предайте, будьте здоровы и не забывайте преданного вам душой Рудзевича».

„До получения письма вашего, любезнейший Павел Иванович, писанного по мне с Иотарой, — пишет Рудзевич Пестелю из Береслава 16 июня 1821 года, — я знал уже, что вы произведены в полковники и назначены командиром Вятского полка. Душевно вас с ним поздравлю и сердечно радуюсь, что вы остаетесь служить под моим начальством, где и могу иметь случай доказать вам истинную мою любовь и то уважение, которое сохранию всегда в душе моей к достоинствам вашим. В будущем месяце около 16 числа я буду к вашей дивизии, в лагере расположенной, и обшью молодого полковника, любезного сердцу моему. Итак до свидания, преданный вам всей душой Рудзевич“.

„Поздравляю вас, — писал Пестелю генерал 20 декабря того же года из Херсона, когда состоялось официальное назначение П. И. командиром Вятского полка, — а более себя, любезнейший Павел Иванович, с назначением в командиры полка, давно вам предначинанного. И душевно рад тому и уверен, что полк Вятский, имея такого достойного для себя начальника, ободрится и примет другой вид; убитый же дух в трех тысячах ваших (солдат) непременно восстановится, и полк ваш будет в дивизии на верхах. Итак, прошу принять уверение в душевной преданности моей к вам, с которою навсегда и остаюсь. Прощайте, будьте здоровы. Неизменно любящий вас Рудзевич“.

„Письмо ваше, любезнейший Павел Иванович, от 24 прошлого декабря из Тульчина имел удовольствие получить, — пишет Рудзевич 22 января 1822 года. — Постарайтесь принять скорее полк (ввиду предстоящего царского смотра, на котором полк Пестеля был признан равным по выработке гвардейским полкам) и некоторые недостатки по полку как-нибудь поправить. Берегите истинной моей преданности к вам, с которой навсегда останусь преданный вам всей душой Рудзевич“.

„Письмо ваше, любезный Павел Иванович, в одно время с ранением вашим, в котором вы просите в посредники князя Волконского (декабриста князя С. Г. Волконского, ближайшего сотрудника Пестеля по управлению южным обществом заговорщиков), я имел удовольствие получить, — читаем в письме Рудзевича от 19 февраля 1822 года. — Охотно исполнил бы просьбу вашу но, согласитесь со мною, что мне обидно будет для вашего бригадного командира, который есть ближайший вам начальник и должен знать непременно все по полку недостатки и несправности, за которые он по силе приказа моего ответственности должен. А потому и предвещаю дивизионному командиру назначить ген. Менгдена в посредники...

Верю, что вам хлопоты больше будут устроить сами себя... но неумная деятельность ваша, конечно, к тому еще beitragen будет. Постарайтесь все поправить, честь и слава вам будет... Прощайте, будьте здоровы. Преданный вам душевно Рудзевич“.

„Письмо ваше, любезный Павел Иванович, от 4 сего месяца получил, — писал Рудзевич 20 мая 1822 года. — Охотно готов всегда вам содействовать, лишь бы видеть вас полем в самом отличнейшем положении, в чем я совер-

шенно и не сомневаюсь, зная усердие ваше и самолюбие, подстрекающее вас дать полку вашему совсем другой вид и поставить оный наряду с отличными. Знаю, что заботы ваши на первый случай для вас тяжелы и стоят вам значительных издержек, но Бог даст, при терпении и трудах достигнете желанного, и тогда все издержки вознаграждены будут собственным удовольствием вашим при отдании вам полной справедливости. Прощайте, будьте здоровы и верьте, что я всей душой предан вам. Рудзевич“.

Сохранились два письма генерала С. Ф. Желтухина к Пестелю в ответ на его письма. Желтухин, чье имя было в свое время, на ряду с Аракчеевским, нарицательным для определения бездушного, свирепого и жестокого фронтовика, изверга солдат, к кому посылались полковые командиры учиться мудрости магистрики, кто приказывал своим подчиненным из трех новобранцев сделать одного ефрейтора с тем, что можно остальных двух забить на смерть,— Желтухин был и учителем Пестеля в фронтовом деле. Известно, что Пестель, как командир Вятского пехотного полка, приобрел репутацию отличного фронтовика и заслужил большую похвалу высшего начальства, особенно императора Александра Павловича. Чего это стоило солдатам, можно догадываться. Но вместе с тем известно, что солдаты любили Пестеля и считали его хорошим, человечим командиром. Может быть, их подкунало в его пользу хорошее отношение Пестеля во внеслужебное время, а, может быть, как член Тайного Общества, он и в ученье вносил некоторую мягкость и, сравнительно с другими, в Вятском полку жилось солдатам лучше (См. ниже отзывы солдат о Пестеле).

Так или иначе, в качестве полкового командира, уравнившего по выправке и магистрике свой полк с гвардейскими, Пестель был учеником Желтухина и хорошим, благодарным, любимым учеником. Жаль—не сохранились письма Пестеля к Желтухину, но из его писем к последнему видно, что и первые письма были дружеские. В первом письме, от 8 октября 1819 года, Желтухин старается самым бессовестным образом подольститься к Пестелю, как к адъютанту главнокомандующего. Второе, от 21 января 1823 года, относится к Пестелю, как к командиру Вятского полка, и все посвящено науке фронтовой выправки и магистрики. Это—ответ на „дружеское“ письмо Пестеля от 12 января. Здесь Желтухин „чистосердечно“ сообщает Пестелю свои замечания (не начальнические, так как Пестель служил не в его дивизии, а дружеские в результате ознакомления с состоянием Вятского полка по просьбе его командира) о недостатках пригонки амуниции и с ужасающей нечеловечностью, характерной для этого изверга, описывает рисунки кивера и т. п. Желтухин уверяет Пестеля, что любит его „душевно, не так, как любит в нынешнем веку, а чистосердечно, как уроженец и шляхтич вольный... хотя и были люди, которые хотели нас поссорить... я с своей стороны рад, что не удалось им этого сделать; тем паче я вашею дружбою дорожу, хотел бы вас иметь у себя в дивизии“. В заключение Желтухин поучает Пестеля, как доводить „людей“ (солдат) до совершенства. В этом смысле и предста-

влет интерес приведенный отрывок. Именно в связи с этим любопытно и печатаемое ниже „донесение“ о Пестеле.

III.

ОТЗЫВЫ СОЛДАТ О ПЕСТЕЛЕ.

В собрании Н. К. Шильдера в публичной библиотеке есть донесение „агента по тайным государственным делам“ дворянина Летячевского повста, Подольской губернии Станкевича об отношении офицеров и солдат Вятского полка к Пестелю после его повешения. Документ краток и очень интересен, привожу его полностью.

„Ноября 22 дня 1826 года. Со времени определения меня в должность я не имел ничего достойного внимания донести вам; но по вступлении Вятского пехотного полка на квартиры в местечко Зивьков, старался я узнать, каковы посятся слухи между военными, и узнал:

1) Все нижние чины и офицеры неприменно жалеют Пестеля, бывшего их командира, говоря, что им хорошо с ним было, да и еще чего-то лучшего ожидали; и стоит только вспомнить кому из военных Пестеля, то вдруг всякой же вздохом тяжким и слезами отвечает, что такого командира не было и не будет; я сие от многих сам слышал, и евреи, почти всякой то же от военных слыша, мне доносили.

2) Находящийся при мастеровой команде унтер-офицер Филатов, любимец бывшего Пестеля, все подробно рассказывая пред евреем Воином Зейликовичем, каким образом и чрез что, рассорившись капитан Майборода с Пестелем, донес на него, Пестеля, о заговорах, говорил, что в ту ночь, когда ко Пестеля приехал какой-то генерал взять его в главную квартиру, он, Филатов, был послан Пестелем к Аврамову с письмом секретным и велено ему в два часа 60 верст проехать в местечко Прилуку, и Аврамов, прочитав письмо, сказал, что о всем уже знает; говорил и то Филатов, что Пестель с Аврамовым узнали в три дня о кончине государя императора Александра, тогда, когда о сем еще здесь никто не знал, и что сии кончина последовала от отравления ядом.

3) Квартирующий у еврейки Дрейзы музыкантский староста перед многими евреями, будучи пьяным, ругал Майбороду, что сделал донос на Пестеля, из которых последнего расхвалил и жалел, говоря при том, что Пестель пред смертью изрек слова сии: что он, Пестель, что посеет, то и взойти должно и взойдет впоследствии непременно; каковыя слова Пестеля повторил Филатов пред Воином Зейликовичем и другие нижние чины — пред многими евреями.

4) Все вообще офицеры и нижние чины ужасно не терпят нового командира, ругают его по заглазю, называли глупым, дураком, грубияном и иными словами.

О сих развлечениях доноси вам, покорно прошу, дабы донос мой не был обнаружен, а покороче можно удостовериться от евреев о сем, только дабы

они не знали, на каковой предмет их выспрашивают; также и нижние чины могут проговориться, не приметив, кто от них и на что узнать хочет“.

Происхождение этого документа рассказано в препроводительной бумаге волынского гражданского губернатора к главнокомандующему Литовским Отдельным Корпусом Цесаревичу Константину Павловичу при посылке ему 16 февраля 1827 года донесения Станкевича: „Заславский земский исправник при рапорте от 9 сего февраля представил ко мне в подлиннике, поданный ему 8 февраля секретарем Заславского нижнего земского суда коллежским регистратором Ярецким, рапорт с изъяснением, что по возложенной на него в прошлом 1826 году директором военной полиции генерал-вагенмейстером 2-ой армии подполковником Макаровым обязанности избрал он, Ярецкий, дворянина Станкевича в агенты по тайным государственным делам и сей агент об истинной его к престолу приверженности и правильности донесений дал на себя подписку. По выбытии же его, Ярецкого, из таковой должности, подведомственный ему агент, не знаяши о прекращении по той части его служения, адресовался к нему по данной форме без подписи своего имени с донесением за № 1-й, заключающим в себе немаловажные обстоятельства. Каковое донесение секретарь Ярецкий по долгу верноподанного, представил к земскому исправнику для доведения до сведения высшего начальства, так как он сам собою не имел уже права по секретной военной полиции чинить своих донесений“. К этому добавлено, что Станкевич заплатил посланному с донесением нарочному 60 коп. серебром.

Упоминаемый в донесении Майборода, — капитан Вятского полка, принятый Пестелем в Тайное Общество, осенью 1825 года послал императору Александру Павловичу донос на Пестеля и назвал многих заговорщиков. Донос его поступил к государю одновременно с доносом Шервуда. Майборода был при Николае Павловиче командиром Анжеро-Судженского пехотного полка, очень презираем своими офицерами, на которых производил оттапливающие впечатление, и покончил в 1844 году самоубийством, навалившись грудью на свой караул. Упоминаемый Аврамов — полковник Павел Васильевич, командир Казанского пехотного полка, член Тайного Общества с основания его в 1817 году, осужден на каторгу и умер в Сибири в 1836 году.

С. Штрайх.

Александр Второй.

Личная характеристика.

(Частью по неизданным царским дневникам).

I.

Александр II, сын Николая Павловича и его супруги Александры Федоровны, бывшей немецкой принцессы, родился в московском Кремле 17 апреля 1818 года. Родители его были тогда на великоблжжеском положении, не имея еще официального права мечтать о престоле российском для себя и своего первенца, но счастливая мать, может быть, уже что-то знала и даже, если верить ее позднейшим воспоминаниям, в минуту рождения своего Саши, „почувствовала что-то строгое и меланхолическое при мысли, что это маленькое существо призвано стать императором“. Если рождение Александра I приветствовал старик Державин, то рождение будущего Александра II приветствовал еще молодой тогда поэт Жуковский, который так же, как и его предшественник по воспеванию появления на свет Божий русских принцев, пожелал новорожденному, в числе разных благ и добродетелей, быть гуманным: ибо, конечно, это последнее хотел сказать поэт, когда писал:

„Да на чреде высокой не забудет святейшего из званий — человек!“ Русские поэты, возводя будущих царей в „званье“ человека, вероятно тем самым стремились перекинуть мостик от этих почти небожителей к управляемым ими людям, в том числе и к самим поэтам. В отношении будущего Александра II судьба устроила так, что В. А. Жуковский, высказавший вышесказанное пожелание, получил и возможность подействовать укреплению и развитию памяти маленького Саши в указанном гуманном направлении.

II.

Когда Саше исполнилось 8 лет, Жуковский был назначен в наставники к нему по общему образованию; поэт, следовательно, принял участие в воспитании наследника русского престола вместе с капитаном Мердером, которому за 2 года пред тем было поручено военное воспитание ребенка, начатое,

значит, раньше всего остального, когда наследнику исполнилось всего 6 лет. Оба воспитателя были добрые и кроткие люди; и это обстоятельство не могло, до известной степени, не сдерживать проявления некоторых черт характера будущего венценосца, которые только пристальным вниманием открываются среди снисходительных и лстивых отзывов об Александре Николаевиче в пору его детства и отрочества.

Мальчика не баловали. Николай I, его отец, был строг, и в сыне, как и в остальных своих подданных, стремился прежде всего укрепить ту добродетель, которую он считал наиглавнейшею: послушание. Отец отстранял сына от себя, когда унавал, что тот провинился непослушанием. И на сына это производило подавляющее впечатление. Он начинал из всех сил стараться, чтобы не вызывать отцовского гнева, страшного для него тем более, чем более он привык удивляться отцу и уважать его. Николай I был способен вызывать в окружающих, в том числе и в своем сыне, эти чувства. Он умел импонировать усвоенной им манерой управлять и жить. Два последние слова были для него синонимами: он не мог себе представить жизни без управления, а управление для него было однозначным со словом командование; для командира же первое дело — дисциплина: заставить беспрекословно повиноваться, слушаться, и классический ответ подчиненных: „слушаюсь!“ вероятно, кристаллизировался в служебную формулу в Николаевскую эпоху. Таким образом, строгость Николая I была одним из элементов его служебного мировоззрения, образовавшегося в казарме. Это был типичный военный своей эпохи, который без строгости, даже без суровости и жестокости был немислим, если он хотел иметь репутацию хорошего военного, и потому его собственные дети были бы недовольны, если бы он не имел этой репутации, т. е. не был бы по военному требователен и строг. Так, даже то, что, казалось бы, должно было отталкивать маленького Сашу от отца, наоборот, привлекало его к отцу, как безукоризненному военному командиру, ибо сам Саша прежде всего получал военное воспитание и с первых своих, еще очень нетвердых, детских шагов приучался ценить специально военные свойства. А в остальном Николай I, этот рослый и статный, с звучным голосом и наметанным грозным взором выгуклых, „оловянных“ глаз (так характеризовал их Герцен), с лихо загрученными рыжими усами, командир Российской империи, постоянно им смешиваемой с дивизией или бригадой, или даже с полком, умел быть в близком кругу обаятельным. Показные веселость и добродушие в связи с показною же справедливостью, это те психические свойства, которые пред окружающими особенно часто любил обнаруживать Николай Павлович, дабы привлечь к себе сердца. По отношению к своим детям это ему было и нетрудно, ибо он их любил и, вероятно, не только без всяких усилий над собой, но даже с искренним удовольствием он принимал участие в их играх, что для них, в особенности, для будущего Александра II и приставленных к нему товарищей, всегда было настоящим праздником.

Николай I, скрывающий под бравой военной выправкой довольно слабое и боязливое сердце, в большой мере обладал инстинктом находить в каждый момент те слова и поступки, при помощи которых всего скорее можно было

повлиять на людей и вызывать в них необходимые ему эмоции. 14 декабря 1825 г. он вынес своего Сапу к оставшимся ему верными солдатам и, вверив им своего первенца, укрепил их в верности. На троне он стремился постоянно показать пример трудолюбия и исполнения своего государственного долга, желая перед подданными явить схождение с Петром Первым, и хотя некоторые остряки и находили что в Николае I было немного Петра Великого и много прапорщика, тем не менее неустанная хлопотня этого новоявленного „царя-работника“ наизысканно производила на многих благоприятное впечатление и сообщала ему репутацию большого радателя о государстве. Иногда Николай I по отношению к отдельным лицам поражал всех гуманностью и справедливостью, что опять-таки было только аффектацией умело играющего роль верховного блюстителя правды и закона. Пусть актер обладал лишь внешними данными правды, очень внушительными, а в душе его было мало настоящего вдохновения, но кажущееся явилось бытием для толпы, — и этого было достаточно: многие, очень многие преклонялись пред Николаем I, как пред строгим, но справедливым царем... И таким людям даже несомненные недостатки этого царя представлялись чуть ли не достоинствами, во всяком случае — не более, как маленькими, милыми грешками, вполне достойными для столь „великого монарха“. Так именно относился к Николаю I и его старший сын, очарованный своим отцом еще в те времена, когда он так забавно играл с ними, малышами, в интересные игры или несколько позднее, когда он так величественно принимал от него на смотре доносения, как от своего ординарца. Вместе с тем Александр странно боялся отца-самодержца. А эти чувства — удивление и страх пред Николаем Павловичем и повели к тому, что Александр Николаевич был весьма склонен во многом подражать ему, не смотря на иное влияние, какое старался на него иметь его наставник по учебной части Жуковский, стремившийся воспитать в нем государя-человека, а не региментского полкового командира. Отцовское влияние находило поддержку и в тех чертах характера Александра, которые едва ли не следует считать оспоганими. Воспитатель Мердер, человек унылый и терпимый, склонный больше оправдывать и хвалить своего воспитанника, с самого начала своей работы над ним замечал в нем надменность и неподающуюся при исполнении приказаний, даже страсть спорить; но из других наблюдений воспитателя видно, что эти свойства соединились в Александре Николаевиче не с твердостью воли, не с сознанием собственного достоинства, а с какою-то общей слабостью духа, с готовностью сейчас же дать отбой и смириться, как только встретил серьезный отпор или простое внушение, против которого было бы опасно „спорить“. Так, напр., однажды, уже будучи 14-ти летним мальчиком, Александр свалился с лошади; мог он при этом и убиться, но отделался дешево, и можно было бы, по минованию она сполна, проявить некоторую твердость, какую обыкновенно стараются показать в таких случаях мальчики этих лет, но Александр заливался слезами даже в присутствии отца, на которого такая нервная разноречивость производила неприятное впечатление... И Николай I начал укорять своего сына, что „он не имеет над собой власти и не может

удержать слез своих". В глазах военного командира излишняя слезливость была немалым недостатком характера. Эту слезливость Александр проявлял и в других, еще менее серьезных, случаях, и от нее он не освободился в течение всей своей жизни, а это-то его свойство, столь решительно неодобренное его отцом, в значительной степени, и послужило укреплением за Александром репутации кроткого человека. Между тем, оно было проявлением лишь психологической дюжинности и даже некоторой мелкости натуры Александра Николаевича. Иногда эта „натура" раскрывалась пред воспитателем в достаточно определенных очертаниях. Так, на уроках Александр не любил сосредоточиваться на своей собственной работе и замечать в ней ошибки, а очень любил отыскивать ошибки у своего товарища и очень бывал доволен, когда находил их у него. В том же 1832 г., когда Александр упал с лошади, однажды на уроке Плетнева, „великий князь", говорит в своем дневнике Мердер, „выказал большую слабость характера". Работа, поданная Александром в этот день преподавателю, оказалась наполненной ошибками, которых, по мнению воспитателя, он мог бы избежать, если бы он был внимателен. Ему была поставлена „посредственная" отметка. Пораженный таким результатом падения и, очевидно, боясь ответственности перед строгим отцом, 14-ти летний Александр „плакал, как маленький ребенок". Он был из тех людей, про которых сказано: „блудлив, как кошка, труслив, как заяц". Ответил он, бывало, своему воспитателю „неприличным образом", а Мердер, которого великий князь, повидимому, любил, как добрую, хотя и ворчливую пидьку, возьмет, да выдержит характер, не уступая ему ни пиди в его наприазе,—и струсивший Саша сейчас же умильно просит извинения у своего ментора.

Стойкости вообще он ни в чем не обнаруживал, ни в положительных, ни в отрицательных своих поступках, меняя отношение к предпринятому сообразно с обстоятельствами. В особенности это сказывалось в серьезных занятиях, в которых трудно было ему проявить должную настойчивость, вследствие присущей ему лени, и последнее свойство с прискорбием отмечает его наставник, занесший в свой дневник, после сообщения о „непростительной беспечности" в занятиях по русской словесности, следующую общую аттестацию своему воспитаннику: „Он—нишет Мердер",—не может привыкнуть исполнять добровольно долг свой. Лени его одолевает во всем, препятствует в особенности углубиться в работу; когда должно начать занятие, он колеблется, робеет и не знает, как приступить". Это— вполне точное определение сущности характера Александра Николаевича. Таков уже он родился, и воспитатели очень немногие могли сделать в борьбе с указанными свойствами. „Каков в колыбельке, таков и в могилку", и действительно, в течение своего продолжительного царствования Александр II проявлял столь точно подмеченные Мердером свойства души: и малую, сравнительно с Николаем I, степень работоспособности, и вечное голубашье, и незнание, как приступить за дело. При таких основных свойствах личности своего первенца, отец намеревался, как он сам заявил, „воспитать в нем человека, прежде чем сделать из него государя." Вероятно, Николай Павлович хотел сделать военного человека—тогда это заявление соответствовало бы дей-

ствительности: ведь, главное внимание было обращено на военное дело, — военное воспитание, мы знаем, было начато раньше приступа к общему образованию. В своем предпочтении военного образования Николай не вставал в резкое противоречие с только что приведенным заявлением о воспитании в силе человека, ибо человек и воспитый в сознании Николая Павловича были едва ли не однозначными словами. Но, и в занятиях военными науками Александр Николаевич не проявил ни любознательности, ни трудолюбия, оставшись верен своим природным свойствам. Поэтому, отец был очень недоволен сыном. „Я заметил, сказал он однажды (1834 г.) Мердеру, что Александр показывал вообще мало усердия к военным наукам, и хочу, чтобы он знал, что буду непреклонен, если замечу в нем нерадивость по этим предметам: он должен быть военным в душе... Мне казалось, что я заметил, что он любит одни только мелочные подробности военного дела“. Отец был прав; сын обращал внимание лишь на мелочи. Но надо помнить, что сам Николай Иванович не на мелочах военной службы и им всегда на деле, а не на словах, придавал громадное значение. Декабрист Каховский несколько не преувеличил, когда свое и своих товарищей отрицательное отношение к Николаю Павловичу пояснил на допросе следующим образом: „Видимые занятия ваши были фронт, солдаты, и мы стремились иметь на престоле полковника“. И декабристы не ошиблись: на престоле оказался полковник или, самое большее, дивизионный генерал; не мудрено, что и юный сын его шел по этой же стезе. Как и отец, он с раннего детства увлекался Марсовым полем, смотрами, парадами, маневрами, и уже 8-ми летним мальчиком в церемониальном марше мог лихо проскакать полфланга кавалерийской колонны. Жуковский опасался этой исключительной любви своего питомца к военщине и в учебном плане для великого князя ограничивал время на военное образование 6-ю неделями в году; но что этот штатский человек мог поделать против чисто военного направления русского самодержавия его двора и высшего класса общества?

Разумеется, — ничего. Все ограничительные советы и указания Жуковского остались на бумаге. Дело воспитания шло по хорошему наемному колесу, — из бойкого в военной игре подростка выходил молодеватый, ловкий офицер, это — прежде всего, а потом уже... человек.

III.

Человек выходил довольно легковесный, несмотря на все старания воспитателей укрепить его волю, облагородить чувствования, развить и углубить его мысль. Препятствием к хорошему успеху на этом пути была именно резко выраженная слабость души, лень мысли: „При встрече с малейшей трудностью, с малейшим препятствием, — замечает воспитатель Мердер, — Александр впадал в некоторый род усыпления и бездействия“. С воспитанником, обладающим такими свойствами, немного можно было сделать, особенно, если принять во внимание, что очень много времени приходилось на всякого рода военные игры и упражнения, а также на бесчисленные балы и разнообразные увеселения.

Но кое-что, конечно, можно было сделать, пользуясь, главным образом, избытком в природе Александра чисто немецкой сентиментальности. Он всегда готов был расчувствоваться, раскаться и под влиянием мимолетных эмоций несколько подтупить и исполнить требуемое... Но ему, при этом, нужны были очень острые впечатления, рождавшие в нем страх или жалость. Первое из этих чувств умел вызывать в нем обаятельный отец, которому Саша из всех сил старался угодить и быть достойным его похвалы в качестве и ученика, и унтер-офицера, и „опытного кавалерийского офицера“. Второе чувство рождалось под влиянием тех или других жизненных впечатлений. Воспитатель Саши Мердер сообщает, что до 13 лет он понятия не имел о нищете и не показывал „большого сострадания и желания помочь бедным“. В 1832 г. Саша однажды со своим воспитателем ехал в коляске „по дороге, усеянной полуразвалившимися хижинами, из окон коих, — рассказывает Мердер, — выглядывали бледные, бедностью и рабством искаженные лица“. Как же отнесся к этой очевидной нищете, материальной и духовной, юный наследник российского престола? Так, как, вероятно, относилось к этим явлениям большинство его окружавших, а на самостоятельное отношение у „доброго“ и чувствительного Саши не нашлось ни отклика в сердце, ни сообразительности в голове. Он „сказал, что владельцы этих жилищ должны быть ленивы и небрежливы“. Видимо, никто ему еще не разъяснил, в чем тут дело, и беззаботный мальчик, по свидетельству Мердера, „удивлялся бедности и невежеству крестьян“. И такое отношение к лицам, искаженным бедностью и рабством, весьма характерно. Природная доброта Александра Николаевича оказывалась более, чем сомнительной. Он склонен был к чувствительности — это и вводило в заблуждение простодушных людей и давало материал для восхваления за „доброту“ листецам. Мердер сообщил, что его воспитанику, 13-ти-летний Саша, „был чрезвычайно тронут нищетою бедных евреев, которые в рубищах толкались по улицам“, настолько тронут, что „роздал им много денег“. Сообщает тот же свидетель и о том, что когда однажды „милый“ Саша узнал, что для поездки императрицы необходимо мобилизовать множество крестьянских лошадей, то сказал: „Какое несчастье для бедных мужиков, которые принуждены будут отдавать своих лошадей в такое время, когда сами в них так нуждаются“.

Но историка не введут в заблуждение подобные сообщения, ибо дальше хороших слов и дешевых слез обыкновенно не шли добрые чувства Александра Николаевича. Ему не хватало глубины и серьезности, чтобы быть истинно добрым. Это была легко увлекающаяся, но и легкомысленная натура; от нее нельзя было ожидать глубоко-продуманных и последовательных шагов, но можно было ожидать, что человек, обладающий такой натурой, под влиянием того или другого порыва, внезапно бьющим в глаза событием или явлением, сделает быстро, торопящейся и спотыкающейся походкой, несколько шагов вперед, а потом вскоре, руководствуясь вступившим в свои права мелким практическим смыслом, столь же постепенно двинется назад и пойдет в обратном направлении так далеко, чтобы совсем было забыто о продвижении вперед. Таких людей в просторечии обыкновенно называю „на рибой, ни вперед, ни назад“.

Производи впечатление не злых, а мягких, гуманных, эти люди нередко несправедливо приписывали злость; присущая же им sentimentalность, проявляемая ими тоже нередко после их грубых и непримирчивых поступков, создает им репутацию, в сущности, противоположную их психической природе. Душевные пустоцветы, они могут быть сосредоточенно мстительны к своим врагам. Таков был и Александр Николаевич. Довольно указать, что в начале своего царствования он посадил в страшный Алексеевский рavelин молодого офицера Бейдемана за смело им заявленное революционное настроение, приказав держать его в одиночном заключении рavelина „впередь до особого распоряжения“, да так и не удостоился сделать такового до конца своей жизни. Это погребение заживо состоялось задолго до Карагановского выстрела, первого фактически покушения на жизнь Александра; следовательно, „добрый“ царь еще не мог успеть озлобиться на революционеров, но ему и не нужно было особой практики в этом направлении, ему достаточно было одного словесного обвинения в обмане народа, с чем обратился к нему Бейдеман, чтобы затем уже остаться совершенно глухим к судьбе несчастного узника. О нем „доброму“ царю-освободителю делали доклад ежемесячно, но Александр Николаевич оставался безучастен, не „повелев“ пересмотреть дело даже тогда, когда через 8 лет от узника последовало полное раскаяние, в словесных проделках, — не „распорядился“ и предоставил своему некогда идейному врагу погибнуть физически и душевно в том гробе, куда он был брошен живым „до особого распоряжения“ ¹⁾... Как видно, „добрый“ царь не во всем оправдывал свою репутацию. Вообще же, он постоянно колебался, не был так устойчив, как в злобе на своих врагов; почему и царствование его, личность, как увидим дальше, производили и производит двойственное впечатление.

IV.

Будучи наследником престола, Александр Николаевич публике представлялся весьма благожелательным и симпатичным человеком.

И это вполне понятно.

Чувствительность его была известна, а всякий слеза наследника, часто поблескивавшая на его глазах, казалась стражением самых лучших движений золотого сердца. Сверх того „чувства добрые“ Александра, помеченные в нем еще в ранней детстве, получили надлежащее воспитание, благодаря его горючим наставникам: Мерцелю и, в особенности, Жуковскому. Обе они стремились научить его добру, развить в нем задатки симпатии и любви к людям, сделать из него человека-государя, исполненного гуманных стремлений и любящего народ, управлять которым предназначила ему судьба. „Люби народ свой, — внушал ему Жуковский, — без любви царя к народу нет любви народа к царю“. Воспитание в таком духе Жуковский хотел оставить на исторический фундамент, почему в качестве главной науки, по его учебному плану, выделялась на первый план история. И хотя бывало, что на уроках истории великий князь не „отличался“ и старшины большого не показывали, это же

¹⁾ См. П. Е. Щеголев: „Тайный узник“. С.-Петербург, 1920 г.

эти уроки, комментируемые таким идеологом монархии, каким был В. А. Жуковский, мечтавший о чисто идилическом государе-отце для своего народа, вероятно, произвели некоторое впечатление на Александра, впоследствии делавшего иногда попытку помнить о внушенном ему назначении быть благодетелем своим подданным. Может быть, потом, много спустя после этих уроков, в решимости его приступить к ликвидации крепостного права известную роль сыграло ввспоминание о том, что его наставник Жуковский давно когда-то отлучил на волю своих престыли... Кроме Мердера и Жуковского серьезное влияние мог иметь на Александра преподаватель заповедения, знаменитый Сперанский, который неограниченность власти российского самодержца по отношению ко всякой другой „власти на земле“ заключил в „пределы“, „поставленные извне государственным договором“, а „внутри словом императорским“; при чем внушал своему ученику, что эти пределы должны быть для самодержца „непреложны и священны“. Дабы еще более притупить „железные шипы“ самодержавия, Сперанский так подал преподаваемое им наследнику определение его будущей неограниченной власти: „Всякое право, а следовательно и право самодержавия, — говорил он, — потому есть право, по которому оно основано на правде. Там, где кончается правда и где начинается неправда, кончается право и начинается самовластие“. В мнении по этому кардинальному вопросу русского государственного права той эпохи законовед и государственный человек Сперанский сомневался с наставником-поэтом; оба они старались приумкнуть и приодеть исторически сложившуюся царскую власть, носившую на себе все следы неоприятности пройденного ею пути, — с той только разницей, что поэт в своих идилических представлениях о патриархальном самодержавии исходил из побуждений своего мягкого и доброго сердца и облекал эти представления в довольно распылчивающую форму, а законовед исходил из требований строго логического ума и облекал свои определения в четкие юридические формулы. Александру Николаевичу эти наставники до некоторой степени должны были принести пользу; ибо, если впоследствии он, хотя бы и иногда, обнаруживал небольшое понимание своего положения по отношению к управляемому им народу, то этим он был обязан несомненно своим наставникам, и отнюдь не отцу, профессиональному деспоту. Но, надо признать, не очень глубоко вошли в сознание Александра представления о „правде“, долженствующей ограничивать „неограниченную“ царскую власть; потому что слишком не глубока была его натура, потому что эта натура к тому же своими природными свойствами тяготела не к преподаваемому политическому коррективу, а к закоснелой практике деспотизма.

Личные свойства и наглядный пример почитаемого отца побороли гуманные советы наставников, — и Александру Николаевичу не трудно было с пути относительной „правды“, на который, под давлением обстоятельств и людей, не слишком твердо он было вступил в начале царствования, затем очень скоро, тоже под давлением обстоятельств и людей — разумеется, других — опять перейти на старинный исторический путь „неправды“... (тому содействовало и то обстоятельство (которое в большой мере влияло на дальнейшее образование Александра), что крайне рано

Александр Николаевич был сочтен умственно зрелым. Весной 1837 г., когда ему только исполнилось 19 лет, собственно учебные занятия по „плану учения“, составленному Жуковским, были призваны законченными, и наследнику цесаревичу предстояло познакомиться лишь... с Россией и Европой по непосредственным впечатлениям и наблюдениям; предстояло, словом, путешествие по той и другой, которым, как бы, завершался весь круг образования, предназначенный Жуковским и утвержденный Николаем I для будущего Александра II. Непосредственно, вслед за последним экзаменом, который навсегда оставил позади годы „учения“, последний русского престола вместе со своими воспитателями, наставниками и свитой отправился в путешествие по России, инструкция для которого была написана самим Николаем Павловичем. Путешествие продолжалось несколько более 7 месяцев. Если мы примем во внимание, что в этот срок путешественники обехали громадные пространства Европейской России и Западной Сибири до Тобольска включительно, посетив 30 губерний, и не забудем тогдашних путей сообщения, то мы поймем, что это путешествие или, как его фигурально назвал один из путешествовавших с Александром наставников (Жуковский), „всенародное обручение наследника с Россией“, было совершено в сущности на фельдшерских и мало что могло оставить после себя, кроме общего впечатления звона, шума, криков „ура“ и не очень ценных воспоминаний о пестрой, однообразной картине торжественных встреч, празднеств, всевозможных увеселений, законопослушной лести, неприкрытого холодства, а также о страшном утомлении от всего этого. Все же, однако, хотя бы внешнее и поверхностное знакомство наследника с Россией состоялось: получил он 16,000 просьб, кое что слышал, кое о чем узнал в Сибири, о Ялуторовском Кургане, видел он декабристов и, пораженный печалью, отражавшейся на их лицах, ходатайствовал перед своим отцом о смягчении их участи, в чем несомненно сказалось влияние Жуковского. Это, пожалуй, было самое ценное, что Александр Николаевич вынес из своего головокружительного путешествия по России: память о грустных изгнанных, старых отцовских „друзьях 14 декабря“. Едва ли более серьезное значение имело для наследника путешествие и по Западной Европе, начатое в 1838 г. посещением Пруссии, где русский великий князь по преимуществу интересовался прусскими военными эзерцициями, как бы тем подчеркивал, что наследственные традиции в нем нашла великолепное воплощение. Да и мудро было бы ожидать много: военное дело для наследника Николай Павлович, введший своего старшего сына и в сенат, и в синод, и в государственный совет, все-таки поставил во главу угла, и ради „военных наук“ еще в 1834 году были исключены из преподавания наследнику уроки естественной истории. Отсюда вполне естественно вытекало, что и честолюбие и вся повадка Александра Николаевича, уже в 1836 году, т. е. 18 лет от роду, получившего „за отличие по службе“ чин генерал-майора, была чисто-военного склада. И в качестве военного человека, при счастливой внешности и благожелательности, внешне проявлявшей в личной обращении и даже отразившейся в его письмах, он имел успех и у себя дома, и за границей. Как и предполагается военному человеку, любил он не только разводы, смотря и

маневры, но и балы и всякие иные развлечения, любил повеселиться, потанцевать и покружиться в гусарском ментике, любил и хорошо покушать, склонность к чему обозначилась в нем еще в детстве... Как дядя и отец, любил он женщин, а за свою стройную фигуру и красивые блестящие глаза, умевшие быть, когда надо, мягкими и мечтательными, был любим и ими. Не удивительно, что из своего первого путешествия по Западной Европе юный наследник Российского престола вывез в Россию себе невесту, — тоже, как уже повелось, немецкую принцессу, на этот раз Марию Гессен-Дармштадскую, нареченную здесь великою княгиней Мариею Александровною; с нею он и повенчался в 1841 году (16 апреля). От нее он имел довольно большое потомство, имея детей и от любовниц, с одной из которых, получившей фамилию гн. Юрьевской, по смерти императрицы, он вступил вmorganaticкий брак.

У.

Всепреки известной поговорке, женитьба (на немецкой принцессе) не переменила Александра Николаевича. Он и в дальнейшей своей жизни оставался таким же, каким мы его уже знаем — постоянно плывущим по течению и только порой произволяющим всплески мимолетными капризами. Строгого отца своего он попрежнему уважал и боялся, иногда и обманывал, дабы избежать его гнева; но, как все наследники престола, был приспособлен в некоторой мере и к оппозиции отцу по крепостному вопросу, в котором Николай I, хотя и секретно, высказывался в пользу освобождения; наследник же был с крепостниками и высказался против проектированных для западного края инвентарей, — факт, свидетельствующий в общем о слабом влиянии воспитательных уроков Жуковского, по крайней мере без содействия со стороны других обстоятельств, выдвинутых потом самою жизнью. По воцарении Александр Николаевич сейчас же отменил инвентарные правила, продолжая, таким образом, в крепостном вопросе занимать прежнюю позицию. Это было самое трудное для России время Крымской войны, когда Севастополь изнемогал в неравной героической борьбе с союзными армиями. Но, вот война окончена, оставив после себя, кроме международного унижения России, зияющие язвы на ее государственном организме; эти язвы были раскрыты войной. Самую страшную, самую гнойную и опасную язву, готовую погубить этот организм, было крепостное право, терпеть которое народ, как это он определенно показал своими волнениями во время Крымской войны, более уже не хотел. Всем благоразмыслившим людям стало ясно, что, в случае дальнейшего промедления с отменой крепостной неволи, начнется новая пугачевщина, и крестьянство само доблется освобождения от ненавистного ему ярма. Александр Николаевич тоже понял такую неизбежность и уже в 1856 году сделал прозрачный намек на это в своей речи, обращенной к предводителям московского дворянства; но, по своему обыкновению, он колебался сказать определенно о неизбежности крестьянской эмансипации и уверял дворянство, что решение

им в этом смысле не принято. „Слухи посятся, — сказал царь, — что я хочу дать свободу крестьянам; это несправедливо, и вы можете сказать это всем направо и налево; но чувство враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастю, существует, и от этого было уже несколько случаев неповиновения помещикам. Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти. Я думаю, что и вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу. В конце концов, он решился произвести освобождение „свыше“ — по мнению царя, стоявшего на самом верху. Тут-то, в своем решении, он, вероятно, подкреплялся не только впечатлением, полученным им при чтении „Записок охотника“ Тургенева, на каковое он потом ссылался, но и воспоминаниями, связанными с его бывшим наставником Жуковским и его воспитательными уроками, словесными и жизненными. В 1857 году, находясь в Киссингене, Александр сказал графу Киселеву: „Крестьянский вопрос меня постоянно занимает. Надо довести его до конца. Я более чем когда-либо решился и никого не ищу, кто помог бы мне в этом важном и неотложном деле“. Эти слова Киселев тогда же занес в свой дневник, в котором изложил и общее впечатление, произведенное на него царем во время киссингенской беседы: Александр II, как „показалось“ Киселеву, „совершенно решился продолжать дело освобождения крестьян“. Но от Киселева не укрылись и свойственные Александру Николаевичу колебания и незнание, как приняться за дело даже тогда, когда он „решился“ приступить и подбадривал себя заявлениями в освободительном духе: „Но его (Александра II), — отмечает Киселев в своем дневнике, — обременяют и докучают со всех сторон, представляли препятствия и опасения“. И Александр II не вынес этого напора „со всех сторон“: крестьянская реформа вышла односторонней, половинчатой! Точно также не вытержал он напора и в других реформах его царствования — в университетской, судебной, земской. „Мы ничего не делаем последовательно и с сознанием определенной цели“, писал в 1865 году в своем дневнике один из горячих поклонников Александра II, профессор и цензор Никитенко. — „Во всем скачки, попятки, попятные вправо, влево... Ожидания, что скажут... В этих „попятках“ и „ожиданиях“ сказывалась основная черта личной психологии Александра II, и этою чертою несомненно запечатлена вся внутренняя политика его царствования, поскольку последняя зависела от его воли.

Александр II дал России лишь то, на что способна была его неглубокая натура: несколько хороших порывов и много горьких разочарований. За первые его многие любили, так как в этих порывах его характер оборачивался своей лучшей, гуманной стороной, тихо светившейся в его улыбке, „полной“, по словам современника, „неизмеримой кротости и доброты“. Именно эта улыбка, по наблюдениям Никитенки, „не сходила с его уст“, когда Александр Николаевич однажды в либеральную пору своего царствования, любезно говорил о науке, не проявив при этом, как тогда же отметил Никитенко в дневнике, „ни малейшего наусупного царственного величия“ и покорила ученого цензора „искренностью и простотой“, звучащими в его „каждом слове“. Но Александр II был воспитанником не только мягкого и кроткого Жуковского, но и

довольно-таки жестокого и крутого отца, от которого кое-что переняло и по наследству, и потому умел говорить и очень не кротно и даже нелюбезно, когда, по его мнению, это следовало. Так, напр., речи, произнесенные Александром II в начале царствования (1856 г.) предводителям польского дворянства и, особенно, членам комитета по устройству праздника по поводу его приезда в Варшаву, были образчиками настоящего николаевского стиля. Обещая обеспечить за польским „краем“ „все, обещанное или дарованное отцом“, Александр II в своей второй речи прибавил: „И ничего не изменю; сделанное моим отцом — хорошо сделано. Царствование мое будет продолжением его царствования“... И далее грозил „ответственностью“, если такие намерения встрелят „химерическое сопротивление“. Нелюбезно хотел Александр поступить и по отношению к другому государству, французскому, когда задумал (в 1864 г.) устроить праздник по поводу взятия Парижа (в 1814 г.) — и только благодаря совету князя Горчакова не осуществил своего намерения.

Еще менее любезен бывал он иногда к окружающим, которым заодно приходилось быть и жертвами царских нервных вспышек, похожих на обычное барское самодурство, и свидетелями быстрой отходчивости царя, который вниманье озабоченного и разъяренного превращался снова в благодушного и кроткого, готового на всякие сентименты. Друг его, кн. Вяземский, едва-ли клеветает, когда сообщает о чувствительном оскорблении, которое нанес ему Александр Николаевич во время одного из своих капризных припадков. Ехал князь однажды с царем в карете куда-то на юг, и Александр, томимый скукой, которой он не выносил, и раздраженный терпением Вяземского, которым тот задумал отделаться от возможного неприятного разговора, „харкнул“ слишком терпеливому другу в физиономию, причем „лицо царя“, рассказывает кн. Вяземский, „раньше кроткое и мечтательное, внезапно исказилось злобой“. Но стоило только Вяземскому „молча“ начать стирание царской слюны со своей княжеской физиономии как Александр „бросился“ к нему „на шею и начал прощать прощенья“... Для Вяземского эти эмоции Александра не были неожиданными, ибо ему было хорошо известно, „что сколько раз, бывало, пред какой-нибудь серьезной аудиенцией царь выходил из себя, произносил самые изощренные ругательства, пивирял часы и канделябры, а в названную минуту появлялся пред собравшимися, и нельзя было верить, глядя на его прекрасное лицо и всегда готовые наполниться слезами глаза, что это один и тот-же человек“. А это было именно так, ибо Александр не был цельным характером, двойлся, не был в сущности ни злым, ни добрым, а мог казаться и тем, и другим, смотря по обстоятельствам и настроению — мог быть даже и образцом жестоким... От этого двойственное и отталкивающее впечатление производят и все его царствование. Начатое упомянутыми выше либеральными реформами, облегчением печати, (в силу чего, напр., сочинения Гоголя было позволено издать „без всяких исключений и изменений“), стремлением возможно шире распространить университетское образование (прием студентов в университеты без ограничения числа), оно заканчивалось раздраженной реакцией ярким гонением на свободное слово, стеснением печати, стеснением

студентов и подготовкой ультра-полицейского университетского устава (1884 г.). Но не на живот, а на смерть борясь в последние годы с крайним выражением общественной оппозиции — революционной пропагандой, а под самый конец с террористами „Народной Воли“, Александр II под влиянием чувства самосохранения готов был снова идти на уступки желаниям цензовых общественных кругов, ждавших от него какой-нибудь, хотя бы и очень плохой, конституции.

В конце концов, вышло так, что ничего цельного из его реформ не получилось, и то, что было в них хорошего, являлось каким-то неуместным светлым пятном на общем фоне довольно нечистоплотной политической и общественной жизни России и очень быстро загрязнилось, становилось неузнаваемым. Поскольку Александр II сам вмешивался в дела, он оказывался неудачником и в чисто военной сфере, к которой, согласно учебно-воспитательным тенденциям своего отца, он готовился по преимуществу. После падения Севастополя Александр II особенное внимание обратил на город Николаев, где он прожил 6 недель и где предполагал новую высадку союзников, дбл... „уничтожить все заведения Черноморского флота и нанести тем окончательный удар могуществу нашему на Черном море“, — как писал он в собственноручной записке. Александр Николаевич полагал, что он предотвратит этот „удар“ сохранением означенного порта; но он ошибся в этом жестоко, ибо совершенно не понял того „удара“, который был нанесен союзниками России в Севастополе и который делал ненужными другие ей удары.

Не понял Александр II ни военной, ни политической ситуации, когда во время русско-турецкой войны 1877-78 гг. русские войска были vicino Константинополю, и не знал, на что решиться, как „прийтись за дело“ использовании победы над Портой: он то писал главнокомандующему, в. князю Николаю Николаевичу, что „мы не должны вступать в самый Константинополь, но утвердиться только на берегах Босфора“, то упрекал своего брата, что тот не вступил в Константинополь: „Что скажет России и наша доблестная армия — писал царь главнокомандующему, — что ты не занял Константинополя! И с трепетом ожидаю, на что ты решишься“... А Николай Николаевич в этот по истине критический момент, требовавший быстроты соображения и решимости, ожидал, на что решится Александр Николаевич, видимо, желая свалить с себя ответственность на самого царя. Царь же и тут был верен самому себе: он колебался и не дал никаких определений ни приказаний, ни указаний, и в результате такого отношения к самой капитальной исторической задаче, предложенной русскому самодержцу сложившимися обстоятельствами войны и победы, Россия принуждена была испытать позор Берлинского конгресса. И ни к самому ли Александру II более всего подходили презрительные слова, которые Бисмарк бросил по адресу русских правящих сфер „В сущности я всегда думал, — сказал желтый канцлер, — что вам нужно только несколько бунчуков нашей да победная пальба в Москве“. Александр II по истории, как видно, „не отличился“ и в жизни. Вследствие непоследовательности, все у него вышло чем-то печальным,

недоделанным, а то и просто искорченным. Единственное, в чем он остался последовательным до конца своих дней, это в любви к раннего рода воинским церемониям, парадам, смотрам и великого рода воинской миниатюре. Все это, называемое „наукой царей“, никогда не забывал Александр Николаевич, ни на войне, пред лицом страшных человеческих страданий, ни во время мира, пред лицом то и дело обнаруживавшейся страшной опасности для него самого, когда для избежания ее он одобрил „диктатуру сердца“ Лориса-Меликова и согласился обезоружить террористов милостивой, яко бы „конституционной“ подачкой. Он был чувствительный человек, слезы лились из его светлых глаз, когда, бывало, навещал он раненых во время восточных войн, когда ему сообщали об огромных потерях под Плевной; но когда Плевня пала, после кровопролитного боя, влившего массу русских живых, — первое, о чем не забыл царь, это — приценить к сабле георгиевский томляк, право на который он немедленно, с аффектацией подчинения военному уставу, испросил у военного министра Милютина. Видно, что Александр любил славу. Но как и все в нем, так и эта любовь его, была неглубокой.

VI.

Александр II любил славу как-то внешним образом, — как эффектное добавление к изящному обмундированию: чтобы только казаться храбреем и горцем.

На большее он не претендовал.

При значительном логосматии, он однако был очень хитрым человеком и не любил подвергать себя ни излишней опасности, ни скучному труду. В дневнике своем, который он вел весьма аккуратно, но делая до чрезвычайности краткие записи полусловами, а иногда просто начальными буквами слов (что крайне затрудняет чтение и понимание его рукописи), Александр Николаевич выразил все главные свойства своей природы. Прежде всего здесь привлекательна его любовь к изящному. Миниатюрные записные книжечки-календари, нарочно для него напечатанные, куда он так скупо заносил „события“, — претендуют именно на изящество: напечатаны они на отличнейшей бумаге и иллюстрированы транспарантными картинками, своим содержанием отвечающими интересам момента или монарха; заключены эти книжечки не только в прекрасные переплеты с золотым обрезом, но и в столь же прекрасные футляры. Это по внешнему виду — „евангелия“ или те книжечки, в которые благочестивые люди записывают так называемые „поминовения“ — „за здравие и упокой“, но с тою, разумеется, разницею, что на царских книжечках вместо евангельского креста красуется российский двуглавый орел с короной. Записи в этих книжечках сделаны бисерным, выжженным почерком; это — лаконичные, строгие, бесеманные отметки событий и обстоятельств: автор и ленив на подробности, и достаточно скрытен для обнаружения своих чувств. Даже в наиболее трагические моменты своей жизни, связанные с покушениями на нее со стороны политическими заговорщиками, он не терзает себя

предусмотрительной сдержанности, но не забывает и отметить все то, что так или иначе льстит его тщеславию.

Под 4-е апреля 1866 года, отмечая, что в 3 часа „гулял с Марусей и Колей, и шлою в Летнем саду“, Александр Николаевич далее сообщает, что когда он потом выходит оттуда „сестра в коляску“, в него „выстрелили из пистолета мимо“ и что „убийцу схватили“, а затем продолжает: „Общее участие. И домой—в Казанский собор. Ура—все гвардии в белом зале—ими Осипов Комиссаров“¹⁾.

О том, что произошло непосредственно после карагозовского выстрела гораздо подробнее в своем дневнике рассказывал сын Александра Николаевича, Александр Александрович, бывший уже тогда наследником престола. Он сообщает, что, после „Казанского собора“, в Белом зале его родители приняли „весь гвардейских офицеров, всю главную квартиру и главный штаб“. „Прием,—пишет он,—был величественнейший, ура сильнейший!“ После этого „сильнейшего ура“ не забыт был и „спаситель“, имени которого Александр Александрович не называет в своем дневнике ни разу. Но он рисует впечатлительную на трогательный эффект сцену, которую его отец поставил пред этим блестящим собранием гвардии, главной квартиры и главного штаба, т. е. пред самыми близкими монарху частями военного мирка. «Потом,—просто-душно повествует Александр Александрович,—призвали мушкетера, который спас. Папа его поцеловал и сделал его дворянином. Опять страннейший ура!»

О том, как произошло «спасение» Александр Николаевич в дневнике не говорит ни полслова; он упомянул, как мы уже знаем, лишь имя Комиссарова, а своему сыну Александру Александровичу в первый момент по спасении, когда тот, «прибежав», как сообщает сам наследник, то есть он, «бросился к нему на шею»,—«только сказал»: «меня Бог спас». Сын, наоборот, не называя совсем второго «спасителя» — Комиссарова по имени, понимает, очевидно со слов других, может быть, и самого «спасенного папа» как произошло «спасение». рукой этого второго спасителя, направленного первым. «Один из мушкетеров», сообщает он, «спас папа тем, что толкнул руку злодея в то время, когда он целился».

Церковью «спасителя» — Богу — тогда издавался должное. Молебны следовали на молебном, — и Александр Николаевич со своими близкими наслаждался зрелищем переполнения церкви и громадного стечении народа около нее: «Собрание, — пишет опять-таки сын спасенного, — было (sic!) полно народу и другим тоже, как будто хотелось было присутствовать». С молебна шли к завтраку, от завтрака опять в Белый зал, и там Александр Николаевич наслаждался выражением чувств неимоверно живых и искренних, «до слез» спасенных. «Долготерпение от дворянства и горожанского сочувствия», т. е. от солдат и, наиболее близко стоявших к спасенному. На выражении этих двоящихся и смешанных чувств, Александр II всегда, как сын и отец, старался представлять, отмечая выражением своим, и сердце его было далеко от истерии, когда разрывался, как о поном, «чуждый прием».

¹⁾ Записная книжка-календарь 1866 г., стр. 31.

тогда так можно смеял этот, опять таки по словам его сына. „Ура едино-
душный“. Что касается молебнов, то один из них „самим митрополитом“ —
подписывает Александр Александрович. — был отслужен в Лютинском саду, „где“
полезает в сирот домик любящий сын, „стреляла на пана“ (sic!).

Одному, „пана“ не любил в таких серьезных случаях ограничиваться
молебнами и „приемами“, как бы они ни были „мудры“ и сколько бы ни
присутствовало на них не менее „мудрых“ дам и мужчин из общества“. Его
тянуло в театры и другие подобные места. И он ехал и снова насла-
ждался всеобщей любовью и похвалой и признательностью к его врагам, а заодно и к
врагам вообще династий Романовых. На опере „Жизнь за царя“, поставлен-
ной тоже „по случаю спасения“, в присутствии счастливого и воспавшего,
„царяков записали“, заносит в свой дневник Александр Александрович; по
одновременно, сколько любви было выражено самому Александру Николае-
вичу, ибо „Боже царя“, пишет тот же очевидец, „повторялось 8 раз и ура
странное. Все артисты пели и балетные тоже“. Все замечали зоркие глаза,
а сердца радостно дребетали. „Вособще“, с чувством полного удовлетворения
заключает в своем дневнике Александр Александрович, „такого представления
„Жизнь за царя“ я думаю никогда не было“ 1).

На другой день (7-го апреля) Александр II со своими родственниками
наслаждался в балете, где тоже „несколько раз повторилось“ и „Боже, царя
храни“ и „ура“: „все артисты и артистки пели усердно“, пишет Александр
Александрович. Не был забыт и Александринский театр. Его (8-го апреля)
победил „пана“ лишь с Александром и Владимиром; здесь было самое весело,
пела „Помощь в Галерной гавани“, и сыновья с папашей „хохотали ужасно“. Но
вместе с водевильным юмором был прекрасно представлен и патристиче-
ский пафос: „Встретили государи, — сообщает Александр Александрович, — опять
Боже, царя храни и ура“ 2). На этом, камешек, такого рода пафос и закон-
чился, ибо на следующий день (9 апреля) во французской оперетке, на
представлении „La Belle Hélène“ обошлось без „Боже, царя храни“ и без
„ура“, это, впрочем, не испортило отличного настроения зрителей, — и наслед-
нику престолов было не менее, если не более, весело, чем накануне: „Было
очень весело“, записал он в дневник и прибавил: „и музыка при хитая
(sic!) Офенбаха“. С самого царя на этот раз, неожиданно, не было на „Прекрас-
ной Елене“, ибо даже „по случаю спасения“ трудно было ожидать от фран-
цузских актеров и артисток пения „Боже царя храни“ на „Прекрасной Елене“;
да, может быть, оно казалось и неуместным во французской оперетке. Здесь
наследнику престолов надо думать, уже отстал от избытка патристических
и сторгов, в которых ему пришлось участвовать с первого дня торжества „по
случаю спасения“, когда „пана“ с ним „стреляла на балет“, что бы вклиниться
народу, котор- и собрался с самого утра пред окнами пана“, и когда отец с

1) Дневник (Александра III) 1866 г., стр. 15—19.

2) Ibid., стр. 23.

сыном выслушали от народа: „ура оплывательное и радушное“¹⁾. Но оно более конечно, относилось к отцу, немому и слепому. Если первый не был на „Прекрасной Елене“, то он за то съехал вместе со своей дочерью, Марией Александровной, к прекрасным смолянским и протестантским ~~Богам~~ радости: в Смоленске он окунулся в битные воды нежного обожания, а на улицах, во время прохода туда и обратно, слышал никогда не надоедающее царям „ура“... „Его встречали везде с ура солдаты и народ!“ пишет сын, сообщая в дневнике об этом поощрении. Это было, или казалось, могуче и громко; это истинно чтило и поднимало энергию на борьбу; то, что испытывалось в Смоленске, было просто и чистое, немое и убеждающее воем, но не менее льстиво чтило.

То же свойство Александра Николаевича обнаруживается и в момент второго покушения, тоже в апреле, в 1879 году. 2-го апреля царь записал: „В 1/2 9 гулял. У Главного Штаба неизвестный выстрел в меня 5 раз и револьвера. Бог спас. Собралась вся семья один за другим. Разговор с Дрентельником: убийца арестован. Благодарственный молебен. Много дам и кавалеров в Большом зале. Все офицеры: ура!“ Во время стрельбы в него в этот раз Александр Николаевич, кажется, сохранил некоторое самообладание: после первого выстрела он пустился бежать по дворцу, но бежал зигзагами, что и спасло его от пули революционера. Но царь сгрозно это отнес к предшеству перемому своему спасителю: как сказал он когда-то сыну, так теперь он записал в дневник: „Бог спас“... И снова сердце „спасенного“ преполнено радости не только потому, что столь счастливо избежал смертельной опасности, но и вследствие общей, полившейся на него, „любви“: и „много дам и кавалеров“, и даже „все офицеры“, и неизбежное „ура!“

На следующий день прогулка уже не состоялась: „не гулял“, занесено в дневнике, куда записана и фамилия стрелявшего: „Соловьев“. Не гулял, но за-то, как сказано в дневнике, „принимал сенат“, и было „много дам“. Дамский кавалер, Александр Николаевич и на старости лет ликовал, когда дама его чествовала: чувствуется нескрываемое удовольствие, с каким он записывает в дневнике слова: „много дам“. Это было для него серьезным утешением, ибо гулять по утрам совсем он перестал, довольствуясь домадами Дрентельна о „новых арестах“.

Старший сын, Александр Александрович, как и в первом случае покушения, не упоминал имени „покушателя“, сообщает некоторые подробности о покушении и о всем, что за ним последовало и утешало отца после пережитых им страшных минут.

Но сообщению сыну, только 4 выстрела были направлены в отца, а пятым схваченный „убийца“ „успел поранить одного полицейского в голову“. Тем не менее опасность и для царя была велика. „Либо“, замечает Александр Александрович, как бы и вторым словом отца, сказанное ему после первого покушения, „Бог спас нас удивительнейшим образом, и он остался дома невредим“. Исходник, узнав об этом, „сейчас же“, как сам говорит

¹⁾ Ibid., стр. 15.

в дневнике, „могилки в Зимний дворец обилие и поздравить И на от чудесного спасения“ (sic!). Тут уже были некоторые из членов царского семейства, а чрез час Зимний дворец, по словам Александра Александровича, „был полон народу, офицеров, дам и пр.“. Количество этого „народа“ стало еще больше, когда после молебна вышли из дворцовой церкви. „Белая зала“ снова была „битком набита“. И не чудрено: „все военные были собраны“ в ней. — как свидетельствует Александр Александрович, — и таким образом можно было ожидать полного торжества для спасенного.

Действительно, „только что“, повествует тот же очевидец, „Нана возник, раздалось такое ура, что просто страшно было“.

Александр Николаевич хотел было говорить, но „не было никакой возможности“: значит, блестящее собрание продолжало неумолкаемо кричать „ура“. Как актер, обремененный восторгом своей публики, мешающей ему вести свою роль, царь вышел из „залы“, но, когда волнение немного улеглось, снова появился в ней и, поблагодарив собравшихся, „обратился“ к ним „с несколькими преимущественными словами, и снова“ рассказывает ему, „раздалось оглушительное ура! Потом пошли завтракать в библиотеку“. На этом торжество далеко не кончилось. После завтрака, по сообщению сына, „Нана вышел на балкон в палатку, и вся масса народу приветствовала его единодушным ура! Вся площадь была наполнена народом целый день. Вечером была иллюминация“.

Словом, великое торжество спасенного царя было полное, и его сын, будущему царю, ничего не оставалось, как поблагодарить за этот раз единственного спасителя — „Господа за чудесное спасение дорогого Нана от всего нашего сердца“ и воскликнуть в своем дневнике: „Слава тебе, Господи, слава тебе!“¹⁾.

На следующий день, как водится, все фамилии с царем во главе отправилась „в большой театр“, в балет, где, — рассказывает Александр Александрович, — „Нана был встречен с ура танком, который повторяли три раза“²⁾.

Это было 3-го апреля, а 4-го апр. „в 12 часов собралось все семейство и пошли к благодарственному молебну и потом завтракали в библиотеке“. Так „семейство“ и его глава приятно проводили время: от молебна на балет и с балета на молебен в промежутку „с завтраками в библиотеке“. Словный толк не был забыт и на этот раз — так, по сообщению Александровича, — „был устроенный вечер с неимем для Нана“³⁾. Вообще, „Нана“ был вознагражден сторицей за испытанный им страх: все, в том числе и юные спольники, старались выразить ему патристические чувства, утешить и развлечь — кто громогласным „ура“, кто танцами, кто пением.

Однако, не всегда можно было рассчитывать на „чудесное спасение“, и потому отец и сын начали принимать меры предосторожности — на Бога надеясь, и сами решая не дожидаться. Новую эту историю с конвоем открыл сын на-

¹⁾ Дневник 1879 г., стр. 240 и 241.

²⁾ Ibid., 241.

³⁾ Ibid., 242.

следник. Под 6-м апреля (1879 г.) в его дневнике записано: «Сегодня мне пришлось в первый раз выехать в поле с конвоем¹⁾. И тут же, немножко ниже, под тем же числом: «Пана, слава Богу, решил(ся) тоже ехать с конвоем и выехать, как и я, с урядником на конях и двумя жерновыми казаками²⁾».

Опасность, грозившая загланивающей в глаза Александру Николаевичу, заставила его насторожиться, — и вот «по всему городу», по сообщению его старшего сына, дошли „усиленные аресты“ (7-апреля)³⁾.

Когда же „Народная Воля“ вынесла смертный приговор разгневанному на революционеров царю и начала преследовать его покушением за покушением, добравшись до его собственного дома — Зимнего дворца (вырыл 5-февраля 1880 г.), где, к огорчению и раздражению основного „семейства“, стало появляться и побочное — княгини Юрьевская со старшим сыном от него, ⁴⁾ — то он сам начал внимательно следить за „арестами“.

28 марта (ст. стиля) 1881 года он записал в своем дневнике: «В 11 часов доклады Милютина, Гирса и Лориса. 3 важных ареста: в том числе Желябов; в 1 завтр. у К. с дет.»⁴⁾

Вслушал он доклады об арестах в последний раз. Более ему не пришлось отпраздновать «чудесного спасения», несмотря на арест Желябова, революционное значение которого он, повидимому, чувствовал, но, как с ним всегда бывало, недостаточно учел. Для последнего Александр Николаевич был слишком легкомыслен и слишком полагался на своих «верных» слуг.

В заключение, не переходя границ справедливости, историку нельзя сказать, что Александру II были чужды заботы не о своей судьбе только, но и о «судьбах отечества». Нет, он не был чужд и таких забот, но сюда примешивалось много постороннего, важного и интересного не для отечества, а для самого монарха, и потому Александр II — государственный деятель очень часто заслонялся капризным, первозным, впадавшим по пустякам в истерику, избалованным баринем Александром Николаевичем, более всего преданным традиционно любимой игре в солдатики. Так, одобрав 1-го марта (1881 г.) в 12½ ч. для представленный гр. Лорисом-Меликовым проект правительственного сообщения об общей комиссии, как из назначенных верховною властью лиц, так и из выборных от земств и городов, он не преминул исполнить и другое „государственное“ дело — поехал на развод лейб-гвардии саперного батальона... Это был тоже последний развод его... Он этого, разумеется, не знал, — не знал, что подошел к трагическому концу и оставался верен самому себе: как и всегда, в последний день своей жизни, он серьезное и необходимое соединил с пустым и ненужным и на этот раз ровным образом облегчил террористам нанесение ему смертельного удара (сконч. 1 марта 1881 г. в немного исполнив 63-х лет от роду).

Н. И. Фирсов.

¹⁾ Ibid., 243.

²⁾ Ibid. 243.

³⁾ Дневник 1880 г. — Алекс. 'Алекс., стран. 103.

⁴⁾ Календарь-дневник Александра II, стран. 22.

На закате народовольчества.

(Памяти В. Я. Богучарского).

VII.

Поминовение усопших ¹⁾).

Нашему тоскливому настроению и жуту перед грядущим поддаться было и все кругом. Зима упрямко дотигивала свое. Снега разнели и обрхлели, затаженные дороги наддувались над их осевшею массой грязными горбинами. Белые покровы тайги посдую, и она чернела безотрадного тараля. Трухливый лед на озерах по краям оттаял, но что-то бесконечно долго лежал мертвым пластом среди вод, на глаз, как будто, совсем не убитым. Мужиче тучи по апрельскому небу все плыли и плыли, а мы, сироты, совсем приуныли. Было-бы теперь лето,—вышли-бы мы в поле, в тунгу на работы, на чем-нибудь поразмились-бы, ну чем-нибудь, глядишь, и развлеклись-бы. Но выходить было откуда и не зачем, да и пути почти не было—ни полевому, ни лесному. Переход от кожанного воздуха ливарской крени и февральских морозцов хоть куда к предвесенней оттепели вызывал в нас самих отвратительное состояние. Придвигались мы за зиму к мороженой гуще, а не к вялой пре. и, и теперь каждый чувствовал себя какою-то разварною рыбкой. Охоти ни к чему не было. Даже в пище—к мясному в такую пору совсем не тинет. Пил-бы только весь день крепчайший кирпичный чай, да посасывал трубочку в философическом раздумье шивесть о чем.

Не зная, к чему себя притянуть, просиживали мы теперь целые дни без дела и о чем-бы ни заговаривали, а все речь сводилась к тому-же, кровавой памяти, Монастыревскому дому в Якутске. Чанце всего сургутинами поминалось имя Зотова. У Тарасича я видел его карточку: опиритое юное-ское лицо с широким и смелым взглядом, слегка взъюхлосые волосы, веролютно, светлые, и общее впечатление какого-то духовного взлета, нетронутой никакими разочарованиями радости бытия и готовности все взять от жизни и всем сердцем чему-нибудь отдаться. Таков он был по рассказам его товарищей, и по всем поминаниям выходило, что вот такому-бы да только дать срок

¹⁾ См. „Визос“, кн. 18.

развернуться! Орел не орел, а уж сокол-то был-бы лихой.. Однако, теперь приходилось думать только о том: как бы этому соколу да уцелеть.. Правда,—его крепкую грудь ружейная пуля не осилила; лечат его в тюремной больнице, ходят за ним; из могилы, в которую он одною ногою оступился, вытаскивают, заботливо спасают, но только... для виселицы.

Лично мне из всех пострадавших всего ближе были известны Подбельский и Коган-Беринштейн, и о них рассказывал виллоям я. Оба они окончили гимназии в 1880 году и с разных концов России—один из Оренбурга, а другой из Вердинска—приехали в Петербург и поступили на юридический факультет. Раньше этот факультет у радикалов был в пренебрежении: народнику, по тогдашним понятиям, всего более подобало зарабатывать свой хлеб „непосредственным служением народу“ или в качестве сельского врача или в положении техника на фабрике. Поэтому, окончившее гимназии радикале тянулось больше в медицинскую академию либо в технологический. С развитием народничества тига переместилась. „Бороться за свободу“,—ведь это не значит только швырять бомбы, да рыть подполья. Ну свалим деспотизм,—а дальше? В эпоху анархических увлечений говорилось просто: „Народ сам устроится. Россия превратится в союз общин. О чем тут еще думать!“ Теперь, наметав в своем маршруте ближайшие станции,—политическая свобода, подготовка к социализму,—народовольческой молодежи пришлось поставить перед собой уйму вопросов, старых, как само государство, но для нас совершенно новых. Надеяться, что „народ“ сам сообразит: какой нам установить таможенный тариф? да как наладить железнодорожное дело? да как преобразовать систему налогов? и т.д.,—при всем своем народолюбии, мы не могли. Ясное дело,—такие вопросы специалистам решать, а не сельской школе, куда меня, например, еще когда мне было восемнадцать лет от рода, старики чуть не под руки водили, чтобы я ни о каких толковал, и счита позволительно, и великий вопрос, требовавший некоторой умственности, разжевывал. Сфера „служения народу“ в народовольческом понимании значительно расширилась. Таможенный тариф обмозговать, это тоже значит—послужить народу: лесной закон выработать так, чтобы мужику было не обидно, а всему государству полезно,—это разве не служба, да еще какай!... Ко всему кругу государственных наук у тогдашних двенадцатилеток сразу повысился интерес, и помню, что тогда многие революционнопопнейшим образом настроенные юноши поучались уму-разуму кто у Гольцева и Муромцева в Москве, кто у Градовского в Петербурге. Наний и Беринштейн оба в Петербургском университете быстро выдвинулись и оказались в студенчестве на виду. Когда в феврале 81 года, по инициативе народовольческого исполнительного комитета, на университетском акте в Петербурге была произведена демонстрация против министра Сабурова, они тоже приняли на себя наиболее активные роли, и Наний вскоре же влетел, а Беринштейн тотчас же после акта махнул в Москву, а оттуда в Саратов, благодаря чему на время уцелел. В Саратов его отирали мне на замену, так как молодые люди принимавшие там пропагандой, брели работая, были у полиции на перекресте, всех их шлюхи знали в лицо, и деятельность, сопряженная

з. необходимо было переделывать и воспринимая простонародных трактирчиков, становилась для них необходимой. С этим отходом опустели было Горы и Габбуловы бары. Наши столы, рюмки бачары и мукоссы¹⁾ засучали. Среди них уже обитывали и той поры небольшой состав, небольшой неслетанной литературы и поэзии, и бед с „пропагандистом“. Такой „пропагандист“ для людей того круга составлял при тогдашних условиях единственную связь с жизнью и миром идей и духовных интересов. Пропанганда тогдашняя имела совсем не тот характер, какой она позже приняла у марксистов. Кружки были маленькие, тайные, все в них свивалось. Ничего официального в отношениях не было. Начинаешь пропангандой, а кончаешь дружбой и чисто личным сближением. О политике поговоришь, а там следует разговор и на семейные делишки одно о, и на интерес другого к звездам небесным или к далекому странам, или к стихам о необыкновенных людях и необыкновенных подвигах... Сидишь в глухой трактирчике и неизвестно для себя от разговора теории ценности по Марксу, — эх куда переходить в разговоре! — и чересчур канонического романа Диккенса или поэмы Байрона. Рабочие того времени таких разговоров и требовали: ты им и Маркса толкуй, и советом помоги, и на все их вопросы сумеешь ответить. Ведь, кроме „пропагандиста“, с кем же им было отвести душу от житейской прозы? Верующий человек в церковь пойдет — „Ниже херувимы“ послушает, а социалист? он что-ж? — все одной теорией немощи что-ли должен проваляться?... Чтобы эти ребята не завли и не охладели к той-то-то возникавшей партии, отирали к ним для душевнотельных бесед Лива Матвееча, но он в Саратове долго не продержался. Вид у него был вполне студенческий и даже несколько „индивидуистический“: длинные волосы, мигаея плеча, и вся повадка столь неоспоримо радикальская, что как было сколько нибудь опытному шнику такого да не приметить! Саратовским шникам наш брат достаточно примелькался, и нем у них выработался верный. . Ро-время исчез Беринштейн из Саратова и прикатил опять в Москву. Там во главе народолюбческой организации стоял тогда „Петр Николаевич“ — Теллазов, террорист заодно с другими по требованиям момента, но сам по своим привычкам и по всему складу своей личности скорее-бы культурный рабочий. Он все горевал, что у нас нет корней в массах, и физически старался привить молодежи, только и брезившую что терроризм, и организационной работе. В ближайшем будущем он намечал создать и „Крестьянскую группу“ для широкой пропаганды в деревнях, а пока, уже в начале 81 года, образовал из нескольких студентов „Рабочую группу“, и которая ретиво принялась под его руков. делом за приобретение связей и располд одиночкишников в рабочей среде. Позже заменил Теллазова в роли „инструктора группы“, как у нас тогда говорилось, Халтурин, и решено было перевести из разгромленного Петербурга в ведение московской группы типографию и редакцию народолюбческой „Рабочей Газеты“, начало которой в Петербурге положил еще Ильяшов. В эту группу Беринштейн в Москве и вступил, но действовал недолго: в апреле,

¹⁾ Мукоссы — рабочие крупных мукомольных мельниц.

при расклевке прокламаций в Якиманской части, он был арестован вместе со своим спутником, студентом из донских казаков Дьяконовым, и помещен административно в Якутку на пять лет. Срок этот на деле для него сошелся, так как в Якутске его привлекали к отбыванию военной повинности, при этом документы его были переданы гражданскими властями военным, а те, когда он отслужил свои полтора года, документы ему вернули, да и все тут. Веринштейн, конечно, не будь дураком, — документы в карман и с ними, на почтовую станцию за подорожной. Подорожную выписал, заказал лошадей, да и поехал себе в Россию на законнейшем основании. Тогда такие случаи еще были возможны, но позже начальство сиюкватилось и приняло свои меры: военщину отбыл, — ну поварачивай теперь в улус, достигивай другую повинность... В России наш улусник поселился в Мерите, где решил получить кандидатский диплом, а пока его не добьется вплотную примыкать к кружковым конспирациям он не думал. Однако, не так-то легко было революционеру, уже довольно известному благодаря его выступлению в 81 году на университетском акте, при тогдашнем революционном беззудье остаться в стороне от текущей работы. Екатеринбург, стремясь к установлению связей на Севере, послал к нему кого-то из своих, чтобы привлечь и его в восстанавливаемую ими организацию¹⁾. Лев Матвеевич ответил им, что вот только сдаст свои экзамены, так и войдет в дело с головой, а пока повременит. Екатеринбург повременить соглашался, но жандармы ждать, когда революционеры соберутся с силами, не захотели. Вскоре же и на севере и на юге они производили аресты, и назревавшую „партию“ в зародыше раздавили. При этом и действовавшие, и собиравшиеся действовать одинаково влетели и попали в сыпак. Так и вернулся Веринштейн в знакомый Якутск, где его друг Павел провел все это время безвылезно, углубляя свое понимание сущности социализма в прениях с посетителями улусной квартиры... Вместе они двое выступили впервые с протестом на университетском акте в Петербурге, а через семь лет с годом они же встретились на противоположном конце России у края могилы, словно завершив какой-то предназначенный им круг. Мелькнули вдвоем на гребне вала при его прибое и вдвоем же оказались вдали при полном спаде вод, чтобы вместе пойти на дно...

Веринштейн был первым евреем, с которым мне довелось сойтись по товарищески, и я помню, что по началу и к нему присматривался с особенным любопытством. В Саратове того времени евреи в городе были почти незаметны, и в наших саратовских кружках при мне их не было. Были у нас волжские немцы, были мордвинцы, одни большие блондины, другие большие брюнеты, но и те и другие доходили до всемого класса такими русскими, что только и отличия в них оставалось от нас, что много знали с модной тогда подделкой под мужицкий стиль „Карлуха“ или „Стотоник“, а не Васюха и не Иваныч. О евреях мы знали только то, что правительство их

¹⁾ Л. Я. Штернберг, В. Г. Богораз и некоторые другие молодые южане пытались восстановить народооппозиционную организацию уже после смерти Г. А. Ломатина.

жестоко травит, и этого было совершенно достаточно для того, чтобы чувствовать готовность стать на их защиту. С другой стороны, как раз перед знакомством с Бернштейном и заносом читал впервые выпуск "История Всемирной Литературы", предпринятой тогда Норксом, и притягивающей "Библию" и проникающего ее духа с духом "Минады" или индуизма Вад, как, славицам, куда более близким, мне казалась поразительной. С величайшим интересом прочел я тогда-же статьи Грайдса о Лассале, и эти чтения, вместе с характеристиками Карла Маркса в воспоминаниях Герцена и Анненкова, создали во мне представление о евреях, как о народе исключительной страстности, энергии и совершенно своеобразного душевного строя. Однако, наш новый московский товарищ при первом знакомстве ничем не напомнил никому из нас прочих ни Лассала с его неукротимым честолюбием, ни Маркса с его неустанными партийными раздорами, ни библейских пророков с их бесчеловечным благочестием. С виду ему легко было сойти за русского: рыжеватый-русый, белолицый, слегка кудряватый, довольно стройный, студент, как студент... ну не пензяк, так белорус или литвин. Говорил он без малейшего акцента, очень гладко, обыкновеннейшим газетным языком, каким тогда все статьи писались, но взглядом-же был народолюбцем до конца ногтей. Как и все мы, он был убежден в том, что именно Россия покажет миру путь к социализму, а к своим отцовским родичам, евреям, не обнаруживал никакого особенно напряженного сочувствия. Негодовал, конечно, на их униженное положение, но огульное преследование целой народности все мы приветствовали чуждой и инстинктивно: „ну вот — признаки испания мафров; кто же прогадал-то? Сами-же и прогадали... Дичь конечно все это!“ — Никаких разногласий по этому поводу в нашей московской компании тогда не было. До какой степени российский революционер заслонил в этом бердинском народолюбце еврея, может свидетельствовать такой факт, для нас неинтересный сказать чтобы ласный. Летом 81 года разразилась в южной России еврейские погромы. Ресх нас они застали врасплох, так, что мы не знали, что о них и думать. Более всего нас поразила в действиях толпы ее символичность, плановость, как-бы единство воли этой стихийной силы, и мы тотчас-же сделали отсюда радостный вывод: „вот она, — русская-то толпа! какая способность к организации! Везде внезапно появляются какие-то вешаки, все идет как по команде, действуют враз, учиняют, правда, изрядную перепалку, но как дружно и лихо работают! Полиции им ни почем, войска им нечем... Протест против общественной несправедливости в них уже назрел, но сперваична довольно тепло направился... Главное однако в том, чтобы масса стрихнула с себя свои вековые сон. Раз она проснется, усмирить ее опять правительству будет не так-то легко, а мы тем временем сумеем развить народу: кто его здесь такие враги“. С этой точки зрения даже избитые наших-же дружковских приятелей, студентиков горемычных, московскими жителями в 78 году мы готовы были рассматривать, как добрый признак. Погромы 81 года в первый момент, при напряженном ожидании всеми нами „начала“, мы, конечно приняли было за второй признак. „Толпа выступает уже не в единичном случае, а в целом ряде сходных движений.

Гнев народный рвется наружу!" Динамизм с работниками, наши проследили, что по трактирчикам в Москве начинают появляться и отставленные, что мол не мешало-бы и тех подкупать вроде как в Киселе... Возникал вопрос: как-же нам отозваться на такие толпы? — Поддерживать боевое настроение, ибо оно боевое и быстро могло-бы разгораться на улицах в борьбу с властями? Или пойти толпе наперекор, разубеждать ее, успокаивать?... Этот вопрос ставили перед собой двадцатилетние почитники, которые давно чувствовали себя как на горячих углях, толпы и пороги, как-бы им вырваться из кружковых тайничков на широкий простор, где-бы можно было натуральнее владеть, — и баррикад понастроить, и из рушей поназидать, ну и все прочее, проделать, что в настоящих революциях полагается... Бурей В-ринштейн отдался было такому порыву с той-же непосредственностью, как и его русские товарищи, тоже совершенно чуждые юдообетства, но просто не по разуму ретивые. Спас нас от участия в большой радости Петр Николаевич. Он нас взвздумал и вытрезвил. Огнего мы в чужие усмиряли несказанно поразившую нас вестыята „народная стихия“, расхитившая нас, революционных фендрик, своей „способностью к самоорганизации“, подобрала полицией, а ее самородные вожаки перо-детие жандармы... Нас это сообщение как обухом по лбу ударило. Вот так встали-было мы, умники! А ведь читали мы и Милля, и Спенсера и наших еще мудрецов, в которых как будто уже разбираемся, а на деле — полицейского пошлого от народного движения отличить не сумели... Вот ты и занимайся политикой, когда тут, гляди-на, на наши шутки противники пускаются. Догадайся-на, поди!... Ну и Плеве! Ну и жок! С конфузом смотрели мы друг на друга, потесивая по-чужим затылки, и один только из нас после этой истории в наших глазах скорее даже вырос, — это В-ринштейн: вот революционер так революционер! Тимолеон родного брата для Свободы не пощадил, а этот чем хуже?

...Теперь, не в 81 году, а в 89-м, и царствования императора Александра III-го уже восьмом году, та пора и те настроения казались мне далекими и чуждыми, как юношеская любовь, мечтательная и томная, эстетическая, метафизическая и, уж, конечно, совершенно платоническая, такая бывает доступна только шестнадцати—двадцатилетнему сердцу, а не нам, бордачам, дотянувшим чуть не до тридцати. Восемь лет тому назад, не переставая и в Москве тосковать по немой саратовской красавице, я находил sentimentalное утешение в мысли о том, что может-быть всего через несколько месяцев „она“ прочтет в газетах о гибели такого-то на эшафоте и хоть тогда спохватится, сколь этот юноша был героичен и сколь он был-бы достоин ее любви!... Ожидание не менее-забавно великих событий и нетерпение принять и самому участие в славных подвигах русских Тимолеонов и Гармодиев было в нашей московской компании общим. Все мы ищали, верили, и с напряжением ждали и были готовы переть напролом хоть с голыми руками. Толмалов только головой покачивал и натиривал веками потухше, чтобы его жеребчики телеги не опрокинули... И вот: где она теперь, наша задорная, боевая компания тех дней? — Наращивало всех еще ранним утром во все стороны

света белого, а пуще всего по Сибири. „Хотела синичка море зажечь. Море не зажгла, а сама потопла“...

Узнал я в утисе о прибитии в новой арестантской партии Беринштейна и ископыхнулся по мне мословские воспоминания. Дро, словно неспитая, все это было, вылипла и наша первая встреча в достопамятные дни вскоре-ше после 1-го марта, и кружковые собрания, которыми Толкалов сумел придать стройный, деловй характер, и сношения с рабочими, и последний дни Беринштейна вчере на воле, когда публика расходилась из квартиры Дьяконова для расклейки прокламаций в разных частях города, а мы с Беринштейном, с доном Чеботаревым и с самим Дьяконовым по этому поводу пили хлебцуду и пересуживались: кого-то из нас в эту ночь спалает? И Беринштейн уверил, что уи: никак не его,—он ведь осторожен. Уи и „осторожный“, подумавши, был заговорщик!.. О „заря туманной юности!“ „O Glück! o Liebe! o Erst! o Sonne!“ Какой неформальной предсталаась мне своя тусклая иелену позднейших годов вся эта сантиментально-героическая юношеская ченуха, без которой так скучно и так никтемно шилое нам на свете потом в разных сибирских холодильниках!.. Шибко захотелось мне повидать Беринштейна, поминуть с ним бывое, порассказать ему: кто из наших куда попал, как, по слухам, кому живется, и от него разузнать,—не встречали-ли си ненароком в России тех немногих из тогдашних, которым посчастливилось ускользнуть от жандармских лап и уцелеть на воле?

Выехал я из своих „моорукцев“ (т. е. из Моорукского наслегу Мегинского улуса) ¹⁾ в город, встретился с Беринштейном и поведал ему о старых приятелях довольно однообразную повесть. Поминули мы их, каковы они были, загадывали вдвоем: каковы-то теперь они стали?... Проник перед нами все как на смотру.

— Ванечка Старынкевич?—Все еще мастен на карийской каторге наш Ванечка Старынкевич. Говорят, он для тюремных товарищей до сих пор остался „Ванечкой“, хотя у него теперь и усы и козлиная борода уже еети. Острый и шалит, смелее сморет обидных, находят что в Америке мало действительной свободы, а о выходе на поселение мечтает, как о выходе „на волю“. Восемь лет назад был этот Ванечка хорошеньким и стройным юношей, любознательным, подвижным и умненьким. Помню, как он набросился тогда на только-что получившего в нашей среде известность нового мыслителя—Дюринга; как он приставак к Толкалову, чтобы тот разъяснил ему какие-то его недоумения по поводу взглядов Ланге на материализм... Вообще, парнишко был в умственном отношении чрезвычайно неутомонный и вечно искавший чего нибудь нового и смелого, но неприменно бедного и идеалистического к борьбе. Генералский сынок и единственный в нашем кружке портной москвич, был он по ухваткам отчаянный „ингидиет“ и произвудил впечатление вырвавшейся из под присмотра институточки, которая, шала, желает казатися забуб инейной и девчонкой. Арестовали его из-за сущего вадора, но на днюро-

¹⁾ Улус в Якутской области со арестантской колонией; наслег—сельскому обществу. Население наслегу,—дуи с племцу, рассеяно по территории с хорошим русским усад.

сах он жандармов ругал и усовещивал: зачем они;—все таки интеллигентные люди—и вдруг жандарми, а не революционеры! Закачал его на двадцать лет и турки, а не! Наросившился в таинный тюремный „бунт“ и прибавили ему еще чуть не двадцать лет. Вот он и засел там прочно...

— А Иван Васильевич Калужный?—Ах! и славный-же малый был Иван Васильевич! Такой живой и талантливейший южанин, с такой зажигательной общественной жилкой. Ему-бы вовсе не заговорщиком быть, а скорее агитатором на открытой широкой трибуне!... Тоскует он, говорит, на Каре сильно. При его недвигавшей натуре ему там, конечно, горше, чем какому-нибудь записному интеллигенту. В лингвистику он там ударился, но это уж от нечего делать, чтобы чем-нибудь себя занять, а на побег, хотя-бы самый отчаянный, он готов когда угодно. В первую ссылку на Север России он пошел еще мирным народником, но, бежав оттуда, примкнул к нам, „террористам“, и перетаскал за собою целый кружок бывших „черно-перевальцев“¹⁾ и еще один рабочий кружок, состоявший из слесарей с Брестского вокзала. В нашей группе он должен был принять на себя заведывание типографией „Рабочей Газеты“; но понадобился Юрию Богдановичу при его поездке в Сибирь для организации народо-волежеского „Красного Креста“ на подмогу расторопный молодой человек, вроде адъютанта, и поместили для этой роли либо меня, либо Ивана Васильевича. Однако, затем мне дали другое поручение, а Калужный укатил с Богдановичем в Сибирь. От Казани до Иркутска был им налажен „путь“ для беглецов из Сибири...²⁾, да не тут-то было! При аресте Яковенко в Москве провалились все адреса, и лопнуло все дело прахом... В России, если верить слухам, после того, как правительство нам так выпало, все нас повесили, погрузились в уныние, в безнадежную обиденность, а не то ударились в вымученную, тарабарски перемудренную эстетичку... Оставались-бы в Москве эти двое, уж они и сами-бы наверно не записки, да и других постоинно поощрявали-бы и оживляли. Такой у них темперамент. Но вот—прогорает их огонек под карайским неилом который уже год и никому от него ни тепла ни света. Думайте теперь все наблюдатели: что стало с российской интеллигенцией? куда девались ее энергия и одушевление?—Сидели-бы у смотрителя карийской каторжной тюрьмы: куда наша отвага запрятана? где она замурована и самою печатями припечатана?—он-бы им на свои ключи показал: вот где!

..В конце вачахла и умерла там-же, на Каре, предполагаемая хозяйка нашей типографской квартиры, помещка Антонина Лисовская, петербургская курьерша. С братом ее Генрихом Лисовским, гимназистом³⁾, я шел

¹⁾ Группа „Мир и Порядок“—представительный орган мирных народников, впоследствии ставших марксистами.

²⁾ Путь, наладивший до Иркутска до Тобольска, а из Тобольска до Иркутска, но в связи с их арестом в Иркутске в 91 году возник народо-волежеский кружок, замышлявший целью содействовать побегам из восточной Сибири (Неуструев и др.).

³⁾ Талантливый общественный деятель (с. с. община) служивший в Польше в самом конце семидесятых и в начале восьмидесятых годов. Сно состояло в значительной

в арестантской партии от Москвы до Томска. „Гинна“ все в конце разрушена по стовору какого-то предателя по фамилии Родзевич. Семнадцать человек из них прошло со мною в Сибирь. Но у них вскоре же вместо „Гинны“ возникло новое общество „Пролетариат“, а у нас что-то заколодило. „Народной Воли“, как единой организации, уже нет, но и взамен ее тоже ничего нет. Если не наматется десятка другого удачных побегов из Сибири, то, пожалуй, надолго с нашей революцией выйдет замка. Молодежь нашего поколения, т. е. поколения самого начала восьмидесятых годов, ведь прямо градом выбило. И с как не бывало для России. Из нашего московского круга те двое на каторге, и один в могиле. Дьяконов тоже в могиле, — умер в ссылке, в каком-то там Каниске. Мы двое в Якутке. Помните у Рыльского? — „Однообразно жизнь платит Якутске житель одичалый“, вот это мы с вами и есть... Мой закадника, саратовец. Сашка Кирхаер, студент-техник, с которым мы вместе и судились, похолобродив достаточно со мной в налаживании побега, потом махнул на эту затею рукой. Я пустился в путь без него с Михаилом Антоновичем Колосовым, екатеринбуржцем. Пребились мы всего на сто верст от Туны, куда нас поначалу законопатили, и на Байкале влетели, — узнали там Колосова в лицо тамошние мужики, скрутили нам обоям руки и локоткам, и дали знать властям. Засадили нас молодцов в иркутскую тюрьму: не бродяжки!... а бродяжки, так с толком, а не на ура! Сидели мы в тюрьме по одиночкам и на досуге, зарным числом, преумно соображали: вот-бы нам как следовало поступить да вот как, гулили-бы, пожалуй, на воле! Это было еще в апреле 85 года. Меня потом вскоре же выслали в Верхотурск, а Сашка ударился у себя в Тунке в неистовую практику. Он ведь не только оратор, пропагандист и агитатор; он и живописец, и слесарь, и стихолет, и сапожник, и фельетонист, и архитектор, и на все руки мастер. С рабочими он еще в Саратове легко сходилась за панибрата, а в Москве балабанил больше всего с даниловскими тачками. В Сибири он также за панибрата сходилась с челдонами¹⁾, чинил им замки и ружья; по заказу попов с успехом воздвиг в одном селе храм Господень; по заказу бурятских лам с поменьшим успехом вызолотил идолов в соседнем дацане (кумирне), и, наконец, по заказу местного кабатчика намалевал ему вывеску с живописным изображением бутылочек и стаканчиков. Покладистым деревенским прасотам он шил башмаки, не жегая труда за это денежного вознаграждения, — как-то иначе умел с ними ридить... Одно время умелки он было козиством и пронадал неделями на своей тачанной пашне. Случалось, сутки по двое думал с кунцами в винт, а иной раз (хотя это вовсе не в его натуре), напал на него такой стих, что умижал он за ночь чет сотню в перенос с нескрученным по этой части туныскими кунцами... Метался перенос по все стороны, не зная, в чем исчерпать свою энергию... Потом пристали в Тунку несколько новых сельских и в числе

частью и в числе русских университетов и было проиникуто знание народнических дум, и в то время с их стороны патристической и патетической в духе окраски. Многие „туниники“ были более или менее близки к народолюбцам.

¹⁾ Сибирскими мужиками.

их Любовь Чемяданову, ученицу по революции Софьи Лясковой Перовской. По боку были пуцены толки и вост и четвертого. Деревенские прилестницы стали ходить в разных башмаках; на прешних сходках усталых чистить их стало векову. Выблизил Санка. Живнись заботе до зари. Но Чемяданову жили, да и перемены в Забаве не и переменылись ни не позволили, на том основании, что та была естна на „на население с личностной всел преемственности“, а Санка был оуражен только „на инт с личностной всел преемственности праз и преимущества“; значит, выходя за него замуж, Чемяданова могла бы смилчнуть маломуженную на все судом меру. Начальству это показалось непонустимым. Вешнел Санка и опять поустоявал себе революционером. „Колы так,— ладно-же! Б ту!“. Стало, ни с мислеником Данике-ичем и, не доло думал, пустился по тому пути, который раньше и было для себя наметил,—революционером, через пороги. Все первые пороги о оле и беглеца; с последними не справились. То-ли разбило ихнюю лодку, то-ли они сами должны были ее бросить, но только прорвались они до устья Иркуза уже не революционером, а фари и чашей дремучей, а дальше двинулись пороги. Даникевич успел уйти заграницу, а Санка влетел при пайше лонатеи в одном притрапте о селе. Засапал его в Иркутскую тюрьму, но потом перевели все-таки за Байкал и разрешили жениться. Теперь Санка в Чите. Женат, но угон на на него-же нет. То о нем слышнись: где-то там с аз з тими промислами управляет; то слышнись, но тайне ходит, новых революций ищет; то вдруг озаивается, на Сакалин покатил нефть пекать... Пожилаем,—наверло еще что-нибудь услышим: станет или Санка журналистом, а не то андирепнером, а не то обсянется заместного губернатора и опять какой-нибудь революционерный фартель вытиснет... Это на все стоит!... Быть-бы ему по настоящему инженером, пойдти по отцовской дорожке, а его стинуло общим потоком броситься очерта голову по нашей дорожке,— „Россию спасати!“.. Бог ми ее и „спасает“, сидишь в Чите, кто в мору-нах...

А еще у нас был петербургский технолог, белорусец Боренка. Помните? Он пелли в Питере ~~своимпролетарским~~ перед ~~политический~~ из дотли о ~~технической~~ пропаганде, перешел в полетальность, ударил в Москву, и был у нас ретивым пропагандистом. Осудили его по делу семнадцати на поселение. Где он? Что слыш?

— Этот—в Киренске. Иручил, говорят: замкнулся в себе, живет отшельником... И такик теперь не жале. В 81 году они пилали чут-ли по ярче всек, а выпче, слышнись, а тоску впали и погрузились в глубокий мрак. Им пишется, что уже все потеряно, что русский народ не сдан для свободы, и революции у нас ждать по меньшей мере лет двести...

— А вот баринши у нас была—Александра Ивановича Орлова, учительница, сестра этого известного го-стистина—мисленика Иванова. Она еще у нас секретаршей состояла; все записки у нее хранились; в библиотеке писемееи состояла по составлению каталога книг и статей, пригодных для чтения рабочих... Она ведь тоже в Сибири?

— Она долго отдалась: угнула в Минусинск, административно. И оу-чала там послушала, да и вышла замуж за лейтенанта Лаврова, тоже сильного революционера. Живнись, как говорит, ладно. Окончила Лавров

своей срок, что-то не очень долгий, и застрял в Сибири на службе, что-то по водной части, где-то при Обь-Енисейском канале. Оставался-бы он моряком.— дослужился-бы в свое время до адмирала, и была-бы наша прежняя секретарша адмиралшней, и к ней это положительно шло-бы! В широких кругах российской публики в начале восьмидесятых годов революционерку все еще представляли себе непременно „нигилисткой“ по романам „Русского Вестника“, то есть чрезмерно развязной особой со стриженными волосами и с памирской и печнищенским зубам; а наша Александра Ивановна одевалась так благопристойно и держалась так чинно, что мне доставляло бесовское удовольствие чем-нибудь ее иной раз легкомысленно задеть и поддразнить в ее почти английской щепетильности. Иногда она, при всем своем желании рассердиться, только смеялась, но случалось, что и в самом деле гневалась и читала мне нотации, которые всегда приводили меня в веселое настроение. Эта чинная барышня секретаршей была превосходной; все у нее было в порядке; на собрании она всегда являлась как раз во-время и не терпела, чтобы другие опаздывали; вообще добросовестна была в исполнении всех своих партийных обязанностей до педантизма, пунктуальна, как немец и положительна, как голландец. А была между-тем родом калужанка. Имела хорошую фигуру и приятное, чисто русское лицо, а вдобавок, и косу густую, красивого золотистого отлива, то-есть в общем представляла полнейшую противоположность ходячему понятию о „нигилистке“. В момент революционного подъема стала и эта благоразумная барышня революционеркой, но остается-ли ею теперь?—кто-же ее знает. Возможно, что теперь она уже не стремится „спасти Россию“ и, проявляет свои добродетели в домашней жизни, а не в кружковой...

То-же самое и другого типа натура: отельщик Алексей Егорович Скворцов, приятель казенного по делу 1-го марта Тимохи Михайлова, родом из Можайских крестьян,—дуб, а не мужчина с вида. На Москве-реке в наши времена еще устраивались кое-когда кулачные бои, и наш Алексей Егорович стяжал себе на них великую славу. Попал этот удал-добрый молодец в тот-же Каниск, как и Дьяконов. Как мастеровой человек, рук не опустил, не раскис и не потерялся: обзавелся маленькой кузницей и всяким инструментом и развернул свои таланты во всю ширь. В России стоял он на заводах при своем специальном деле, а в Сибири понял, что называется, на все руки от скуки и кузнечил, и слесарил, и часы чинил, и швейные машинки ремонтировал, и чуть-ли не телеграф исправил. Пошла о нем кругом слава; пошли заказы, а с заказами доходил; понадобились с ростом дела немециники; а где их взять? В товарищеских артелях началах принять некого; все тамонские мастера из уголовных ссыльных, то-есть отстоее мужье. пропойцы и лодыри; ну какие они артелишники?... Пришлось, конечно, принимать их по-деиному или сдельно, и разве лучших из них—комсомо... Дело у Егорова его дело, увеличивалось число рабочих, и постепенно стал наш социалист хозяином. Предприимчивателем, то-есть малым капиталистом. Теперь у него и домик собственнй в Каниске есть, и мастерская вроде небольшого заводика, и от обывателей ему почет как солидному хозяину, а не как пролетарию... Так оно само собой вышло. На

воле, в подходящей атмосфере и в подходящей обстановке, затрачивал человек свою энергию на кружковые дела и на пропаганду, а в затишье семьи вышерло его вверх, и та-же энергия ушла на хозяйственную деятельность... Подумать: за годы реакции сколько по России должно было рассеяться таких Скеорцовых? И ведь редкий из них вполне разочаровался в прежних идеях или „сжег все, чему поклонялся“. Большинство, как и Скеорцов, как и Орлова, просто остались не у дел, потому что обмелевшая река их на берегу оставила, а сама отошла. Прибавь водички,— опять она их подхватила-бы опять пошли-бы они с нами; im Gleich und Glied пошли-бы и они...

Так мы с Бернштейном болтали и судачили при встрече, а я, болтая и судача, присматривался к собеседнику и думал: а ты, милейший, каков стал за эту пору? поупрыгался? присмилел? или ты революционер прирожденный, то-есть неизменный рыцарь Святого Духа в его гейневском истолковании?—

Он свершил большие чуда
И свершает их всегда:
Разорвал он цепи рабства
Сбил тиранов города.
Воскресил былое право
Да идет из века в век:
Нет неравенства рожденья,
Благороден человек!—

Его-ли ты слуга и теперь или нет? Если да, то ты и в семье останешься термонтовским узником. Тот в плену, тот в темнице, по—

Нет на устах его грешных молитвы,
Нету ни песни во славу любезной:
Помнит он только старинные битвы,
Меч свой тяжелый, да панцирь железный.

...Мне заранее казалось довольно сомнительным, чтобы мой московский приятель был скольконибудь похож на такого рыцаря. Ведь он возвращался по вторичную ссылку уже женатым, с дитем, — мальчиком лет четырех. Уж какие там „старинные битвы“, когда с одной руки у тебя баба виснет, а с другой дите ревет!.. И с юных лет был того мнения, что настоящий революционер не должен иметь семьи: страстную, вольную рыцаря, по белому свету, пизвергай великанов, — вот твоё дело. Если зацепится твоё сердце за какую-нибудь розу, то у себя в сердце эту розу и храни да помалкивай, а своему призванию ради нее не изменяй. Есть у тебя меч твой тяжелый, да панцирь железный, — их и знай, с ними и в могилу иди.

Несмотря на это предубеждение, мое первое впечатление при новой встрече было таково, что Лев Матвеевич изменился только по внешности. Ну, возмужал конечно; суровости и гни в чертах его лица стал заметней. Помаду, ухаживавшейся немного стал. Но так вообще упомает ни действительность и не образимость революционного террора... Но, по существу, это все-таки террорист и все тот-же неотменно прикладнейший и несокрушимо верующий

в логические схемы идеолог, каким он был и двадцатилетним первокурсником. Народоволец распрямивший и наивольнейший.

Однако, поговорив да поприсмотревшись, нашел я, что семь лет реакции и наших неудач, да вероятно и какие-нибудь личные впечатления за это время, и для такого устойчивого человека не прошли бесследно. Народовольчество вынудило нас всех признать начало государственности. Заплатив юридическими науками углубили у Беринштейна его понимание государственности, и он теперь мыслил осуществление социализма, как процесс прежде всего планомерный, выполняемый в широком масштабе единой государственной властью. Исходящая из народа и ответственная перед народом, власть изымает из частной собственности все земли и крупнейшие предприятия общегосударственного значения. Эта власть, деятельная и сильная, твердо охраняет единство государства, как хозяйственного целого, раздробление которого невыгодно и даже губительно отразилось-бы на самой возможности достаточно полного использования национальных богатств. Понимаемый таким образом, социализм приводил его к новому виду патриотизма: Россия нужна населяющим ее народам, как готовая форма, единственная в мире по громадности и многообразию, для замены частновладельческого промышленного хаоса стройной и продуманной лучшими умами, системой национального труда на общее благо... Этот уклон мысли, в большей или меньшей степени, был свойственен многим народовольцам, — за то противники и называли нас, бывало, ругательно „централистами“, но у Беринштейна, по его любви к точным формулам и к неизблемым принципам, он выступал с особенной ясностью. Если-бы я хотел охарактеризовать весь круг политических идей нашего лучшего мирка, расставив, так сказать, вехи на его крайних выступах, то, пожалуй, самыми приметными вехами мне могли-бы послужить две фигуры: именно Беринштейна и Павлюка Орлова ¹⁾. Павлюк, бывший последователь Бакунина и всегдашний почитатель Достоевского, а кое в чем и Хомикова, ценил более всего внутреннее богатство человеческой личности, ее способность к познанию и держанию, к свободному творчеству и к вольному самоподчинению высоким целям. Развитие социализма представлялось ему прежде всего развитием индивидуальной совести, ростом в личности ее сознания своей связи с общественным целым и ее стремления к проявлению себя в созидании все новых и новых, все более и более внешне свободных и внутренне сплоченных форм общественности. Это был социализм чисто интеллигентский, чисто русский и, в большой мере, славянофильский. Главным отличием взглядов Павлюка от прежнего славянофильства служило то, что Павлюк не православием объяснял особенности славянского духа, а наоборот, — особенностями славянского душевного строя пытался объяснить и способ восприятия нашими предками христианского учения, и нашу современную отзывчивость к идеям социализма. Он усиленно подчеркивал, что наше православие

¹⁾ Обшира характеристика П. А. Орлова была дана в первоначальном издании в книге 5—6 „Выход“ за 1917 год.

в самой-то жизни, ведь это вовсе не схоластические хитросплетения византийцев, так же как польский католицизм — совсем не эстетическое изощрение итальянцев и не мрачное изуверство немцев. Да и наш социализм очень далек от визитного романтизма сен-симонистов и еще более далек от сухих умствований немецких социал-демократов. Заимствуя готовые формулы от Византии или из Рима мы, (т. е. наши предки), наполняли эти формулы своим содержанием, и теперь в нашем, — все равно-русском или польском, — понимании учений Прудона или Маркса Парлюк находил больше сходства с пониманием прежними москвитями или ляхами поучений Пила Сорского или Искенда Скарги, чем с отношением берлинских „генсесенов“ к наставлениям Бебеля и Вильгельма Либкнехта. Подобным-же образом и в монархизме нашей народной массы, которым наши друзья-поляки постоянно кололи нам глаза, Павлюк вовсе не хотел видеть, как те, проявления какого-то рабского духа, будто-бы присущего русскому мужику. Он отвергал вместе с тем и готовность прежних славянофилов признать мужицкий идеал Царя-батюшки за свой собственный и размалевывать его на манер лубочной картинки, изображающей Владимира-Красное Солнышко. Венценосный Держиморда — Николай I, шедший на возмзх у своего берлинского кузена, „Освободитель престыли“, бывший в душе крепостником, и „Освободитель балканских славян“, в сущности их презиравший и сочувствовавший скорее султану, — Александр II: наконец — запуганный дурак, каким мы все считали Александра III-го; — этой галлерей императоров всероссийских было достаточно для того, чтобы у людей нашего поколения уже не могло оставаться места для идеализированного образа Царя-батюшки. И Павлюк был так же далек от восхищения призраком небывалого и невозможного в жизни Царя-батюшки, как и любой из нас. Но крестьянская идея такого царя, по его толкованию, вмещала в заимствованном из Византии образе земного бога черты совсем не византийского типа. Павлюк идеализировал народное представление о царе и находил в этом представлении и глубокий смысл, и своего рода красоту, и благоприятнейшие указания на ход народной мысли в будущем. Тут он обеими руками заимствовал уроки из славянофильского котла. Ведь царь народной мечты это не европейский монарх, охранитель писанного закона и признанный этим законом нецерковословенных прав и традиционных привилегий. Но это и не турецкий султан, который ставит в закон своим подданным любую свою прихоть. Это — живое воплощение всенародного единства и равной подчиненности всех волях общины и всех многообразнейших общественных сил неписанному закону высшей нравы и на всех изыскающей милости... Мечта, конечно, наивная и весьма челепая. С иных своих сторон все тот-же идеал сверхзакононой Правды проявился в исканиях славянской религиозной мысли, — в болгарском богумизме, в чешском гуситстве, в русском сектанстве. Частичное осуществление он находит в сербской митрополии, в русской общине, в уральских войсковых порядках и в казачьем кругу. Все это признать но, и во всем этом зреют семена великих возможностей. О таких возможностях в Европе только мечтают несколько провидцев вроде Прудона и Роберта Оуэна... В политических умствованиях Павлюка

можно было пайти много пояснений, не мало противоречий, и очень много такого, что вовсе не совпадало с наиболее ходячими в нашей среде понятиями. Павлюк имел по разным сторонам, но имел еще больше противников, по все, и сторонники, и противники, одинаково любили его слушать ради красивой формы его речи и чувствовалось в них общего духовного подъема. Чистая политика в импровизациях Павлюка не занимала первого места и всегда неразрывно сплеталась в них с эстетикой и философией, причем в эстетике он искал нечто новизны и был решительным противником модного у нас в ту пору натурализма, а в философии, наоборот, любил углубляться в старых авторов — Декарта, Бэкона и Спинозу, и даже дальше их, вплоть до Платона.

Бернштейн, по сравнению с Павлюком, был прост как катехизис. К глубинам человеческого сердца он проявлял мало интереса, да и вообще по складу ума вовсе не был отвлеченным мыслителем. Он был только политиком, человеком партийным, человеком твердых догматов и осознательных целей. К поэтическим парениям духа едва ли он был способен. Но это был все-таки человек любознательный, много читавший, приглядывавшийся к жизни и не усевший застрять в программных формулах до утраты способности шевелить хоть сколько-нибудь собственными мозгами, как те политики-сектанты, что позже расплодился по партиям, как мелкая рыбка на поверхности застоявшейся прудов, так, что и пруд на пруд становится непохож, а сбивает больше на болото.

Исходя в своих построениях всегда от живой личности, со всей полнотой и разнообразием ее запросов и ее особенностей, Павлюк и расовым свойствам отводил такое видное место в своей социологии именно потому, что видел в них, вслед за Тэнном, один из существеннейших и наиболее стойких элементов всякой реальной человеческой личности. Ближайшую цель социализма он определял, как высвобождение человека (не пролетария или мужика, а вообще человека) от страха нищеты и от прижимающей необходимости от кого-бы то ни было и в чем-бы то ни было зависеть. Организуя труд с наименьшей затратой сил, социализм в его ожиданиях должен будет повести, главным образом, не к повышению производительности труда в экономическом значении этого слова (такой результат достигнется косвенно), а к невиданному в истории повышению производительности человеческого духа. Почему греки были так плодотворны на широкие идеи и на чудные образы? Помимо всего иного, потому, что они не корпели весь век в канцеляриях, как русские чиновники, не гнули спины над постылыми станками, как английские фабричные, не бегали целыми днями, везущие извозом, по конторам, как американские дельцы, а жили, как подобает свободным гражданам: мудро беседовали, искали истину и созерцали красоту. Социалистический строй, каким он представлялся Павлюку, должен был каждого обывателя превратить в афинского гражданина, для чего и сам теперешний обыватель, конечно, должен будет подтянуться, соскребить с себя последние остатки звериной шерсти и не слишком гнаться за соблазнами презренной обыващины, предпочитая полноту духа обилию яств и питей.

При свободном воздействии на все души объединяющих сил Искусства и Науки, человечество, в прозрениях Павлюка, должно будет рано или поздно прийти к образованию из миллиардов отдельных лиц духовно единой Всечеловеческой Личности, способной к таким достижениям в познании Природы и во власти над Природой, о каких мы, теперешние, и гадать не в силах... Однако, признавая, что мы теперешние, о таком неудобопредставимом будущем гадать не в силах, Павлюк все-таки не всегда воздерживался от попыток проникнуть мыслью и за эти „пределы предельного“ и задумывался над мировым смыслом существования человеческого рода и над другими подобными вопросами, которые казались ему теснейшим образом связанными с злободневными задачами социализма и нашей русской политической борьбы. Такой уж это был чужак, что он, отправляясь с одной улицы Якутска на другую, не мог по пути не завернуть и на Спринус, и на Альдебаран... И при всем том, нисходя с этих вышей на нашу маленькую, нашу несчастенькую Землю, в нашу разнесчастнейшую из всех стран, убогую Россию, этот безудержный мечтатель как-бы приходил в себя, образумивался и неожиданно обнаруживал большую трезвость в оценке положения и, сравнительно со многими из нас, большую умеренности в своих требованиях от жизни. Живущее поколение россиян на его взгляд было так плохо, что ввести их прямо в рай, они в нем все деревья вырубят, все дорожки запакостят, со всеми ангелами зря переругаются и доведут себя до того, что их выгонят в три шеи. Пока они остаются такой многоташней в себе, но совершенно бесформенной протоплазмой, так теперь, да-бы им только бог воспользоваться указаниями агрономии, не затормозив, а улучшив вместе с тем уравнильские порядки в деревне, а в промышленности — кабы тулячкам и павловцам, взамен капиталистических потогонок и жорилец, да по последнему слову техники наладить артельные предприятия... И то и другое было-бы возможно только при свободном доступе русской интеллигенции к трудовым массам, а так как правительство никакого доступа интеллигенции к массам не дает, то, конечно, — правительство так или иначе надо свалить, и какой ни на есть конституции нам приходится добиваться. Признание необходимости политической свободы составляло тот перекресток, на котором в 89 году сходились пути мысли такого чистокровного народника (то-есть полунархиста), как Павлюк, и такого твердого народовольца-государственника, как Бернштейн.

К этому перекрестку оба они подходили с противоположных сторон. Павлюку парламент казался необходимым для блага деревни, — теперешней, пьяной и темной, забитой и нищей, чтобы она хоть сколько-нибудь протрезвилась, просветилась и поотелась, набираясь сил для предначинанных ей в будущем подвигов. Бернштейн задумывался над положением деревенского люда и считал настоятельным для партии во что бы то ни стало привлечь деревню на свою сторону, чтобы при ее помощи добиться парламентских и политических свобод, необходимых и мужикам, и евреям, и раскольников, и всем обитателям России. Та-же разница проступала и в их отношении к социализму. Для Павлюка было так: хорошее это учение — социализм, так как от его применения русскому мужику выйдет лучше. Для Бернштейна — доброкачествен-

ный это элемент,—русский мужик: вот уж кто непобедим изечом, так и
 ломится в парство социализма! Почти рядом с русским мужиком в симпатиях
 Бернштейна стоял европейский революционный пролетарий,—тоже ведь при-
 рожденный социалист и наш естественный союзник. Только немецкая социал-
 демократия в глазах Бернштейна была несколько подозрительна по ее рево-
 люционности. Пожив в Дерпте, Бернштейн очень не любил немцев, и неза-
 долго до моего выезда из Иркутска, делая со мной своими дерптскими веча-
 тлениями, сгорченным передавал тот вывод, что немцы вообще удивительно
 филистеры, и даже социалисты у них немногим разве переволноционней наших
 несчастных „либералов“. А надо знать, как мы смотрели на тогдашних
 наших „либералов“! Консерваторы—это ихтиозавры и птеродактили, отстаи-
 вающие идеалы тех эпох, когда водились твари с пятью и семью рядами
 зубов, да еще когти. Мы—провозвестники идеалов лучезарного будущего. А
 либералистики плаксивые—те хотели-бы, чтобы птеродактили сами проинкли-
 нались нашими возвышенными стремлениями, а пока они ими не проинклинуты, чтобы
 мы с кротостью допускали зубастую тварь глотать нас доживами и соживами
 без всяких протестов с нашей стороны. Это они называли „благоразумием“,
 а мы называли презрительней трусостью, лицемерием, жульниблатанием и
 всякими иными пехорскими словами... Немцы, по оценке Бернштейна, все
 вообще недалеко ушли от наших Краевских и Билбасовских. Но рабочие
 массы всех других народов внушали ему полнейшее доверие. По его мнению,
 в романских странах не только пролетариям, но и мужикам уже давно не
 терпелось перекроить мир по новому, а в Англии и в Америке, пока проми-
 шленность идет все в гору, а политическое могущество этих стран обеспечи-
 вает за ними достаточно широкие рынки, до тех пор и рабочие, как парт-
 неры своих капиталистов в обичивании отсталых наций, пользуются социа-
 лизмом больше как „жуеком“, когда хочет принуждать хозяев, чтобы отта-
 нуть у них побольше из их общих барышей на свою пролетарскую долю, а
 в серьез за дело переворота не принимаются. Но так уже не долго будет
 рост политического могущества России угрожает торговым интересам капита-
 листической Англии. Германия с года на год крепнет и того и гляди подю-
 рырует Англию в ее экономическом господстве. Америке не по вкусу рост
 национального сознания в Китае и в Японии. Край, теперешней экономической
 системы в этих странах не за горами. Но рабочие таинские уж какой сме-
 ловатый народ! Эти моменты не упустят! А уж если возмущаются за дело, то про-
 ведут его только и с наименьшими потрясениями. Политическое могущество
 России не может соответствовать ее действительным силам, пока в ней господ-
 ствует почти азиатский деспотизм. Момент низвержения в России деспотизма
 послужит для англо-американских рабочих масс сигналом предстоящей пере-
 ставки во всех странах мира всех сложившихся экономических и политиче-
 ских отношений. Иными словами, это и будет самый благоприятный момент
 для выступления тамошних трудовых классов с новыми требованиями, на этот
 раз не частичных уступок, а радикальных перемен в самом строе общест-
 венного хозяйства. Политическая революция в России, сопровождаемая и

аграрной реформой в духе черного передела, неизбежно послужит началом социальной революции в Англии и в Америке, так как там все дело задерживается только тем, что политически даже пролетариям в этих странах живется и теперь не плохо, а экономически, по правде-то говоря, и по нашей, по русской мерке, пока тоже ведь не плохо... У нас средней руки чиновники так не живут, как там проживают слесари и ночетары!... Интеллигенция европейская и американская в ее целом представлялась Бернштейну тоже далеко не безнадёжной: огромная часть ее служит и так, еще до всякого социализма, безличному капиталу: не лучше-ли всем таким чиновникам торговли и промышленности отбывать ту-же службу именно как чиновникам, имея своим господином непосредственно нацию? Ходом экономического развития этого рода интеллигенция, не замечая того сама, уже формируется в один из устоев будущего социалистического строя... Все там на Западе, собственно говоря, уже созрело для социальной революции, и вся беда в том, что тамошние люди несколько позаплыли жиром и потому духовно отяжелели.. А вот мы и наги, и босы, и голодны, и плетью-то нас стегают, и прав-то человеческих за нами не признают.. так кому-же и не броситься первому в свалку как не нам?!... За нами, только за нами все дело мирового обновления!

Павлюк слушал такие речи, как надоевшую сказочку. На готовность Европы к коренному преобразованию всех ее многовековых устоев он смотрел довольно-таки недоверчиво. Очень многое в его взглядах было заимствовано явно от Герцена. Современную европейскую (а заодно и американскую), цивилизацию он считал унаследованной, „александрійской“, односторонне-рассудочной и старчески материалистической. Для нового вина история заготовила новые меха — славянство, свежее племя, слабо затронутое отголосками влияний римского форума и лондонской биржи. На Западе весь социализм сведен к одному вопросу: как поделить выработанный на фабрике аршин сукна — такую-то часть отдать физическим участникам выработки и такую-то — умственным участникам? или весь аршин целиком отдать физическим участникам, а умственным участникам предоставить то, что им пролетарий пожалует? Задачи социализма во всей ее широте в Европе и знать не хотят. Призутся там все из-за своих дележек, и все на свете в этой грязи позабыли... А в иппенских „калудцах“ деревушках и в сербских „кучах“, там живут в постоянном общении с природой и в постоянной практике взаимной поддержки наши красивые бородачи, пока еще безграмотные, пока еще серые, в лаптях да в шинках... Но погодите-ка! они-то и превратят свои села и „кучи“ в новейшие политейи, аттические по красоте и осмысленности быта, римские по их общей сплоченности, христианские по человеколюбию, и невиданные пока еще нигде по широте и многосторонности духа своих обитателей, по их умственной одаренности и эстетической чуткости... Сельское население Европы рано или поздно уподобится им, а городская жизнь всюду преобразуется несколько в духе призывов Рёскина. И люди преобразуются несколько в духе призывов Толстого, но только не сузившись духовно, как этого Лев Николаевич хотел-бы, а наоборот, — развертывая все зачатки своих талантов до их полного расцвета...

Беринштейну все эти славянофильские и полутолстовские чашинки казались чем то довольно сумбурными и к задачам социализма весьма мало относящимися. Расовые различия, „национальный дух“, — на его взгляд составляли не то чтобы вовсе вздор, а вроде того. Социалистической мысли с такими устаревшими идеями, как он полагал, делать было нечего, и она должна оперировать с понятием „гражданина“: русского, немецкого, английского. А все эти словечки „расовые различия“ и тому подобное отдавали на его слух реакционным душком, и он опасался, что они могут оставить в мирозерцании человека, хотя бы даже социалиста, щелчки, свозы которые еще как-бы не просочились у одних — юдофобство, у других — руссофобство, у третьих — негрофобство и т. д. Антропологии — та пусть со всем этим возится; но политик не с антропологией должен считаться, а со своим нравственным идеалом. Притом же и вполне объективное исследование расовых особенностей едва ли возможно. Плоха что-то бывает объективность в таких вопросах и у господ ученых... особенно у немецких. Тех послушать, — так окажется, что „научно доказано“, будто немцы — цвет человечества, а все остальные народы созданы только для того, чтобы было кому немецкой красотой любоваться... Эта черта немцев, — это, конечно, не их „расовая особенность“; это результат их скверного политического воспитания. Делая практический вывод из таких взглядов в применении к евреям, Беринштейн считал обязанностью еврея быть преданным родине гражданином той страны, в которой он живет: как Маркс и Лассаль в Германии, Манин в Италии, Дизраели в Англии и т. д. и т. д.

По общему убеждению наших в Якутске, после Зотова, именно этот образцовый русский гражданин, каким он всей душой желал бы стать, являлся ближайшим кандидатом на виселицу. Благодаря его прежней службе и солдатской службе, многие в городе его знали и кого другого, а его-то уж конечно заметили с револьвером у оков. Притом же по его характеру можно было ожидать, что если только он оправится от своих двух тяжелых ран, то на допросах наверно постарается разъяснить лицам, производящим следствие, внутреннюю неизбежность кровавой развязки после отклонения Осташкиным всех попыток компромисса со стороны ссыльных. Он станет красноречиво доказывать нравственную правомерность своей стрельбы и этим красноречием окончательно погубит себя в глазах суда.

Мне его активное участие в переналке давало мерило того, как поднималась температура колымчан за несколько недель после моего въезда, и как преобразились при этой изменившейся общей температуре отдельные лица. Дело в том, что Беринштейн, как человек более твердый и уже выдавший виды относился к опасностям и трудностям предстоящего пути в Колымск довольно спокойно. В кругу колымчан более всего волновались и ужасались именно те скромные обитатели каких-то юго-западных городков, которых департаменту полиции пришла охота сделать колыми отлученными за грехи саратовцев и тамбовцев. Проводя теплые южные вечера под акациями своих городских бульварчиков, они думали они разве о толоволомных спусках на оленьей шаре с какого-то Верхоянского хребта? о двухмесячном пути по тундре? о ночетах

в „поварных?“... и о том главное, что все это предстоит проделывать вот именно им, ему, Самуилу, и ей, Сонечке, свикшимся кто с милым Потепом, кто с тихими Прилуками, а кто и с великолепным Елизаветградом?... Таким с непривычки путь в Колымск, и на самом деле не сладкий, представился чем-то ужасающим, а Лев Матвеевич, как „старший улусник“, отнеслся к поезде без всякого трепета. При отъезде из Якутска в начале февраля, я полагался на него, как на одного из самых благоразумных людей во всей колымской компании, и надеялся, что он, наряду с Павлюком, сумеет сдержать и урезонить прочую, более нервную публику... И вдруг он-то и оказался чередовым бойцом: стрелял в солдат, среди которых у него еще оставалось несколько прежних сослуживцев, и раненный, лежа на полу, в момент затихия перепалили, что-то говорил товарищам истерически-страстно в самом восторженном духе: для России-мол их жертва не останется бесплодной; они гибнут в борьбе, как истинно идейные люди... что-то в этом роде. Так нам писали наши из Якутска.

Ни Зотов, ни Бернштейн не принадлежали к числу зачинщиков и вдохновителей „мартовской истории“. Выдающуюся роль в ее подготовке сыграл Сергей Пик, молодой еврей из Москвы, тотчас-же по прибытии в Якутск резко выделившийся среди всех остальных ссыльных. Раньше мы знали либо таких евреев, как Бернштейн, — русских граждан, с обычным в то время интеллигентским складом мысли, либо евреев типа Натансона. Для тех русское гражданство было чем-то мелким. Они хотели-бы чувствовать себя первосвященниками человечества, гражданами мира, наставниками всех народов,—и русских, и французов, и англичан—во всемирных истинах социализма. Ставить еврейский вопрос в какой-бы то ни было отдельной стране и решать его в той политической обстановке, какая сейчас существует в этой стране,—напрасная трата сил. В царстве чистой справедливости, то есть при торжестве социализма, все государства растворятся, и все существующие национальности тоже растворятся в аморфной массе равно блаженствующего человечества. Тем самым будет сам собой решен и еврейский вопрос. Он попросту перестанет существовать.

...Явился к нам Пик и стал поперек и Бернштейну и Натансону. Как только он прибыл в Якутск, так и огоршил всех весьма странным по нашему предложению: нам, русским ссыльным,—как он настаивал,—следовало подать в департамент полиции письменное заявление с резким протестом против применения исключительных мер, вроде высылки в Колымск, к одним евреям. Сохраняя в этом случае молчание, мы как-бы примиряемся с такой несправедливостью и обнаруживаем недопустимое равнодушие к гонимым... Наши только руками развели: да какой-же смел нам, отныне „краснокожикам“, „врагам порядка“, как нас правительство величает, людям, в большинстве лишеным всех прав состояний по приговорам военных судов или Особого Присутствия Сената, с нафосом сообщать департаменту полиции, что мы... ссылки евреев в Колымск не одобряем?! Да разве это само собою не понятно? И разве департамент склонен хоть сколько-нибудь

считаться с нашим мнением? Да хоть раскричусь мы тут, ему только смешно будет!... И почему это из великого множества несправедливостей и жестокостей, учиняемых в России, мы должны выделить такую мелочь, которая непосредственно затронет сотню—другую лиц, едва-ли больше? Наши полики из Намекого улуса с особенной горячностью напали на Пика: „уж если выделять частности, то, конечно, русским следовало-бы протестовать прежде всего против угнетения Польши. Вот величайшее пятно на русской совести! Тут уж не о сотне людей идет дело, а о целой нации! да какой! да при каких условиях! да с какими последствиями для самого же русского народа!..“ Задело поликов за живое, и разделали они Пика под орех, да и русские его раскритиковали вдребезги. Пик недовольно замолк, но в душе остался при своем.

Наслышавшись об этом чуде еще в улусе, при своем приближении наезде в город я с ним познакомился и после того не раз заглядывал в его крошечную квартирку из двух комнаток, в которых он жил с Софьей Гуревич, ученицей его по московским кружкам, спутницей по арестантской партии, а теперь женой. Ему было двадцать четыре года, ей двадцать. Сама эта Гуревич производила хорошее впечатление: не резкая брюнетка, а мягкая шатенка почти русского вида; кругленькое личико, довольно милостивое; живые, светлоглазые глаза; движения мягкие; голос не крикливый; манера держать себя не развязная и подчеркнуто „товарищеская“ (чего я лично совершенно не выношу), а очень скромная, даже несколько застенчивая; московская барышня среднего круга, не яркая, может-быть, но славенская.

От хорошо ее знавших я слышал, что в Якутске ее совершенно оглушили те неумолчные споры, которые в нашей среде велись, где только сойдутся двое-трое, на улусной-ли это квартире, просто-ли на улице, а то хоть и на ступеньках окружной полиции, куда один заворачивал за письмами, а другой за деловой справкой. В отличие от серьезных позднейших полос, когда, под влиянием марксизма, всему у тех подыскивались экономические объяснения и все не-экономическое и немарксистское признавалось ничемным, в описываемое время один из нас видел глубину премудрости все еще в Прудоне, другие видели в Маркса, хотя вычитывали у него совсем не то, что вычитывалось позже, третьи были несколько тронуты Дюрингом, или Генри Джорджем, или еще кемнибудь из современных и даже из очень старых, совсем-было забытых авторов. Ведь „на воле“ многим из нас приходилось разрываться на части, то пропагандировать, то агитировать, то махать в хлопотах по оборудованию, уже как там сумеешь, тайной типографией, либо в измышлении того, как-бы это раздобыть денег на побег таких-то из тюрьмы. Партийная работа часто превращалась „на воле“ в силовую суету и в бестолковое метанье из стороны в сторону. Что и раньше-то знал, ним в этой тряске забывалось, а куда там предпринимать новые испытания да пытливые углубления в суть вопросов.... А вот в Сибири год за годом проходил для нас тихо-иретихо, да и в России-ю, по отзывам тамошней жизни, после провала Шеняева, Осипанова и всей их компании¹⁾,

¹⁾ Покушение на Александра III-го 1-го марта 1887 года.

заплотнило наш поток, и он встал и даже обратной струей ударился. Тут, в недоумении: как-же это все вышло? встали обескураженные бойцы опять за книги. Пучки! не Герцен-ли объяснит, и чем наша беда? не сами-ли классики, — Сен-Симон, Фурье, Луи Блан?... А то не Данилевский-ли? не Страхов-ли? не Аксаков-ли?... Или не перечитать-ли еще раз Карла Маркса и Энгельса?... В поисках новых доводов в подтверждение своей нескоренной веры в революцию, бросались наши книгоеды и туда и сюда, и от споров у нас при любом сборище в ушах звенело. Софья Гуревич, кунеческая дочка, вступившая „в кружок“ тотчас-же по окончании гимназии, как и многие из ее подруг, смотрела на такой шаг, как на нечто необходимое для того, чтобы считать себя действительно интеллигентной девицей. Ну какая-же вполне интеллигентная особа не вращалась „в кружках?“ не встречалась либо с Желябовым, либо с Верой Фигнер, ну, на худой конец, хотя-бы с какой-нибудь приятельницей Веры Фигнер?... Более определенных представлений о кружковой жизни, а тем более о революционной деятельности, у нее тогда не было. В кружке она встретила Сергея Аргадыевича Пика и от него узнала, что всякий честный человек в России должен отдаться подготовке революции, которая сделает всех счастливыми и хорошими. Молодежь охотно была-бы готова такому прекрасному делу, но скромно недоумевала: на что она, простенькая, может в этом деле пригодиться?

Жандармы однако вывели ее из недоумения, арестовав, по указаниям Зубатова, и ее, как и десятки юнцов и юниц одинаковой с нею душевной нетронутости. Иных из них, поморив в тюрьме, выпустили, а эту, как еврейку, отправили в Сибирь. На этапах она сблизилась с Пиком, и как они прибыли в Якутск, так сейчас-же и стали искать духовное лицо, которое, по отсутствию в Якутске раввина, могло-бы их по иудейскому обряду перевенчать. Но Пик был не из таких, чтобы засесть в своем гнездышке и знай-себе ворковать. Он мало того что спорил с другими резко и упрямо, и сам, где ни появлялся, возбуждал ожесточенные споры, внося свою струю и ставя свои излюбленные темы перед изумленной улусной публикой. Десятки авторитетнейших имен помпшались в этих спорах, цитировались какие-то книги с очень учеными названиями, тут ссылались на какие-то факты, как на общеизвестные, тогда как Гуревич о них впервые слышала... Ведная гимназистка совсем растерялась и почувствовала живую потребность стать вровень с этой средой, знать и понимать то, что все здесь повидимому давно знают. По прибытии в Колымск она непременно решила засесть за книги и учиться, учиться, учиться, по мужски, с задавливанием, если нужно, с чертежами, с конспектами... Пока-что она сознавала свою слабость и шла за своим Сергеем, как начинающий хорист за регентом, не спуская с него глаз и как влюбленная женщина, и как прилежная ученица.

Ее герой с вида очень походил на московского мастерового из обрусевших цыган. Его темные волосы были только слегка курчавы. Невысокий прямой лоб, короткий прямой нос, резко очерченный подбородок и слегка широковатые скулы на наметанном лице этого рокового человека вызвали впе-

чатление скорее легкой татаровости или цыганщины. Однако, его глаза не имели огня и влажности цыганских глаз,—взгляд их был сух и жесток. Суховат и жестковат был и его голос, резковаты движения, резка манера спорить. Нашим он не очень понравился. Наши читли тогда больше всего хороших теоретиков, а по сердцу им были добрые ребята с открытой душой из таких, что родись любой из них подуеком раньше, лихо-бы он распивал пунш с Денисом Давыдовым и рубился-бы с черкесами так, что только считай головы. Почти все любимые герои слагавшейся тогда по кружкам революционной легенды были на подбор молодцами: изить Желябова, взить Германа Донатина, Сергея Кравчинского, Дмитрия Рогачева, Валериана Осинского, Баранникова,—что революционеры видные, это само собой; а вместе с тем в веселой компании какие балагуры, говорят, были эти идейные люди, да какие занимательные рассказчики! женщины о них сохли, а среди мужчин приятелей у каждого из них всегда водилось хоть отбавляй. Ткнуло к ним людей, так как почти все они были красивы и лицом и своей широкой душой. Пик на лихачей этой породы не походил ничуть. Однако, в своем роде был и он стилец, а для меня, притом же, по его духовной физиономии совершенно нов. Поэтому я отнесся к нему, пожалуй, с большим интересом и чуть-ли даже не с большей симпатией, чем вообще узусники. При своих редких наездах из моорукцев в город не миновал я и его квартирки. В крохотной приемной комнатке только-что угнездившейся молодой четы, у крохотного столика, за крохотным самоварчиком „от хозяев“, сидивал я не раз, как-бы перелистывая после Фримана, Мэна, Ковалевского и подобных им „Une Page d'Amour“, занесенную случайным ветром сюда, в Якутск. Софья Гуревич присутствовала тут обыкновенно молча и почти всегда за работой: белышка-то, видно, у них был не велик чемодан, и будущая мученица революции запомнилась мне не с револьвером, а с мирной иглой в руке, от которой она изредка отрывалась, чтобы прислушаться к особенно едкой речи мужа. Пик, начиная говорить, легко возбуждался и принимал тон желчный. Не замечая этого сам, он вставал и продолжал речь стоя, как-бы нападая на слушателей, хотя-бы ему и не возражали. Доставалось от него не только правительству, не только русским за их отношение к евреям, но и самим евреям. Иногда он их даже ругал в негодованием,—зачем они теперь так непохожи на Гедеонов и Маккавеев!

Среди еврейской молодежи этот обличитель приобрел некоторый авторитет. Его последователями являлись, главным образом, лица наиболее юные и наиболее далекие от действительной прикосновенности к революционному движению русского общества. На таких уже самый арест, тюрьма, допросы, а затем и неожиданный приговор—административная высылка года на четыре в западную Сибирь,—подействовали оглушающим образом. Пришли они, успев порядком попутрещаться в арестантских партиях, в Тюмень, а там их ждал новый удар: им сообщили, что их, как евреев, призвано отправить дальше. С бессильными протестами и с тщетными воплями: «но ведь приговор!»—там же прямо сказано:—в Тобольскую губернию!,—ничто из тюремных вла-

стей, конечно, не считался. Всякий чиновник прекрасно понимал, что приговор бумажный—дело прошлое, а сейчас начальство велит вот что,—ну, значит, и слушайся сегодняшнего приказа. А захочет власть как нибудь по третьему распорядиться,—ну и по третьему поступай. На то служба!..

Опять, как и раньше в Нижнем, напихали ссыльных в трюм арестантской баржи, прибуksирили к пароходу и потянули по Туре-реке вниз, а из Туры по Тоболу опять вниз, а из Тобола по угрюмому Иртышу то-же вниз, то-есть на север, на дальний север, где воды широки как безбрежное озеро, а леса во весь кругозор затоплены тихими водами, одни маковки зеленеют над гладью. В этих местах, где собственно, трудно было и приметить,—но двигаться начали тише и от прежних редких звезд, не надолго мерцавших по ночам на белом небе, отвернулись. Стали те звезды, на которые раньше направили держали, над левым ухом, а на иных плесах перемещались те самые звезды к затылку. Кто сам не понял-бы, тем объяснили: «в Обь вошли, вверх теперь тинемся». По пустынной Оби плыли уже не на север, а на юго-восток, среди чахлых лесов, мимо шатров разнесчастных, векокоченных, прѣчаклаго вида остриков. Зрелище это не поднимало настроения. На одиннадцатый день плавания завернули баржу с обских род вверх по более приветливой Томи-реке и подтянули к Томску. Там выгрузили людей из сырого трюма на солнышко, по счету приняли, окружили новым конвоем, и какими-то окошниками, минуя город, отвели в пересыльную тюрьму,—огромный четырехугольник, обнесенный высокими палисами, где-то на выезде, среди зеленой равнины с рошницами вдалеке. Тут все стали ждать окончательных назначений. Начальство с назначениями все что-то путало; время шло; опасения начали зарождаться. Потом слухи какие-то пошли. А наконец и выяснилось: это еще не конец пути; евреев приказано отправить дальше—в восточную Сибирь... «Потому-же об этом раньше-то не сказали?» „Распоряжения не было“... Наслушавшись томский тюремный смотритель горьких слов и гневных укоризн. Но ему это, конечно, было ни почем,—арестантская брань на вороту не виснет. Ссыльные поили этапами в восточную Сибирь. Два дня пути, третий—дневка на месте. Два дня пути, третий—дневка... Что ни этап, то новый офицер, новый конвой, новые порядки, новые столновения... Двадцать переходов путиники сделали и пришли на Енисей. К длинному ряду больших и малых тюрем, прибавилась в их дневниках красноярская тюрьма, с вида довольно приличная, но по условиям содержания в тот период наигнуснейшая из всех. Там они были уже в конце лета.

Начальство рассылать их по местам что-то не торопилось, а затем получилось новое распоряжение: евреев отправить в Иркутск. Спорить было напрасно,—пошли поцуро в новую даль,—в Иркутск. Опять: два дня пути, третий—дневка; два дня пути, третий—дневка. Раньше, бывало, стесненная толпой цепью вооруженного конвоя, как подвижной колючей проволокой, уголовная партия человек в пятьсот колыхается в густом облаке желтоватой пыли, медленно подвигаясь по обрытой канавками дороге, как ползучее серое чудовище. За лето утоптали эту дорожку тысячи скованных ног и теперь, в тант

грузному шагу большой толпы, бренчат кандалы дружно и мерно, и встречным путешественник из-за леса еще не видит партии, но уже слышит, что она на него надвигается. Если он было вздремнул или улетел куда-то в мечтах, то теперь вспомнит, где он едет — в какой сторонке, по какой дорожке...

Ранним утром покидает партия почлег и начинает свой звонкий путь примехонько на восходящее солнце. К вечеру добредает до нового почлега, — солнце позади, и тени ложатся в сторону движения, опережая людей. От Томска до Красноярска месяц идут все на восток; от Красноярска до Иркутска два месяца подряд без великих отклонений все на восток, — «к солнцу в гости» смеются арестанты. А солнце только манит и дразнит: начинает показываться позже, уходит раньше; греет скуноватей; свет даст, а ласки от него никакой нет.

С первой желтизной тайги начинает менять свою окраску и ширин: наряду с серыми халатами в ней отдельными листочками на тощих стеблях уже бросаются в глаза, желтой то на том, то на другом кандалике, коротенькие овчинные тулупчики. Позже на сером туловище ползучего чудища начинают проступать уже целые желтые пятна, а под конец пути и все чудище вдвигается в пожелтевшую тасовую гущу по дорожной просеке, само желтое и лохматое.

Шли по дороге партия теперь не вздымает. Месяц полумерзлую грязь, растягиваясь длинной, не везде одинаково плотной полосой. Сама еле движется, и обоз еле движется, и ковшом ковыляет, а не отбивает шаг молодецкато и четко. Временами бряканье цепей вдруг стихает: партия приостанавливается перевести дух и пообчистить с наволгших бродней облепившие их комья. На полустапах неустойчивая в ее построениях арестантская толпа не сгуживается теперь на обнесенном палими дворе и не торонит своих заведат налаживать скорее хор, — иногда очень не дурной. Различные и сентиментальные песни, любимые в этом мире, не сменяют уже вплоть до сумерек одна другую, разносясь далеко за тюремной оградой по улицам села, где их слушают пригорюнившиеся сердобольные бабы и запоминают, чтобы ввести в свой репертуар. Старшие бродяги не гудят глубокими басами: „По морям, по волнам, нынче здесь, а завтра там“. Разухабистый цыган — конокрад не орет во все горло „Хас-Булат удалой, бедня савли твоя“. Профессиональный убийца из хохлов, довольно красивый малый с мечтательными глазами, не тинет весьма жалостно приятнейшим баритоном „Пусть-жь мене, полковничку, из полку до дома, бо вже скучилась, бо вже змучилась дивчина за мною“... Вся такого рода музыка, как и все моменты этапного благодушествования, отошли с теплыми деньками.

С холодами по закоулкам этапного двора как только партия успевала ввалиться, начинали метаться люди с озабоченными и злыми лицами в попытках дров. Подваченные где-то поленья отпымались и переотнимались друг у друга из рук с руганью и с толчками. В отсыревших за неделю пустования, сильно охолодавших этапных камерах до красна накаливались железные печи, уставленные котелками и жестяными чайниками. Около них всегда шла давка, брань и драка. В волочившейся за большой уголовной партией кучке „поли-

тиков" по разнокалиберности и достоинству их одежды люди напоминали французов 12 года, возвращающихся из России. Все они, — ранние такие задорные и, казалось, отважные, — под конец пути успевали как-то скиснуть и выцвести. Что ни день плотное ядро пенных кандалников редело и вдалеко расплывшемся обозе прибывало больных и вмонок расписавшихся. На многих подводах теперь тряслась не убогая арестантская клядь, а бессильные человеческие тела. Косил людей тиф, ломал ревматизм, доедала свои жертвы чахотка. При толчках на глубоких выбоинах дороги человеческие головы колотились о крепкие облучки телег или развальной и над обозом не умолкали протяжные стоны и отборнейшая басистая ругань.

Пересыпанный острой снежной порошей, воздух был тускл и кандалы звучали в нем глухо, а проволока телеграфных столбов гудела уныло и похоронно. В потерпевшей, уже совершенно безлистной тайге сивозили ее заплаканные дали. Кусты подлеска торчали какими-то вешиками: побуревшая, жесткая трава спуталась в силовый колтун отвратительного вида. Сколько было взбираться на крутые подъемы гор и еще хуже приходилось при спуске с тех-же гор с бесконечными загибами и заворотах их заковыристых спусков. Приближаясь ко всякому новому этапу, почти всякий с отчаянием думал, что силы и ему окончательно изменяют: — ну, до этапа доберется, а уж там и свалится! Но с этапа надо было идти дальше, — раскис не раскис, а иди!... И шли.

Наконец прибывали в Иркутск уж по настоящему зимнему снегу и были уверены, что предел скитаний теперь осязательно близок. Еще несколько дней в камере, а там вызовут в тюремную контору и объявят: кого в Туингу, — за двести верст; кого — в Верхолениск, — без малого за триста верст; а кого, может, и еще ближе. Там можно будет нанять избушку, устроиться, поотмыться в бане, поотойти немножко от прелестей этапного пути.

...И вдруг сообщение: — дальше! в Якутскую область!

Наряду с этим приятным известием, в Иркутске некоторые партии получали и другое, столь-же приятное: здесь им предстоит задержаться в тюрьме, так как начальником такой-то конвойной команды против ихней партии возбуждено обвинение по статьям таким-то и таким-то, предусматривающим неповиновение властям, оскорбление должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, действия сконом, и еще то-то, и то-те, и то-то... Опять или допросы, или волокита, истрепанные нервы в конце дотренивались, а поводы к новым столкновениям возникали что ни день. С женщинами делалось истерии, дети хворали, происходили тюремные истории, а при них гасеаю протестантам почище, чем при этапных...

Потом наступал момент отправки в эту таинственную и страшную "Якутскую область". Шлила партия (уже без уголовных) по горам, ввалила ее по Брайской степи, неслась она и днем и ночью по лесной "дубе", и через две-три недели вкатывалась в серенький, деревянный городок, окутанный по зимнему времени густыми туманами. Любопытный взор в этом тумане мог заметить только скаты крыш, стены одноэтажных домов и заборах вышние человеческого роста. Далее следовало пустое пространство, а затем ворота тюрьмы. Приехали!

В тюрьме оказывалось, что не тут-то было: евреев приказано отправить всех дальше, — в Средне-Колымск, за две тысячи триста верст отсюда...

Всеми это было принято, как последняя пощечина, завершившая весь длинный ряд измывательств и терзаний, начавшихся с самой Тюмени. Пик первый произнес слово: „стрелять! живьем не даваться!“ и толпа в отчаянии готова была подхватить роковое слово, плохо отдавая себе отчет в его реальном значении. Остатки своими распоряжениями относительно способа отправки подбавляла жара и слово „стрелять“ стало выкрикиваться уже зараз несколькими голосами.

Однако, от столь решительного заявления, брошенного сгоряча на бурной сходке, до дела еще весьма далеко, тем более, что такие заведомо мужественные люди, как Муханов, Гаусман и многие другие были решительно против общего вооруженного отпора. В душе не веря в действительность опасности, все думая, что власти „не решатся“ в самом-то деле стрелять, толпа единодушно отвергла предложение Зотова выйти ему одному на Осташкина с демонстративным выстрелом, чтобы вызвать этим военный суд и официальное расследование условий колымского пути. Глуха осталась толпа и к благодушно насмешливым увещаниям Муханова: „Ну что там! не потоните! стоит из-за этого стрельбу заводить!“ Паний, борющийся с боевым наваждением пылко и нервно, возбуждал восхищение своим ораторским талантом (писал он тяжеломерно, но слыл лучшим из наших умелых трибун по яркости живой речи), — цели не достиг и Паний своим трепетно-страстным словом, — как и Муханов его непоколебимым здравомыслием. Напрасно Павлюк критиковал проекты Пика мудры и всесторонне, углубляясь и в историю и в философию, приводя доводы от своего богатого революционного опыта, — им тоже восхищались, но шли гурибой не за этими, не за Гаусманом, в скорбию предвидении предсказанным почти точь в точь все то, что позже произошло в стенах монастырского дома, — шли за мало одаренным Пиком, сухоощавым желчевиком с резким голосом и с гвоздем в голове.

...Однако, хмель хмелем, а в решающий миг, когда полицмейстер уже вызвал команду, бравый офицер Карамзин уже встал у дверей, а солдаты с ружьями выстроились за ним, дрогнули сердца и жуть схватила всех до одного. „Стреляй, попробуй, и что куча битого мяса наполнит людную комнату!“... С револьверами в карманах и с мучительным недоумением на лицах, в общей давке, толкотне, смутном гуде и сумятице, отдельные лица, как щепки в потоке, передвигались со всеми к дверям. Минут э́т т мин без крови, — ее-бы и не было Но это Добро минуло, а Мико тут так уж тут. Позади толпы, над ее головами, блеснуло. Офицер у двери унял. Солдаты враз надели ружья вверх и в небольшой комнате грохнуло, точно потолок свалился. Пик, успевший дать свой роковой выстрел с диванчика у задней стены, впрониз револьвер из разжавшейся руки, рухнул на пол разможенным черепом. Смерть протянула костлявую руку к Софье Гуревич. Та ринулась на ее призыв через нарахнувшуюся толпу и оказалась перед солдатами. Подхватив с пола раненого командира, они бегом понесли его к выходу и лестницей во двор. Гуревич гналась за ними, несмело нажимая со спины. Револьвер брал вверх и пули неслись в потолок, но треска было много. Солдат Ризов, не выдержав, на бегу сделал полный оборот назад

и с размаха просадил ее пистолетом почти насквозь. Она свалилась с громким воплем, но умерла не сразу и долго мучилась, сама в сознании, но других своим видом чуть не сводя с ума.

Это было началом, а там пошло все так, как предсказывал бакаунне Гаусман. Опущенный солдатами на снег, Карамзин быстро пришел в себя вскочил на ноги и принял команду. Часть своего войска он расставил цепью против крыльца, а другую часть цепью-же вдоль улицы, против окон, и ватаился с двух сторон обстрел, а из дома отстреливание.

Двумя часами позже из ворот дома двинулась к тюремной мертвецкой вереница дровней с трупами убитых, а другая вереница направилась к тюремной больнице с ранеными. За ними окруженная сильным конвоем, зашагала по кровавому следу кучка уцелевших в самую тюрьму—ждать суда и расправы.

И. И. Майнов (Саратовец).

(Продолжение следует).

Новое о ленинских событиях.

(По данным архива Иркутского губернского жандармского управления).

Шестого июня 1912 г. жандармский полковник Васильев телеграфировал из Бодайбо директору департамента полиции:

„Киренская и витимская агентура сообщила мне, во время проезда, что статья Бодайбо подготовлена, проведена политическими ссыльными. Агитация началась еще в десятом году, производилась так называемой общественной квартирой, существовавшей хотя нелегально, но полиции ее знала. Там ютились ссыльные. На поддержание этой квартиры собирались деньги, которые давали даже исправник Галкин и бывший мировой судья Иванов. Осенью одиннадцатого года¹⁾ ссыльные организовали в Бодайбо центр профессионального союза, потом его отделения во всех приисках. Цели союза—экономическая борьба по директивам с-д. Центр составили 7 человек, коих известны: писмоводитель бывшего мирового судьи Иванова Озолин, ныне скрывается за границей, ревизор посадов Бодайбенской ж. д. Гавриил Сушкин, ссыльный Петропавловской волости Назаров, проживающий в Бодайбо нелегально под именем Першина. Какой-то еврей, проживающий здесь именем русского. Его знает урядник Душаев, но скрывает. На отдельных приисках имеются представители союза; именно: Липавском—Василий Поджарадзе, Андреевском—бывший депутат второй Думы Натих, Михайло-Архангельском—бухгалтер Константин Скрипников и какой-то латыш, Весеннем—Михаил Маклин и его жена. Названные лица привлекли на свою сторону некоторых рабочих, подготовили стачку, устроили ее, ведут ныне. Летом 11-го года союз выпустил телеграфированное воззвание о своем возмнении. Цели союза пропагандировать Назаровым и латышом Киренске на сходках. Приведенные сведения доложены мною резидирующему сенатору, письменно сообщены прокурору палаты для приложения к следствию. Последнее не установило политической окраски забастовки, почему часть арестованного комитета освобождена. Единственный, дававший показания следствию, рабочий Пуртин использован допросом весьма слабо. Теперь он скрывается отсюда. Ныне здесь распространено обращение сенатора Манухина рабочим стать на работу. Многие (зачеркнуто и поставлено большинство) согласны, но сил не стали. Бодайбо агентуры нет совсем. № 24. Полковник: Васильев“.

¹⁾ Судя по письму агента „12-го“ (см. ниже), не 1911, а 1910 года.—Ред.

Эти же сведения начальник Иркутского губернского жандармского управления 5-го июня 1912 года в секретном рапорте за № 21 сообщил прокурору Иркутской судебной палаты. Рапорт прокурору несколько обширнее. В деле о левских событиях хранится копия с этого рапорта, писанная рукою ротмистра Семеко и исправленная карандашом полковником Васильевым. Здесь начинается обвинение политических ссыльных в организации забастовки, причем полковник Васильев пишет:

„Еще в 1910 году среди политических ссыльных на Бодайбенских золотых приискаx стали усиленно говорить о необходимости соорганизоваться для нелегальной работы среди простых рабочих“.

Сообщал о том, что „профессиональный союз поставил своею целью экономическую борьбу“, рапорт прибавляет, что „решено было временно не предъявлять политических требований, так как рабочие Бодайбо еще не созрели для того“.

Фраза о том, что урядник Дунаев „скрывает еврей“ в рапорте прокурору отсутствует.

Оба эти доклада имели двойную цель: с одной стороны, доказать политический характер левских событий, с другой — скомпрометировать некоторых чинов местной политической власти в глазах высшего начальства; в особенности это относится к исправнику Галкину. И действительно, стоит прочесть показания исправника Галкина для того, чтобы понять всю ненависть к нему со стороны жандармской власти и в первую голову ротмистра Трещенкова ¹⁾.

В своем обширном докладе сенатору Манухину начальник жандармского управления указывал на роль политической ссылки в организации забастовки, чем оправдывал меры, принятые жандармской властью. Основание для такого указания дали яко-бы агентурные сведения и, главным образом, письмо политического ссыльного, перехваченное на почте. Подлинник письма хранится в деле Иркутского губернского жандармского управления. И вот, путем сопоставления целого ряда документов из этого же дела, приходим к неожиданному выводу: главный жандармский аргумент оказывается сфабрикованным агентом того же управления, носившим кличку „№ 12“. Приводим полностью это интересное письмо:

„Уважаемый товарищ Михаил! Я очень рад, что ты так сильно интересовался нашими условиями на Дене. Ты просишь для статистики сообщить кое что, на что иду навстречу и начинаю следующее: начиная с 1910 года постараюсь сообщить по сегодняшний день подробно. Девятого марта 1910 года я прибыл в гор. Бодайбо и по прибытии туда сейчас же узнал, что там существует, так называемая, общественная квартира. Цель этой общественной квартиры была следующая: квартира эта была свята напротив бодайбенской больницы в двухэтажном доме в нижнем этаже, из четырех комнат и кухни. В эту квартиру помещали всех вновь прибывших и старых в гор. Бодайбо

¹⁾ Ответы Галкина на допросах см. в книге „Правда о левских событиях“. Москва, 1913, стр. 134—137.

неимущих ссыльно-политических, и до нахождения им работ комиссия оказывала им поддержку материально. Существовала, так называемая, комиссия из трех членов. Туда входили—от наших разумеется, ссыльно-политические—некто Габалов Аветис Григорьевич, конторщик при станции Бодайбенской железной дороги, 2. Скрышников Александр Константинович, бухгалтер при лесном деле Бутылкина, 3. Азалин, писмоводитель бывшего мирового судьи Иванова. Эта комиссия снимала общественную квартиру, и она являлась ответственной перед домохозяйном и проч. Комиссия эта собирала денег от своих же ссыльно-политических от состоящих на должности либо от работающих из 2-х процентов из известной заработной или суммы, поступали частные пожертвования, и этими деньгами поддерживали безработных, раслачивались с домохозяйном, давали деньгами на дорогу тем товарищам, которым предстоял арест за проживание без видов на жительство и отправляли дальше и проч. (Аресты могут быть лишь только по предписанию нашего киренского исправника или же волостного правления по розыску таковых). Одно очень даже радостное явление для нас, не поверишь, дружок, что сам господин горн. исправник Галкин жертвовал денег на несколько рубльчиков ежемесячно, да и не могло быть иначе, потому что синовья у него, оказывается, не по одному разу сидели в тюрьмах, как крамольники; в эту кассу вносил и сам мировой судья, теперь бывший, а тогда настоящий, Иванов, так, что исправник Галкин передавал мировому судье Иванову, а Иванов передавал своему писмоводителю нашему товарищу Азалину. Азалин—он же заведывал паспортами. Мне неизвестно, откуда доставались паспорта, бланки, и выдавал он—Азалин всем тем нелегальным товарищам, которые пугались в таковых.

В кассу вносили ежемесячно и аккуратно попечитель больницы, Бутылкин и многие другие, которых я позабыл. Поддерживал и урядник горнободайбенский Дунаев Михаил Петрович, которого приехали от Бодайбо на Липаевский прииск; жалко: признаться, жил он в городе—помогал очень много, как в центре от приисков чем он может помочь? Одним словом, местная администрация оказалась довольно либеральными, да и публика такая же, которая питала и питает к нам полную симпатию, чего и надо нам. Тогда при мне и теперь, в самом городе Бодайбо, жили и живут масса наших ребят под видом легального человека, в особенности товарищи-евреи. Оглично знает обо всем этом местная администрация, и все это ничего. Да что же ты скажешь, когда обществен. квартира вполне нелегальная существовала в самом центре на глазах местной полиции, и ни слова... Всегда могли застать в квартире человек 20, 30 и больше легальных и нелегальных, и жили спокойно. Урядник Дунаев, я помню, что при мне посещал раза три. Бывало, зайдет, поздоровается, посидит так с полчаса, побеседует, попрощается, пожелает наилучшего и проч. Расскажу лучший примера: 1910 г., так приблизительно в марте или апреле месяце, неожиданно были арестованы урядником Дунаевым бывшие солдаты—некто Куропятников Илья Степанович и Упайковичи Иван. Мы тоже удивились,—как так таких ребят арестовал Дунаев, и говорили между собой: „не разубедился ли ур. Дунаев, что арестовывает наших ребят“. На дру-

той день ихнего ареста обратились к Дунаеву хозяева арестованных товарищей 1, трактирщик Гусаров, 2, колбасник Людовиг. Просит, конечно, освободить их из под стражи. Дунаев ответил, что опущает об этом, по чьему распоряжению арестованы они, если нет чего либо важного, то он освободит их сейчас же. Узнав, действительно, что они арестованы по предписанию исправника киренского округа по неважному делу, и он выпустил их только до 1-й партии, т. е., до открытия летней дороги. Открылась дорога, эти два товарища явились к ур. Дунаеву и таким путем последовали в Киренск. Прибыли в Киренск, представили их к исправнику. Исправник им объявил, что вы дважды не имеете права жить в горных округах: 1) что не имеют видов на жительство, 2) что они подвергаются к известному наказанию по делу похорон в Илимске одного умершего ссыльно-политического моряка матроса. Наказание заключалось в следующем: кажется еще в 1909 г. в Илимске умер один товарищ-матрос. Хорошили его демонстративно, пели „Мы жертвою пали“ и проч. За что принимавшие участие в этом процессе расформировали и от Илимской волости разогнали по другим волостям. Вот в том числе оказались эти товарищи Куропятников Илья Степанович и Унапкошвили Иван. Исправником было объявлено, что за этот процесс они перемещаются от Илимской волости в Преображенскую и что таким же этапным порядком будут отправлены туда, чего и привел в исполнение. По распоряжению киренского исправника Макарова они были отправлены, будто бы, в Преображенскую волость, а на самом деле они доехали до границ, т. е., до с. Чечуйск, подарили, как вообще делается, крестьянам по 20 коп., и пустили их в какую сторону только угодно. Приблизительно высланные товарищи в последних числах июля или так августа месяца, не имея никаких документов и видов на жительство, прибыли в Бодайбо, жили и ходили открыто на глазах ур. Дунаева, спрашивал даже Дунаев, как путешествовали и проч. И что жили они без всяких видов, об этом ур. Дунаеву было известно, как должностному лицу, лучше, чем нам, и все это ничего. Эти же товарищи поступили по-старому к своим старым хозяевам: Куропятников Илья Степанович к трактирщику Гусарову, а Унапкошвили Иван к колбаснику Людовигу. Куропятников, послужив мало времени у Гусарова, вскоре поступил в общественном собрании за маршора в бильярдном, и сейчас служит там, он организует бильярд, который не раз, наверно, подавал шаров самому исправнику Галинину и проч. А Унапкошвили теперь, как передают, открыл собственную колбасную мастерскую и живут совершенно беспретятственно в самом гор. Бодайбо. Таких случаев и примеров, дружок, очень много в нашей жизни. Живут нелегально очень много, знает полиция почти всех в лицо, и как будто ничего, чего и надо нам. Да, главного то я чуть не пропустил, вот что, товарищ Михаил,—с 1910 года, так приблизительно октября месяца, созвали эти человек пять, подождовали и решили созвать хоть пока не маленькую группу либо организацию. Мы назвали себя инициативной группой, которые в скором времени созвали собрание в самом г. Бодайбо. Собрание было у нас на квартире Льва Григорьевича Толубкова, на этом собрании почти все без исключения пришли к такому заключению, что необходимо иметь такую

только лишь беспартийную, на что и согласились, да и нельзя было создать партийную, потому что туда вошли и эс-деки, и эс-еры, и анархисты и проч. убеждениями, поэтому и пришлось согласиться на таковую, иначе получилось бы раскол и разрушилось бы все на свете. Тут же на собрании выбрали редакционную комиссию, в которую вошли три человека: 1) Голубков Лев Григорьевич, москвич, окончивший курс высшего образования, пошел сюда как редактор московского большевистского органа, в Водайбо он учителем и жил при мне на квартире у Екатерины Мясниковой. Там же собирались очень часто. 2) Азolini, тогда писемоводитель мирового судьи Иванова и я—твой покорный слуга. На 4 день мы созвали общее собрание и доложили нашу редакцию. Собрание после долгого прения выхерило некоторых пунктов нашей редакции и внесло некоторых пунктов и примечания. Редакция эта больше содержит в себе разрешить свою организацию, по мере возможности иметь своих членов и представителей на каждом приiske, поставила себе задачей таким путем ввести самую усиленную пропаганду, агитацию среди приiskовых рабочих на чисто экономической почве и проч., в чем и можешь убедиться, дружок, что забастовка на приисках была довольно подготовленной и сознательная. Организация самая была в центре, конечно, как это вообще делается, тут входил Азolini, Александр Константинович, на Михайло-Архангельском приiske к Бутилину и Иванову, бывшему мировому судье, и к-о там же служит; он же представителем организации. Краукис (латыш), Непомнящий и Скворцов, кажется, фамилия четвертого члена, Греденко слесарь, тогда работал в мастерских ж. дороги, а теперь работает на Андреевском приiske, он же принимал горячее участие в забастовочном бюро, Суликин, Гавриил Георгиевич конторщик на станции Водайбо, он же ревизор поездов и особа, тоже конторщик там же, он же профессионал артист трагиз; часто выступал на сцену в железнодорожном собрании. Эти два товарища в последних числах мая месяца приехали Верхоянском Киренск и сказали, что провожают только жен до Иггалово, они едут на родину, а сами вскоре вернутся обратно в Киренск. Сказано было все для отвода глаз, а на самом деле вышло так, что улетучились сами в заграницу. Точно таким же путем отравились еще 1910 г. Габалов Аветис Григорьевич, кавказец Тифлисской губ. Нашел через Харбина интересную вещь, писал он мне из Шан-Хая, что он ехал и по дороге в вагоне у него утратил пиджак, а в пиджаке у него был паспорт, по прибытии в Харбин обратился к полицеймейстеру и заявил, что утратил пиджак и паспорт, а полицеймейстер ему посоветовал явиться к нему в канцелярию завтра, представить ему рубль с копейками для публикации и о том сделает все, что только нужно, он, конечно, вышел оттуда и пошел путешествовать дальше, где и пробрался благополучно; да вообще легко пробираются через Харбин, чем через Россию. Он сейчас находится в Турции в самом Константинополе, не как Габалов, а как Петрони. Перемещивался со мною до сего времени, а теперь почему-то перестал. Приехала к нему жена Палица Петровна. В прошлом году—так приблизительно июле месяце—приехал Бороном(!) Азolini и пробрался в Америку, пишет он своему близкому товарищу латышу

Гриффельду—Да, членами этой организации входили Азоли, Гелецкий Константин Лукич, учительствует в Бодайбо, Першин Василий Васильевич, настоящая его фамилия Назаров. В прошлом году он выехал за паспортом в волость Петропавловскую и жил зиму в волосте, живописец, живет сейчас в Бодайбо Игнатий или Инатъев, не помню хорошо. Один еврейчик Авраам Монсеевич, фамилии которого не знаю, он из Преображенской волости, живет под видом русского человека, и учит местных еврейских детей и еврейскому языку, Лопата, конторщик Горелова или Грива, Макаровской волости, жена у него незаконная и вдобавок еврейка из России, которая не имеет право на жительство здесь, ездила она в прошлом году на родину и приехала обратно. На Андреевском приiske Нагих—бывший член 2-ой Гос. Думы, эс-дек. фракций, который усердно принимал участие в забастовочном бюро. Зная твердо, что Нагих и Греденко с женами живут там же, на Андреевском приiske, рассказала мне лично приехавшая в Киренск жена арестованного делегата Андреевских приисков Ефима Мимоглидова, что провожали лично ее. На Ленаевском приiske Кавжорадзе Василий Георгиевич служит конторщиком у материального Елкина. На Весеннем приiske Махлин Михаил Вениаминович и жена его Махлина Александра Семенова, словом—их масса, которых по фамилии не знаю, узнаю, дружок, и постараюсь сообщить точно и подробно обо всем.

Довольно хорошо вышло у нас на Бодайбо, что собрали деньги между собою. Я, по крайней мере, пожертвовал 5 рублей. Словом, собрали достаточно и послали через Голубкова и Сушнина в Москву, в Петербург и проч. за книгами. Вскоре они поступили к нам в Бодайбо на имя Голубкова, получили их из почты и учредили свою собственную библиотеку, ею заведывал, по решению данной организации, Голубков, словом, дела были хороши, пока я был там, а дальше я знаю мало, знаю мало потому, что оторвался от них, отирал здесь в Киренске свою собственную торговлю и отстал от них совершенно, а теперь, раз ты так просишь и не имеешь больше знакомых, кроме меня, я постараюсь выискнуть еще глубже и сообщать, как можно точнее, только не обещаю писать чуть-ли не каждый день. Нет, дружок, лучше буду писать редко, да метко. Не правда-ли, а?—Недавно выпустили из Киренской тюрьмы делегатов, арестованных на Андреевском приiske, пятерых—эти товарищи почевали у меня две ночи до почтового парохода и потом отирались обратно в Бодайбо; провожал их сам лично, за исключением Ефима Мимоглидова. Ефим Мимоглидов получил телеграмму от жены Пелагеи, что она выехала и едет в Киренск, он и остался до приезда жены. Жена его приехала и остановилась у меня, как у хорошего знакомого. Да вообще все прибывшие товарищи знакомые по знакомству, да не знакомые—по протекже, останавливаются у меня. Она же, т. е. жена Мимоглидова, рассказала, что Нагих и Греденко с женами вместе с нею сели на пароход и хотели ехать в Киренск, но почему-то раздумали, сошли с парохода и вернулись обратно на Андреевский прииск, так что Нагих и Греденко, по словам жены Мимоглидова, с женами сейчас находятся там, которые принимали горячее участие в стачечном бюро. Мимоглидов жену свою Пелагею отправил

на родину, в Красноярск из Киренска в субботу 16 числа с. м. на пароходе Петра, а сам поехал обратно на прииск. Воскресение 17-го графом Игнатьевым этим-же пароходом того-же числа отправили через полицию остальных трех товарищей-делегатов, оставшихся под стражей и проч. обратно в Бодайбо. Были у меня, купили на дорогу кой-что из с'естных принасов, провожал я их лично, так что без всякого сомнения. Словом, товарищ Михаил, я считаю себя счастливым, что имею широкое знакомство и доверие среди нашей публики, хотя это знакомство для меня стоит, но что же, Бог с ними, наша обязанность такова, считаться не следует, а надо помогать кто чем может; чем богат, тем и рад, говорят русские люди. Недавно ушел от нашего уезда один довольно симпатичный товарищ некто Конель Соломонов, я ему даже был должен 60 руб., уплатил ему сполна и провожал; целую ночь до отхода парохода просидел у меня; мы, конечно, поужинали основательно, и так приблизительно около 5 час. утра отошел пароход и увез товарища, с которым крайне не хотелось расстаться. Недавно я получил от него из Челябинска открытку с видом г. Петропавловска. Шлет привет мне и жене моей Наталье. Открытку для доказательства при сем прилагаю. Маршрут у этого товарища таковой: ехать прямо на родину, побыть там несколько дней, повидаться с родителями и вскоре поторопиться за границу.—В декабре ме-це проездом у меня в померах остановился мой хороший знакомый из гор. Бодайбо, который передал мне, что брат бодайбенского урядника теперь Шишкина, он-же Шишкин, служащий на Федосиевском приiske, едучи в Витим, привез с собою несколько зарядов динамита, кажется, 5 патронов, украденных из шахтов, № не помню точно, кажется 77 и проч.; их он привез в Бодайбо и остановился у брата урядника Шишкина. Динамит этот он сдал на хранение ему же, т. е. брату урядника, Шишкину. Через несколько дней динамиты эти были перенесены к моему проезжему, к Степану Федоровичу Бжедомову, он-же Сарапулов. Из Бодайбо Сарапулов этот и Шишкин отправились в Витим, были вызваны к призыву по военной повинности, прибыли туда, т. е., Витим, и динамитов этих привезли туда, как он передал. Цель Шишкина была по злобе к начальнику витимской почтовой телеграфной конторы создать группу и напасть на почту, но чем кончилось, дальше неизвестно, а что динамиты эти хранились в Бодайбо у урядника Шишкина—это факт. Квартирант мой был признан годным к службе. И киренским военным начальником был отправлен в Иркутск, кажется в 28 полк. И имел от него письма, где он писал, что принят и зачислен в 28 полк и что в настоящее время лежит в больнице.

Зимой, так приблизительно в январе или феврале ме-це, ко мне пришли двое кавказцы, временно живущие в гор. Карейске, некто Алианкар персанин, серьезно поселенцы и Мирзабек, первый уехал и живет сейчас в Жыгалове или в Кочуке, а второй, сам Мирзабек, арестован и помещается в Киренской местной тюрьме за убийство. Эти господа мне предложили принять золотых монет фальшивых для сбыта, их показали мне одну штуку; я обещал, что с удовольствием могу принять и т. д. Но, к сожалению, комбинация наша про-

вадилась, по случаю двух очередных убийств в кирепской тюрьме. Фабрикация эта производилась в тюрьме, и после убийства арестантов начали держать в закрытых казематах и поэтому прекратилась вся работа. Твердо знаю, что фабрикация эта, действительно, действовала в тюрьме; знаю от Харатова Мелика, он же Емельян, он просидел ровно три года в кирепской тюрьме, и он, как мой хорошо знакомый и как земляк, не скрывает от меня ничего, сознается чистосердечно во всем. Видел, дружок, что творится у нас в Сибири, тем паче в Киренске, что и в тюрьмах существует фабрикация фальшивых денег. Словом, для тебя служит хорошим и довольно интересным материалом для статистики. Дальше, дружок, постараюсь сообщить более подробно относительно выходов вообще наших местных полицейских, если, конечно, требуются такие вещи для тебя. Пиши, пожалуйста, задавай вопросы без стеснения, и для тебя сделаю все, как для хорошего друга, постараюсь потратить время и сообщить обо всем подробно, конечно, чего сумею, и ничуть не сложно, а пишу. Пока до свидания. Целую тебя крепко. Твой И. Г. М. № 12. Дальше я не буду подписываться И. Г. М., а просто № 12, а то, Бог знает, переписки попадутся лицам компетентным, выяснится все и вдобавок могу попасть еще в тюрьму. И, действительно, сколько мне не приходилось сидеть в тюрьмах только из-за переписок. Страшное дело, как не везет мне. В Сибирь пошел тоже за перепиской, и потому, что всегда подписью; если бы не подпись, то и не было бы ничего. Итак, значит, № 12".

В деле жандармского управления имеется обширный донос того же № 12, характеризующий персонально всех участников „стачечного комитета“ и их дальнейшие судьбы, после бегства отдельных лиц из Водайбо.

Из этого доноса видно, что № 12 был, повидимому, из серьезных. Совершив ряд предательств, секретный сотрудник № 12 ждет от жандармского управления награду за свои труды.

15 июля 1912 года он пишет полковнику Васильеву (На подлиннике надпись—№ 4. Получено 28 VII—12 г.):

„Честь имею довести вашему высочородно следующие обстоятельства дел: Сильно-политический, состоящий на причислении с. Мухтунск, Витимской волости, Киренского уезда, Алексей Николаевич Аленковский, который еще в 1909 г. из Илимска, по делу нелегальной типографии, был временно, до выяснения дел, переведен в Киренск под надзором, вследствие чего был причислен в с. Мухтуй, и который является крайне политическо-деятельным и популярным в среде местной политической общины в которой принимал горячее участие в комиссии по делу суда над Асизовыми совместно с Фодовым и Гербиновым, а настоящее время занимает довольно серьезную должность на пароходе Ефремовых. Он, А. Н. Аленковский, состоит контролером на почтово-пассажирских пароходах и развозит от Усть-Кута вплоть до самого Якутска. Аленковский, как таковой, свободно может провозить нелегальную литературу и лиц, намеривающихся бежать из ссылки. Он уже провез совершенно бесплатно до Усть-Кута некто Копель-Саломонова, о котором было доложено мною своевременно, и было предвзято открытое письмо из Челябинска—вид

г. Петропавловска. Да кроме того может оказать противникам их большое препятствие. Например: в день прибытия вашего в Кирепск я лично прибыл к пароходу, хотя немного поздно, но имел много времени еще сделать кое-что, но к великому моему сожалению не мог добраться до вас лишь только потому, что Алениковский был на пароходе и следовал дальше с вами вплоть до самого Усть-Кута. Я сам лично хотел поехать до Усть-Кута для личного переговора с вами и не поехал потому, что на том пароходе был Алениковский и провожал, как контролер. Следовательно, ваши документы мною были переданы вам через вохмистра Рупны. Алениковский зорко следит вообще за всеми ссыльно-политическими движениями, в особенности за мною.

Таковую же должность занимает некто ссыльно-политический Крахмалов. В виду вышеизложенного, покорно прошу ваше высочордие сделать надлежащее распоряжение, убрать таковых от вышеупомянутых должностей и принести к месту своего причисления. При сем совокупаю, что месяца, приблизительно, через два, мне лично предвидится должность, по которой буду разъезжать по двум уездам, т. е. по Верхотурскому и Кирепскому уезду от Кочуги до самой Мачи, где сумею собирать и давать больше материала, нежели сейчас, конечно, если только сумею пристроиться на таковую. № 12".

Из дела не видно, чем окончились эти домогательства. Но судя по результатам следствия все усилия жандармской власти пропали почти даром.

3 июля полковник Васильев секретно доносит в Петербург директору департамента полиции:

„Судебное следствие, равно расследование сенатора, закончены. Политический характер стачки формально не удалось доказать. Дело велось исключительно допросом свидетелей. Промахи полиции в начале забастовки теперь трудно было поправить, тем более, что обыски не производились. Допросы ротмистра Трещенкова закончены, сенатор разрешил увести его. В виду продолжавшихся настойчивых сведений подготовке покушения Трещенкова везу его четвертого Иркутск вместе ротмистром Семеко, двумя унтер-офицерами, стражниками. Чины ревизии уезжают шестого, восьмого. № 46. Полковник Васильев. 3—VII—12. Бодайбо“.

С этого момента дело о левских событиях начинает теснеть донесениями о готовящихся покушениях на ротмистра Трещенкова.

На основании телеграммы департамента полиции, начальник иркутского губернского жандармского управления секретным отношением от 28 июня 1912 г. за № 36. из Бодайбо сообщает губернским властям:

„Департамент полиции сообщил по телеграфу о том, что в Париже по подложному паспорту на имя Гладкова проживает бежавший из Сибири террорист Владимир Михайлов Косарев, предполагающий скоро прибыть в г. Бодайбо для совершения террористического акта в отместку за левские события.—Приметы Косарева: 25 лет, низкого роста, коренастый, одутловатое лицо, шатен, глаза большие, черные маленькие усы, бороду бреет, нос прямой; в то время он одевался плохо, носил толстый пурпуровый костюм без жилета, черную палатку.“

Сообщая об изложенном, прошу распоряжении предписать полиции в Бодайбо, Иренске и Верхоленске о наблюдении за появлением упомянутой личности на предмет его задержания. Полковник Васильев“.

А 19 июля помощник начальника Иркутского губернского жандармского управления ротмистр Кулинский телеграфирует из Иркутска в Бодайбо ротмистру Трещенкову: „Мной получены достоверные сведения Бодайбо в начале мая командирован член летучего боевого отряда сибирских эс-эров производство отношения вас террористического акта; будьте особенно осторожны пути из Бодайбо. Первоисточник сведений скройте. Номер 2714. Ротмистр Кулинский“.

30 июня летит посыл телеграмма Иркутскому губернатору: „№ 39. Секретно. В. Срочно. Получены достоверные сведения, что еще в начале мая с. г. в. г. Бодайбо командирован член летучего боевого отряда партии сибирских социалистов-революционеров для производства террористического акта по отношению ротмистра Трещенкова.“

Сообщая об изложенном, прошу распоряжении предписать полиции Бодайбо, Иренского и Верхоленского уездов иметь усиленное наблюдение за появлением упомянутой личности на предмет ее задержания. Приметы неизвестны.—Полковник Васильев“.

У страха глаза велики. Преступления Трещенкова столь велики, что власти уверовали в неизбежность на него покушения. Тогда они решают увести кровавого ротмистра в Иркутск. Дабы замести следы своего отъезда прибегают к следующей хитрости. 3-го июля 1912 г. полковник Васильев телеграфирует в Иркутск ротмистру Кулинскому: „Иркутск, ротмистру Кулинскому. Ротмистр Трещенков выедет отсюда после двенадцати пятого пятницы; служебную его переписку направляйте в Бодайбо. Этот открытый текст написан умышленно для наведения ложный след. Трещенков выезжает со мной, Семенкой четвертого. Передайте Кашену. № 47. Полковник Васильев“.

Но раньше, чем уехать из Бодайбо, полковнику Васильеву пришлось отписываться от еще одной неприятной телеграммы. 3-го июля за директора департамента полиции Кафафов телеграфировал полковнику Васильеву:

„Бодайбо полковнику Васильеву—газетах сообщается, будто бы ротмистр Трещенков предается сенаторской ревизией суду ввиду обнаружения делопроизводств. Белозерова денежных выдач ему на сумму 2400 рублей и по 15 рублей суточных с четвертого апреля. Телеграфируйте надлежащие сведения. За директора Кафафов“. Номера на этой депеше не было.

На это полковник Васильев ответил: „Петербург директору департамента полиции—Вчера я прибыл из тайги Бодайбо по дороге Иркутск. Перед отъездом явился сенатору, он не говорил мне по поводу денежных выдач ротмистру Трещенкову, которому ревизией также не предъявлялось такого вопроса, и суду он пока не предан. Ввиду оглашения газетах я сегодня прямо спросил ротмистра Трещенкова, и он, возмущенный, присутствии ротмистра Семенка, дал мне честное слово, что таких случаев не было. На днях однако губернатор говорил мне лично, будто бы компрометирующие ротмистра Трещенкова записи найдены в книгах Белозерова, источника сведений

не упомянул. Возможно означенные сведения сообщил находящемуся здесь корреспонденту „Русского Слова“ чиновник поручений губернатора Майин, непосредственно исполняющий все поручения забастовке, имеющий сношения упомянутым корреспондентом. Доношу дополнение № 50 моего № 46. Подписал полковник Васильев“.

Прошел год. Вблизилась годовщина лесского расстрела. В промерзшей припенской земле еще не таяли трупы убитых. И чувство страха закрадывается в душу тех, кто внутренне чувствовал себя виновниками бойни.

21 марта временно управляющий Витимским и Олекминским горными округами секретным отношением за № 895 сообщает помощнику начальника Иркутского губернского жандармского управления, подполковнику Шимановскому:

„По полученным мною сведениям в ночь с 19 на 20 марта в казарме № 47 Александровского прииска собралось около 35 рабочих, и один из них, личность коего не установлена, прочитал две телеграммы, яко-бы от рабочих тульских заводов.

В этих телеграммах будто бы содержались просьбы бастовать 4 апреля и постоять за себя, отомстив за пролитую кровь.

Сообщая о сем вашему высокоблагородию, прошу, если вы признаете это необходимым и возможным, установить путем надлежащего расследования были ли подобные телеграммы получены в Бодайбинской почтово-телеграфной конторе, и кому они были адресованы. Временно управляющий Витимским и Олекминским горными округами капитан Римский-Корсаков“.

А 1-го апреля за № 979 тот же капитан Римский-Корсаков препроводил жандармскому подполковнику Шимановскому копии двух докладов горного исправника Бутлера „о преступной агитации некоторых лиц среди рабочих Ленского Золотопромышленного Товарищества с целью вызвать забастовку на приисках и пред'явления к администрации ряда требований, с применением, для достижения успеха забастовки даже террора“.

В первом докладе Бутлер пишет: „Главноуправляющий Ленского Товарищества письмом от 9 сего марта сообщил мне, что один из самых ярых забастовщиков прошлого года, некий Зб о р е н к о, появился вновь на промыслах и поступил на работу на Александровский прииск по чужому паспорту. Кроме того, я получил заявление, что на Александровский прииск за последнее время стали появляться разные посторонние, не служащие в Ленском Товариществе люди, которые, посещая казармы рабочих, агитируют среди них и подбивают к новой забастовке.

В виду этого и в целях проверки полученных мною сведений, я в 3 часа в ночь с 22 на 23 сего марта перекинул на усиление Александровской команды горно-полицейских стражников с Феодосовской команды 26 человек и Надеждинской — 4 человека. Туда же были вызваны пристав 2-го стана Витимского горного округа Красновский и горно-полицейский урядник Феодосовского участка Соколов.

Степув, таким образом, сводную в 55 человек команду горно-полицейских стражников при двух урядниках Александровского и Феодосовского участков.

и имея в своем распоряжении пристава Красновского, я в 4 часа ночи прибыл на место рабочих казарм и личным распоряжением оценил их. Казармы эти составляют семь двухэтажных и десять одноэтажных построек, имел в себе 56 отдельных номеров-помещений.

Оценив, наряду было приказано находиться снаружи у дверей и не тревожить покоя рабочих до 6-ти-часового утреннего гудка, призывающего их на работу. При этом было разъяснено, что из помещения до особого распоряжения они никого не должны выпускать, и что обход будет производиться лично мною по порядку расположенных корпусов. Это делалось, главным образом, в той цели, чтобы задержать вышеуказанного забастовщика Зборенко, так как его в лицо знал и мог лишь указать один стражник Горбунов, который находился при мне при выпуске из помещений рабочих.

Ровно в 6 часов после свистка было приступлено к выпуску из номеров помещений на работу. Рабочие выходили и, проходя выходную дверь, предъявляли мне свой номер-бирку. У некоторых, около 10 процентов, бирок не оказалось, чего не должно было быть, — так как эти знаки, устанавливающие их самоличность и причастность к работам Ленского Товарищества, все работы должны быть у них на руках. В удостоверении самоличности и принадлежности к числу рабочих последние предъявляли мне свои расчетные книжки и тетради на заборку в артельной кухне продуктов.

Принимая таким порядком меры к задержанию названного Зборенко и выяснения его преступного пребывания на приисках под чужой фамилией, я, при выпуске рабочих из казармы № 11 по указанию стражника Горбунова, задержал Зборенко. По выяснении обстоятельств его нахождения на приисках, к моему величайшему изумлению, Зборенко предъявил мне свою бирку за № 3947 и расчетную книжку за тем же номером, выданную ему 2-й дистанцией на время операций 1912—13 г.г., где он именуется своим настоящим именем и фамилией „Степан Зборенко“. По осмотре представленной книжки оказалось, что Зборенко принят на службу 1-го октября 1912 года, и что паспорт для него от 11 января 1913 года за № 5-м выписан конторой прииска. Тут я должен оговорить, что Феодосиевский прииск, на котором до и во время забастовки находился Зборенко, находится в той же 2-й дистанции, где и Александровский прииск.

В виду выше доложенных обстоятельств пребывание Зборенко на Александровском прииске должно было быть признано вполне законным и легальным, почему я и был лишен возможности, не имея фактических данных вредной агитации и пропаганды его в настоящее время, изъять его из среды рабочих Александровского прииска и ограничить отобранием от него предупредительной подписки, которая, конечно, никакого существенного значения в дальнейшем иметь не может, но я был вынужден это сделать, чтобы чем либо закончить свое распоряжение о его задержании. Об этом я с предложением бирки и расчетной книжки за № 3947, отобранных от Зборенко, сообщил 24 сего марта за № 2 главному управляющему промыслами.

Проверяя наличность почтававших в рабочих казармах Александровского прииска, мною было обнаружено 55 человек, не входящих в состав рабочих

Александровского прииска, среди которых некоторые оказались без установленных видов на жительство, и все они без определенных занятий, хотя некоторые объяснили мне, что пришли для наемки. Часть из них—только что уволенные и рассчитанные с других приисков, а другая часть приезжих. Последние по преимуществу принадлежат к тем, которые работали на приисках в 1912 году и участвовали в забастовке.

Это последнее обстоятельство в связи с полученными мною сведениями, что на прииске этом появились разные сторонние люди, которые агитируют среди рабочих и подбивают их к новой забастовке, а равно наступающим роковым 4 апреля, вынудили меня, исключительно в целях принятия возможных на меня службой мер к предупреждению могущих быть осложнений и беспорядков, всех обнаруженных в числе 55 человек, не принадлежащих к контингенту приисковых рабочих, задержать до обследования как их документов, так и целей пребывания их в казармах рабочих Александровского прииска, где они безусловно на то права не имели".

Во втором докладе тот же Бутлер сообщает капитану Римекому-Порсаккову, что, полицейский урядник Александровского участка, Повезжа, сего числа доложил мне, что агентурным путем он узнал, что на прииск Ленского Золотопромышленного Товарищества приехал еще в начале зимы некий Сергей с целью агитации между рабочими. Агитацию свою он сводит к тому, чтобы устроить не в далеком будущем забастовку и путем этим добиться 8-часового рабочего дня, прибавки заработной платы, улучшения жизненных продуктов. Кроме того, этот Сергей агитирует в целях постановления памятника на могиле павших 4-го апреля 1912 года при столкновении с войсками.

Этот агитатор убеждает рабочих в безусловной необходимости забастовки, причем намерен сам лично выступить с террором. Он имеет список и ходит между рабочими, предлагая им присоединиться к его идее. Он говорит, что забастовка принесла много улучшения быту ленских рабочих, и уверяет, что новая забастовка даст рабочим еще больше прав. При этом он уверяет, что к забастовке все приготовлено, и она не будет неожиданной. По слухам, этот Сергей арестован мною при обходе рабочих казарм 23 марта на Александровском прииске, но рабочие уверены, что он будет освобожден, так как документы его, по которым он проживает, чистые".

Запланированная делегация рабочих, не имевших на работу 4 апреля 1912 г.

Несколько (по тогдашнему даже времени) расстрел безоружных рабочих вызвал бурные протесты по всей честно-мыслящей части страны. Но оказались люди—не только в Гомеле, Думе, но и в самом Водзиско, увлеченные с расстрелем марк государственным судрости. Ниже мы приводим несколько интересных документов, переданных сенатору Мануэлину:

„Ваше Высочайшее превосходительство, Высочайшепопавший Русский Волятин, Сергей Сергеевич.

Самое думать, что Вам, как безгранично облаченному высочайшей властью, по делу Ленского Золотопромышленного Товарищества, нужна одна

только правда, а в особенности по стрельбе в бастующих, поэтому, не увлекаясь никакими печатными иллюзиями, никакими газетными сплетнями, находящимися в полном, и если можно так выразиться, пристрастном заблуждении, со всеми их репортерами, ставшими на сторону бастующих, не исключая и Государственной Думы, из которой только два депутата, это г.г. Замысловский и Марков II, взглянули на дело как следует и резюмировали правильно, а то никто не вспомнил и не обмолвился о том, что не были ли охвачены забастовкою еще другие люди, кроме бастующих, что, дескать как им живется? Как они себя чувствуют? Как они переживают все время бушующей толпы, так что об этом как будто никому никакого дела. И все симпатии на стороне одних только бастующих, только один господин ротмистр Трещенков, дай ему Бог здоровья, вспомнил о нас, только он один не забыл и стал действительным защитником нас и нашего имущества, один только он не растерялся и дал понять всей взбунтовавшейся беспардонной толпе, готовящейся беспощадно уничтожить все, что только есть на поверхности земли Лепской и Алекминской округи, не исключая разумного человека и бессловесного животного, что в его руках есть средство, которым можно приостановить всякую злую волю, всякую пагубную попытку и, как раз средство это применил во-время. Устранив каких нибудь полтора десятка негодяев, он спас не менее 15-ти тысяч человеческих жизней, неимоверное множество скота, который должен был переколоть с голода, и нечислительное множество грандиозных и мелких обывательских построек. Такому благополучию—все мы оставались живыми—обязаны так это именно его энергии и не растерявшемуся его уму, и это более, чем ясно и справедливо, как видно из того, что он, Трещенков, не растерялся даже в такой момент, когда вся эта озверевшая толпа все возрастала и как с тылу, так и с фронта все теснее и теснее непонижаемым кольцом его сжимала и связывала и, несмотря на сигнальные его предупреждения и личные приказания начать стрелбю, разъяренная толпа, подбодраемая агитаторами, как видно из официального донесения по начальству г-на ревизора, Тульчинского, с дубинами, камнями и дрекольями, с полным остервенением бросилась на него, и для него не оставалось уже никакого исхода, как только сдать оружие бунтарям и просить у них пощады, но он и в такой роковой момент не забыл, что за его богатырскими плечами много тысяч есть мирных жителей, он сумел и успел внушить, образумить, и остановить этот неудержимый набег и выйти из него живым не только с горстью неустрашимых солдатиков, но сохранить и наши жизни, с полным благополучием всего нашего движимого и недвижимого имущества. Закончим об этом покуда словами двоих пассажиров, ехавших в поезде железной дороги—Анастасия Перфильевича Злобина и Викентия Львовича Томчина, разговаривавших между собою о смелости Трещенкова, его отваге и нерастерянности в такое время, когда в его распоряжении не было ни запасных резервов нижних чинов, ни шоссейных, ни железнодорожных, ни водяных, ни телеграфных сообщений, даже местные телефонные сообщения находились в руках бастующих, и что „если бы Трещенков немного зазедался, то теперь не только приископные стражи,

но и город Водайбо были бы уже уничтожены, да и нас с Вами уже не было". За такую его разумную и своевременную услугу, оказанную нам, и всему отброшенному адептусу краю, мы приносим ему, хотя очень слабую, и ничего для него незначущую, но за то от всего русского сердца благодарность нашу и, с уверенностью можно сказать, что много, или, по крайней мере, немало найдется и таких людей, которые будут во всю свою жизнь ежедневно поминать его имя в молитвах своих перед Богом. При всем том каждый из нас, оставшихся живыми, считал бы себя более чем счастливым, если бы мог слабую свою благодарность принести ему лично, но чья то преобладающая власть, по неведомым никому, соображениям, отняла у нас эту возможность, и мы не будем доискиваться: сделано ли это по наветам газетных силенов, по анонимным ли доносам, по своим ли недальновидным соображениям, но тем не менее наши чистые чувства обязывают нас благодарить г-на Трещенкова и благодарить без конца. В заключение всего смело можно сказать, что за пять, а тем более за десять тысяч верст, критиковать его деятельность не только нельзя, но и преступно. Ведь для того, чтобы дать всему подходящую оценку, так нужно побывать на месте, побывать в его шкуре, и с полною осторожностью быть уже судьей. Добавить к этому можно только то, что всего на бумаге изложить невозможно, но много было бы полезнее, если бы представилась возможность обясниться лично. Юния 11-го дня 1912 года заведующий хлебопекарнею Андреевского прииска Ленского Золотопромышленного Товарищества, Федор Иванов Молотов".

На другой день „истинно-русский“ Молотов писал ротмистру Трещенкову, что письмо это он послал из желания отличить его, Трещенкова, прибавляя, что „не дай Бог, чтобы вышло это в ту поговорку, что „услужливый дурак опаснее врага“.

Так, кажется, оно и вышло.

Н. Ростов.

К истории забастовки на лесных золотых приисках¹⁾.

I.

В этой же книжке „Вспомог“ читатели найдут статью Н. Ростова о лесных событиях, составленную по данным архива б. Иркутского губ. жанд. управления. В статье опубликованы некоторые, доселе неизвестные, документы; в ней, в частности, сгруппирована большая доля тех „данных“, на основании которых повый (вступивший лишь в половине апреля 1912 г. в должность) начальник жандармского управления полковник Васильев пытался спасти выдвинутой некоторыми заинтересованными кругами уже в самом начале стачки версию о том, что она возникла на почве агитации революционных элементов. Была проведена и несла противоправительственный, даже противогосударственный характер.

Правильная, по возможности, оценка этого материала требует предварительного выяснения целого ряда подробностей; прежде всего, необходимо установить источник тех сведений, которые были в распоряжении полк. Васильева. Сжатое (и, как будто, не очень точное) изложение этих сведений дано было им в телеграмме за № 24, от 6 июня 1912 г., которая начинается серией документов Ростова. О том, при каких условиях эти сведения Васильевым были добыты, мы можем сообщить кое что, со слов самого же Васильева.

Через пять недель по прибытии на Иркутское губернское жанд. управление и восточно-сибирского окрестного отделения (до Васильева во главе управления и окр. отделения стоял подп. Поповацкий, в апреле переведенный в Читу), Васильев должен был, по распоряжению министра полиции, выехать из Иркутска в Бодайбо, по случаю чинаши ревизии сенатора Манухина.

„За все время пути в г. Бодайбо по грунтовым дорогам и по реке Лена“ — писал Васильев впоследствии, в докладе от 24 октября 1912 г., на имя директора департамента полиции — „я старался выяснить себе те населенные пункты, в которых необходимо было бы иметь агитацию для раздачи листов и деятельности многочисленных политических партий. Разумеется, прежде всего мне необходимо было ознакомиться лично с теми сотрудниками, которые действовали уже до меня в попутных Верхотенском и Киренском уездах

¹⁾ Заметки по поводу статьи Н. Ростова: „Новое о лесных событиях“.

Иркутской губернии. Из таких сотрудников мне передан был один лишь сотрудник „Северный“, имевший пребывание в гор. Киренске. Находя одного сотрудника недостаточным для освещения происходивших тогда в Бодайбо больших событий, я еще из Иркутска позаботился подготовить себе новую агентуру и приобрел таковую в лице „№ 12-го“, оказавшегося не только вполне осведомленным в лесской забастовке, но состоявшим даже в числе тех семи человек, которые первыми начали агитировать о забастовке и о которых я телеграфировал из Бодайбо (депеша 6 июня № 24). Сотрудник № 12, дав мне тогда в г. Киренске некие сведения о положении дел на бодайбенских приисках, продолжает и поныне освещать деятельность селенно-поселенцев Киренского уезда¹.

„№ 12“ — это и есть, следовательно, та „киренская агентура“, о которой Васильев писал в своей телеграмме. „Витимская агентура“ — в сущности, не витимская, а также киренская: речь здесь идет об упомянутом выше киренском сотруднике „Северного“, которого Васильев не застал в Киренске, так как он временно находился в селе Витиме, верет на 500 ниже по течению р. Тени. „Совершенно случайно“, писал Васильев в том же докладе 24 октября, „в этом последнем селении мне удалось не только повидаться с „Северным“, но и подробно поговорить о делах. Оказалось, что сотрудник этот со времени командирования ротмистра Тренченкова в Бодайбо оказался совершенно оторванным и от ротмистра и от управления, не давших ему указаний для сношений, вследствие чего он лишился возможности сообщить своевременно имевшиеся у него сведения о забастовке в Бодайбо. Совокупность сведений „№ 12“ и „Северного“ и послужила содержанием вышеназванной моей депешы за № 24“¹).

Итак, сотрудники „Северный“ и „№ 12“ — вот авторы агентурных сведений, составивших содержание телеграммы № 24. Впрочем, сравнивая письмо „12-го“ с телеграммой Васильева, мы затрудняемся сказать определенно, что именно в этой телеграмме принадлежит „Северному“; большею частью, принадлежат ли ему вообще что либо существенное, не приутаило ли его лишь для того лишь, чтобы придать сведениям „№ 12“ больше солидности?

О личности „Северного“ у нас имеются следующие данные: на службу в жандармы он поступил, вероятно, летом 1911 г., так как депеша об этом послана была из Иркутска 7 сентября 1911 г. Видевший его в 1913 г. чиновник ок. поручений при Васильеве Корбачев докладывал потом, что „Северный“ — политический селенно-поселенец из мешан, осужденный в 1907 г. явской судебной палатой по 1-му пункту 126 ст. уст. улож. за участие в 1905 г. в стачечном комитете всероссийского железнодорожного союза. Состоит секретарем Бакаевского районного комитета. Партийные и арские связи поддерживает. Жена „Северного“ поддерживает связь с Бронев-Брониковской о службе мужа и роману она знает. „Северный“ получает еженедельно 20 руб.

¹) Цитированная депеша подполковника Васильева — в деле Петров. Истор. Гос. Арх. Ос. Отд., 1914 г., № 1, ч. 27 лит. Д.

в месяц; в 1913 г. — в мае, очевидно, — по распоряжению Васильева, Коробчаков обещал ему 50 руб. в месяц. До мая 1913 г. „Северный“ служил конторщиком в пароходстве Глатовых, но в тот момент, когда его видел Коробчаков, он находился уже без дела¹⁾.

1 декабря 1913 г. „Северный“ уволен был от службы в жанд. упр., так как совершенно прекратил работу²⁾.

Телеграмма № 24 основана целиком на сведениях агентов, находившихся во время событий 1912 г. очень далеко от места забастовки.

„Бодайбо агентуры нет совсем“, — этими словами оканчивается телеграмма. Об отсутствии в Бодайбо агентуры Васильев писал также впоследствии, в докладе от 24 октября. Прибыв в Бодайбо, он из доклада ротмистра Трещенкова узнал, что „там нет и не было никакой агентуры, сам же он (т. е., Трещенков. — Ш. Л.) пользовался только случайными заявителями от рабочих“. Васильев старался во время своего пребывания в Бодайбо восполнить этот пробел, однако же, не имел почти никакого успеха („состоятельства сложились тогда крайне для того неблагоприятно“, объясняет он). И после, когда Васильев и Трещенков уехали из Бодайбо, когда последнего сменил подполк. Шимановский, долгое время остававшийся в Бодайбо (резиденцией помещика нач. ирк. жанд. упр. по Верхол. и Киренском уездам был Киренск), жандармы не могли наладить сколько-нибудь агентуру. Это обстоятельство не лишено было значения как для хода самой стачки, так и во время расследования. Не имея на месте своего привычного орудия, жандармы бессильны были достаточно полно выяснить внутреннюю историю событий и познать на ход следствия и ревизии. Мы не хотим этим сказать, что агентура, если бы она существовала на приисках, в состоянии была бы дать какой-либо стесненный материал для обоснования жандармской точки зрения на события (стачка подготовлена и проведена политиком и т. д.). Но наличие на месте осведомленной агентуры могло бы, во всяком случае, осветить ход следствия.

II.

На личности № — ра 12-го и содержании его письма (главного жандармского аргумента, по словам Н. Ростова) стоит остановиться подробнее. Сотрудник, носивший кличку „№ 12“, упоминается в делах арх. департа. полиции о секретной агентуре Иркутского жандармского управления только два раза: в известном уже читателю докладе Васильева от 24 октября 1912 г. и в его же донесении от 2 июля 1913 г., которое сообщает, что „№ 12“ с 1-го июня самовольно прекратил работу, выехав неизвестно куда, ввиду чего он с этого числа уволен со службы. Можно, однако, предположить, что к тому же лицу отно-

¹⁾ Извлечения из доклада Коробчакова — в том же деле Ист.-Рев. Арх.

²⁾ Донесение Васильева от 4 февраля 1914 г., И.-Р. Арх., Ос. Отд., 1914 г., № 1, ч. 27 лнт. Д.

сителя одно место в упомянутом выше дознании Коробчакова, который совершил в мае и июне 1913 г. поездки из Иркутска в Бодайбо и обратно, и которому, между прочим, поручено было полковником Васильевым ознакомиться с постановкой розыска у преемника Трещенкова, подп. Шимаковского. Коробчаков имел свидания с агентами Шимаковского в Бодайбо и в Киренске; в последнем городе ему представлялись секретные сотрудники „Секретный“ (отзыв Кир. о нем см. выше) и „№ 13“. Мы думаем, что этот „13-ий“ есть именно тот агент, которого завербовал в 1912 г. Вискиз, дав ему кличку „двенадцатого“. Кличка могла быть несколько изменена, хотя бы по конспиративным соображениям, как это часто практиковалось. С другой стороны, Коробчаков или переписчики могли просто спутать цифры.

Вот что Коробчаков сообщает о „№ 13“: „№ 13“ — грузин, осужденный в 1908 году судебной палатой по 1 ч. 126 ст. Уг. Улож. по делу 1907 года. Состоял, как говорит, членом тифлисского еженеделного районного комитета. Утверждает, что прежних связей партийных связей не теряет. Сейчас занимается в г. Киренске торговлей (мелочная лавка) и содержит меблированные комнаты (на чужое имя). Из-за открытия этих меблированных комнат имел столкновение с местным исправником. Общее впечатление: скорее аферист и мелкий торговец, чем партийный человек. Жаловался мне на вымогательства полиции, в связи с его хлопотами о разрешении открыть на имя жены меблированные комнаты“... „При следовании в передний и обратный путь и виделся с киренским уездным исправником Макаровым, при чем последний сообщил мне, что в Киренске имеется торговец, и главное притонодержатель, который, насколько известно ему, исправнику, дает сведения вахмистру Руппа, причем последний иногда посещает его. Этого обстоятельства вахмистр Руппа, при моих расспросах, не отрицал. Можно сказать с уверенностью, что „№ 13“ давно утратил (еще при ротмистре Трещенкове) необходимую для секретного сотрудника конспиративность. „№ 13“ просит о перемещении его в какой-либо другой пункт Иркутской губернии, мотивируя эту просьбу обостренными отношениями с наружной полицией; между прочим, он сообщил мне, что Киренский уездный исправник Макаров, будучи в гостях у подрядчика Ильина, говорил во всеуслышание о нем, „№ 13“, как об агенте жандармов. Проверить, насколько справедливо, в данном случае, заявление „№ 13“, возможности мне не представилось за недостатком времени. Содержанием из оклада 25 рублей в месяц „№ 13“ удовлетворен по 1-е мая сего года“. Сведения „№ 13“ вахмистр Руппа писал в двух экземплярах, представляя один непосредственно начальнику своему Шимаковскому, находившемуся в Бодайбо, а другой — в Иркутск, полковнику Васильеву¹⁾.

Относится ли все это к тому самому лицу, которое было принято на службу, под кличкой „№ 12“, полковником Васильевым за год до ревизии

¹⁾ Визисна и дознания ротмистра Коробчакова от 30 июня 1913 г. на имя начальника иркутского губ. жанд. управления. Приложена и доклад полк. Васильева директору департамента полиции от 5 июля 1913. Ист.-Рев. Арх., Ос. Отд., 1914 г., № 1, ч. 27 лит. Д.

Коробчакова? Мы полагаем, что да. Иначе, почему Коробчаков, который был в Киренске в мае 1913 г. (на обратном пути в иркутск?), когда „№ 12“ еще числился на службе (он был уволен с 1-го июня), с ним не виделся и ни слова о нем не говорит, хотя подробно останавливается на всех решительные и бодайбевских и киренских агентах? Да и откуда—в том случае, если „№ 13“ и „№ 12“ не одно лицо,— мог явиться новый агент—„13-ий“? Из донесения Коробчакова, кажется, можно заключить, что „13-ий“ начал службу еще в бытность помощником начальника управления Трещеникова, устраненного от должности, как известно, 18 июля 1912 г. Значит, „13-ий“ стал сотрудником до этого срока. С другой стороны, помн. Васильев получил в наследство от своего предшественника Познанского одного только сотрудника по Киренскому и Верхоленскому уездам—„Северного“. Стало быть, „№ 13“ начал службу секретным сотрудником в течение весьма короткого времени, протекшего от вступления в должность Васильева до увольнения Трещеникова, точнее, во время поездки Васильева из Иркутска в Бодайбо и обратно. Но Васильев говорит в своем позднейшем докладе (октябрьском), в котором он подводит итоги этой поездки, лишь о приобретении по Киренску „двенадцатого“ и ни слова не упоминает ни о „13-ом“, ни о каком бы то ни было другом агенте. Да и вообще, нигде в делах Пет.-Рев. Архива,—помимо донесения Коробчакова и краткого доклада Васильева, при котором это донесение было препровождено в департамент,—нет упоминания о „13-ом“: нет ни уведомления о его поступлении на службу, ни донесения об его увольнении.

Кроме того, трудно объяснить то поразительное сходство, какое, при ближайшем рассмотрении, оказывается у „12-го“ и „13-го“, иначе, как принадлежностью обеих кличек одному лицу. В самом деле. „№ 13“—грузин; „№ 12“, судя по его письму, тоже, по видимому, кавказец (ср., напр., след. строки: „Знаю от Харатова Мелика... он, как мой хороший знакомый и как земляк“... и др. места). „№ 13“ судился в 1908 г.; это не противоречит тому, что мы знаем о „12-м“, приехавшем в Бодайбо в начале весны 1910 г. „№ 13“ занимается в г. Киренске торговлей, имеет мелочную лавку; а „12-ий“ о себе пишет: „Знаю мало потому, что оторвался от них, открыл здесь в Киренске свою собственную торговлю“. „№ 13“ находится в обостренных отношениях с иркутской полицией: в том усердии, с которым „12-ий“ старается обличить и скомпрометировать полицию (достается при этом и киренской администрации) чувствуется нечто большее, чем простое внешнее извне, со стороны жандармов; скрывается, как будто, также личная заинтересованность. Общее впечатление Коробчакова: 13-ий „скорее аферист и мелкий торговец, чем партийный человек“. Такое же точно впечатление производит автор письма, „№ 12“. Сведения „№ 13-го“ (очевидно, все, а не наиболее выдающиеся) посылались не только Шимановскому, но и самому Васильеву. Такой особый интерес Васильев мог, скорее всего, проявлять именно к „12-ому“, которого он сам принял на службу и от которого потом получал (ср. доклад от 24 октября) сведения о деятельности ссыльно-поселенцев Киренского уезда.

Словом, мы убеждены, что перед нами в лице „12-го“ и „13-го“ — один агент. Стало быть, все, что рассказывает Коробчаков о „13-м“, следует приписать и герою публикуемых Ростовым документов — П. Г. М. или „Двенадцатому“. Впрочем, если бы это наше убеждение даже оказалось ложным, существо дела не изменилось бы: личность „12-ого“, так много потрудившегося для того, чтобы доказать роль самых политиков в организации стачки, несколько потеряла бы в своей конкретности — и только. Одно же останется несомненным: если „12-ый“ и не тот „притондержатель“, о котором говорит Коробчаков, то он, во всяком случае, такой же „аферист и мелкий торгаш“, как и тот.

Поэтому к его сведениям следует подходить с особой, исключительной осторожностью: это относится и к тем выводам, которые делает „№ 12“ в своем письме, и к фактам, на которых выводы эти основываются. Наиболее ценный для жандармов вывод „12-го“ (формулирован в словах: „Забастовка на приисках была довольно подготовленная и сознательная“). Но вывод этот (мы пишем здесь в виду „подготовленность“ стачки) вовсе не вытекает из тех фактических сведений, которые сообщает автор письма. Ему абсолютно не удалось установить связь между деятельностью той нелегальной группы, которая, будто бы, возникла — при его участии — в 1910 г., и стачкой 1912 г. Он и сам признается: „Дела были хороши, пока я был там, а дальше я знаю мало, знаю мало потому, что сам оторвался от них, открыл здесь в Киренске свою собственную торговлю и отстал от них совершенно“. Отстал не один „№ 12“. Из того же его письма мы знаем, что некоторые участники группы задолго до стачки уехали за границу. Из называемых им в числе членов организации лиц мы знаем определенно двух, находившихся в Бодайбо во время стачки: это — Л. Г. Голубков и Скворцов. 14 апреля 1912 г., значит, вскоре после кровавых событий на Тоне, в Нижнем-Новгороде у местного с.-д. З. А. Левита, задержанного на собраниях с.-д., обнаружен был адрес: Бодайбо, Прикутской губ., Льву Григорьевичу Голубкову, для передачи Михаилу Васильевичу Скворцову. Выяснено было, путем переписки с Прикутском, что Скворцов — ссыльно-поселенец Киренского уезда, находившийся на жительстве в Бодайбо без надлежащего разрешения, вследствие чего он арестован был Тренниковым и предан им мировому судье за нарушение устава о ссыльных ¹⁾. Никаких, однако, оснований предполагать участие Голубкова и Скворцова в проведенной забастовке у нас нет. Говорить вообще о влиянии этой организации (во всяком случае, непосредственном) на возникновение стачки 1912 г. мы также не имеем абсолютно никаких данных ²⁾.

Значит ли это, что сообщения „№-ра 12-го“ ничего не стоят? Нет. За нами надо признать известный интерес, так как самый факт существования в прикутском районе — пусть задолго до стачки — нелегальной организации, если бы он подтвердился, следовало бы считать весьма любопытным с точки

¹⁾ Ист.-Рев. Архив, дело Ос. Отд., 1912 г., № 5, ч. 27.

²⁾ „12-ый“ говорит еще о б. деп. Натик и Тренникове. Но эти имена не фигурируют ни в одном из остальных источников.

зрению историка движения рабочих на ленинских приисках вообще, в частности же для историка стачки 1912 г. Ибо историк последней должен будет подробно обследовать внутреннюю, интимную сторону движения, до сих пор еще остающуюся весьма слабо освещенной. Он должен будет непременно подойти к событиям не только с точки зрения выяснения исторических условий труда на приисках, с одной стороны,—позорной роли правительства и местных судебных и жандармских органов,—с другой; а именно этим преимущественно заняты были, по понятным причинам, писавшие до революции о событиях или говорившие о них с трибуны Гос. Думы (3-го и 4-го созывов)¹⁾. Историк должен будет понять самого приискового рабочего, уровень его политического сознания, впечатление, произведенное на него событиями 1912 г. Нужно будет также выяснить подлинных руководителей и организаторов стихийно вспыхнувшего движения. Нужно будет, наконец, установить все имевшее место до забастовки (в особенности на протяжении последних пред-забастовочных лет); попытаться сплотить рабочих для борьбы и выяснить их характер и ближайшие результаты. Сделать это лучше всего смогут сами участники событий или достаточно хорошо осведомленные наблюдатели. И вот, в этой будущей работе, при разрешении последнего из поставленных выше вопросов, пригодится также письмо „12-го“.

Нельзя не высказать пожелания, чтобы опубликованы были и остальные, представляющие интерес документы из дела Иркутского жандармского управления, а также другие, относящиеся к ленинским событиям, материалы столичных и сибирских архивов.

III.

В телеграмме № 24 Васильев, между прочим, сообщает, что приведенные в ней сведения доложены им ревизирующему сенатору. Через месяц, приблизительно,—3-го июля,—Васильев доносил, что судебное следствие и расследование сенатора закончены, и что политический характер стачки формально не удалось доказать.

О том, к каким выводам по вопросу о характере стачки пришла ревизия, мы знаем из ответа сенатора Манухина²⁾. Выводы эти изложены в главе „Причины забастовки 1912 года“³⁾.

¹⁾ Новейшая брошюра А. Тюшевского, „К истории забастовки и расстрела рабочих на ленинских приисках“, Петербург, Госуд. Изд., 1921, представляет собой преимущественно пересказ данных, собранных в книге: „Правда о ленинских событиях“. Издание П. П. Баташева. Москва, 1913. („Правда о ленинских событиях“ являлась литературным итогом работ комиссии адвокатов, производившей на месте расследование ленинских событий. В состав комиссии входили: А. М. Никитин, А. Ф. Кересовский, А. А. Тюшевский, Г. В. Патупинский и С. А. Кобылов. В обработке материалов, как видно из пореволюционного послесловия А. Никитина к книге, принимали участие: Е. А. Фальковский и Б. Д. Фридман).

²⁾ „Воспомянутый отчет члена Государственного Совета, сенатора, тайного советника Манухина по исполнению Высочайше возложенного на него 27 Апреля 1912 года расследования о забастовке на Ленинских приисках. 1912“. Тип. штаба отд. корпуса пограничной стражи, СПб., В. О. у бр-жи.

³⁾ Всен. отчет, стр. 233-301.

По мнению составителей отчета, забастовка носила явно выраженный эконо-мический характер. „Однако, с первых дней прекращения работ воз-никло предположение о том, что оно явилось по-следствием политической агитации образовавшегося в среде рабочих стачечного комитета“ ¹⁾. „Соб-ражения, на основании которых предположено было, что забастовка на при-исках Ленского Товарищества возникла по причинам политического характера, выводились из содержания некоторых требований рабочих, из предположений о наличии преступной агитации среди рабочих, а также и влияния на них ссыльно-поселенцев и, наконец, из самой организации забастовки, уста-новившей среди ее участников строгую дисциплину. Политический характер домогательств рабочих усмотрен был в требованиях об увольнении некоторых присковых служащих, о восьмичасовом рабочем дне и об учреждении рабочей комиссии“ ²⁾.

Отчет оспаривает все эти соображения. Прежде всего, он подвергает подробному рассмотрению каждое из указанных выше требований рабочих.

Требования об удалении некоторых служащих выставлялись и во время прежних забастовок, и администрация, в большей части случаев, сама их удовлетворяла. „Поводы к недовольству служащими за их грубость, жесткое обращение и т. п. имели при всех забастовках жизненно-бытовой характер и никаких признаков политических побуждений в себе не таили“ ³⁾. Вы-ставленное рабочими пожелание о восьмичасовом рабочем дне основывалось на чисто технических и местных условиях. Следует притом заметить, что требо-вания рабочих о сокращении рабочего времени не имели ни безусловного, ни даже постоянного характера“ ⁴⁾. Третье изжитое под подозрение требование рабочих—чтобы „администрация не увольняла рабочих личным капризом, а делала это с ведома рабочей комиссии“—отчет сен. Манухина, хотя и на-ходит практически неприемлемым для Товарищества, не усматривает в нем, однако, ничего политического и даже полагает, что оно предвещало „естественным стремлением участников забастовки ограничить применение присковым управлением произвольное увольнение с работ без достаточных оснований“ ⁵⁾.

„Переходя к вопросу о причинной связи, которая могла быть установлена между преступною агитациею среди рабочих и возникновением забастовки“, отчет приводит мнение по этому вопросу бывшего нач. приг. губ. жанд. управ-ления Познанского. „Высказывая предположение об организации забастовки на приисках Ленского Товарищества социал-демократическими сообществами, полковник Познанский ссылался на статьи, появившиеся в 1910 и 1911 годах в заграничных изданиях, в которых социал-демократические организации в России призывались к руководству экономической борьбою рабочих,

¹⁾ Там же, стр. 286.

²⁾ Там же, стр. 287.

³⁾ Там же, стр. 288.

⁴⁾ Там же, стр. 288.

⁵⁾ Там же, стр. 289.

причем „партийным организациям“ рекомендовалось „строго следить за состоянием промышленности и решать вопрос о рабочих стачках лишь в зависимости от самой строгой оценки последствий приостановки производства“. Между тем деятельностью чинов жандармского управления следов такой организации или руководства рабочими на ленских приисках добыто не было“. Следственная власть также не добила „никаких указаний ни на предшествовавшую прекращению работ политическую агитацию, ни на какое либо участие в последующих событиях революционных сообществ“.

„Единственные в сем отношении проявления противо-правительственного настроения были усмотрены в трех экземплярах гектографированных воззваний, из которых два оказались расклеенными даже не на приисках, а в городе Бодайбо, а одно доставлено горно-полицейскому уряднику Феодосиевского прииска Тихонову рабочим того же прииска Капустинным. Первое из упомянутых воззваний пришло от имени „общей дружины“ рабочих не занимаясь в Бодайбо „к Ленцам“ и не вредить делу дружины, с предупреждением, что „в противном случае каждый будет наказан“. Второе и третье воззвания, одинакового содержания, составленные от имени „союза горнорабочих“, под заглавием „Рабочим от рабочих“, призывали этих последних стойко добиваться осуществления предъявленных к Ленскому товариществу требований, не доверять Тульчинскому, который „меняет шкуру по сезону“, и не бояться „полицейской собаки—жандармского ротмистра Тренченкова“.

„Несмотря, однако, на все принятые меры, никаких указаний на самое существование упомянутых в воззваниях сообществ добыто не было. Появление же упомянутых трех ничтожных, малограмотных воззваний, при неизвестности того, кто их составил, и при отсутствии указаний на какой либо успех или воздействие их на рабочих, само по себе не давало еще никаких оснований утверждать ни о доказанности политического элемента в движении, ни тем менее—об участии в забастовке революционных организаций“¹⁾.

Далее, отчет обращается к вопросу о значении ссыльно-поселенцев в забастовочном движении. К предварительному следствию всего привлечено было в качестве обвиняемых в принадлежности к забастовочному комитету 19 лиц. „Из них 13 были рабочими, не состоявшими под судом, двое—Ваташев (Михаил Михайлович.—III. X.) и Попов (Николай.—III. X.), не будучи сосланными на поселение, поселили, однако, по суду менее тяжкие наказания за государственные преступления, а остальные четверо—Думпе (Эдуард; во всех других источниках значится не Думпе, а Думке.—III. 7.), Розенберг (Индрик Замелов, или Самойлов.—III. X.), Соболев (Александр.—III. X.) и Зеленико были ссыльно-поселенцами, сосланными за преступные деяния политические (Согласно данным, оглашенным тогдашним министром внутр. дел Макаровым в заседании Гос. Думы 11 апреля 1912 г., Соболев осужден был в 1908 г. вильнюсским военно-окружным судом, Думке—в 1907 г. временным военным судом в Риге, Розенберг—в 1906 г. временным военным судом Забай-

¹⁾ Там же, стр. 290-291.

кальской области. — III. X.). Кроме того, было обнаружено, что участие в забастовочном движении принимали еще другие три, не состоявшие в числе рабочих лесных приисков политических ссыльных, а именно Черепашин (Григорий. — III. X.): Украинцев (Матвей. — III. X.) и Волошин. Эти рабочие до забастовки проживали в приисковом районе без установленных разрешений. Остальные же все поименованные лица работали на приисках с ведома полицейской власти¹⁾.

„Таким образом, среди шеститысячного рабочего населения Лесных приисков, разбросанного притом на расстоянии многих десятков верст друг от друга, находилась группа лиц, очень сравнительно немногочисленная, за которыми в прошлом числилась преступная в политическом отношении деятельность“²⁾.

Относительно влияния этой группы лиц на других рабочих отчет сообщает: Зелинко считался председателем выборов Андреевского прииска. „При этом деятельность Зелинко проявилась в участии при выработке домогательств рабочих Андреевского прииска, в которых именно не содержалось ни одного из требований, впоследствии подавших повод усмотреть влияние на забастовку социалистической пропаганды“.

„Другой, сосланный за политическое преступление, ссыльной поселенец Думне, не принадлежа вовсе к забастовочной организации, все время был противником забастовки. Участие его в последней проявилось также лишь в формулировке требований, выработанных на общем собрании рабочих 3 марта 1912 года. Наконец, еще один из выборов, Баташев, понесший наказание за политическое преступление, принимая участие в забастовке, в конце марта, после возвращения на прииски инженер Тумлинского, убедился в беспредельности дальнейшего продолжения забастовки и, совместно с другими выборными, стал убеждать рабочих принять предлагаемые приисковым управлением условия. Эти убеждения имели, однако, совершенно неожиданное последствие, в виде возникновения слухов о том, будто выборные подкуплены приисковой администрацией“³⁾.

„Таким образом“, читаем мы несколько ниже, „из совокупности добытых при расследовании данных выяснилось, что ссыльно-поселенцы вообще не только не были руководителями забастовочного движения, но и не всегда сочувствовали ему. Дейтельность их, без сомнения, могла проявиться, и проявилась, в несмысленном изложении домогательств, в ведении переговоров с местными органами власти и с приисковой администрацией, так как ссыльные принадлежат

¹⁾ Кроме названных в этом месте отчета лиц, в разных источниках упоминаются еще имена следующих более видных участников стачки и выборов: Поганн Александров Вудевин, Маринковский, Журавов, Иванов, Вепинов, Вязовой (или Вязовой?), Еким Минюжадов, Соломин, Герасименко (все эти лица, вместе с Соболевым, Думне и Розенбергом, были арестованы Трещенковым в ночь на 4 апреля 1912 г.); Бяков, Романов (также подлежал аресту, но успел скрыться, см. Отчет стр. 283); Афанасий Беснальченко (Отч. с. 187); Пил Карло, Дежидов (Отч. с. 216-217); Митрофан Пешков (Отч. с. 230); Гавриил Воляров (Отч. с. 238); Лемник (Отч. с. 210); Евгений Вострих (см. еще целую статью с-х. газету „Иркутское Слово“) — III. I.

²⁾ Там же, стр. 291-292.

³⁾ Там же, стр. 292.

и члену более грамотных и развитых рабочих. Но, говоря о деятельности этого рода лиц, нельзя упускать из виду, что в области приложения умственного или так называемого интеллигентного труда, труд сильно-поселенцев вообще, и по преимуществу поселенцев политических, распространен повсеместно во всей Сибири. Поэтому не удивительно, что и на Ленских присеках сильно-поселенцы, хотя в сравнительно ничтожном числе, но принимали участие в стачке, наряду со всеми другими рабочими¹⁾.

Засим, отчет отмечает, что в 1905 и след. „тревожных годах“ спокойствие на присеках не нарушалось, и что за все время стачки 1912 г. ни в рабочих казармах, ни, в частности, у сильно-поселенцев не было обнаружено революционной литературы или каких либо воззваний, указывавших на агитационную их деятельность, „и на всех шумных и многочисленных сходках рабочих обсуждались исключительно вопросы бытовые и экономические, имевшие узко-практическое, но для рабочих существенное значение“.

В виду сего и помимо всех прочих данных расследования, свидетельствующих об экономическом значении забастовки, „одно присутствие несмышленых сильно-поселенцев в среде бастовавших в 1912 году рабочих не могло еще придавать этой забастовке политического характера“²⁾.

Наконец, отчет рассматривает еще один довод защитников мнения о политическом характере стачки: движение было организованным; во главе его стояли выборные, поддерживавшие строгую дисциплину. Отчет поясняет, как в силу местных условий, организация сложилась именно в том виде, в каком она существовала; напоминает, что „первые шаги, направленные к упорядочению возникшего движения“, предприняты были по инициативе присековой администрации и властей, и удостоверяет, что „выбор рабочих в подавляющем большинстве случаев пал не на беспокойные элементы, а на лиц, выделявшихся спокойною деловитостью и относительным развитием“, а также что „выборные в значительной мере содействовали мирному течению забастовки“³⁾.

В результате, составители отчета еще раз подчеркивают, что „предположение о политическом характере забастовки не имеет за собою никаких веских оснований. Напротив того, по решительному заявлению огромного большинства как рабочих, так и других допрошенных при расследовании свидетелей, в том числе многих лиц, давно и близко ознакомленных с местным населением и его жизнью, забастовка 1912 г. возникла на почве общего недовольства рабочих своим положением, под воздействием чисто экономических причин и протекала мирно, при единодушном стремлении забастовщиков воздержаться от всяких нарушений порядка“⁴⁾.

Обращает на себя внимание полное игнорирование отчетом тех сведений, которые, как это видно из телеграммы № 24, несомненно должны были сенатору Манухину быть изложены начальником жанд. управления Васильевым. Отчет

¹⁾ Там же, стр. 293.

²⁾ Там же, стр. 293-294.

³⁾ Там же, стр. 294-295.

⁴⁾ Там же, стр. 297.

ссылается лишь на мнение предшественника Васильева, полковника Познанского. Но больше того, отчет не только не упоминает о докладе Васильева, который, как известно читателю, пытался установить связь между возникновением стачки и предшествовавшей агитацией революционных элементов, но, отрицая совершенно существование этой связи, ссылается, как на результаты следствия, так и на самих жандармов. „Деятельностью чинов жандармского управления“, читаем мы на стр. 290 отчета, „следов такой организации или руководства рабочими на ленских приисках обнаружено не было“. В другом месте составители отчета пишут: „От мнения этого (о политич. характере и противогосударственном значении стачки.—Ш. X.) отказалось и правление Ленского Товарищества; его не поддерживали представители местной административной власти, за исключением бывшего начальника Иркутского губернского жандармского управления, полковника Познанского, и его помощника, ротмистра Трещенкова“¹⁾. Но, ведь, мнение это защищал также новый жандармский начальник Васильев. Почему же отчет молчит об этом?

В конце той же главы о „причинах забастовки 1912 года“ отчет отмечает весьма неудовлетворительную постановку в приленском крае наблюдения за деятельностью политически неблагонадежных лиц. Трещенковым „не было организовано сколько нибудь бдительного надзора даже за политическими ссыльными. Все получаемые ротмистром Трещенковым сведения о жизни и настроении прискогого населения основаны были на случайных и непроверенных данных, причем единственный рабочий, которого ротмистр Трещенков указал, как на источник получавшихся им агентурных сведений, оказался лицом, не заслуживающим, по своим нравственным свойствам, никакого доверия“²⁾.

Витимская и киренская агентура из доклада Васильева обойдена совершенно молчанием. Трудно понять, почему сенаторская ревизия в своем отчете не остановилась и на этом жандармском аргументе, хотя бы для того только, чтобы исчерпать все доводы противников защищавшегося ею мнения.

Агентурные сведения, которыми оперировал Васильев, могут быть, конечно, и агентурным вымыслом; но мы допускаем также, что „12-й“ сказал отчасти правду; допускаем, что за год—полтора до событий 1912 г. в Бодайбо и на приисках, действительно, существовала,—м. б., в зародышевом состоянии и в течение короткого времени—незаконная организация. Ясно, что это, в сущности, не поколебало бы основного вывода сенаторской ревизии: стачка 1912 г. возникла не вследствие агитации-немногочисленных революционных элементов, если даже такая агитация и велась, а „на почве общего недовольства рабочих своим положением, под воздействием чисто экономических причин“ (Заметим, кстати, что сенатор, очевидно, приемлет жандармский взгляд на политическую и экономическую стачки. Как будто стачка перестала бы быть экономической, если бы было установлено, что ее возникновению предшествовала или даже содействовала агитация более передовых элементов).

¹⁾ Там же, стр. 301.

²⁾ Там же, стр. 301.

Другой, затронутый ревизией Манухина и интересующий нас, вопрос касается размеров влияния в ходе самой стачки более сознательных элементов, элементов политически определившихся, в частности, из среды ссыльно-поселенцев. Составители отчета склонны чересчур преуменьшить, принизить их роль, что, вероятно, объясняется общей тенденцией отчета представить присыльных рабочих абсолютно благонамеренными. Нельзя, как это делают авторы отчета сенатора Манухина, приравнивать роль ссыльного революционера в совете выборных бастующих рабочих к роли ссыльных, например, в цензовой городской управе или каком-либо ином учреждении или предприятии, пользующимся трудом политического ссыльного. Нельзя всего валить на местные и технические условия, как поступает отчет и в данном вопросе и в вопросе о требованиях рабочих. В требовании 8-ми часового рабочего дня (не 7-ми и не 9-ти, а именно восьми-часового дня), с нашей точки зрения, сказалось влияние более передовых элементов, сказалась традиция общерусского (а через него, конечно, и международного) движения, хотя бы даже большинство симбирских, нижегородских, вятских, тобольских и иных крестьян, принимавших участие в стачке, и не сознавали этого ¹⁾.

Приведем одно свидетельское показание, подтверждающее, как бы, наши предположения о большей, чем утверждает отчет, роли „неблагонадежных“ лиц. Неизвестный нам политический пишет 9 августа 1912 г. из Жигалова в Париж: „Там (т. е. в Жигалове; автор письма жил в 4 верстах от него.—ИЛ. Л.) теперь переполюснено все и вся бодайбенскими рабочими. Здесь в Жигалове пристань, и так как все рабочие едут с присылов, то их и доставляют сюда на лодках и пароходах, а отсюда уже до железной дороги на лошади. Настроение среди них пока прекрасное. Прибывают партиями по 700-800 человек, у каждой партии есть выборная депутация. Вчера здесь скончалось около 3000 рабочих, ибо ранее прибывшие партии не хотели отсюда уезжать, добиваясь подвоза, а им предлагали и выдавали деньги, но так как подвозы не вероятно вздоржали, то деньгами стало брать невыгодно для рабочих. Требования их отчасти удовлетворено, и вчера 1500 человек отбыли отсюда. Устраивают митинги с совершенно открыто и политики не вмешиваются. Проехал под конвоем и главный руководитель стачки Баташев, брат члена Госуд. Думы

¹⁾ Правильно заметил по этому поводу депутат Некрасов (в зас. III Гос. Думы 9 апреля 1912 г.): „Я думаю, что вопрос социалистической или социальной идеи присутствовал в великой забастовке, и те элементы, в которых представители андлангеров усмотрели особую предвзятость с его точки зрения элемент, эти основания послужили во великой забастовке, во великом рабочем движении“.

²⁾ В другом письме, от 30 июля 1912 г., того же, по видимому, автора письма к нему пишет: „В настоящее время, жила в Жигалове, действительно приходится пережить все не 1907 г., то год 1907-й, а именно: почти всеобщее уличное сбирание и массовое движение протестных и протестующих среди местных присыльных рабочих. Жигалово еще не пережило такого явления, для него это новость. Как реакция того, что им приходится слышать и читать по литературе о рабочем движении (Симбирские письма—в деле Ист.-Рев. Арх., Ос. Отд., 1912 г., № 5, ч. 27 лн. Б).

Роль его, как видно из рассказов рабочих, была очень велика, свои рассказы они его именем начинают и тем же кончают“¹⁾).

О дальнейшей судьбе этого, по словам автора письма, главного руководителя стачки мы имеем лишь следующие данные: в составленной 10 марта 1913 г. в московском охранном отделении агентурной записке по Р. С.-Д. Р. П., в числе рабочих ст. Мытищи, стремившихся к воссозданию партийного подполья и ищущих связей с деловой активной средой, упоминается Баташев, прибывший с ленских приисков рабочий, большевик, участник ленских беспорядков, брат бывшего члена II Госуд. Думы Баташева, недавно лишь поступивший на работу в Мытищах²⁾: Дальше мы о нем ничего не знаем.

Не будем останавливаться далее на судьбе участников стачки (кое-какой отрывочный материал об отдельных лицах из числа упомянутых выше имеется). Выскажем те общие выводы, к которым мы пришли, сопоставляя сведения агентуры и данные сенаторской ревизии: мы не видим достаточных оснований отрицать возможность тех или иных агитационных и организационных попыток в приисковом районе в годы, предшествовавшие стачке, в роде хотя бы того начинания, о котором писал „№ 12“, но не думаем, чтобы они оставили значительный след в жизни района, и никоим образом не можем считать агитацию „благонадежных“ элементов причиной забастовки. Однако, в проведении возникшей независимо от их деятельности стачки большую роль сыграли, несомненно, как раз эти элементы (напр., Баташев), причем влияние их сказалось, между прочим, также в программе рабочих требований (8-мичас. раб. день). Из этого, однако, вовсе не следует, что забастовка преследовала какие-либо иные цели, помимо экономических; напротив, то была забастовка типично экономическая, лишь по вине правительства и его местных органов получившая колоссальное политическое значение.

IV.

Из материалов, сообщенных П. Ростовым, любопытны еще документы, относящиеся к ретростру Треценкову. Мы можем, со своей стороны, удостоверить, что та своеобразная цензура, которой Треценкова окружили еще в Водайбо, продолжалась и потом.

Как известно, Треценков 18 июля 1912 г. был временно устранен Манухиным от должности пом. начальника прикуток. губ. жанд. управления и с 20 июля считался прикомандированным сначала к прикутскому, а затем к петербургскому жандармскому управлению — до 9 декабря 1913 г., когда он уволен был от службы с зачислением в пенное омовление по Петерб. губернии.

¹⁾ Копия письма в том же деле Ист.-Рев. Архива. Из этого письма (а также из письма, цитированного в предыдущем приложении) видно, что лесные рабочие имели значительное политическое оживление туда, куда они приходили. Это же подтверждает письмо неизвестного нам сенатора из Черемхова, писанное в феврале 1913 г., в котором отмечается известное оживление обществ. интереса в Черемхове в связи с нападками на черемховские горы, с одной стороны, и с другой — политическим оживлением. Ист.-Рев. Арх., дело Ос. Отд., 1913 г., № 5, ч. 27).

²⁾ И.-Р. А., Ос. Отд., 1913 г., № 5, ч. 46.

В Петербурге ротмистр жил как бы нелегально: не под своей фамилией, а как Николай Викторович Кашин (имя и отчество его собственные). На проживание жандармского офицера под чужой фамилией дано было разрешение директором департамента полиции.

Для характеристики отношений министерства внутренних дел и Трещенкова не лишено интереса и другое обстоятельство: будучи прикомандированным и подследственным, Трещенков получал содержание в несколько раз менее того, что он имел раньше по должности помощника начальника иркутского жанд. упр. По министру внутренних дел распорядился, „во внимание к его семейному положению“ (у него были жена и трое детей), выдавать ему ежемесячно добавочное содержание для сравнения с прежним окладом. Так продолжалось с 18-го июля 1912 г. до 1-го июня 1913 г., когда выдача Трещенкову добавочного содержания из сумм департамента полиции прекращена была по требованию Джунковского. Эта мера находилась, очевидно, в связи с результатами расследования, производившегося в корпусе жандарм-в (ген.-м. Ивановым) по поводу столкновения Трещенкова с неким князем Пажерадзе, причем Джунковский, повидимому, предполагал сначала даже и вовсе уволить Трещенкова. Всего за 10 1/2, приблизительно, месяцев Трещенков получил из сумм департамента полиции, в виде добавочного содержания, 2005 р. 50 к. (были и еще выданы ему самому, а после его увольнения его жене; кроме того, департаменту пришлось оплачивать кое какие его долги)¹⁾.

Тем временем в Иркутске велось предварительное следствие по обвинению Трещенкова в преступном деянии, предусмотренном статьями 338, 339 и частью второй статьи 341 улож. о наказ. Уголовное преследование возбуждено было Манухиным и велось в течение чуть ли не двух лет. Прокуратура согласилась, в конце концов, с заключением Манухина относительно предания Трещенкова суду по означенным выше статьям (они предусматривали превышение и бездействие власти). Однако, совет министра внутренних дел, на рассмотрение которого в сентябре 1914 г. поступило оконченное следственное производство, резко разошелся с прокуратурой в оценке действий Трещенкова, не усмотрев в них ни бездействия, ни превышения власти.

Трещенкову вменялось, напр., в вину, что он не принял мер к возбуждению рабочих, двгавшихся к Надеждинскому прирису „шумным и беспорядочным скопищем“, разойтись и допустил их направиться по дороге, которая пролетает в непосредственной близости к помещению народного дома, отведенному под постой войск.

Совет находит это обвинение неосновательным. „Представляется беспорядочным“, читаем мы в журнале совета от 23 сентября 1914 г., „что при рабочих волнениях самым действительным и сдерживающим средством является наличие у начальника полиции достаточного количества полицейских чинов и войска, с помощью которых всякий беспорядок может быть немедленно прекращен. В распоряжении же ротмистра Трещенкова на всех Ленских

¹⁾ Ист.-Рев. Арх., дело 3 делов., 1912 г., № 817.

приисках было всего 32 нижних полицейских чина, раскинутых на 39 тысячах десятин. Рабочих же всего было не более 7500 человек, проживавших на 431 прииске. Таким образом, на каждого чина полиции приходилось приблизительно 234 рабочих и 13 приисков. С такими средствами Трещенков не имел возможности заставить толпу рабочих разойтись или не допустить ее направиться по дороге к войскам“.

Прокурорский надзор, говорится в журнале, „замечает в вину Трещенкову, что он своевременно не объявил рабочим, что им запрещены сборища и хождения толпами с одного прииска на другой. Признавая, что подобное объявление было бы не лишним, следует, однако, отметить, что, в виду отсутствия на Ленских приисках действия исключительных положений и в связи с оппозиционным настроением рабочих, а также с незначительным количеством войск и полиции, такое объявление едва ли бы достигло цели“.

В том же духе высказался совет и по другим обвинительным пунктам. В итоге—вывод, что бездействия власти не было.

Не было, настаивает совет, и превышения власти, ибо неправильно утверждение обвинителей, что Трещенков уполномочил начальника военной команды рассеять толпу оружием до проявления ею неповиновения его распоряжению приостановиться; при этом совет упрекает прокуратуру в том, что она основывается в данном вопросе только на показаниях бывших в толпе рабочих.

В виду всего этого, а также принимая во внимание, „что ротмистр Трещенков обратился со всеподданнейшим ходатайством о зачислении его на действительную военную службу в действующую армию, препятствием чему служит привлечение его в качестве обвиняемого“, и „что вследствие этого и в связи с отсутствием в рассматриваемых деяниях Трещенкова признаков приписываемых ему преступлений, представляется желательным предоставить ротмистру Трещенкову возможность немедленно поступить в действующую армию и там, быть может, кровью своей искупить свои недавние служебные ошибки“, совет министра внутренних дел признавал дело подлежащим прекращению и постановил войти в сенат с представлением о разрешении возникшего разногласия с прокурорским надзором. Журнал был утвержден министром внутренних дел, решившим препроводить дело в сенат.

Независимо от этого, состоялось 15 октября 1914 г. высочайшее повеление о временном приостановлении возбужденного против Трещенкова преследования до окончания войны, с отменой принятой против него меры пресечения и „с разрешением ему ныне же вступить в действующую армию“.

Трещенков попал на фронт и 15 мая 1915 г. был убит бою с австрийцами.

Ш. Ленин.

Григорий Распутин.

Из воспоминаний.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Последняя фаза существования русской монархии представляет собою необыкновенную картину всеобщего морального, политического и государственного разложения, достигшего совершенно фантастической остроты и принявшего формы трагической вакханалии среди хаоса и тяжелого мрака, окутывавшего страну. Война, начавшаяся в 1914 году, обрушилась с фатальной силой на обреченный старый и галопирующий темном повела его и неизбежной гибели, многими предвиденной и предсказанной. Рок бесстрастно готовил роугу Романовской монархии, но ее деятели неопользовали последние моменты ее существования для самой напряженной, самой страстной борьбы не столько для и во имя спасения династии, сколько ради единственно возможного их пути к славе — самодержавного карьеризма. Преславно был конец монархии, — б сдаламо неслили свою деятельность и ее основные столпы: самодержавие, армия и флот, и оружием. И предсмертные сумерки монархии ни разу не осветились благородным светом героизма, мужественной доблести и самоотверженного служения родине в ряд к тем, кто до сих пор правит судьбами России. Смерть была страшной, отвратительной, позорной...

Русская наука истории только начинает приоткрывать завесу над этими неясными процессами. Пролет еще большие периоды большого и темного, грубого, неморального, извращения, — пока картина смерти монархии не предстанет в окончательно зарисованном виде. Теперешний момент позволяет только предварительные экскурсы в эту таинственную область ради напоминания о гнетущих и жестоких условиях, для поразительных ориентировки в исторических сдвигах русской истории 1917 года.

Одним из главных источников для истории этой являютс я предлагаемые материалы и материалы, собранные, систематизированные и обработанные по поручению князя Александра Николаевича Голицына. Им же пожелал так явиться, как живое изображение его современности и современности, как и Распутин,

с которыми Белецкий связал свою судьбу. Но по роду и характеру своей деятельности Белецкий является замечательно-типичным мастером старого режима, одним из тех кузнецов, которые, упрямо выковывая цепи для России, также упрямо рили яму и самодержавию.

С. Н. Белецкий — из «стаи слезных» столичных орлов. Свою карьеру в петербургском бюрократическом мире он сделал благодаря Н. А. Столыпину, уважавшему его по работе председателя канцелярии ковевского губернатора (Столыпина, как известно, был ковевским губернским предводителем дворянства). После непродолжительной службы в Сибирской и Самарской губерниях, С. Н. Белецкий получил в марте 1910 г. пост вице-директора департамента полиции, и с этого момента начинается его крупная политическая роль в России.

Департамент полиции в столичные времена послужил отличной школой для Белецкого, выработав из него, соответственно тогдашнему политическому спросу, большого карьериста, шедшего верными путями вверх по иерархической лестнице и, соответственно тогдашней политической морали, не брезговавшего для этого никакими средствами. Это было время полного расцвета в департаменте полиции провинциальной системы, и Белецкий свою умелую и ловкую руку тесно прикладывал к этой системе, вносящей яд во все тело русского общества, не исключая детей. С 1911 года Белецкий назначается уже и. д. директора департамента, а с января 1912 года утверждается в этой должности, в которой он и «работает» до 28 января 1914 года.

За это время департамент полиции усугубил свою разрушительную работу. Политический резник в связи с провокаторскими методами, усилившими гнусные тории, развился и углубился. Внутренний шпионаж перебросился в средние учебные заведения и в войска сухопутные и морские. В департаменте полиции проведены знаменитые дела Малиновского, депутата-провокатора, Шоринской, посланной, в качестве тоже провокаторши, депутатов второго Государственной Думы в Сибирь, дело Вейлиса, инсценированное сотрудничеством уполномоченного департамента с министерством юстиции и правыми партиями, и т. д. Формуляр департамента за времена Белецкого может быть назван блестящим.

Здесь его «работа» окончательно обрывается вследствие и назначения в феврале 1913 г. товарищем министра внутренних дел и командиром отдельного корпуса жандармов генерала В. Ф. Дамуровского, бывшего московского губернатора, пытавшегося реформовать дело политического сыска и постоянно ослаблявшего его анти-правовой и анти-моральной характер, в чем он, конечно, встретил упорное сопротивление столичника Белецкого. Только вынужденное присутствие Н. А. Малиновского спасло Белецкого от назначения на эту новую должность бывшего губернатора, и он очутился в первом департаменте сената в качестве сенатора с января 1914 г.

Наступил 1915 год. Война сделала свое внутреннее политическое дело. Не на фронте, а в департаменте были явлены силы русского народа, без которых никакое государство, под бременем государственным полицейством, то на политическом фронте, то на бытовом, но все более ослепленным войной с самодержавием, не могло, к этому дошло, действительно воевать в фронте на той-

ного безумия. Если до середины 1914 года Николай II все еще мечтал о государственном перевороте и делал неоднократно шаги к уничтожению законодательных учреждений, то после начала войны, когда его супруга Александра Федоровна решила взять в свои руки по возможности все бразды правления, началась, из боязни решительных шагов, компромиссная, неиспрямленная, лицемерная игра в политику, обратившаяся, как это естественно вытекало из предсмертного монархического безумия, в хаотическую вакханалию.

Начались поиски людей для спасения старого, гнилостью разлагавшегося строя. Наступила фаза непрерывной смены министерств и министров, курсов и направлений самодержавного kaleydоскопа. Совет министров обратился в кувырк-коллегию, министры появлялись и исчезали, власть разлагалась на глазах у всех, монархия дряхлела, страна волновалась, оппозиция богатырски росла и наступали решительные часы. А старый строй загнивал целено и безрассудно, — и на посту министра внутренних дел, после ухода в июле 1915 года четырех столпов старой гвардии — Н. А. Маклакова, В. К. Саблера, ген. Сухомятина и Н. Г. Щегловитова, — последовательно, до революции, т. е. в течение полутора лет, сменились: гг. Щербатов, А. Н. Хвостов, Б. В. Штюрмер, А. А. Хвостов и, наконец, последний министр внутренних дел А. Д. Протопопов, психически больной человек, символизировавший собой, под трагическую занавес, психически больную монархию. Такое же политически-непристойное кувырканье шло и по всем министерствам, — и четыре председателя совета министров (И. Л. Горемыкин, Б. В. Штюрмер, А. Ф. Трепов и гг. Голицын), сменяя один другого, только усиливали своими бездарными и даже пошлыми фигурами трагизм этой процессии мертвецов перед глазами России...

Среди такого хаоса вновь всплыл на поверхность политической жизни и С. П. Белецкий. Это, можно сказать, — ставленник Распутина и всей той темной организации подпольных сил Романовского дома, которая втайне, невидимо, но осязимо для страны, вела ее в пропасть своим безумием. И история, и характеристика этой секретной звездной палаты во главе с Распутиным, этим грязным развратником, хлыстом, магнетизером, аферистом и пассивным германским шпионом (по уверению А. Н. Хвостова, хорошо его знавшего и за ним следившего), приобретает исключительно высокий и необычайно-серьезный интерес. Правда, она напоминает бульварный роман. Но бесславие и позор угнетенной российской монархии опираются именно на эти таинственные темные силы, и без понимания и изучения их останется темной и непонятной наша революция 1917 года.

На пост министра внутренних дел попадает А. Н. Хвостов, бывший губернатор, а затем депутат Государственной Думы партии черных монархистов. И его товарищем в сентябре 1915 года назначается С. П. Белецкий, по желанию самой императрицы Александры Федоровны, — так, по крайней мере, категорически утверждал А. Н. Хвостов, что, впрочем, совпадает и с другими указаниями и фактами.

Период Беззастыжия — период наибольшего расцвета Распутиновщины. Этот гнусный и ядовитый цветок распускается пыльным цветом. Распутиновщина иронизирует, просасывается и всасывается в весь строй высшего управления

страной. Распутин своей злобещей тенью точно покрывает всю страну, династию, судьбы России. Изумительная история этого ничтожного человека равна изумительности истории русского самодержавия в его последней фазе. Славной кажутся страницы воспоминаний Белецкого, на которых рисуются картины высшего управления страной при посредстве испихически развинченной царицы, испихотки Вырубовой и полового испихота Распутина. Это трио властвовало. Оно занимало трон. Оно держало в руках Россию. Оно окружило больного волей царя крепкою стеной и породило чудовищную борьбу низких интриг.

И на фоне этой борьбы особенно красочными являются заключительные картины, нарисованные воспоминаниями Белецкого, картины, в которых уголовный элемент является преобладающим. Вся эта серия убийств, планы которых лихорадочно разрабатывали министр внутренних дел и его помощники, венчает разрушение монархии.

В своем обзоре прошлой жизни С. П. Белецкий отводит очень много места Распутину, вернее сказать, преимущественное место. Ниже читатель найдет общую характеристику этого темного героя, какую делает ему Белецкий. Но, помимо этого, в его воспоминаниях имя Распутина не забывается ни на один день, ни в одном факте, ни в одном событии—везде и всюду появляется, действует, тайно работает этот „друг“ Романовых, как всегда его называли Николай II и Александра Федоровна. Белецкий считал Распутина „очень умным человеком“. По его словам, Распутин „обладал страшно сильной волей, которую он в себе воспитал, и этим он действовал на государя, на которого он при обличениях даже стукал кулаком“. Отношения между царем и Распутиным Белецкий характеризовал, как „борьбу слабой воли с сильной“. Но „этот человек ходил по гостиним лучше, чем другой царедворец, и понимал и учитывал все слабости людей, на которых он мог играть“.

Невидному, Белецкий и сам не мог отрешиться от этого влияния, хотя он отбрасывает все распутинское прошлое с отвращением (воспоминание написано после того потрясения, которое совершила революция). Но, как бы то ни было, рассказ Белецкого дает богатый материал для оценки роли Распутина в правящих верхах. Это тем более ценно, что вообще материалы о Распутине в большинстве своем погибли. Погибли прежде всего все материалы о нем, имевшиеся у Николая II и Александры Федоровны. Эти материалы были им уничтожены, при полном равнодушии и даже с разрешения временного правительства. Дневники Николая II-го от 10, 11, 12 и 13 марта 1917 года свидетельствуют, что царь в течение всех этих четырех дней „сжигал письма и бумаги“ (гельсингфорская газета „Путь“ № 198, октябрь 1921 г.). Конечно, этому примеру следовали и императрица, хорошо знавшая, хотя бы через свою фрейлину и ближайшего друга А. А. Вырубову, как относилась вся Россия к Распутину.

Когда министр внутренних дел А. И. Хвостов, по проискам Распутина, принужден был выйти в отставку в начале 1916 г., то к нему приехал председатель совета министров В. В. Штюрмер и передал ему устное повеление

императора Николая II сжечь все бумаги или документы, касающиеся Распутина. И оба министра принялись за аутс-да-фе, и в нем погибли замечательные материалы, как напр., листки ежедневных наблюдений за внутренней жизнью Распутина (агенты департамента полиции были встроены в семью Распутина). Конечно, с первыми громами революции, наверное, все саковники постарались уничтожить великие письменные следы своих спомений с Распутиным.

Нужно отметить весьма характерную черту распутинского периода. К этому фавориту Александрии Федоровны, которую он иже назвал Елаториной Великой по уму и которой повидимому льстиво внушал мысль, что она одна способна править Россией, решительно все, за исключением узкого круга истеричных померенниц, относиться в высокой степени враждебно. Читатель увидит ниже, что самозвонки, не брезговали проводить свои интриги и защищать свои интересы через Распутина, впрочем открещивались открыто от всякого с ним общения и даже знакомства. Сам Велецкий срывал даже от жены на первых порах свое знакомство с Распутиным. Велецкий и Хвостов имели непрерывные дела с Распутиным, видался с ним только на конспиративной квартире, не смея принимать его у себя дома. То же проделывали решительно все бюрократы. Общественное мнение, общественная совесть оказалась сильнее их пресмыкающихся душ, и они прятали свои головы, думая, что их никто не видит...

Тем ни менее, роль Распутина в политической и государственной жизни от этого обстоятельства несколько не может быть затенена и преуменьшена. И рассказы Велецкого дают в этом отношении весьма большой и содержательный материал.

Конечно, к нам нужно относиться весьма осторожно и сдержанно. Как бы ни был по силе тот моральный кризис, вызванный приливом откровенности и искренности, какой пережил Велецкий во время революции, все же его воспоминания пропитаны субъективностью и естественно являются все-таки не столько обвинительным против него актом, как сам он их называл, а самозащитой. Эти воспоминания требуют большой исторической проверки и на них нельзя опираться, как на бесспорную документальную истину.

Род,

Глава I.

Назначение А. Н. Хвостова министром внутренних дел. — Переговоры с С. П. Велецким. — Программа А. Н. Хвостова — Григорий Распутин. — Его отношения к министрам. — Выступления в Г. Думе А. И. Гучкова против Распутина. — Результаты этого выступления. — План охраны Распутина. — Распутин и В. И. Коковцев. — Письма ген. Богдановича. — Письма к Распутину от государыни. — Телеграмма Думбадзе о разрешении покарнить с Распутиным. — Сводка феллерских наблюдений над Распутиным. — Вел. им. Николай Николаевич и Распутин. — Доклад ген. Джуиковского Николаю II о Распутине.

О назначении А. Н. Хвостова на должность управляющего министерством внутренних дел и знал недели за две до официального приказа и в этот период времени и с Хвостовым виделся почти ежедневно, так как он пригласил

мени, с первой же встречи, в случае, если назначение состоится, к сотрудничеству с нами в должности товарища министра м. дел.

В течение двухнедельного промежутка времени нами были обсуждены как лично лично А. И. Хвостов при назначении в должность, так и намечена была, в соответствии с ~~первоначальным~~ ~~тогда~~ ~~тогдашней~~ программой его деятельности по вопросам внутренней политики. Тот чистый дружеский тон отношений, который сразу А. И. Хвостов усвоил со мною, меня поощрял, и поэтому я соглашался принять на себя некоторые обязанности, которые я, если бы хорошо знал его ранее, как узнал впоследствии, ни за что не принял.

С намеченною нами программой и со знанием, кому под казанным, некоторым сторонам характера товарища, А. И. Хвостов при ставлении его величеству и получил вместе с портфелем министерства и утверждение его программы, от ко орой, правда, он впоследствии отказался, частью по независящим от него обстоятельствам, а частью и силу отличительных свойств своего характера. Первые дни и первые недели я был с ним неразлучен, пока не состоялись некоторые, на мой взгляд, неудачные назначения по министерству и не последовало моего разочарования в самом министре. Поэтому, мне пришлось в первое время принимать иногда даже и широкое участие в работах общего характера, не относящихся к сфере деятельности порученного моему наблюдению департамента полиции и штаба корпуса жандармов, и, в силу некоторых соображений, о коих я скажу впоследствии, принимать также просителей, имеющих ту или иную просьбу к министру, а также и участвовать вместо него зачастую в заседаниях совета министров. Единственно, что снискала до конца нашей совместной службы взял на себя А. И. Хвостов, это — сношение с Госуд. Думой и выступления в бюджетной комиссии, а также, по моей просьбе, переговоры и руководство правыми организациями и сношения с Марковым 2 и Г. Замысловским по вопросам общенаучного направления. Таков парадокс был и при А. А. Макарове и Н. А. Малякове в бытность их на посту министра м. дел. Я тогда ~~знал~~ ~~знал~~, если то требовалось министром, соответствующие суммы, поддерживая хорошие отношения с правыми деятелями. Затем А. И. Хвостов, по назначении с. Курлянда директором-распорядителем осведомительного бюро, взял на себя также и наблюдение за прессою.

Время, в которое мне пришлось состоять в должности товарища министра, было переходное. Война затихала, надежды на скорое и победоносное окончание ее несколько затуманились, патристический мораль возмущен, частично выборы влекли за собою некоторое раздвоение в народных кругах; расстройством транспорта и падение рубля отразились, в связи с причинами политико-экономического свойства, на недостатках в крупных центрах предметов первой необходимости; ко, где начались бобы голодные бунты, поражение движение в рабочих среде увеличилось, мероприятия мероприятиями правительства усилило оппозиционное настроение больших общественных кругов, антидинастическое движение начало просачиваться в народные массы даже в таких местах, где и нельзя было ранее предполагать, как, напр., в области Войска Донского и пр. В виду этого программа А. И. Хвостова сводилась

к стремлению усилить, с одной стороны, наблюдение за революционными организациями, не внося излишнего раздражения постоянными и массовыми арестами, зорко и неустанно следить за общественным движением, старался, по возможности, излишним стеснением свободы их деятельности не раздражать общественных кругов, наладить, по возможности, отношения с прессою, а с другой—усилить и широко распространять в массах патристические издания, обрисовывающие царственные труды на войне государя и наследника и августейшие заботы государыни Александры Феодоровны, как по уходу за ранеными, так, главным образом, по верховному совету в сфере обеспечения участи и дальнейшей судьбы жертв долга и их семей, а также по созданному ею по докладу А. П. Хвостова комитету по заботам о наших военнопленных за границею (где товарищем был ин. Голицын, впоследствии председатель совета); распространять среди рабочих издания о роли рабочей массы по свабшению боевыми припасами нашей армии, внести порядок в вопросе о заботах о беженцах, стремиться помочь беднейшему населению в получении в группных центрах, главным образом, в столицах, предметов первой необходимости, усилить надзор за немецким засильем и переходом немецкой земли в руки русских подданных (отражение речи А. П. Хвостова в Госуд. Думе по этому вопросу), не стеснять излишними формальностями получение учащейся молодежью свидетельств о благонадежности и т.п.

Во время моего нахождения на посту товарища министра мне пришлось очень близко войти в соприкосновение и особо считаться с влиянием покойного старца гр. с. Покровского, Тюменского у., Тобольской губ., Распутина, переименованного впоследствии свою фамилию, с соответствующего разрешения на „Новых“. Так: как я свои сношения с ним и с его большою почитательницей А. А. Вырубовой продолжал до смерти Распутина, а с А. А. Вырубовой не прерывал знакомства до последних дней (до заболевания ее корью), то я свою исповедь разбил на три периода и начал со времени моего директорства.

До назначения моего директором, когда я был вице-директором при Н. А. Столыппине, мне не пришлось ни в служебной, ни в частной моей жизни сталкиваться с Распутиным, но в этот период его имя начало просачиваться в средние круги петроградского общества, так как он был принят во дворец великого князя Николая Николаевича его супругою и им самим, бывал в великосветских гостиных, был близок к семье гр. С. Ю. Витте,—которого он до конца своей жизни воспоминал с особой теплотой, и которого он при жизни графа, как он мне сам говорил, неоднократно хвалил в высоких сферах, мечтал об обратном его возвращении к власти, и познакомил уже с А. А. Вырубовой. В первых шагах Распутина в Петрограде, кроме ректора академии св. Феофана, разочаровавшегося в нем впоследствии, и двух великосветских кружков, которые интересовались церковными вопросами, куда его ввел св. Феофан, особую поддержку ему оказывал и предоставлял ему у себя жить, Г. Н. Сазонов, охлаждая свои отношения к нему впоследствии, когда Распутин изменил свой образ жизни.

Наблюдение за Распутиным в это время, т. е. при П. А. Столыпине, вел П. Г. Курлов, товарищ министра внутренних дел. В чем оно выразилось, следов в департаменте полиции не осталось, но, со слов Распутина, я знаю, что последний с того времени знаком с П. Г. Курловым. При А. А. Макарове ¹⁾, когда я вступил в должность директора и до моего оставления этой должности, и лично также с ним знаком не был, как и А. А. Макаров, и Золотарев ²⁾ избегали возможности с ним познакомиться и не желали этого и впоследствии. Что касается Н. А. Махлаюва ³⁾ и генерала Джунковского ⁴⁾, то Н. А. Махлаюв был в хороших отношениях с Распутиным; не знаю, как он познакомился, но думаю, что через покойного гв. Мецеровского ⁵⁾, знавшего Распутина и относившегося к нему с почтением еще тогда, когда он не был вкож во дворец. Джунковский же, с первых своих шагов по вступлении, отнесся к нему отрицательно-демонстративно, несмотря даже на то, что к концу моего директорства влияние Распутина можно было считать прочно установившимся.

Вступление А. И. Гучкова с кафедры Государственной Думы по поводу влияния Распутина повлекло за собой: 1) принятие мер к охране его личности, в силу полученных указаний свыше министром А. А. Макаровым, 2) прекращение помешения в прессе статей о нем и 3) наблюдение за Гучковым, которое потом мною, при назначении генерала Джунковского, было снято. Вместе с тем А. А. Макаровым было предложено мне и несение охраны жизни Распутина. В силу этого мною с полковником Котенем ⁶⁾ был выработан план охраны, сводившийся к командированию развитых и консервативных филеров, которым было поручено, кроме охраны Распутина, тщательно наблюдать за его жизнью и вести подробный филерский дневник, который в момент оставления мною должности представлял собой в сделанной сводной выписке лиц, входивших в соприкосновение с Распутиным, весьма интересный материал к обрисовке его, немного односторонний, не личности, а жизни. Затем, в село Покровское был командирован филер на постоянное жительство, но не для охраны, так как таковая из постоянных при Распутине филеров, в несколько уменьшенном только составе, его сопровождала и не оставляла его и при поездках, а для „освещения“, ибо на месте, как выяснилось, агентуры завести нельзя было.

Такая система двойственного наблюдения продолжалась до моего ухода.

Сведения о Распутине докладывались Котенем министрам, товарищам и мне, а то, что поступало в письменной форме, я держал у себя, — в служебном кабинете, не сдавал в департамент, и, при уходе, в форме дела оставил

¹⁾ Министр внутренних дел после смерти П. А. Столыпина.

²⁾ Товарищ министра внутренних дел, б. прокурор палаты, ссылавший П. Г. Курлова.

³⁾ Министр внутренних дел, преемник А. А. Макарова.

⁴⁾ Товарищ министра внутренних дел и командир отдельного корпуса жандармов.

⁵⁾ Редактор-издатель „Гривашина“.

⁶⁾ Начальник Петербургского охранного отделения.

в песторазном шкафу, вынул его в опись, представленную мною П. А. Макакову, но на другой день, по требованию Макакова, в числе нескольких других дел, его заинтересовавших, сдал ему и это дело.

Председатель совета министров В. Н. Кокнов о нем интересовался лично, и я ему о нем докладывал неоднократно, так как он хотел положить конец его влиянию путем доклада о нем государю, о чем я слышал не только от самого В. Н. Кокнова, но и потом от А. А. Макарова, но не знаю, докладывал ли он. Висследствии от Распутина я слышал, что он, незадолго до ухода Кокнова с своего поста, виделся с В. Н. Кокновым и убеждал его уничтожить винную монополию, о чем Распутин неоднократно, по его словам, говорил государю, и давал понять В. Н. Кокнову, что это будет стоить ему его поста; насколько это правильно, я не знаю, так как против В. Н. Кокнова были в ту пору настроены некоторые из действительных членов кабинета (Н. А. Макаков, И. Г. Щегловитов¹⁾ и В. А. Сухомлинов²⁾, а также и кн. Менделеев и генерал Богданович³⁾). По уходе своем В. Н. Кокнов виделся с Распутиным на квартире кн. Андроникова, но особого примирения, по словам кн. Менделеева, не произошло.

Я в ту пору тяготел к кругу покойного ген. Богдановича, с которым и я писал письмо, вызвавшее даже к нему одно время немилость и неприязнь со стороны Распутина, и был знаком, так как давал ему и материалы из жизни Распутина за этот период времени. Докладывал ли А. А. Макаров государю о подробностях о Распутине, я не знаю, но только знаю, что ч. ст. вой. еника писал к Распутину от государыни, кои были у Иллариона, были добыты при посредстве г-жи Карабавич из Виллы Замысловенной, а также одним казначейским офицером и передали А. А. Макарову государю, что и вызвало яростную гнева на Макарова со стороны государыни, не желавшей даже принять его, когда он, спустя продолжительное время, был приглашен Р. В. Штюрмером в кабинет на пост министра юстиции, — и имело также свое значение и в отношении к уходу его снова в Государственный Совет. Н. А. Макаков, хотя и знал все и генерала Джуикова отношение к Распутину и то, что я снабжал Богдановича сведениями о нем, тем не менее ни разу не сделал мне указаний о прекращении снабжения этими сведениями Богдановича, быть может, потому, что не желал обидеть Богдановича, искренно к нему расположенного.

В последние месяцы моего директорства при Н. А. Макакове, когда августейшая семья находилась в Ливадии, а Распутин был назначен в Ялту, от Ялтинского градоначальника, покойного генерала Думбадзе, следовавшего особым распоряжением государя и бывшего под командой покойного генерала Богдановича, который протектировал Думбадзе, мною была получена шифрованная телеграмма с надписью „лично“ приблизительно следующего содержания: „Разрешите мне избавиться от Распутина во

¹⁾ Министр юстиции.

²⁾ Военный министр.

³⁾ Придворный „литератор“, автор монархических брошюр, листовок и воззваний.

время его переезда на катере из Севастополя в Ялту". Расшифровал эту телеграмму работавший в секретарской части департамента А. И. Митрофанов; послав мне на квартиру дешифровку, он предупредил меня по телефону, что телеграмма интересная. Я, подписав пропускательный бланк, послал ее срочно с надписью: „в собственноручные руки Н. А. Маклакову“ и затем по особому для разговоров только с министром телефону, спросил его, не последует ли каких либо его распоряжений, но он мне ответил, что „нет, я сам“. Какие, были посланы указания Думбадзе и были ли посланы, я не знаю, но проезд в сопровождении филеров, состоялся без всяких осложнений. Этой телеграммой в деле нет, так как Н. А. Маклаков мне ее не возвратил, а Митрофанов, по расшифровке и копии, порвал подлинник, так это делалось в департаменте с шифрованными телеграммами¹⁾.

Сведения филеровых наблюдений над жизнью Распутина, и общих сужтах рисовала отрицательные стороны его характера, сводившиеся к начинавшейся уже тогда его палочности и пьянству и его эротическим похождениям. В бытность мою сенатором, ко мне, в конце 1914 года, обратился через посредство своего управляющего комитетивенною частью дворца, полковника Балинского, великий князь Николай Николаевич, жена которого и он сам перестали уже принимать Распутина, с просьбой, не могу ли я дать сведения о порочных наклонностях Распутина, так как, по словам полковника Балинского, великий князь решил определенно поговорить с государем об удалении Распутина из Петрограда. Сведения эти я дал, черная матерьял из имевшейся у меня лично на руках сводки. Впоследствии уже я узнал, что великий князь свое желание осуществил, и Распутин до конца своей жизни, что я сам слышал, не мог этого простить великому князю, причем пред уходом великого князя на Кавказ, с чьих только слов, не знаю,—он утверждал, что великий князь мечтает о короне.

Затем,—как я проверил впоследствии у самого Распутина,—генерал Джунковский, незадолго до своего ухода, пользуясь исходатайствованным для него еще Н. А. Маклаковым правом непосредственных докладов по штату и к высочайшим проездам государя, воспользовавшись также полученными им из Москвы сведениями о недостойном в описании поведении Распутина в ложе ресторана „Ир“, докладывал их государю в связи с общей его характеристикой. Доклад этот, как мне говорил сам Распутин, вызвал сильный на

¹⁾ Я потом не спрашивал Маклакова, что он ответил на телеграмму. Я припоминаю, когда я был вместе оставления должности товарища министра в Ялте, мне и Хвостову было приказано разъехаться. Хвостов уехал в деревню, а я в Ялту. Я спрашивал полковника Троицкого, говорил ли ему чтонибудь Думбадзе про убийство во время морского переезда. Он сказал, что нет, но заметил, что вообще у Думбадзе были планы покончить с Распутиным, по плану заоблачного характера. Есть школа, на которой построил пушном из Москвы желтый этак, стоящий над Лавой. Думбадзе думал туда вывести Распутина, чтобы оттуда сбросить его или вообще сделать какое нибудь разбойное нападение, но все это осталось в области предположений, и Думбадзе в этом отношении ничего не предпринимал.

него гнев государя,—таким Распутин никогда до того даже и не видел государя. Но, по словам Распутина, он в свое оправдание гозорил, что он, как и все люди, грешен,—не святой. По словам Распутина, государь после этого долго его не пускал к себе на глаза, и поэтому Распутин не мог слышать или говорить спокойно о генерале Джунковском до конца своей жизни.

Правда, потом генерал Адрианов, после немецкого погрома в Москве ушедший из должности градоначальника, находился под сенаторским расследованием,—после свидания с Распутиным в Петрограде,—лично и затем в письменном изложении, передал через меня А. А. Вырубовой заявление, что никакой, по лично им произведенному расследованию, неблагопристойности Распутин не производил у „Яра“. В это время шел разговор об оставлении генерала Адрианова в свите, и он был вызван гр. Фредериксом в Петроград. В свите затем он был оставлен, но, когда, значительно позднее уже,—по окончании расследования, генерал Адрианов, при министре внутренних дел Протопопове, приехал в Петроград, чтобы представить министру юстиции свою объяснительную записку перед слушанием дела в сенате, и был у меня с просьбой сказать за него несколько слов А. А. Макарову, для чего даже и оставил один экземпляр записки,—то он имел в виду передать через Распутина экземпляр и государю. Но, как мне говорил ген. Адрианов, Распутин отказался его принять. Когда я, при встрече, спросил Распутина, почему он не захотел позидаться с ген. Адриановым, то он ответил, что все-таки ген. Адрианов, хотя и дал другое показание, но ему нужно было бы в свое время, когда он был градоначальником, посмотреть, что такое полиция о нем писала ген. Джунковскому.

Глава II.

Князь Андроников.—Его „записки“ в вышнем свете.—Планы кн. Андроникова.—Епископ Варнава — Личное знакомство С. П. Белецкого с Распутиным и А. А. Вырубовой.—Кандидатура А. Н. Хвостова на пост министра внутренних дел.

В промежуток этого времени я не прерывал своих отношений с кн. Андрониковым, хорошо установившихся со времен министерства А. А. Макарова, когда я впервые с ним познакомился. Я часто бывал у него, он также вечером заезжал ко мне, и от него я слышал всегда много интересных новостей из придворных и министерских сфер, так как он имел широкий круг влиятельных знакомцев и бегал у гр. Фредерикса, Воеводы, у большинства министров, у председателя совета Горемыкина, имел знакомых при великокняжеских дворах, знал много директоров департаментов почти всех министерств и других чинов из министерств, которые считались с его влиянием. Министров, боявшихся всоружить его чем-либо, подкрывали с ним лучшие отношения и старались исполнить его просьбы, предпочитая его иметь своим хорошим знакомым, чем сильным и опасным врагом. Я, в сущности говоря, в ту пору на него смотрел, как на человека, который поразительно мог

пропикнуть к каждому министру. Эта у него идет красною нитью во всей его жизни. Он даже надевал красную рубашу и пахал перед государем. Он много ездил и всегда с портфелем. Шлеве интересовался этим портфелем и наблюдал за ним. В конце концов этот портфель схватили, но там ничего не оказалось, кроме газет. Он всегда старался делать вид человека делового. Его в „Новом Времени“ и в „Вечернем Времени“ описывали в замаскированном виде, как тин... Андронников старался пропикнуть в торгово-промышленные сферы... Я могу сказать, что не было в истории прошлого периода таких моментов, чтобы Андронников не проводил того-нибудь в министры под тем или другим предлогом... Средств и имений он не имел, потому что был из обедневшей семьи,—а треп его жизни был очень широк. Временами у него были большие деньги, временами был без денег, и его поддерживали знакомые...

Его записки были интересны. Он их представлял Марии Федоровне, государю и государине... Во всех министерских назначениях он безусловно имел громадное значение... Он бывал у управляющего двором Марии Федоровны Шерванидзе... Он в этот период был занят доведенной им затем до конца крупной финансовой операцией по покупке, при содействии военного министра Сухомлинова, на акционерных началах в Вухаре и Хиве больших земельных площадей, прилегающих к речным артериям. Ко мне он был искренно в ту пору расположен, так как во времена моего директорства у него никаких дел в департаменте полиции не было, и он только пользовался бесплатными проездными билетами на пред'авителя. При генерале Джунинском, которого кн. Андронников знает по известному корпусу, в силу отрицательного отношения к Андронникову П. А. Маклакова, и под влиянием просьб к Маклакову со стороны военного министра Сухомлинова, с которым в ту пору, после продолжительной и неразрывной дружбы кн. Андронников разошелся и повел борьбу,—последовало увольнение кн. Андронникова от должности причисленного к министерству внутренних дел чиновника, дававший кн. Андронникову, некоторым образом, официальное положение. Это его сильно задело, и хотя он и был устроен, путем восторженнейшего доклада обер-прокурора Саблера, на должность чиновника особых поручений при святейшем синоде, по этой обиде не мог забыть П. А. Маклакову и, где мог, старался подорвать к нему доверие.

В своих „Записках“ к гр. Фредериксу для высших сфер кн. Андронников давал очерк деятельности министров, сообщая те или другие о них сведения, давал обрисовку событий, волновавших Петроград, и т. д. Записки эти были официально написаны, в большинстве случаев французским языком, иногда же обрисовывали какие-либо факты из деятельности или жизни тех высших сановников, против коих что-либо имел князь, и прочитывались им тем, кто был противником этих лиц. За этот период времени князь несколько раз писал обо мне, как о человеке, который не был в достаточном отношении использован. Взамен этого я помог ему в выпуске к 50-ти летнему юбилею Горемыкина изданию заглавной брошюры—„О государственных заслугах Н. Т.

Горемыкина", в составлении ему адреса, подписи на котором были собраны гн. Андронниковым.

В конце апреля 1915 г. скончался у меня старший сын. Смерть его сильно нас поразила. По возвращении в Петроград, осенью, гн. Андронников, узнав о моем приезде, первый позвонил ко мне, просил зайти. Когда я пришел к нему, то от него я узнал, что за время моего отсутствия он близко сошелся с Распутиным, проник через него в особое доверие к А. А. Вырубовой, вошел в более лучшие отношения с статс-дамой Нарынжиной, и что предстоит большая перемена в составе кабинета, которые могут повлечь за собою обратное мое возвращение к активной работе, и что почти достаточным образом подготовлена, так как им сделано многое в мою пользу, с условием в будущем действовать с ним солидарно. Когда же я ему сказал, что Распутин, который был в это время на родине у себя, может потом пойти против меня, под влиянием недоверия ко мне за прошлое, и потому, что при оставлении должности моей, когда мне передавали о его желании со мной познакомиться, я тогда, по просьбе жены, от этого отказался,—то Андронников меня успокоил тем, что все уже предусмотрено, и я охотно согласился.

Здесь же я познакомился с тобольским епископом Варнавой, который был у власти во время своей борьбы с Самариным ¹⁾ по поводу капищанских мощей св. Иоанна Тобольского; сойдясь с ним близко, князь помог ему, пользуясь своим знакомством с сотрудниками газет, в печатании статей, освещавших это дело. Узнав затем поближе владыку и поняв многие стороны его души и характера, я искренно относился к нему и все время поддерживал с ним сердечные связи. Мне впоследствии приходилось видеть лиц, предубежденных против него за его связь с Распутиным, которые, познакомившись ближе с ним, резко переменили свое к нему отношение. Я не хочу этим сказать, что он не имел своих недостатков, но они поглощались очень многими хорошими его качествами. Выйдя из простой среды, не получив даже и среднего образования, он обладал от природы пытливым умом, наблюдательностью; хорошо ознакомившись, подобно старообрядческому пастырю, со свиданьем писанием и делом, он не потерял связи с народом, знал, что нужно его пастырю и его жизни. Образные собеседования его с народом вошли к нему в сердце. Его неприятие и отношение к неверным создали ему на месте его служения глубокое к нему почтение со стороны последних. Его народный голос, слышанный народными поговорками и умело примененными текстами св. писания и примерами из жизни святых, давали особую ценность в собеседовании с ним.

Были обмолвлены его удивительные влияния в высших сферах, где он так тонко, едва почти незаметно, но с силой Распутина, влиянию последнего, что и хотелось Распутина. Вследствие этого, при мне уже можно было наблюдать, что приезды еп. Варнавы нервировали Распутина; он под влиянием относился к нему, старался причинить ему затруднения в приемах и выездах.

¹⁾ Об этом см. в главе моего сочинения.

штрафах и вежливо противодействовать сильному стремлению еп. Варнави уйти из Тобольской епархии на север. Но не могу умолчать, что, сделавши ту или другую вышказку неприятности, Распутин через некоторое время старался чем-либо извинить ее. Так, например, давасмое обычно архиепископство при отъезде епископа в епархию было заменено очередною викарием, но через промежуток времени, по настоятельным просьбам Распутина, владыка без его о том напоминания, было пожаловано архиепископство.¹

По мненью и мненью Андронникова совету, владыка, в интересах своего дела, в исполнение роли епископа, не представлялся государю и выехал из Истрграда, так как, по сведениям ин. Андронникова, коему Самарин в тоу времени предложил официально подать прошение об увольнении, Самарин был в числе лиц, кои должны были уйти из кабинета Н. А. Горемыкина. Но владыка уехал не в свою епархию, а сперва на родину, — в одну из северных губерний, — а затем в Москву, где и остался, поддерживая сношения с князем Андронниковым через своего близкого человека, архимандрита Леонид (много, между прочим, предвизнелому ему в деле управления епархией) и ожидании нового назначения обер-прокурора и в виду скорого приезда Распутина из Польского, зная, что в данном деле этот последний ему поможет, так как назначение Самарина обер-прокурором состоялось неожиданно для Распутина. Самарин Распутина не знал, но знал, что последний к нему относится отрицательно и что епископ Восток, публично выступавший против Распутина, состоит воспитателем по Закону Божьему детей Самарина.

В этоу времени я уже познакомился с Распутиным, секретно от жены, в конце 1914 г. в квартире ин. Андронникова и несколько раз с ним там виделся. Были два раза у него на квартире по Гороховой ул. По воскресеньям туда, после обеда, приезжала А. А. Вырубцова пять или в небольшом кружке чужаков Распутиным лиц, и здесь я познакомился с А. А. Вырубцовой. Распутин тоже был у меня один раз, когда я, воспользовавшись отъездом жены из Истрграда в Москву и зная, и тем, что дети были в церкви на вечерней службе, пригласил его к себе на чай; но тем не менее отъезда эти не были в ту пору возможны, так как и он, и я, и А. А. Вырубцова друг к другу приглашались. Мне было нелегко чувствовать, что они понимают роль моего единения, так как им тоже в это время было известно, что я до того не был с Распутиным и давал о нем сведения Богдановичу и епископу ин. Писидию Писидиевичу. Единственно, что их приносило со мной, это то, что в это время жизнь Распутина была в безопасности, так как исключительно на него, устроившее по инициативе Никодора, случившееся уже после моего ухода при генерале Джунковском.

Когда Андронников мне передал о предстоящих переменах, то под его влиянием я еще со мной, что я еще ничего до этого, с лета, уже состоял и находился А. Н. Хвостов, который он обличил и с другим именем действовал и с А. А. Вырубцовой; что А. Н. Хвостов уже был и была и по дороге распутина, прощая с моим другом на мое впечатление, что теперь я буду счастлив благоприятно и для моего друга и приходу у го-

сударя, что, по всему, успех назначения обеспечен ¹⁾, и что это делается очень тошно,—так, что даже Горемыкин не посвящен в это назначение, так как это назначение, как он думает, могло бы встретить противодействие со стороны Горемыкина, имевшего своего кандидата ²⁾, к провалу которого, путем сообщения о нем некоторых сведений, приняты уже им, кн. Андрониковым, меры, и что А. Н. Хвостов, который раньше ко мне относился, будучи губернатором, несколько предубежденно, теперь, под влиянием его, князя, рад будет совместному служению со мною. На другой день было назначено в квартире кн. Андронникова мое свидание с А. Н. Хвостовым, повлекшее за собою ряд ежедневных свиданий, нас тесно сблизивших, и затем состоялась моя совместная поездка к А. А. Вирубовой,—где я встретил доверчивый прием,—и к генералу Воейкову, с которым до этого времени я познакомился через кн. Андронникова и у которого бывал неоднократно.

Эти сведения убедили меня, что кн. Андронников весьма точно передает мне обстановку дела и что вопрос о переменах в кабинете—вопрос самого близкого будущего, и назначение А. Н. Хвостова предопределено, судя по полученным уже из дворца известиям. Действительно, скоро последовал вызов Хвостова к государю, особо милостивый прием с воспоминанием о его прошлой службе, сообщение о том, что его назначенке состоится на днях, и согласие на проведение предначесенной А. Н. Хвостовым программы в исполнение. До опубликования указа дело было в большом секрете, но Андронников познакомил тогда и Горемыкина с положением дела и с совершившимся фактом и, пользуясь своим сильным на него влиянием, убедил его не противодействовать, так как это ничего не изменит, добавив, что А. Н. Хвостов будет в будущем считаться с его, Горемыкина, желаниями, тем более, что Горемыкин может всегда воздействовать на А. Н. Хвостова, через особо близкого к себе человека, министра юстиции А. А. Хвостова. Поэтому, кн. Андронников просит его принять А. Н. Хвостова.

Против моего назначения Н. Л. Горемыкин ничего не имел, так как я часто бывал у него, и он относился ко мне хорошо. А. Н. Хвостов был у Горемыкина, и тот обещал ему не противодействовать его назначению, если ему не будет предоставлено выбора. Я тоже был у Горемыкина после назначения А. Н. Хвостова, и было условлено, в случае моего назначения, что я его буду держать в курсе дел, с ведома министра, о чем он ему и занимал докладами о настроении России. Это мною в точности было исполнено вплоть до доклада ему о предстоящей смене его, Горемыкина, и назначении на его место Штюрмера, чему Горемыкин не поверил,—настолько это было для него неожиданно.

Штюрмер упорно в это время бывал у Горемыкина в течение недели с женой. Это была самая тесная дружба. И в то же время Штюрмер вел переговоры с Распутиным и Вирубовой, и должно было состояться его

¹⁾ Назначение Штюрмера проходило тем же порядком.

²⁾ Статс-секретаря Крылаповского.

назначение. Штюмер приезжал к нему в тот-же самый день, когда должно было состояться его назначение на должность председателя совета министров. Я знал об этом. Я приехал к Горемыкину, к которому я питал уважение, как бывший крестьянский деятель, воспитанный на крестьянских законах и разьяснениях его, и сказал: „Вы мне не верите, по сегодня поезжайте на вокзал. Штюмер, одетый в мундир, будет ехать к государю“.—„Это он едет по другому делу, он мне говорил, по делу обер-прокурора св. синода. Я сегодня буду у государя“. И такой самодовольный! И он, действительно, был у государя, просидел у него 20 минут и вернувшись оттуда уже не председателем. Увидя его, я сказал: „Я был прав, зачем вы не послушались“... Про назначение я знал от Манасевича и из филдерских наблюдений о том, где был Распутин, где был Штюмер и где были свидания с ним... Они виделись на второй квартире Распутина, у Лерма, Бассейнал 35... Горемыкин был тоже близок с Распутиным. Распутин проводил его канцлером.

Как только назначение А. И. Хвостова состоялось, на первом докладе его, как министра, было им испрошено согласие у государя на мое назначение, и до опубликования указа я официально не вступал в должность, по фактически уже приступил к ознакомлению с делами, так как безотлучное мое нахождение при А. И. Хвостове, который мало знал состав министерства и обстановку министерского обихода, само собой ясно подчеркивало близость моего назначения.

Глава III.

Общая характеристика Распутина. — Его прошлое. — В мире странников и в монашеской среде. — „Гриша-провидец“. — Епископ Феофан, богоскательские кружки и дворец великого князя Николая Николаевича. — Распутин и Николай II-ой. — Уроки магнетизирования. — „Воскрешение из мертвых“ Вырубовой. — Значение его для последующего влияния Распутина. — Разочарование Вырубовой. — Распутин накануне смерти. — Предчувствия Распутина. — Поклонницы Распутина после его смерти. — Мечты Распутина скрыться от мира. — Распутин и хлыстовщина. — Распутин и православие. — Основные черты его характера. — Судьба распутицев.

Я лично близко подошел к Распутину уже тогда, когда его положение во дворце и сила его влияния на августейших особ настолько упрочилась, что он считал себя как бы неотъемлемо связанным с высочайшею семьею узами средостения не только в личной жизни их величеств, но и в сфере государственного правления. При этом надо иметь в виду и то обстоятельство, что если Распутин в редких случаях когда-либо и касался этого вопроса, то он всегда высказывался по этому поводу в самых неопределенных формах; что же касается А. А. Вырубовой, то она никогда в разговорах со мною или в моем присутствии не приподнимала занавес над этою тайною. Но, наблюдая за Распутиным с 1912 г. с некоторыми перерывами, я лично пришел к следующим о нем выводам.

Распутин обладал недюжинным природным умом практически смотрящего на жизнь сибирского крестьянина, который помог ему наметить свой жизненный идеал, как только он начал ясно отдавать себе отчет в необходимости улучшить свои жизненные условия. В обстановке обихода своей крестьянской семьи Распутин этой возможности не видел, тем более, что тяжелый и упорный труд земледельца его, привыкшего с ранних лет к празднопотанию по монастырям, к себе не привлекал. Поэтому Распутин пошел по пути своих сплоспностей, которые в нем развились под влиянием общения его во время странствований с миром странников и с монашеской средой. Общение это дало Распутину зачатки грамотности и своеобразное богословское образование, приуровненное к умению применять его к жизненному обиходу, расширило его взгляд на жизнь, развило в нем любознательность и критику, выработало в нем чутье физиономиста, умевшего распознавать слабости и особенности человеческой природы и играть на них, и само по себе повело его по тому пути, который растворял пред ним страдающую женскую душу. Сильно чувствуя в себе с юных лет человека с большим уклоном к болезненно-порочным наклонностям своей природы, Распутин ясно отдавал себе отчет в том, что узкая сфера монастырской жизни, в случае поступления его в монастырь, в скорости выбросила бы его из своей среды, и поэтому он решил пойти в сторону, наиболее его лично удовлетворяющую—в тот мир видимых святош, странников и юродивых, который он изучил с ранних лет в совершенстве.

Очутившись в этой среде в сознательную уже пору своей жизни, Распутин, игнорируя насмешки и осуждения односельчан, явился уже, как „Гриппа провидец“, ярким и страстным представителем этого типа, в настоящем народном стиле, будучи разом и невежественным и красноречивым, и лицемером и фанатиком, и святым и грешником, аскетом и бабником, и в каждую минуту актером, возбуждая в себе любопытство и в то же время приобретая несомненное влияние и громадный успех, выработавши в себе ту лживость и тонкую психологию, которая граничит почти с прозорливостью.

Заинтересовав собою некоторых видных иерархов с аскетическою складкою духовного мировоззрения и заручившись их благорасположением к себе, Распутин, под покровом епископской мантии владыки Феофана, проник в петроградские великосветские духовные кружки, народившиеся в последнее время в пору богоскательства, и здесь сумел быстро приспособиться и ориентироваться в чуждой ему до того новой среде, стремившейся вернуться к старомосковским симпатиям, но слабой духом и волею; оценил всю выгоду своего положения и, применив и в этой среде усвоенный им метод влияния, заставил остановить на себе внимание влиятельных представительниц этих салонов и заинтересовать своею личностью великого князя Николая Николаевича. Дворец вел. кн. Николая Николаевича для Распутина явился милостью, брошенной пророком Илией своему ученику Елисею, привлекавшей внимание к нему высочайших особ, чем Распутин и воспользовался, несмотря на наложенный на него в этом отношении запрет со стороны вел. князя, после того, как его высочество, поближе ознакомившись

с Распутиным, разгадал в нем дерзкого авантюриста. Войдя в высочайший дворец при поддержке разных лиц, в том числе покойных гр. С. Ю. Витте и кн. Мещерякова, возлагавших на него свои надежды с точки зрения своего влияния в высших сферах, Распутин, — пользуясь всеобщим бесстрашием, основанном на кротости государя, ознакомленный своими милостивцами с особенностями склада мистически настроенной натуры государя, во многом по характеру своему напоминавшего своего предка Александра I, — до тонкости изучил все изгибы душевных и волевых наклонностей государя, сумел укрепить веру в свою прозорливость, связав со своим предсказанием рождение наследника и закрепив на почве болезненного недуга его высочества свое влияние на государя путем внушения уверенности, все время поддерживаемой в его величестве болезненно к тому настроенной государыней, в том, что только в одном нем, Распутине, и сосредоточены таинственные флюиды, врачующие недуг наследника и сохраняющие жизнь его высочества, и что он как бы послан провидением на благо и счастье августейшей семье. В конце концов Распутин настолько даже сам в этой мысли укрепился, что, он мне несколько раз с убежденностью повторял, что „если меня около них не будет, то и их не будет“, и на свои отношения к царской семье он смотрел, как на родственную связь, называя на словах и в письмах своих к высочайшим особам государя „папой“, а государыню „мамой“.

В обществе моего времени ходило много легенд о демонизме Распутина, причем сам Распутин не старался никогда разубеждать в этом тех, кто ему об этом передавал или к нему с этим вопросом обращался, в большей части отделявшись многозначительным молчанием. Эти слухи поддерживались отчасти особенностями нервности всей его подвижной жилистой фигуры, аскетической складкой его лица и глубоко внавшими глазами, острыми, пронизывавшими и как бы проникавшими внутрь своего собеседника, заставлявшими многих верить в проходившую через них силу его гипнотического внушения.

Когда я был директором департамента полиции, то в конце 1913 г., наблюдая за переноскою лиц, приближавшихся к Распутину, я имел в своих руках несколько писем одного из петроградских магнетизеров к своей даме сердца, жившей в Самаре, которые свидетельствовали о больших надеждах, возлагаемых этим гипнотизером, лично для своего материального благополучия, на Распутина, бравшего у него уроки гипноза и подававшего, по словам этого лица, большие надежды в силу наличия у Распутина сильной воли и умения ее в себе сконцентрировать. В виду этого, я, собрав более подробные сведения о гипнотизере, принадлежавшем к типу аферистов, спугнул его, и он быстро влетел из Петрограда. Продолжал ли после этого Распутин брать уроки гипноза у кого-либо другого, я не знаю, так как я в скорости оставил службу и, при обратном моем возвращении в министерство внутренних дел, преследка за Распутиным этих данных мне не давала. Но в этот последний мой служебный период при одном из моих разговоров с Распутиным об А. А. Вырубовой, когда я касался железнодорожной катастрофы (между Петроградом и Царским Селом), жертвой которой явилась

А. А. Вырубова, Распутин с большими подробностями и с видимой откровенностью рассказал мне, что своим, по выражению Распутина, воскрешением из мертвых А. А. Вырубова обязана исключительно ему.

По словам Распутина, несчастный случай с А. А. Вырубовой произошел в период сильного гнева на него со стороны государя после одного из первых докладов о нем генерала Джунковского, по оставлении мною должности директора департамента полиции,—и поэтому сношения Распутина с дворцом были временно прекращены. О несчастном случае с А. А. Вырубовой Распутин узнал только на второй день, когда положение А. А. Вырубовой было признано очень серьезным, и она, находясь все время в забытии, была уже молитвенно напутствована глухой исповедью и причастием святых тайн. Будучи в бредовом горячечном состоянии, не открывая все время глаз, А. А. Вырубова повторила лишь одну фразу:

— Отец Григорий, помолись за меня!

В виду настроения матери А. А. Вырубовой, решено было Распутина к А. А. Вырубовой не приглашать. Узнав о тяжелом положении А. А. Вырубовой, со слов графини Витте, и не имея в ту пору в своем распоряжении казенного автомобиля, Распутин воспользовался любезно предложенным ему графиней Витте ее автомобилем и прибыл в Царское Село в приемный покой лазарета, куда была доставлена А. А. Вырубова женщиною-врачом этого лазарета княжною Гедройц, оказавшей на месте катастрофы первую медицинскую помощь пострадавшей.

В это время в палате, где лежала А. А. Вырубова, находились государь с государыней, отец А. А. Вырубовой и княжна Гедройц. Войдя в палату без разрешения и ни с кем не здороваясь, Распутин подошел к А. А. Вырубовой, взял ее руку и, упорно смотря на нее, громко и повелительно сказал ей:

— Аннушка! Проснись, погляди на меня!..

И, к общему изумлению всех присутствовавших, А. А. Вырубова открыла глаза и, увидев наклоненное над нею лицо Распутина, улыбнулась и сказала:

— Григорий—это ты? Слава Богу!

Тогда Распутин, обернувшись к присутствовавшим сказал:

— Поправится!

И, пятаясь, вышел в соседнюю комнату, где и упал в обмороке. Придя в себя, Распутин почувствовал большую слабость и заметил, что он был в сильном поту.

Этот рассказ я изложил почти текстуально со слов Распутина, как он мне передавал; проверить правдивость его мне не удалось, так как с княжною Гедройц я не был знаком, и мне не представлялось ни разу случая с нею встретиться, чтобы расспросить ее о подробностях этой сцены и о том, не совпал ли этот момент посещения Распутин А. А. Вырубовой с фазой кризиса в болезненном состоянии г-жи Вырубовой, когда голос близкого ей человека, с которым она душевно сроднилась, ускорил конец бредовых ее явлений и вывел ее из ее забытия.

Объяснил себе таким образом всю картину происшедшего исцеления Распутиным А. А. Вырубовой, я ясно представлял себе, какое глубокое и сильное впечатление эта сцена „воскрешения из мертвых“ А. А. Вырубовой Распутиным должна была произвести на душевную психику высочайших особ, воочию убедившихся в наличии таинственных сил благодати Провидения, пребывавшей на Распутине, и упрочить значение и влияние Распутина на августейшую семью. После этого случая А. А. Вырубова,—как мне закончил свой рассказ Распутин,—сделалась ему „дороже всех на свете, даже дороже царей“, так как для нее, по словам Распутина, не было той жертвы, которую она не принесла бы по его требованию. Действительно,—как я сам замечал в особенности в последнее время,—Распутин относился к своей августейшей покровительнице без того должного внимания и почтительности, какие следовало бы в нем предполагать за все милости, ему ее величеством оказываемые, по сравнению с А. А. Вырубовой, в которой он видел безропотное отражение своей воли и своих приказаний.

А. А. Вырубова, по натуре своей, была очень религиозна, в чем я сам имел возможность несколько раз убеждаться, но в Распутине, несмотря на то, что она не могла не видеть его некоторых порочных наклонностей, находила твердую опору в своих душевных стремлениях. Когда я был у А. А. Вырубовой утром на другой день после убийства Распутина, до обнаружения его тела, примерзшего ко льду,—как мне передавал потом Протопопов,—еще живым, но находившимся в беспамятстве, брошенного с моста в полынью, то я видел по лицу А. А. Вырубовой, какая сильная душевная борьба происходила в ней от начавшего заползать в ее душу сомнения в отношении Распутина; этого чувства она не скрыла от меня, сказав, что не может допустить мысли, чтобы Распутин не предчувствовал своей смерти и не сказал бы ей об этом, тем более, что в день его убийства она, до прихода А. Д. Протопопова, была вечером в 8 часов у Распутина, и он ей передал, что после Протопопова к нему должен заехать молодой князь Юсупов, чтобы отвезти его к себе в дом к большой своей жене для ее „исцеления“. А. А. Вырубовой показалось несколько странным такое позднее приглашение князем Юсуповым к себе Распутина, что она ему и высказала, не зная того, что супруги князя в это время в Петрограде не было, и посоветовала Распутину отказаться от этого приглашения, объяснив ему, что если кн. Юсупов и его жена стыдятся открыто принять его у себя днем, то ему не для чего унижать себя перед ними и ехать к ним. Передавая об этом, А. А. Вырубова сообщила мне о своем недоумении по поводу того, что Распутин, дав обещание, не последовал затем ее совету, тем более, что она настойчиво указывала ему, что, по ее мнению, в данном случае кроется другая цель, которую преследовал князь Юсупов, приглашая его ночью к себе в гости, так как из слов Распутина она поняла, что кн. Юсупов особенно настаивал на том, чтобы во время его заезда за ним у него никого не было из посторонних, хотя бы и близких к Распутину лиц, кроме его домашних; в виду этого она, А. А. Вырубова, узнав на другой день об исчезновении Распутина,

сразу невольно поставила это обстоятельство в связь с таинственным обстоятельством приглашения Распутина кн. Юсуповым к себе и укрепила в своем подозрении после получения императрицей в тот же день, без всякого запроса со стороны ее величества, письма от кн. Юсупова, в котором он, в виду распространившихся в Петрограде слухов о причастности его к исчезновению Распутина, заверял честным словом государыню, что он накануне у Распутина не был, с ним даже по телефону не разговаривал и к себе Распутина не приглашал, между тем как это находилось в полном противоречии с тем, что она лично слышала от Распутина.

Но потом уже Симанович сообщил А. А. Вырубовой, что Распутин за три дня перед своей смертью был грустно настроен, находился в подавленном состоянии и попросил помочь ему советом в деле устройства им денежного вклада на имя дочерей, для чего они вдвоем секретно ездили в банк, куда Распутин и положил для каждой дочери несколько десятков тысяч, бывших у него в ту пору на руках, а затем, по приезде домой, Распутин велел затопить печь и, вместе с Симановичем, несмотря на просьбы старшей дочери, сжег все письма и телеграммы, им полученные как от высочайших особ, так и от А. А. Вырубовой. В день же своего убийства Распутин повеселел, пошел в банк и вечером, после отъезда А. А. Вырубовой, надел лучшую свою новую шелковую верхнюю рубашу и новый костюм и, несмотря на убеждения Симановича никуда без него не ехать, успокоив его, настоял на его уходе, заявив, что он ожидает к себе А. Д. Протопопова. Наконец, в той же мысли, что Распутин как бы предчувствовал свою кончину, укрепил А. А. Вырубову и М. В. Скворцова, сообщив ей, — как мне потом об этом он сам рассказывал, — что, зайдя за день до смерти Распутина к нему на квартиру, он был поражен видом Распутина, лицо которого было землистого цвета и носило уже на себе, по словам Скворцова, печать смерти, причем он застал Распутина в сильно подавленном настроении духа, и ему стоило больших трудов вывести Распутина из его меланхолического настроения и отвлечь от разговоров о смерти. К рассказу В. М. Скворцова, им переданному уже после смерти Распутина, я отнесся несколько скептически, так как, посетив Распутина, по просьбе А. А. Вырубовой, за день или за два дня до его смерти поздно вечером, я не нашел в нем никакой перемены, а, наоборот, видел в нем жизнерадостное настроение, полное удовлетворение по случаю полученного им обещания о назначении на пост министра юстиции Н. А. Добровольского, при посредстве которого он рассчитывал добиться окончательного погашения дела генерала Сухомлинова, и большую самонадеянность в том, что его никто не посмеет тронуть — в ответ на мое предложение быть осторожным в своих поездках в мало знакомые дома. При последующих затем моих свиданиях с А. А. Вырубовой я не позволил себе поднимать разговор о Распутине и только послал ей в феврале сего (1917 года) фотографический снимок с последнего портрета Распутина, нарисованного с него одной из его знакомых художниц для какого-то большого американского иллюстрированного издания.

Что же касается других, искренно веровавших в Распутина его поклонниц, то, после его убийства, среди этих немногих его почитательниц, кроме А. И. Гущиной, серьезно заболевшей после его смерти, почти ни у кого не оставалось прежней веры в его духовную обособленность; в этом мне пришлось убедиться из разговора моего с матерью М. Головиной при встрече с ней в воскресенье на масленой неделе у А. А. Вырубовой, причем г-жа Головина (одна из самых давних почитательниц Распутина) откровенно высказала мне свое разочарование в прозорливости Распутина, в виду непредвидения им такой ужасной своей смерти, так как в последнее время Распутин уверял своих поклонниц, чему я сам раз был свидетелем во время одного из воскресных часов у него на квартире, в июне 1916 г., в присутствии А. А. Вырубовой, — что ему положено на роду еще пять лет пробыть в миру с ними, а после этого он скроется от мира и от всех своих близких и даже семьи в известном только ему одному, намеченном им уже глухом месте, вдали от людей, и там будет спасаться, строго соблюдая устав древней подвижнической жизни. Это свое намерение Распутин, как я понимал, навряд ли привел-бы в осуществление, даже если бы он и не был убит, так как он довольно глубоко, за последнее время, опустился на дно своей порочной жизни.

По Распутину ясно, по настроению государя, замечал близость наступления поворота в отношениях к нему со стороны его величества и заранее готовил себе почетный отход от дворца, указывая на пятилетний срок, как на то время, когда наступят для наследника юношеский возраст, кладущий преграду гемофилии, внушавшей их величествам постоянную боль за жизнь его высочества и связавшей Распутина, в силу приведенных мною причин, с августейшей семьею.

Приобретя в лице А. А. Вырубовой послушную исполнительницу своих желаний и деятельную помощницу в деле укрепления своего влияния и значения во дворце, Распутин дерзко перешагнул черту заповедного ранее для него другого мира, укрепился в новой своей позиции и из Гриши превратился в отца Григория для своих почитательниц и всемогущего Григория Ефимовича для лиц, прибегавших к его заступничеству, влиятельной поддержке, помощи или посредничеству.

В дополнение обрисовки личности Распутина считаю необходимым передать вынесенные мною из разговора с ним и наблюдения за ним свои впечатления относительно религиозной стороны его духовной структуры. Этот вопрос останавливал на себе мое внимание еще в бытность мою директором департамента полиции. Из имевшихся в делах канцелярии обер-прокурора святейшего синода сведений, переданных секретно мне директором канцелярии г. Яцкевичем, несомненным явился тот вывод, что Распутин был сектант, причем из наблюдения причта села Покровского, родины Распутина, известно, что он тяготел к хлыстовщине. Переписка эта своего дальнейшего развития не получила и только повлекла за собою перемену причта и назначение взамен его нового духовенства, которое, благодаря влияниям Распутина, было хорошо обеспечено, пользовалось его поддержкой и покровительством и си-

тало Распутина преданным церкви, вследствие его забот о благолепии и украшении местного храма, благодаря щедрым милостям не только его почитательниц, но и дарам августейшей семьи. Таким образом, официально установить, путем соответствующего расследования, на основании фактических и к тому же проверенных данных, несомненную принадлежность Распутина к этой именно секте не удалось, тем более, что Распутин после этого случая был крайне осторожен, никого из своих односельчан не вводил в интимную обстановку своей жизни во время приездов к нему его почитательниц и филерное наблюдение к себе не приближал. В виду этого я принужден был, секретно даже от филерного отряда и местной администрации и сельских властей, всецело бывших на стороне Распутина, поселить на постоянное жительство в селе Покровском одного из развитых и опытных агентов и приблизить его к причту. Из донесений этого агента, которые он, вследствие дружбы Распутина с местным начальством почтово-телеграфного отделения, посылал обрुжным путем, для меня было очевидным уклонение Распутина от исповедания православия и несомненное тяготение его к хлыстовщине, но в несколько своеобразной форме понимания им основ этого учения, применительно к своим порочным наклонностям. Проникнуть несколько глубже в тайны его бани мне в ту пору не удалось, так как этого агента, сумевшего уже заручиться и доверием причта и местной интеллигенции и особым расположением к себе Распутина, я должен был, с уходом полковника Коттена из службы по корпусу жандармов, немедленно, во избежание провала, отозвать из Покровского, а затем и я сам в скорости ушел из департамента полиции. Познакомившись затем лично с Распутиным и заручившись доверчивым его к себе вниманием, я, продолжая интересоваться духовным мировоззрением Распутина, укрепился в вынесенных мною ранее выводах. Поддерживая в обиходе своей жизни обрядовую сторону православия и безапелляционно высказывая, даже в присутствии перархов, свои далеко не авторитетные мнения по вопросам догматического характера, Распутин не признавал над своею душою власти той церкви, к которой он себя причислял; вопросами обновления православной церковной жизни, к чему его хотел направить г. Папков, не интересовался, а любил вдаваться в дебри церковной схоластической казуистики; православное духовенство не только не уважал, а позволял себе его третировать, никаких духовных авторитетов не ценил даже в среде высшей церковной иерархии, отмежевывая себе функции обер-прокурорского надзора, и чувствовал в себе молитвенный экстаз лишь в момент наивысшего удовлетворения своих болезненно-порочных наклонностей, что мною и было засвидетельствовано в свою пору вел. кн. Николаю Николаевичу, на основании точно проверенных данных. Мне лично пришлось, бывая на воскресных завтраках-чаях Распутина в ограниченном кругу избранных, слышать своеобразное объяснение им своим неофиткам проявление греховности. Распутин считал, что человек, впитывая в себя грязь и порок, этим путем внедрял в свою телесную оболочку те грехи, с которыми он боролся, и тем самым совершал „преображение“ своей души, омытой своими грехами.

И той общей характеристике, которую я дал Распутину, мне остается добавить только несколько штрихов для обрисовки его личности. Распутин пренебрежением к себе и обид, ему наносимых, не прощал и никогда не забывал, а метил за них до жестокости; на людей смотрел только с точки зрения той пользы, которую он мог извлечь из общения с ними в личных для себя интересах; будучи скрытным, подозрительным и неискренним, он тем не менее требовал от окружающих его безусловной с ним искренности, и фальши в отношении себя не допускал; помогая кому-нибудь, он затем стремился поработить того, кому он был полезен; в своих выводах и решениях отличался упрямством и трудно поддавался переубеждению, иди на уступки лишь в тех только случаях, когда это отвечало его интересам; в своих домогательствах и в желаниях отличался поразительной настойчивостью и до той поры не унывал, пока не осуществлял их, умея носить на лице и в голосе маску лицемерия и простодушия, вводил этим в заблуждение тех, кто, не зная его (я таких было много, в особенности из состава правившей бюрократии), мечтали сделать из него послушное орудие для своих влияний на высшие сферы. Присматриваясь к судьбе тех лиц, которые искали в Распутине той или иной поддержки, я видел или печальный исход влияния на них Распутина и всей окружающей его прочной обстановки, или фатальный для них позор, как последствие сближения их с Распутным, но не в силу демонизма Распутина, а, главным образом, вследствие свойств тех побуждений, которые толкали их идти к Распутину и заставляли затем поступаться многим, в ущерб своей чести и достоинству, в исполнении желаний или, лучше сказать, требовавший Распутина.

Глава IV.

Планы сношений с Распутным А. Н. Хвостова, С. П. Белецкого и кн. Андронникова.—Кн. Андронников и государственная измена; наблюдение за ним.—Сухомлинов и кн. Андронников.—Первый обед с Распутным.—Начало интриги против обер-прокурора синода Самарина.—Волжин — кандидат на этот пост.—Интрига против Саблера.—Имябожцы.—Инцидент с епископом Варнавой в связи с открытием мощей св. Иоанна Тобольского.—Доклад А. Н. Хвостова государю о Волжине и прием его Николаем II-м.—Ликвидация инцидента с еп. Варнавой.

Сейчас же по опубликовании высочайших указов о назначении А. Н. Хвостова министром внутренних дел, а меня—его товарищем, были получены сведения о выезде из с. Покровского Григория Распутина. В виду этого между мною, А. Н. Хвостовым и кн. Андронниковым состоялось соглашение относительно плана наших будущих отношений к Распутину. План этот видоизменился с его приездом в Петроград, потому что оказалось, что никто из нас, даже кн. Андронников, тесно сблизившийся с Распутным, так же, как и епископ Варнава с приближенными ему лицами из духовенства тобольской епархии, не знали многих сторон его характера и не учли многих сторон его натуры, его силы и влияния.

Наш первоначальный план состоял из следующего. Официальные сношения с Распутиным по поводу его просьб по министерству внутренних дел должен был взять на себя кн. Андронников, чтобы избавить меня и А. Н. Хвостова от необходимости открыто принимать просителей с письмами от Распутина, как на службе, так и у себя дома. Для того, чтобы Распутин не брал со своих посетителей денег за протекцию, мы решили выдавать ему по 1500 р., и эти деньги должен был частями вручать Распутину кн. Андронников. Такая частичная выдача денег имела, между прочим, целью заставить Распутина видаться с нами почаще для установления непрерывного влияния на него. Вместе с тем, чтобы знать в подробностях его внутреннюю жизнь и поне-много отдалять от Распутина тяготивший к нему нежелательный элемент, мы решили приставить к нему своего человека.

Наш выбор пал на нашу общую знакомую и друга кн. Андронникова Н. Н. Червинскую, родственницу по первому мужу М. Т. Сухомлиновой, немолодую уже даму, много видевшую, не верившую, как и кн. Андронников, в чары Распутина и познакомившуюся уже с А. А. Вырубовой.

Свидания наши с Распутиным мы наметили на квартире у кн. Андронникова, где решено было устраивать обеды в своем тесном кругу, чтобы, не стесняясь, иметь возможность влиять на Распутина по тем вопросам, по которым нужно было А. Н. Хвостову подготовить благоприятную почву при дворе. Кн. Андронников отказался от нашего предложения оплачивать ему расходы по устройству этих обедов, но предложил А. Н. Хвостову, для проведения его начинаний и поддержки его, свою газету „Голос Руси“, намеченную им к изданию с нового года. Эта газета должна заменить „Гражданин“ кн. Мещерского, и на страницах своей газеты кн. Андронников предполагал проводить программные вопросы с точки зрения, желательной председателю совета министров и тех министров, которых он считал нужным поддерживать, — и, наоборот, вести борьбу против министров или вообще государственных деятелей, ему негодных или неудобных в его политической игре. Газета эта вышла с большим запозданием только в 1916 году. В этой газете, между прочим, кн. Андронников помещал патристические статьи против Германии в виду возникшего против него подозрения в государственной измене. Наблюдение за ним ставилось со стороны военного контр-шпионажа уже с начала войны при Сухомлинове и Н. А. Маклакове, а затем Подиванове. Наблюдение это, по моему мнению, преследовало не государственные, а личные цели Сухомлинова, с которым кн. Андронников разорвал свои отношения и против которого повел энергичную борьбу путем своих „Записок“, памфлетов и шаржей пассивного свойства, затрагивавших жену Сухомлинова. В ту пору Сухомлинов настаивал даже на высылке Андронникова. Нужно думать, что установкой наблюдения за Андронниковым Сухомлинов желал узнать, кто из военных бывает у князя и может давать ему о нем, Сухомлинове, сведения. Сухомлинов пытался даже ввести своих наблюдателей в самый дом Андронникова, который был на службе двух бывших слуг Сухомлинова, надеясь получать от них сведения о военном министре и его жене и не зная, что эти слуги с аналогичной целью

были посланы в дом Андронникова Сухомлиновыми. Благодаря Червинской, роль двух слуг была выяснена, и они вскоре были уволены Андронниковым. Однако, за период наблюдения за Андронниковым, дворцовый комендант, председатель совета министров и министры продолжали свои близкие сношения с князем.

Как только приехал Распутин, на другой же день состоялся наш интимный обед с ним. Не только я и А. Н. Хвостов, до сих пор мало знавшие Распутина, но и кн. Андронников и Червинская, хорошо его знавшие, были поражены происшедшею с ним переменю: в нем было гораздо больше, чем ранее, апломба и уверенности в себе. Первыми же своими словами Распутин дал нам понять, что он несколько недоволен тем, что наше назначение состоялось в его отсутствие, и это подчеркнул князю, считая его в том виноватым. Однако, оказалось, что этот упрек и Хвостов и Андронников предвидели, и князь с усиленной любезностью парировал этот удар, рассыпаясь в комплиментах и изъяснении чувства благодарности за его поддержку наших назначений, и трогательно благодарил его за приезд именно теперь, на первых шагах нашего вступления в должность, так как отныне его советы и поддержка при дворе поставят нас на правильный путь и охранят от ошибок, которые нам могут быть поставлены в счет наверху, и т. д.

За столом началась оживленная беседа, из которой я убедился, что наши назначения Распутину были известны и что он против нас теперь ничего не имеет: повидимому, Распутин все же хотел, чтобы эти назначения мы получили непосредственно из его рук.

Затем, поздравляя нас и желая нам успехов, Распутин упрекнул А. Н. Хвостова за то, что тот по приезде Распутина в Нижний Новгород (где Хвостов был губернатором) плохо принял его, не накормил даже, а у него, Распутина, было тогда всего 3 р. в кармане. И напрасно, говорил Распутин, потому что он приезжал тогда—после убийства П. А. Столыпина,—в Нижний по приказанию государя „посмотреть Хвостова“, и если бы он встретил другой прием, то Хвостов уже давно был бы министром. Меня же Распутин попрекнул тем, что я ставил около него наблюдение в лице 30 сыщиков, о чем Распутину говорил сам государь. В завязавшемся по этому поводу разговоре пришлось упомянуть имя Джуковского, и из перемены голоса Распутина, выражении его глаз, лица и нервности можно было видеть, что этот человек не способен забывать ударов, ему нанесенных. В ответ я рассказал ему неизвестный ему факт выпуска за границу гражданской жены Илиодора с архивом последнего вследствие того, что, несмотря на донесение и несколько телеграмм в департамент полиции из Саратова с просьбой к Джуковскому разрешить арестовать и обыскать жену Илиодора, разрешение было дано уже тогда, когда жена Илиодора проехала границу.

Затем зашла речь о Самарине, обер-прокуроре святейшего синода, и о владыке Варнаве в связи с его конфликтом по поводу прославления св. Иоанна Тобольского. Распутин гневно говорил о Самарине, но мы разговор не муссировали, а только старались оттенить, что Самарин—человек близкий сестре

государини, но отнюдь не сторонник самой государини и в то же время—личный враг его, Распутина.

Мы перешли после обеда в гостиную, а я, вместе с Андронниковым, вышел к нему в кабинет и здесь передал князю 1500 р. для Распутина. Князь из этих денег отобрал несколько—три или пять—сотенных и, когда я вернулся в гостиную, он вызвал Распутина к себе в кабинет. Вскоре они оба вышли оттуда, и я заметил, как Распутин прятал деньги в карман.

Распутин после обеда уехал, расцеловавшись со всеми нами, а мы остались, чтобы обменяться впечатлениями от первого свидания, нас далеко не удовлетворившего.

Из свидания мы вынесли убеждение в трудности, без соответствующей подготовки, проведения нашего первого плана, намеченного с А. И. Хвостовым. Мы решили провести на пост обер-прокурора святейшего синода, вместо Самарина, директора департамента общих дел Волжина, свойственника Хвостова. Это было необходимо в особых целях Хвостова. Мы понимали, что Волжин не подготовлен к этой должности, но это было чистое имя, и его назначение особого раздражения внести не могло. Сам Волжин, с которым я говорил по этому поводу, хотя и был доволен своим служебным движением, но с большей охотой взял бы какой-либо другой министерский портфель, чем этот, но во всяком случае Волжин умолял меня об одом—устроить так, чтобы отклонить всякое его не только сближение, но и знакомство с Распутиным. Волжин затем пошел на сближение с кн. Андронниковым, с которым он тотчас же и познакомился, и выполнил свои обещания, ему данные. Волжин был лично известен государю. Его сыновей, служивших в гвардейских частях Петрограда, знал отлично государь. Волжин имел придворные связи и хорошие знакомства в петроградском обществе. Он человек верующий, любитель старого церковного напева и церковной старины.

Мы понимали с А. И. Хвостовым, что уход Самарина, против которого шел, не без воздействия князя Андронникова, также и Горемыкин, безусловно возмущает не одну Москву, где любили и знали Самарина, заденет и обидит не одно дворянство, где Самарин пользовался крупным весом и влиянием, и не одну Государственную Думу, приветствовавшую его назначение, а—общественное мнение России и те круги православного духовенства, которые, во главе с митрополитом Владимиром, видели в его назначении начало новой эры в деле церковного управления.

Вместе с тем мы знали, что Саблер-Десятковский уже делал попытки примирения с Распутиным и был у него несколько раз, а в князе Андронникове он имел верного и преданного человека.

Поэтому, мы убедили кн. Андронникова в политическом значении, с точки зрения настроения широких кругов русского общества, вопроса о замещительстве Самарина, следовательно против Саблера, и эту точку зрения решили сообща проводить во дворце, предварительно внедрив ее в сознание Распутина. Те же соображения были высказаны А. А. Вырубовой, и она не могла с ними не согласиться.

Для более сильного влияния на Распутина решено было немедленно вызвать из Москвы епископа Варнаву.

На одном из ближайших обедов у кн. Андронникова с Распутиным, и повел разговор на тему об ижебожцах,—монашеской секты на Афоне, образование которой повело гонения синода, командировку на Афон епископа Инокона и арест около 700 монахов, отправленных в Россию по требованию русского правительства,—и восстановил в памяти Распутина картину репрессий, предпринятых по инициативе Саблера. Вопрос об ижебожцах в тот момент не был еще окончательно решен, и мне, кстати, хотелось выяснить отношение к нему со стороны Распутина по существу, чтобы узнать, не находится ли он под влиянием какого-нибудь кружка, занимающегося церковными вопросами, или интриги против Саблера,—или же в нем говорило чувство жалости, которое заставило его отвезти во дворец на показ тайно приехавших в Петроград монахов-ижебожцев, в преклонном возрасте,—многие из них были в схиме,—с обреченными бородами, в штатском платье...

Я лично думал, что в данном деле Распутин преследовал какие-либо другие свои цели, так как он имел уже в ту пору личные причины быть недовольным Саблером, который в последнее время (до отставки), считая свое положение прочным, изменил свое отношение к чинам синодального надзора—друзьям Распутина: к товарищу обер-прокурора Даманскому, Сиворцову, Мудролюбову и др.—и попал под влияние директора своей канцелярии, к которому Распутин относился подозрительно и сдержанно. В особенности Распутин был глубоко задет, когда Саблер захотел расстаться с Даманским, который, не используя Распутина для своих дел, всегда давал ему хорошие советы, исполнял его просьбы, предоставлял ему свою квартиру, когда Распутин приезжал наездами в Петроград по вызовам Вырубовой, и был всегда с ним искренним. В свою очередь Распутин добился у государя того, что Даманский был оставлен на посту товарища обер-прокурора с выделением ему самостоятельного круга дел и был удостоен многих высочайших пожалований.

Затронутая на обеде у кн. Андронникова тема об ижебожцах оживила Распутина, и из его слов я понял, что он и сам является сторонником этого учения в монашеской среде. И, действительно, впоследствии он отставив все время ижебожцев. Не задолго до смерти Распутина в „Колоколе“ были напечатаны статьи В. М. Сворцова с такой же целью. Статьи эти повлекли за собой для Сворцова большие осложнения с синодом, а он их писал в угоду Распутину, мечтая при его помощи вернуться в синод в роли товарища обер-прокурора. Эти статьи Распутин представил во дворец.

Разговор об ижебожцах перешел на Саблера, как их противника, и под влиянием как беседы на эту тему, так и общих высказанных нами соображений, в конце концов, Распутин решительно заявил, что он не будет „ни за что“ поддерживать кандидатуры Саблера.

Когда же приехал владыка Варнава и лично познакомился с Распутиным, на которого произвел хорошее впечатление, тогда общими силами нам удалось добиться согласия Распутина на назначения Волжина и на поддержку

в сферах, причем даже Распутин согласился на первых порах предварительно не видаться с Волжиным, во избежание излишних разговоров. Правда, к этому Распутин отнесся несколько подозрительно, но ничего прямо не высказал. Но он был доволен тем, что Волжин, в свою очередь, обещал ликвидировать инцидент епископа Варнавы по поводу открытия мощей по плану, мною предложенному и всеми принятому, в том числе и Волжинным. План этот был одобрен и Вырубовой, и об этом было доложено государыне, от которой получено также одобрение.

Сущность инцидента епископа Варнавы заключается в следующем. Епископ возбудил вопрос об открытии мощей св. Иоанна Тобольского. Синод одобрил предложение и состоялся соответствующий всеподданнейший доклад. Однако, синод замедлил исполнением всех актов, с которыми должно было соединено открытие мощей, а епископ Варнава, видя в этом промедлении интригу синода против него, обратился непосредственно к государю в ставку и получил разрешение для „прославления“, а не канонизации, т. е. открытия мощей для народного почитания. Прославление было принято верующими, как акт стирания мощей. Синод об этом обмене телеграмм с государем ничего не знал, а, получив сведение о прославлении, рассмотрел его, как самовольный проступок. Варнава, чувствуя такой исход, приехал без разрешения в Петроград, надеясь испросить монаршее прощение. Но в это время обер-прокурором был назначен Самарин, который резко высказался против проступка Варнавы. Дело получило огласку в прессе, и еп. Варнава должен был доложить синоду о телеграмме государя.

Государь, — я это знаю хорошо, — относился к Самарину сердечно; он его уважал, и это чувство крепло годами. Поэтому, приглашение Самарина в состав кабинета исходило от его величества без всяких побочных влияний.

Но, с другой стороны, как я в этом убедился впоследствии и на себе, государь не любил ни частных выступлений в прессе министров, ни тех или иных разоблачений, ни даже слухов о предстоящих переменах, чем многие пользовались для сведения своих личных счетов. В особенности государь, как человек верующий, всегда отрицательно относился к огласке тех или других неприятных пропешествий в сфере церковной. Вот почему была уверенность не только у нас, но и у многих лиц, знающих характер государя, что Самарин не может оставаться на своем посту.

Когда, таким образом, все было подготовлено, А. Н. Хвостов на одном из ближайших своих докладов после того, как Распутин был у государя и поддержал Варнаву, умело и тонко касаясь вопроса об общественных настроениях, провел мысль о Волжине. Волжин был вызван государем, был милостиво принят, и государь одобрил план ликвидации через некоторое время дела епископа Варнавы путем проведения его через синод в новом составе.

С. П. Белецкий.

(Продолжение следует).

Крестьянское движение при Колчаке.

I.

Общий обзор крестьянского движения в его разновидностях.

1. Значение крестьянского движения.

Самым ярким фактом в жизни Сибири за период существования власти адмир. Колчака были, несомненно, крестьянские восстания. Они начинаются одновременно с переворотом 18 ноября, даже еще раньше, с первым появлением — „колчаковщины“ на общественной арене (убийство Новоселова в середине сентября 1918 г.), носят первоначально характер местных конфликтов, возникавших на самой разнообразной почве, затем сравнительно быстро принимают яркий анти-колчаковский характер, каковой и носят до самого падения власти верховного правителя. За все время пребывания адмир. Колчака у власти крестьянские восстания не прекращались, то затихая, — там, где у администрации находились силы для их подавления, и пока эти силы действовали, — то вспыхивая при малейших благоприятных условиях, то вдруг, как лесной пожар, охватывая огромные территории, десятки волостей, даже целые уезды, а под конец и губернии. Это была длительная, упорная и организованная борьба, не прекращавшаяся ни на одну минуту, если брать общесибирский масштаб, и окончившаяся победой крестьян, столь, казалось, невозможной. Почти все крупные вожди крестьянских отрядов (Мамонтов, Новоселов, Роцов, Кравченко, Щеткин, Лубков, Яковенко, бр. Бабкины и др.) пережили Колчака. Победителями на поле битвы остались они, а не Колчак.

Замечательной чертой сибирской жизни за этот же период является и то, что во время борьбы деревни с Колчаком город оставался сравнительно спокойным. Городеские движения, возникавшие в разных местах (в Омске в декабре 1918 г. и феврале 1919; в Томске в марте 1919 г.; в Красноярске в июле 1919 г. и пр.) бывали спорадическими и судорожными, организовывались нередко с участием агентов власти, провоцировавших население на преждевременные выступления. Да и по составу участников эти городские движения являются, в сущности, полу-крестьянскими, так как они захватывали главным образом солдатскую массу, а не городских рабочих. Попыток, которые бы предпринимал самостоятельно рабочий класс, городской пролетариат, правда

в Сибири немногочисленный, — 300-400 тыс. на 9-10 милл. населения, — но все же существующий, не то что бы совсем не было, но длительной, организованной, все более и более нарастающей формы движения они принять не могли. Так что, по тем или иным причинам, но главной реальной силой, оказывавшей непрекращающееся вооруженное сопротивление правительству Колчака, должно быть признано — крестьянство.

Я не ставлю, однако, здесь своей целью написать подробную историю крестьянского движения при Колчаке. Для этого у меня нет ни необходимых материалов, ни даже возможности получить для обработки то, что в разных местах имеется. Но я был близким свидетелем этого движения, многое знал о нем из первых рук и, придавал ему всегда очень крупное значение, внимательно следил за ним, а с некоторыми руководителями его находился в непосредственном общении. Все это заставляет меня передать здесь то, что я знал уже в то время о крестьянском движении, о его территориальном распространении, о районах, где оно укреплялось особенно сильно, о политическом настроении, как повстанцев, так и вообще широких масс крестьянства, о борьбе интересов в его среде и об идейных лозунгах, в которых эта борьба выражалась. Я буду брать, главным образом, такие материалы, которые уж тогда проходили через мои руки; я буду обрисовывать это движение не как учений, а как летописец-современник, не как историк, а как политик, принимавший непосредственное участие в общем ходе событий и в их развитии.

2. Общий обзор движения. — Южный район.

Начну с тех сведений, которые у меня были к моменту падения власти Колчака или, точнее, к моменту падения Омска (15 ноября 1919 г.) о крестьянском движении. К середине ноября 1919 г. партизанское движение в Сибири достигло наивысшего развития. О его силах и о территории, находившейся в руках повстанцев, у меня тогда были довольно точные сведения, касавшиеся к тому же не отдельных частей Сибири, а всей ее площади в целом. В моем распоряжении находилась тогда карта Сибири, от Урала до Забайкалья, на которой были нанесены партизанские фронты, всего несколько десятков фронтов, с указанием, кто являлся руководителем данных отрядов и в данной местности, какой силы были эти отряды, каким оружием они обладали и какого рода войска, пехота или конница, находились в их распоряжении. Это было очень ценное пособие для суждения о политической роли тогдашнего крестьянского движения.

Я и раньше имел такие сведения, еще с весны 1919 года, когда я жил в Красноярске, месте своего постоянного пребывания. Военная администрация Красноярска, руководимая ставленником Колчака, генер. Розановым, подозревала, что у меня есть эти сведения, и ген. Розанов, не дождавшись этого большого секрета, обвинил даже меня в том, что я являюсь одним из лиц, тайно руководивших крестьянскими восстаниями по губерниям. Я должен, однако, категори-

чески заявить здесь, что эти обвинения совершенно фантастичны: я не имел никогда никакого отношения к непосредственному руководству крестьянским движением при Колчаке, хотя, правда, получал сведения о нем не менее ценные, чем сам ген. Розанов.

Наиболее ценным материалом, который за время моей жизни в Сибири ~~добыл~~ ~~через~~ ~~мои~~ ~~руки~~ ~~по~~ ~~вопросу~~ ~~о~~ ~~крестьянском~~ ~~движении~~, была несомненно та карта повстанческих фронтов, о которой я упоминал выше. Одним своим внешним видом она уже производила большое впечатление: глядя на нее, ясно было видно, что буквально вся Сибирь охвачена пламенем крестьянских восстаний. Не было такого угла в ней, не было ни одного уезда, начиная от Семипалатинска и кончая районом за Иркутском, далеко на Амур и Восток, по которым бы не проходила красная линия партизанских фронтов. То тут, то там, то прямыми линиями, то зигзагами, то замкнутыми районами, то районами с отдельным перерывом красной линии, но фронты были нанесены решительно повсюду. В одних местах они уходили вглубь страны, далеко от ее жизненной артерии—железной дороги—в других подступали к ней почти вплотную, едва не разрезая магистраль.

Прежде всего обращала на себя внимание южная группа, в нижнем углу карты—это Алтайская губерния, хлебная житница всей Сибири, район обеспеченного крестьянства и маслодельных артелей, вывозивший на заграничные рынки перед войной одного сливочного масла на 75 мил. рублей. В этой губернии оказывалось несколько очагов крестьянских восстаний. Самый крупный из них занимал самую хлебную часть губернии—Славгородский уезд, связанный с магистралью Кулундинской жел. дорогой, от Славгорода через Кулундинскую степь к гор. Татарску. Центром повстанческого движения было здесь с. Солоновка—место нахождения главного штаба повстанческих войск, руководимых Мамонтовыми. К этому району тяготели Барнаульский, Каменский, северная часть Бийского уездов и весь Славгородский,—огромная территория, примыкающая к Оби и заречной лесной полосе, постоянному прибежищу повстанцев. С запада сюда же подходил Семипалатинский район с жел.-дорожной станцией Рубцовка, расположенной на границе большого бора, второй колыбели повстанческого движения. За осень 1919 г., начиная с августа по декабрь, Рубцовка несколько раз переходила из рук в руки, то от правительственных войск к повстанцам, то от повстанцев к правительственным войскам, пока, наконец, последние не были оттуда вытеснены окончательно. Были моменты, когда железная дорога (от Барнаула до Семипалатинска) на протяжении 100—150 верст находилась по две-три недели в руках партизанских отрядов, чем страдалось все движение грузов в этой части Сибири.

Славгородский район к ноябрю 1919 г. имел всего до 25 полков под общим командованием Мамонтова. Это была целая армия, вооруженная пулеметами и имевшая даже орудия, состоявшая как из пехоты, так и конницы. Начиная с осени, ее несколько раз рассеивали правительственные войска, но она опять возрождалась, провела весь октябрь в боях, а в ноябре, к моменту падения Омска, к новому периоду была приурочена вышеупомянутая карта,

повстанческая армия заняла Славгород (20 ноября), через несколько дней Семипалатинск, а 9 декабря и Барнаул. Все это происходило в период времени с августа по декабрь.

Одновременно с этим, за те же месяцы в той же Алтайской губ., но не на севере, а на юге созревал другой очаг крестьянского движения, тылом своим опиравшийся на горные кряжи на юге Бийского уезда, а другим флангом уходивший далеко за горный хребет, к югу от Усть-Каменогорска. С последним районом я не имел никакого соприкосновения, он был слишком далек от тех мест, в которых я имел постоянное пребывание. Что же касается движения на юге Бийского уезда, начавшегося с конца лета 1919 г. и идущего базой Горный Алтай, в частности с Черный Алуй, то с ним я имел некоторые личные связи, и о нем я ниже буду говорить подробнее, оставляя пока его в стороне.

Наконец, кроме этих двух был в той же районе еще один самостоятельный очаг крестьянского движения, та часть губернии, которая граничила с Кузнецким уездом Томской губ. Здесь оперировали отряды Рогова и Новоселова, насчитывавшие каждый по нескольку тысяч человек.

Вся эта масса отрядов действовала на территории губернии с 2,5 милл. жителей и 300 тыс. кв. в. пространства, — территории, покрытой и лесами, и горными кряжами, и обширными степными урочищами, чрезвычайно приспособленной к ведению партизанской войны. Участниками восстаний являлись обычно местные люди, в совершенстве изучившие свои районы, знавшие в них каждый кустик, каждое болото, все тропы и дороги. Сочувствие мирного населения всегда оказывалось на стороне повстанцев, что также давало им огромное преимущество перед правительственными войсками, к тому же составленными нередко из иностранцев, чехов, поляков, сербов или из казаков отряда Анисимова, ненавидимых мирным жителям хуже, чем всякие иностранцы.

3. Общий обзор движения. — Томская губ.

Второй обширной территорией повстанческого движения является Томская губ. в своих прежних, а не нынешних границах. Славгород и Семипалатинск лежат к югу от магистрали, на расстоянии от нее в 400—450 в., т. е. сравнительно далеко. К северу от магистрали по территории Канского и Тарского уу. летом и осенью 1919 г. пролегал свой особый повстанческий фронт. Одно время он занимал пространство от села Вознесенского вдоль жел. дороги до Екатерининского завода Тарского уезда, Омской губ. Здесь повстанческие отряды насчитывали от 500 до 600 чел., сравнительно не так много, что не мешало им около двух месяцев быть хозяевами этой части территории адмфр. Колчака.

Дальше на восток, приближаясь к Томску, мы вступали в сферу действий отдельных небольших отрядов, числом от 8 до 12, друг с другом ничем не свя-

занных и бороздивших губернию по самым разнообразным направлениям с самыми разнообразными целями, очень часто не имевшими ничего общего ни с какой политикой. Наибольшей популярностью среди этих отрядов пользовался отряд Лубкова, бывшего унтер-офицера, с большим успехом ведшего борьбу с иррегулярными экспедициями, направлявшимися против него из Томска. За лето и осень 1919 года местные газеты были переполнены известиями о действиях, набегах, грабежах, как писали тогда, Лубковского отряда. Его несколько раз разбивали и рассеивали, но сам Лубков оставался невредимым и вскоре снова собирался с силами и вновь начинал свои набеги, внося тревогу в городское население, особенно уездных центров.

Кроме Лубкова тут же действовали отряды Митузова, Голикова, Корасилова, Толкунова и целого ряда других партизан, часто просто безымянных. Все они занимали пространство к востоку и северо-востоку от Томска. Как ни менялись судьбы каждого из них, сколько их ни преследовали, а порой, сколько их ни уничтожали, тем не менее к осени они все возрождались почти при том же командном составе, но в увеличенном размере. Это была по истине сказочная гидра, у которой на место одной отрубленной головы вырастали две новых.

Припоминаю свой разговор в полбре того же 1919 г., к которому относится характеризованная мною здесь карта повстанческих фронтов, с одним лицом, чрезвычайно осведомленным в вопросах о внутреннем вооруженном положении Сибири. Разговор происходил незадолго до падения Омска. Я спрашивал своего собеседника, как он расценивает возможность дальнейшего хода военных событий по магистрали и в каком положении, по его мнению, обстоит дело с Томском и И.Николаевском. Он мне ответил, что Томск, по его мнению, будет скоро занят, но не с запада и не красной армией, а с северо-востока повстанческими отрядами. Настолько, значит, высоко расценивал он, специалист в этого рода вопросах, значение и силу оперируемых около Томска отрядов, несмотря на то, что они были мало связаны друг с другом и сравнительно плохо вооружены.

Кроме этого, беспокойен была ит губернии, куда постоянно захаживали отряды Рогова и Новоселова из Енисейского в Кузнецкий и Щегловский уезды, и где были, вместе с тем, свои местные повстанческие организации, особенно в каменно-угольном Кольчугинском районе.

Следует, однако, сказать, что обе эти губернии, и Алтайская со своими повстанческими армиями, правильно организованными и сравнительно хорошо вооруженными, и Томская с целой сетью отдельных отрядов, постоянно укрывавшихся в бескрайних таежных пространствах, не представляли такой непосредственной угрозы для существовавшего порядка, как крестьянское движение, развивавшееся дальше, на восток отсюда, в пределах Енисейской губ., особенно в Канском уезде и отчасти Ачинском, а позже в Минусинском. Повстанцы южного фронта были очень серьезные противники, но силу их не следовало преувеличивать. Наибольшая опасность со стороны их была в том, что они имели хороший тыл, делавший их неуязвимыми, тыл, состояв-

ший в тайге по Томской губ. и в горных районах Алтайской, граничившей с Монголией. Повстанческие отряды могли в случае неудач, либо скрываться в тайге, либо хорониться в горных гнездах Алтая, за пределами досягаемости для правительственных войск; либо, наконец, могли даже уходить по Чуйскому тракту под самое Кобдо. Но, вместе с тем, эти преимущества таили в себе и слабость их: они оперировали в области, слишком удаленной от магистрали, чтобы нанести непосредственный вред основному военному фронту на Урале, органически связанному со всей Сибирью жел.-дор. магистралью. Для того, чтобы причинить настоящий вред существовавшему тогда порядку, необходимо было удары направлять именно по этой жел.-дорожной линии, что нельзя было достичь ни из Алтайской губ., ни из таежных углов Томской. Вот почему, для правительства Калача являлись гораздо более опасными те повстанческие районы, которые гнездились в прилегающих к жел. дороге местностях Енисейской губ., и около которых шла всю весну и лето самая жестокая борьба.

4. Общий обзор движения. — Енисейская губ.

К середине ноября 1919 г. по Енисейской губ. положение было такое. Весь юг губернии, ее житница, Минусинский край, в том углу, который образует р.р. Тубой и Енисей, — на восток от Енисея и на юг от Тубы, — во главе с гор. Минусинском, был занят, так называемой, крестьянской или народной армией Кравченко и Щетякина. Это была, действительно, настоящая армия, имевшая артиллерию и кавалерию, притом весьма хорошую, и пехоту. На карте, данными которой я руководюсь, показано, что у армии Кравченко имеется 3 орудия и 25 пулеметов, а бойцов 20—25 тыс. человек. Армия представляла правильно организованный механизм, поскольку вообще могла быть организована такая плохо подпадавшая под военную дисциплину среда, как деревенская, да еще сибирская, вольница. Из всех сибирских повстанческих армий, армии Кравченко и Щетякина играли наиболее громкую роль, ее стратегическое положение представлялось наиболее важным, удары, который она могла нанести, наиболее чувствительными. Она заслуживает и с нашей стороны наибольшего внимания.

Эта армия первоначально зародилась вблизи самой железной дороги, в 15—20 верстах на юг от магистрали и в 50—70 в.в. от Красноярска, на восток от него. Колыбель ее — Стенно-Ваджейская и Перовская волости ¹⁾ на южной границе Канского и Красноярского уездов, подтаежный район, упирающийся в горно-таежную реку Ману, знаменитую своей красотой, дикой и первобытной.

¹⁾ В Стенно-Ваджейской вол. 3111 жит., в Перовской — 9390. Это переселенческий район.

Сначала там начал действовать Кравченко, у которого около села Нарвы находился собственный хутор (Кравченко—агроном по образованию), Щетинкин же первоначальной ареной деятельности имел северную часть Ачинского уезда с резиденцией в с. Большой Улуй, верстах в 50 на север, прямо от Ачинска. Начало деятельности того и другого относится к концу 1918 г.,—приблизительно к ноябрю месяца у Кравченко, и в декабре у Щетинкина. Оба они—офицеры: Щетинкин кадровый офицер, дослужившийся в германскую войну до чина штабс-капитана из простых рядовых; Кравченко же поручик, призванный в армию из запаса. Оба затем местные люди. Щетинкин до марта месяца пробыл со своим отрядом на севере Ачинского уезда, а затем, преследуемый правительственными войсками и почти ими окруженный, совершил необычайно смелую диверсию,—пошел на юг к Ачинску, перешел в 20 в. к западу от него, с небольшою кучкой сторонников, жел. дорогу, повернул затем к с. Ужур, от него на с. Новоселову, и отсюда через Енисей по льду к Красноярску, на встречу высланным оттуда отрядам, а затем, до встречи с ними, повернув на с. Дербино, перешел в тайгу; через тайгу, неизвестными тропами, на юг Красноярского уезда и на Паске 1919 г. соединился с Кравченко на Манском фронте. Весь этот рейд он совершил на глазах всей губернии, пройдя совершенно безнаказанно несколько сот верст, если не всю тысячу, и разбивав неоднократно посланного наперерез ему из Минусинска соти. Бологова.

Напротив, Кравченко, начиная с того же ноября 1918 г., все время оставался в районе реки Маны, постепенно накапливая там силы и доведя их в конце концов до большой армии в 6—7 тыс. человек. Зародившийся первоначально в виде небольшой группы повстанцев, которой никто не придавал серьезного значения, эта армия быстро выросла, и в конце зимы образовала, так называвшийся тогда, „Камарчатский“ фронт, широко известный по всей средней Сибири. Камарчага—станция железной дороги в 60—70 вв. от Красноярска в сторону Иркутска. От Камарчаги территории, находившаяся в распоряжении повстанцев, начиналась иногда в 5-6 вв. иногда отодвигалась вглубь, вдоль тракторной переселенческой дороги на р. Ману, верст на 15-20, но никогда не дальше. За этим рубежом, начиная с зимы 1918—1919 находилась уже территория, прочно занятая повстанцами, куда в течение полугода, если не более, был совершенно закрыт доступ правительственным войскам. Власть Колчака до июня 1919 г. здесь буквально не существовало.

От ст. Камарчаги вглубь уезда пролежала, по направлению к реке Мана, большая шоссе-ная дорога, так называемая, „переселенческая“ (построенная по плану переселения), дорога, умиротворявшая в село Степной-Ваджей. Степной Ваджей сделался столицей повстанческой территории и его там крестьяне называли — „Петроградом“. Здесь находилась большая переселенческая больница (лучшие сельские больницы в Сибири—переселенческие), оборудованная повстанцами в свой военный госпиталь; школа, церковь, и тут же были оборудованы патронные заводы полу-кустарного типа, снабжавшие повстанцев военным материалом. В народе ходил слух, что повстанцы умеют делать даже порох, и тогда

крестьян спрашивали: из чего же они его делают?—то крестьяне отвечали: научились делать из березовой коры. Отмечу здесь, кстати, что в армии Мамонтова имелись тоже свои заводы, фабриковавшие до 500 штук патронов в сутки, и там тоже повстанцы сами приготавливали себе порох.

Работа в Степном Баджее шла очень энергично, местность была хорошо защищена со всех сторон от неожиданного нападения горами и непроходимой тайгой, а с фронта, от жел. дороги, живой силой повстанцев, непрерывно возраставшей. Шла широко поставленная агитационная работа, собирались съезды крестьян, издавалась одно время гектографированная газета „Крестьянская Правда“. Станция Камарчага в это время (март—июнь 1919 г.) походила на настоящий военный лагерь времен серьезной позиционной войны. Основную массу живой силы тут составляли чехи, за ними следовали итальянцы, частью сербы и русские. Центральную роль играли чехо-словаки, а наиболее отрицательную—томские гусары из Красильниковского отряда.

С середины мая 3-я чехо-словацкая дивизия полк. Прхала начала наступление на Камарчагский фронт, чтобы проложить путь к р. Мане и загнать повстанцев в таскские дебри, где им грозила верная гибель, если не от зверей, то от голода. Камарчагский фронт превратился за время этих боев в еще более знаменитый „Манский“ фронт, бои на котором были необыкновенно кровавыми и напряженными и очень долгими. Борьба шла до середины июня, т. е. целый месяц. Повстанцы отстаивали положительно каждый клочок земли, каждый пригорок, каждую речку. Рельеф местности для них представлялся чрезвычайно благоприятным: чем дальше вглубь к Мане, тем все более неприступными становились скалы и таскские ущелья, в то же время опасность быть разбитыми придавала энергию бойцам. Это была, действительно, героическая борьба, при том с неравными силами.

В конце концов, повстанческая армия была разбита и отброшена за Ману, в глубь тайги,—бездонной, бездорожной, настоящей тесной пустыни. Степной Баджей пал, героический период его существования кончился, из столицы, „Петрограда“, он превратился в пустыню:—вся волясть была выжжена.

5. Партизаны в Минусинском уезде.

Повстанческая армия на р. Мане была окончательно разбита 15 июня 1919 г. К этому времени она состояла из нескольких больших отрядов. В Красноярске говорили тогда (еще зимой, впрочем), что на Мане действуют три или четыре армии,—Тальская, Манская, Канская и еще какая-то, кажется, Агинская. Количество вооруженных борцов во всех них доходило до 6—8 тыс. человек при 8—10—12 пулеметах, смотря по времени, когда было больше, и когда меньше. При поражении Агинский полк совсем рассеялся, разошелся по домам; из двух других огромная часть либо погибла, либо тоже разошлась. Зато осталось много больных и раненых,—всего более 200 чел. Моральное

состояние армии к этому времени сделалось ужасным. Разыгрывались потрясающие картины при отступлении в тайгу. Да и куда было идти? Остаться в тайге долгое время было нельзя, рано или поздно пришлось бы выйти из нее, либо назад в Баджей, либо в Минусинский край. О возвращении назад повстанцам не приходилось думать, оставалось одно:—идти дальше к Минусинску. Но разве можно было сомневаться, что там, при выходах из тайги, стоят заставы и повстанцев уже ждут? Идти в Минусинский край значило, в сущности, идти на верную гибель. Случилось, однако, то, чего никак не приходилось ожидать—красноярские генералы оказались настолько предусмотрительными, что никаких заслонов при выходе из тайги на просторы минусинских полей не поставили. Для разбитых и изнуренных остатков армии Кравченко и Щетинкина эта непредусмотрительность оказалась прямо спасительной.

Выйдя, после чрезвычайно трудного перехода по тайге, в Минусинский уезд и не встретив здесь никакого сопротивления, повстанцы употребили неделю на отдых и собиранье продовольствия, а пополнив запасы, двинулись на юг, к Минусинску. Затем с ними начала разыгрываться история, столь нам знакомая еще со времени Пугачева. Только что разбитая армия быстро росла, как снежный ком, катящийся с горы. Минусинск повстанцы миновали, но забыли Каратуз, столицу минусинского казачества, большое село, почти город. Казачьи власти оттуда позорно бежали и впоследствии их поведение рассматривал казачий круг, собравшийся в Красноярске. После Каратуза счастье, однако, еще раз изменило повстанцам,—их настиг с большим отрядом соти. Бологов и двадцать разбит под с. Ермановским и южнее под дор. Григорьевской. Вновь разбитые и полурассеянные отряды повстанцев решились спастись тогда в Урянхай и Монголию.

В Урянхай они прошли по Усинскому тракту, построенному руками торговцев, и через несколько дней по приходе туда, заняли гор. Белоцарск, бюрократическую столицу Урянхай. По приходе их в Урянхай, там вспыхнуло восстание соютов, мстивших русским за многолетние обиды, и началось повальное бегство русских на север, вниз по Енисею, на плотах. В свое время оно было подробно описано в местных газетах, сообщавших много интересных подробностей. В Урянхае армия Кравченко и Щетинкина снова оправилась. Красноярские генералы, выпустившие повстанцев из таежного канкана, куда их загнали чехи, не нашли ничего лучшего, как послать в Урянхай того же соти. Бологова, который только что взял таковой реванш в борьбе с повстанцами. Бологов молодой, казачий офицер, более смелый и задорный, чем способный к серьезной борьбе, решил, что тот «брод», который сгруппировался вокруг Щетинкина и Кравченко, можно рассеять одним ударом, и быстро двинулся на врага. Враг, однако, не дал себя провести.

Кравченко и Щетинкин обманули бдительность Бологова.—благо это не трудно было сделать,—и заманили его к Белоцарску, на левый крутой берег Енисея. Здесь они вдруг ударили на него со всеми силами, окружили и буквально сбросили с крутых скал в Енисей. Разгром оказался превосходившим все ожидания, и у повстанцев в руках осталась огромная добыча: несколько сот вин-

товок, несколько орудий, свыше 10 пулеметов, и пр. Повстанческая армия снова возродилась и с этого времени шла от победы к победе.

После некоторых колебаний, вести о которых какими-то путями быстро доходили до Красноярска, что делать и куда идти—рождалась мысль идти через горы в Кузнецкий уезд на соединение с алтайскими отрядами,—армия Кравченко и Щетинкина вступила вновь в пределы Минусинского уезда, на этот раз не с севера, а с юга, через Григорьевку, под которой они недавно еще потерпели поражение. Снова начали разыгрываться сцены, так нам знакомые еще по обороне Бологорской крепости в „Капитанской Дочке“ Пушкина. Серьезных боев нигде не происходило, хотя в Минусинске командовал генерал Попов, ген.-штабист, географ, исследователь Урянхайского края—почти коммунист, в то время ревностный колчаковец. Бологов, к тому же раненный, добравшись в Минусинск, внес туда панику, там началась снежная, пеленая, судорожная эвакуация, а красноярские полководцы, сводя какие-то счета с минусинскими, оставляли их без помощи. Удва отходили последние пароходы с беженцами, как повстанческая армия вступила в город и завладела им так прочно, что оставалось в нем до падения власти Колчака, в течение трех месяцев (сентябрь—январь).

Это был пример, единственный на протяжении всей колчаковской территории и за все время существования власти Колчака. Правда, повстанцы неоднократно захватывали города и в других концах Сибири: так, в феврале 1919 г. ими был занят Енисейск; осенью 1918 занимали на некоторое время Славгород; летом—Камень, на Оби; позже Бодайбо; подходили они близко к Кузнецку, Таре, даже Канску. Но все это не выходило за пределы временных захватов и, занимая эти города, повстанцы очень скоро теряли их, неся более или менее значительные потери. Минусинск, напротив, ими оказался занятым очень прочно, приблизительно так, как перед тем Стенной Баджей, но в отличие от Стенного Баджея здесь в их руки попадал не притаженный район полугорный и полуденный, уходящий в глубь тайгу, а огромнейшая площадь плодородной земли, сравнительно густо заселенная (550 тыс. населения на пространстве 80 тыс. кв. в.), охватывавшая всеми дарами природы, с лесами—хлебным заводом в Абаканске, с рудой—бронзой, с запасами продовольствия, теплой одежды, медикаментами и пр.

Упрочившись в Минусинском крае, повстанцы могли считать себя вознагражденными за все лишения и от чисто военной жизни имели возможность перейти к настоящему государственному строительству, чем они по мере сил и занимались. Пребывание в Минусинске дало им случай привести также в систему тот идейный хаос, с которым они выступили на борьбу с колчаковщиной, что они делали путем создания местной прессы в виде газеты „Солнце и Молот“. Все это, взятое вместе, заставляет обратить на Минусинский повстанческий район наибольшее внимание и с особенной пристальностью приглядеться к нему, что мной и будет сделано в дальнейшем.

6. Тасеевский повстанческий район.

Все факты, приведенные выше, показывают, насколько серьезным явилось крестьянское движение в Сибири во времена Колчака. Между тем мы далеко еще не закончили даже чисто внешнего описания наиболее важных повстанческих районов. Камартагским и Манским районами, перешедшими позже в Минусинский вооруженный плацдарм между реками Тубой и Енисеем, а также отдельными отрядами по Ачинскому уезду, выведенными на Ману Щетипкиным, еще не исчерпывается перечень крестьянских фронтов по Енисейской губ. Я уже упоминал о захвате в феврале 1919 г. повстанцами гор. Енисейска, находящегося на север от Красноярска в 600 в., в таком же расстоянии, в каком к югу от него находился Минусинск. Енисейск захватили отряды, вышедшие с Ангара, а на Ангаре они появились из с. Тасеева, расположенного прямо на север от Канска, в 125 верст. от жел. дороги. Тасеевский район представлял второй чрезвычайно важный очаг крестьянского движения по Енисейской губ.; он явился центральным питательным пунктом для повстанческого движения всего севера губернии.

Тасеево—большое село (несколько тысяч жителей; всего в волости жителей 10—11 тыс. человек, что представляет большую цифру по сибирскому масштабу) расположено в глубине тасеинского уезда. В северной части губернии это единственное место, где есть хлебные излишки, поступающие в продажу на местном рынке. Хлеб отсюда обычно шел к Ангаре и в Ириангарский край и дальше на прииска Енисейской тайги. Енисейская тайга—это та местность губернии, которая расположена тоже в углу, образуемом тем же Енисеем и на этот раз Ангарой. Рекой Нитом она делится на северную и южную тайгу.—«золотое дно» Сибири.

Тут когда-то создавались те самые «приваловские миллионы», которые описаны Маминим-Сибиряком. В 1840-х гг.—время действия героев Мамин-Сибиряка,—здесь добывалось золота до 1400 пудов в год, колоссальная цифра даже по тому масштабу. Добыча шла химическим, золото не добывалось, а расхищалось. Золотопромышленники то богатели, как во сне, подобно английским лордам, то вдруг ввергались в нищету. В конце XIX века выработка золота очень упала и спустилась до 120 пуд. в год, что вызвало кризис золотопромышленности и заставило ее перейти к механической добыче золота путем постановки особых машин—«драг», привозившихся в Сибирь из Новей Зеландии (привоз стоял больше, чем сама машина). Образовался целый ряд промышленных акционерных компаний, поднявших добычу золота до 220—230 пуд. в год. Были драги, как, напр., в северной тайге у Федоровского золото-промышленного об-ва, побивавшие мировой рекорд добычи золота,—25 пуд. на драгу.

Совершенно естественно, что повстанцы, захвативши хлебный тасеевский район, поставили своей задачей овладеть и тесно с ним связанным—здесь хлеб, там золото, два чисто сибирских продукта,—золотопромышленным районом. Отсюда начинается борьба повстанцев за северную, более отдаленную, и южную, близкую к ним, тайгу, которая всю зиму 1918—1919 гг. шла с переменным

успехом: счастье склонилось то на ту, то на другую сторону. Крупные золотопромышленники не верили в возможность захвата тайги «бандами», полагая, что правительственная власть отстоит столь важные для нее районы. Они даже менали своим служащим вступать в дружины обороны, так как это отвлекало их от непосредственной добычи золота, которая в южной тайге ведется и зимой. Тяжесть самообороны пала в виду этого на плечи мелкого золотопромышленника, артельщика и на отдельных служащих, предоставленных самим себе, так как помощи со стороны не приходило. Тайга, главным образом, южная, в конце концов оказалась захваченной повстанцами и дражный промысел правительством Колчака был совершенно потерян и больше ни при нем, ни позже, но уже по другим причинам, не восстанавливался.

Тайга, бездорожье, сравнительная отдаленность от центров, привычка населения к самостоятельности, наличие солдат, вернувшихся с фронта и прошедших там школу позиционной войны, создали такие условия, при которых Тасеевский район с прилегающими к нему при-ангарьем и южной тайгой, мог быть обращен в территорию, непроницаемую для колчаковских войск. За самодельными окопами, зимой из снега и льда, окруженные сторожевыми отрядами, целые волости выходили из-под власти Колчака и жили там какой-то своеобразной, самостоятельной жизнью, оторванные от мира, но и отрывавшие этот мир:

Весь этот район входил в состав Канского уезда, той именно части его, которая расположена на север от железной дороги. Но и другая часть уезда, меньшая, к югу от нее, находилась — как, мы видели, не в лучшем положении, так как входила в состав манского фронта, где часть повстанческой армии так и называлась — «Канской». Зимой 1918—1919 г.г. почти весь Канский уезд оказался в районе восстания. Из 48 волостей, составляющих уезд, земская управа имела тогда постоянные сношения только с 10—12 волостями, примыкающими непосредственно к полосе железной дороги, да и то, в трех из них, бывали пабеги партизан. С остальными волостями у земской управы сношений не было, а если и бывали, то случайные. Населения в Канском уезде 320—350 тыс.; нужно считать, что из этого числа не менее 250—270 тыс. находились за линией фронта. Как они там жили? Какие отношения у мирного населения за линией фронта устанавливались с повстанцами?

7. Партийные группировки среди крестьян

Ответить на последние вопросы, — все серьезность которых ясна сама по себе, — я могу только на основании отрывочного материала, доходившего тогда до меня, на основании сведений, сообщавшихся самими крестьянами.

Крестьянская мысль всегда конкретна. Крестьянство постоянно стремится к реальному, а не отвлеченному. Крестьянин, особенно сибирский, эмпирик по природе. Поэтому, партийные группировки среди крестьян, намечавшиеся за это время, складывались на своеобразной почве, подчас очень не-

ожиданной и парадоксальной. Крайнюю правую у нас занимала, так называвшаяся в деревнях этой части губернии, — „Серебряная Гвардия“. Своеобразный термин чисто местного происхождения, который я встречал в деревнях Красноярского уезда. „Серебряная Гвардия“ это люди с посеребренными сединами волосами. Это партия порядка в точном смысле такого слова. Люди такого типа желали гражданского мира и восстановления твердой власти, но, особенно останавливаясь на том, откуда она исходит. Откуда бы она ни исходила, пусть будет только это власть, а не дикое самодурство, которого никто не желал. Это консерваторы деревни. Про Колчака крестьяне такого типа выражались буквально так: „Он хорошо говорит (в манифестах), но делает, ох, как плохо“.

Против этих консерваторов деревни, консерваторов однако в известном, условном смысле, стояли две обширные группировки, — одни, принимавшие советскую власть, и другие, — тяготевшие к земской власти и Учредит. Собранию. Учесть их статистически, конечно, не представлялось никакой возможности, тем более, что и та и другая группировки, все-таки, в известной мере, тоже условны и своеобразны в понимании своих лозунгов, но обе они тогда существовали и в довольно широком масштабе. Были целые волости, в которых население, даже по ту сторону линии фронта, все-таки почему-то примыкало то к этой, то к той стороне. Когда Канский уезд почти весь оказался в полосе восстания, то в нем и тогда находились целые районы, напр., Шеломовская, Соколовская, Червинская волости и нек. др., которые не соглашались вводить у себя советскую власть, принятую повстанцами, и высказывались за власть земскую. У самого Тасеевского села шла на этой почве долгая тяжба и борьба с соседней Рождественской волостью, принимавшая иногда формы тяжелого междоусобия.

Если мы станем внимательнее приглядываться к этому крайне любопытному явлению, то увидим, что внутренняя политическая борьба в среде крестьян началась еще раньше, после первых же дней революции. В 1917 г. она обнаружилась в явной форме на съезде волостных представителей на первом губерньском крестьянском съезде в Красноярске, между большевиками и эс-срами. Тогда канские делегаты образовали сплоченную левую оппозицию в 40—45 человек, правда, потом распавшуюся, а против них выступали минусинцы, тоже сплоченной группой в 70—75 чел., и съезд пошел за минусинцами, и увлек за собой даже часть канской оппозиции.

Борьба доходила до такого страстного первого напряжения, что во время прений об одной резолюции, — захватывать или не захватывать земли, — один из минусинских делегатов солдат, востуженный на фронте, сошел от потрясения с ума и позже был увезен в Томск, в клинику душевно больных.

Настроение на съезде было действительно напряженным до крайней степени и могло даже людей привычных довести до изнеможения. Эта напряженность борьбы, находившая идеологическое выражение в борьбе за разные принципы и лозунги, станет для нас понятнее, если мы обратим внимание, какие интересы стояли за теми или иными теоретическими принципами. Так

как мысль крестьянства всегда конкретна, то это конкретное должно было сказываться и в данном случае. И вот, приглядываясь внимательнее к указанному явлению, мы можем установить, что политические деления тут—применительно к данной губернии—проходили приблизительно по линии разделения экономических интересов. Конкретно это выражалось в том, что районы подтаежные, оторванные от центра, наиболее глухие, наименее грамотные, хотя грамотностью сибирская деревня вообще не отличается, стояли за одну ориентацию в политических вопросах, а районы земледельческие, хлебопашеские за другую. При этом оказывалось, что первые районы переселенческие вторые—старожильческие. Канский уезд имеет не менее 40% переселенцев, минусинский, напротив, отличается большой давностью в заселении.

Переселенцы—это парии в нашей жизни. Отношение к ним со стороны царского правительства всегда являлось чисто бюрократическим. Расселяли их до крайности нерационально. Людей из степных губерний селили в тайгу или в подтаежные районы; землепашцев—в скотоводческие местности и т. д. Очень часто они попадали на участки, вообще непригодные для хозяйства, напр., лишённые воды или задавленные лесом. В тайге их заедал комар зимой они замерзали от морозов.

С другой стороны, они привыкали ко всякого рода ссудам, которые развращали их, и рабочее население перерождало в нищих, непрофессионалов. В итоге получалась своего рода „бродячая Русь“, хищнически обращающаяся с землей, лесом, природными богатствами. Этот бесхозяйный элемент, „бесхозяйная Русь“ в сибирской переработке, конечно, должна была отнестись очень сочувственно к таким политическим лозунгам, как, напр., захват земли, упорно пропагандировавшийся канскими делегатами на том же губернском крестьянском съезде в Красноярске. Но, ведь, в Сибири, в частности в Енисейской губ., частных земельных собственников совсем почти нет. По Енисейской губ., напр., только 0,9% всех земель состоит в руках частных собственников; остальная земля либо крестьянская, либо государственная. Тем не менее, мысль о захвате земель подкупала крестьян, несмотря на всю свою парадоксальность в сибирских условиях (в Канске было весной 1917 г. вынесено постановление о конфискации государственных земель), то-есть, она подкупала крестьян-переселенцев. Можно, ведь, было захватывать земли у старожилов и казаков, которые являлись тоже старожилами и лучше, чем кто другой, были наделены землей.

Но, разумеется, по этим же причинам старожильческие районы должны были быть против идеи захвата земель и должны были высказываться за чисто государственный путь решения земельного вопроса, который бы гарантировал им, что их земли не будут предметом раздора и не станут захватываться каждым прищельцем без разбора. Так, по линии экономических интересов и проходило политическое расслоение нашего крестьянства. Как оно переотражалось в отношении крестьян к разным типам организации власти, зарождавшимся и укреплявшимся в разное время, и в частности, как это отра-

жалось на повстанческих политических программах, мы еще не один раз увидим, ближе знакомые с крестьянским движением при Колчаке.

9. Тайшетский повстанческий район.

Тасеевский район, так же как и Минусинский, продержался до самого конца Колчаковской власти. Руководящую роль в ней играли бр. Бабкины и Яковенко, впоследствии приком. земледелии. Ни тасеевский, ни минусинский районы колчаковские генералы не смогли отвоевать от повстанцев. Но прежде чем эта власть пала, она нашла силы, чтобы уничтожить еще один очаг повстанческого движения, как был уничтожен „камарчагский“ фронт; этот очаг — Тайшетский повстанческий район, расположенный к востоку от Канска, в сторону Иркутска, на границе Енисейской и Иркутской губ., и относящийся собственно уже ко второй из них, а не к первой. Этот район одно время играл исключительно крупное значение и на нем необходимо остановиться особо.

Тайшет (теперь он входит в состав Канского уезда, тогда входил в Нижнеудинский уезд Иркутской губ.) — большой железнодорожный станция, почти город. По последней переписи во всей Тайшетской волости 15 тыс. населения, это очень крупная цифра по сибирским условиям, где средний размер населения волости не выше 6-7 тыс. человек, редко 8-9 тысяч и только в исключительных случаях выше 12-13 тыс. В самом Тайшете населения приблизительно 6-7 тыс. человек, если не больше. Через Тайшет проходит сибирская магистраль, в округе широко развито кооперативное движение.

При Колчаке, начиная с конца зимы (февраль — март) и до весенних месяцев на перегоне от Тайшета к Канску поезда ходили с большими перебоями. Военные поезда почти с регулярной правильностью терпели крушения: спускались повстанцами под откосы; на пассажирские поезда происходили частые нападения. Поезда ходили одно время при непрестанном сопровождении броневиков; общее положение было крайне напряженным и тяжелым. Чехословацких сил не хватало для охраны этого крайне важного ж.-д. дорожного участка, и в Тайшете имел постоянное местопребывание ряд румын под начальством полк. Каданца. Румыны — наименее культурная часть из бывших в Сибири иностранных войск; у местного населения с ними происходили постоянные столкновения, порой очень острые.

Насколько перегон от Тайшета к Канску являлся открытым для нападения повстанцев видно из всей тогдашней газетной прессы, в частности даже из чешской юмористической литературы, где он фигурирует в ряде карикатур над чехо-словацким воем. Юмористические чешские журналы пользовались правом известной свободы и могли касаться таких вопросов, касаться которых общему чешскому прессе не имела возможности, это отражалось и на карикатурах о Тайшете. Временами бывало, однако, и чехам и румынам не до

юмористики. Весной 1919 г. повстанцами было произведено прямо на Тайшет большое и хорошо задуманное нападение отрядом в 1000 чел., незаметно подоспевшим под прикрытием лесов к самой станции. Бой шел за вокзал; чехи были застигнуты врасплох, но скоро оправились и отбросили повстанцев. Потери оказались, однако, очень большими, вокзал был совершенно разрушен и сгорел, движение пришлось прервать на некоторое время.

Ряд таких же нападений повстанцы произвели на отдельные посты и станции. На перегоне от Тайшета к Канску дорога идет лесом и гористыми увалами, представляющими хорошее прикрытие для нападающих. Нападали обычно на платформах, внезапно подходя к поезду и после обстрела скрываясь в лесу.

Чоповская охрана преследовала повстанцев и тех, кого захватывала, „линичала“ на месте. Размывались сцены потрясающей жестокости, телеграфные столбы то тут, то там превращались в виселицы, и так на протяжении многих верст от станции до станции. О повстанцах тогда ходили целые легенды. Передавали, что у них от Степного Баджи в сторону Тайшета, вдоль железной дороги, на известном расстоянии к югу от нее, был проведен телефон, которым они и пользовались, чтобы координировать свои нападения сразу в нескольких пунктах на протяжении 300-350 верст. Телефонов на деле не было, но координированность действий несомненно имела место. Любопытно отметить, что в армии Мамонова, напротив, пользовались и телефонами, и телеграфом.

Тайшетский фронт и фронт „камарчатский“, в это время находившийся в полном расцвете, представляли грозную опасность для правительственных войск. Весь этот район от Канска к Тайшету, на север от дороги и к югу от нее, представлял сплошное повстанческое море, бурлившее волнами. В Красноярске власти не чувствовали себя спокойными, нервничали и ждали не то восстания в городе, не то нападения извне. Но город был в общем спокоен, бурлила деревня. Несмотря на это ген. Розанов, наместник Колчака в Красноярске, начал прибегать к самым репрессивным мерам,—введена была система заложничества. Каждое нападение на линии Тайшет-Красноярск вызывало расстрел заложников.

Нет никакого сомнения, что если бы Колчак не имел тогда на перегоне к Тайшету помощи со стороны чехо-словаков, румын, сербов, итальянцев, то положение его было бы критическим еще весной 1919 г., и дорога там была бы разрушена, связь фронта на Урале с востоком и тылом была бы порвана, и тогда поражения, которые Колчак испытал под Пермью летом, произошли бы гораздо раньше, и катастрофа приняла бы еще большие размеры. Все это показывает, какую роль играло в то время крестьянское движение в Сибири. Без всякого преувеличения можно сказать, что его роль тут была первостепенного значения, и во внутренней жизни Сибири крестьянство являлось решающим фактором. Не город, а деревня создавала тогда длительное, непрерывное, организованное сопротивление диктатуре Колчака.

Крестьянское движение и революционная оппозиция.

Правительство Колчака, поразительно по своей политической близорукости, совершенно не отдавало себе отчета, насколько серьезно крестьянское движение и какую грозную опасность оно представляет. Повстанческие районы очень часто являлись хлебными районами (Алтай, Семиречье, Минусинский край, Тасеево. и пр.); теряя связь с ними, правительство Колчака теряло огромные запасы продовольствия. Нечего говорить также о том значении для фронта, которое имели постоянные перерывы движения на магистрали. Когда тыл представлялся до такой степени спокойным, на фронте не могли идти успешно и даже чисто-военные операции. Было совершенно ясно, что для успокоения деревни нужны какие-то срочные и большие мероприятия; между тем Колчак и его генералы полагали, что с крестьянским движением легче всего справиться обычными репрессиями. Однако, совершенно иначе, чем правительство, отнеслись к тому же крестьянскому движению представители разных оттенков революционной оппозиции.

Обычно крестьянское движение определялось в Сибири, как движение большевистское и в известном смысле оно было таковым. Большевистские нелегальные организации скоро учли, особенно после неудачных опытов чисто городских восстаний, всю важность деревенского бунта и направили туда значительные силы. Позиции их были тем выгоднее, чем легче было противопоставить, по закону антитезы, власти Колчака идею власти Советов. Так большевики и поступали. Коммунистов тогда в Сибири еще не знали (даже термин этот не пользовался распространением), большевиков же помнили еще по 1917—1918 г.г., и психологически деревня чувствовала к ним определенное тяготение. Такая психологическая, или шире, социально-психологическая основа, у большевизма в Сибири несомненно была.

Большевизм представлял собою стихийный и бессознательный протест против всяких форм неравенства, а вовсе не непременно против неравенства экономического, как это обычно рисуется. Неравенство по образованию—разделение на грамотных и не-грамотных; неравенство по культурному уровню—чисто, по-„городски“ одетые и одетые по-деревенски; неравенство государственное с разделением на управляемых и управляющих и другие виды неравенства, совершенно неизбежного по существу и при данных условиях неприспособленного, по крайней мере, в краткий срок,—вот что составляло психологический источник для зарождения и развития большевистских настроений. Большевизм, как политическая система, тем и был близок нашему крестьянству, что внушал ему надежду, что все эти формы неравенства можно „скасовать“, как говорили казаки времен Хмельницкого, скасовать одним ударом сабли, выстрелом всех под одну гребенку. Это была зыбкая и неустойчивая почва, для построения длительного союза между разными политическими группировками. Впоследствии все эта неустойчивость очень ярко сказалась, но пока при Колчаке, она не чувствовалась.

Параллельно с этим замечался и другой тип отношения к крестьянскому движению. Он исходил из кругов земско-социалистических. История его образования в нескольких словах такова. Начиная с весны, а особенно с лета 1919 г., в Сибири заметилось одно новое общественно-политическое течение, — земско-социалистическое, — занявшее самостоятельную позицию по отношению к текущим событиям, в частности по отношению к правительству Колчака. Земства, избранные на основе всеобщего избирательного права, тогда, существовали, так как уничтожить их правительство Колчака, несмотря на все желание, не решалось, хотя и пробовало делать в этом отношении некоторые шаги. Несмотря на краткость своего существования, всего с 1917 г., и на малый контингент подходящих работников, земства, особенно местами, довольно прочно укрепились и представляли удобную почву для полу-открытой организации общественных сил на анти-колчаковской платформе.

В конце сентября и начале октября 1919 г. в Иркутске собрался нелегальный земско-социалистический съезд, на котором были представлены Иркутская, Енисейская, Томская губ., Алтай, Владивосток. На нем, для объединения политической работы земств, было избрано Земское Полит.-Бюро, в которое вошли и пишущий эти строки. За октябрь и ноябрь месяцы земское политическое движение становится своего рода политическим центром, около которого группируются представители анти-колчаковских организаций и течений. Земское Полит.-Бюро вместе с ними вырабатывает общее отношение к текущим событиям. Тогда же на этих совещаниях принимается за руководящий принцип идея „буферного“ государства. Постепенно, однако, земское течение поглощается новыми, или вернее старыми, политическими организациями, вновь почти открыто, выступающими на арену политической жизни. В первой половине декабря того же 1919 г. всеми указанными группами, при участии в том числе и Земск. Полит.-Бюро, кладется начало для создания той формы власти, которая позже получает название „Политического Центра“. Земск. Полит.-Бюро отходит в это время на второй план, оставаясь как бы в тени.

Но если не в Иркутске, то ближе к западу, в Красноярске, представители земского движения во главе с покойным Г. П. Спбардевичем, одним из крупнейших общественно-культурных работников Сибири, выступают с самостоятельной программой деятельности, и, по их инициативе, образуется в городе Комитет Общественных Организаций, к которому на время переходит власть по губернии. Это был очень краткий период, но он важен тем, что здесь, в Красноярске, представители собиравшей общественности впервые вступили в организованные переговоры с Советской властью об условиях создания единого фронта ¹⁾. Земское движение, оставившее известный след в жизни Сибири, шло, конечно, не случайно. Оно нарастало постепенно, зародившись в самый разгар „колчаковщины“, когда, казалось, наряду с ее не будет конца. Между прочим, одним из наиболее важных явлений, вызвавших его к жизни, было

¹⁾ Об этих переговорах, так же, как о тех, которые вел Иркутский „Полит. Центр“, и о договоре в Томске, заключенном 20 янв. 1920 г., я буду еще говорить специально

крестьянское движение, так широко разлившееся тогда по Сибири. Земства, будучи тесно связаны с широкими крестьянскими массами, уже по одному этому не могли игнорировать крестьянского движения и поставили своей задачей войти с ним, через Земск. Полит.-Бюро, в те или иные основания, что было решено сделать прежде всего в Красноярске.

Такое отношение к крестьянскому движению заставило, с другой стороны, представителей земско-социалистической оппозиции критически расценить, что представляет из себя в разных своих частях крестьянское движение, на что там надо смотреть, как на начало прогрессивное и жизнеспособное, и на что, как на начало нежизнеспособное и реакционное с обще-государственной точки зрения. Из предыдущего отчасти уже видно, к каким результатам пришла в этом случае земско-социалистическая мысль, представлявшаяся тогда двумя журналами: „Новым Земск. Делом“ в Красноярске, за период март—май 1919 г., и „Земской Сибирью“ в Иркутске, выходившей с осени того же года вплоть до низвержения власти Колчака. В дальнейшем та же точка зрения на крестьянское движение со стороны земско-социалистической оппозиции выяснится перед нами полностью на конкретных фактах.

10. К характеристике крестьянского движения.—Сибирская махновщина.

Крестьянское движение в Сибири не только при Колчаке, а и раньше, за предыдущий период революции (оно и тогда существовало), начиная с 1917 г. представляло собою очень сложное общественное явление, далеко не однородное по составу своих участников и далеко не равноценное в разных своих частях. По своему составу оно не всегда было демократическим, напротив, в нем известное участие, иногда даже руководящее, играли обеспеченные слои деревни, зажиточные и богатые крестьяне. Так случалось, напр., на Алтае, в Семипалатинской губ. и др. местах. Не всегда оно руководилось революционными целями в общепринятом смысле этого слова. Больше того, случалось, что крестьянские движения начинались столкновениями с властями на почве, далекой от всякой революции, или принимали характер не столько революционный, сколько анархистско-бунтарский, даже просто погромный. Нередко крестьянство вообще отказывалось признавать какие бы то ни было, хотя бы самые законные и неизбежные виды обязательного отбывания общественных повинностей. Свобода в таких случаях понималась им очень примитивно—в смысле освобождения от всякой государственной власти или в смысле права „свободно“ заниматься всем, что бы чем ни пожелал, вплоть до свободной выкуры „самогона“, добытие которой столь распространено в сибирской деревне. Еще до революции в той же Енисейской губ. на выкурку самогона уходило до 3 милл. пудов хлеба, по 2—3 пуда хлеба на душу, и это в области, которая отнюдь не принадлежит к разряду производящих хлеб, так как в ней только отдельные районы имеют хлебные излишки, остальная же часть живет привозным хлебом, а не только своим. Некоторый примитивный анархизм вообще свойственен крестьянскому мировоззрению, и он неизбежно дол-

жен был проявляться в крестьянском движении. Крестьянство могло отказываться и на деле отказывалось, признавать какое бы то ни было государственное регулирование, напр., в ведении лесного хозяйства, протестуя, даже на крестьянских съездах, против всякого рода лесничеств, стесняющих свободу пользования лесом, хотя такое стеснение было необходимо для охранения лесов от быстрого истребления; крестьянство являлось часто настроенным против всякого рода мобилизаций, систематически уклоняясь от них не только потому, что оно не желало признавать мобилизации для какой либо данной цели, а потому, что оно вообще было против поставки рекрут в солдаты; оно отказывалось платить налоги, хотя бы эти налоги шли на расходы по удовлетворению его же нужд, как это бывало не раз при сборе земских повинностей, и т. д. Во всех этих случаях сказывался примитивный анархизм крестьянского мышления, связанный с давно укоренившимся недоверием к государству. А так как ближайшие стимулы для проявления такого недоверия бывали самые разнообразные и далеко не всегда законные с обще-демократической и обще-революционной точки зрения, так как состав населения в Сибири тоже далеко не однороден, и в нем не последнюю роль играли с давних пор элементы вообще анти-социальные,—не забудем все-таки, что Сибирь страна ссылки (я говорю не про политическую ссылку, а уголовную), и в ней осело не мало элементов просто „ушкуннических“,—то в результате такого перенесения взаимно скрецающихся начал, крестьянское движение то тут, то там должно было вырождаться в такие формы, которые ни с какой стороны не могли быть приемлемыми ни для какого государственного течения. Быть может, самым трагическим выражением их являются события в Кузнецком уезде и в самом городе Кузнецке, зимой 1919-1920 гг., когда вся эта область оказалась в безраздельной власти повстанцев, руководимых Роговым и Новоселовым. Здесь ими был произведен настоящий погром интеллигенции, нечто в роде Уманьской резни гайдамаков, причем интеллигенция („буржуа“) уничтожалась без различия профессий, пола и возраста. Число вырезанных определялось в одном Кузнецке в несколько сот, именно, по подсчету томской газеты „Рабочее Знамя“—в 325 чел., а на самом деле, вероятно, гораздо больше, особенно принимая во внимание и весь уезд. Когда Кузнецк заняли советские войска, то им пришлось силой остановить эту погромную стихию, все смывавшую на своем пути. Замечательно также, что в этом районе и в соседнем с ним Щегловском уезде и позже, уже при советской власти, внедрился тот же тип крестьянского движения, бунтарски-погромный и примитивно-антигосударственный. Тот же Новоселов и Рогов сделались представителями и вождями его, выступая на этот раз (летом 1920 г.) не против какой-либо буржуазной власти, а против советской, и это было очень характерно. Еще характернее та политическая идеология, которую выставляли в своих прокламациях новоселовские и роговские партизаны. Острые своей ненависти они направляют тут безразлично и против комиссара, и против инженера, и против лесничего, и вообще против государственной власти, как таковой. Для них все формее были „от лукавого“. И летом 1920 г. они снова уничтожали всю интеллигенцию, где бы она ни служила, чем бы она ни за-

нималась; всю, от советских комиссаров до православных священников. Это была настоящая сибирская махновщина, оставлявшая на душе постороннего наблюдателя тяжелое и гнетущее впечатление. Эти свойства крестьянского движения проявлялись, разумеется, не только в Кузнецком или Щегловском уездах, а и в других местах. Их можно было встретить и в Тасеевском районе, и Славгородском, и в южной тайге, и в Томской губернии в отрядах Лубкова, и в Енисейской у Щетинкина. Все такие проявления первобытных свойств крестьянской психологии охотно подхватывались цензурой печатью, раздувались ею и служили у нее оправданием для применения к крестьянам жестоких мер со стороны карательных отрядов. Излишне, однако, доказывать, что делать так, т. е. сводить все крестьянское движение к одной этой, анархо-погромной струе, значило поступать крайне близорук и своекорыстно, значит лишь стремиться к угождению узко-групповой психологии цензурных слоев. На самом деле, крестьянское движение вовсе не исчерпывалось вышеотмеченными тенденциями, в среде крестьянства большое место занимали и элементы здоровые социально, искавшие каких-то нормальных, с их точки зрения, форм власти и не желавшие пресекать общепринятых условий социальной жизни.

11. Черно-Ануйский съезд повстанцев.

Одновременно с „сибирской махновщиной“, — умалять значение которой было бы большой политической ошибкой, особенно при общей мало-культурности сибирского населения, — существовали и другие типы крестьянского движения, другие группировки крестьянских интересов, отражавшие, главным образом, стремления „середнячков“, трудовых землепашеских слоев. Наилучшее выражение их мы находим в постановлениях повстанческого съезда в селе Черный Ануй на Алтае, происходившего в начале сентября 1919 г. В свое время я имел подлинники протоколы этого съезда*), очень ярко рисующие политическое настроение алтайского крестьянства. Оно во многом напоминает те политические группировки в среде крестьян, которые я характеризовал выше, говоря об Енисейской губ. Вместе с тем, в постановлениях Черно-Ануйского съезда совершенно отсутствует бунтарско-погромное настроение в духе „сибирской махновщины“, столь типичное для роговских и новоселовских повстанцев Кузнецкого уезда. Напротив, в воззваниях, принятых съездом и обращенных ко всему сибирскому крестьянству, говорится совершенно иное, крестьянство не только не призывается к стихийному и беспредметному разрушению и разгрому, но даже самым усиленным образом предостерегается от вступления на такой путь, как опасный и гибельный для крестьянского движения. Черно-Ануйский съезд опубликовал несколько воззваний с разным на-

*) Протоколы Черно-Ануйского съезда были мною опубликованы в обширных выдержках, после свержения власти Колчака, в газете „Народный Голос“ в Красноярске в декабре 1919 г., еще до прихода туда советских войск.

значением, по все они были проникнуты одним этим направлением, написаны в таком именно, а не ином духе. Отсутствует в них также то принципиальное отрицание государственности, которое составляет самую отличительную черту прокламаций Рогова и Новоселова. Можно даже сказать, что Черно-Ануйский съезд повстанцев высказался вполне определенно за установление своего рода революционного порядка, демократической государственности, обеспечивающей интересы трудовых слоев деревни, а не за протест против всяких форм государственного принуждения. Политическая программа съезда носит на себе отпечаток земских традиций,—на Алтае земство было чисто крестьянским и довольно хорошо привилось у населения,—хотя и переработанных применительно к особым условиям переживавшегося тогда Сибирью момента. На съезде были представители нескольких десятков волостей восставшего народа,—это территория южной части губернии, примыкающей к Горному Алтаю. Представители с мест были все крестьяне, местные люди. Все делегаты категорически высказались за свержение власти Колчака и огромным большинством (незначительное меньшинство в 7—8 голосов стояло на чисто советской платформе) постановили организовать из представителей земств, городов, кооперативов, профсоюзов особое Народное Собрание для выработки такой формы государственного управления, которое бы обеспечило народные интересы и могло бы войти в мирные переговоры с Советской Россией об условиях прекращения гражданской войны. Мысль об установлении гражданского мира внутри рабочей и крестьянской демократии проникала все постановления Черно-Ануйского съезда. Приблизительно это была та программа, пошедшая непосредственно из низов, которая впоследствии была принята „Полит-Центром“ в Иркутске и частью была им проведена в жизнь.

12. Перед приходом Советской власти.

Черно-Ануйские повстанцы, закончив свой съезд к 12 сентября, не сумели овладеть положением. В конце октября они были разбиты правительственными отрядами и рассеяны. Часть их ушла в горы, в горные гнезда, недоступные для правительственных карательных войск, и оставалась там ждать нового удобного момента; часть разошлась по остальной Сибири. Но к тому времени, когда произошел их разгром, общее политическое положение значительно переменялось в пользу повстанцев. Терпящая поражения на Уральском фронте армия Колчака оставила уже не только Пермь,—это случилось еще раньше, но и Екатеринбург и Челябинск, перешла затем за Tobol, и тут на время задержалась. Фронт продвинулся внутрь коренной Сибири, и красная армия приближалась к берегам Иртыша. На настроение и политическую ориентировку повстанческих армий этот факт произвел огромное влияние; впечатление, оказанное им, было весьма крупным, чтобы не сказать всецело-определяющим. Крестьяне и рабочие с очень сложным чувством следили за ходом борьбы на фронте. Частью сознательно, но еще более бессознательно, крестьяне чувствовали, что одними

своими силами им не одолеть колчаковского строя, пока его поддерживают иностранные регулярные войска. Повстанцы, вероятно, справились бы с ним, если бы им пришлось иметь дело с одним Колчаком и его силами. Едва-ли бы верховный правитель, очутившись лицом к лицу с крестьянским движением, удержался на своем месте дальше осени 1919 г., но за ним стояли крупные и хорошо вооруженные союзнические армии, так или иначе, вольно или невольно, но оказывавшие ему помощь и поддержку. Верхи, дипломаты и военные руководители союзного командования оказывали, за небольшими исключениями, эту поддержку адмир. Колчаку, столь для него спасительную, но доброй воле, по сочувствию, по социальному психологическому родству, а также в силу политического расчета. Низы же,—это относится, главным образом, к чехо-словацкой солдатской массе,—оказывали такую поддержку невольно, попавши в заколдованный круг сложных международно-дипломатических отношений, разорвать который они просто не знали как, не умели, так как были загипнотизированы мыслью о том, чтобы найти выход на редину, получить который без той же международной дипломатии они не могли. На этой почве в среде чехо-словацкой солдатской массы, очень интеллигентной по среднему уровню, развивался за весь 1919 г. глубокий кризис, о котором мне еще придется говорить в дальнейшем. Несмотря, однако, на эту, вольную или невольную поддержку, все более и более становилось ясным, особенно после падения Перми (июнь 1919 г.), что власть Колчака колеблется, что она теряет почву под ногами, что она, словом, падает, и рано или поздно, но падет окончательно. И хотя к моменту сдачи Перми крестьянские армии потерпели в целом ряде мест поражения,—сдача Манского фронта, Тайшета, поражения на Алтае и пр.—тем не менее у крестьян надежда на успешное сопротивление не пропадала. Больше того, у них стало являться сознание, что там за фронтом они имеют союзника, который может быть скоро появится по эту сторону Урала и сделается спасителем их от напастей колчаковщины. Вся страна к этому времени уже изстрадавшаяся от гражданской войны и страстно желала мира и возможности спокойно трудиться в привычной обстановке. Это настроение создавало возможность духовного объединения между красной армией, шедшей из-за Урала, и поднимавшейся ей (с осени и конца лета 1919 г.) навстречу новой волне крестьянских восстаний. К тому-же всю зиму 1918—1919 г.г. шли слухи по Сибири, что советская власть сильно изменилась.

Идея „единого фронта“ становится с этого времени господствующей среди сибирского населения, как города, так и деревни, как в низах, так и в интеллигентских верхах. Побеждал колчаковскую армию на поле сражения, красная армия одерживала в то же время идейную победу, являлась рупором, посылщицей принципов советской власти. При таком настроении казались академическими все споры, поднимавшиеся на Черно-Алтайском съезде повстанцев, какой строй должен установиться после падения Колчака, советский или не советский, какие формы власти необходимо принять и какие отринуть. Факт становился принципом: идею диктовал тот, кто побеждал.

Таким образом, к приходу красной армии крестьянская Сибирь, несмотря на все отличия интересов и настроений, стихийно становилась советской. Как то сами собой, в этой волне общего настроения, потонули и те резолюции, которые принимали черно-ануйские крестьяне и которые несомненно были навязаны не со стороны (впоследствии это очень ярко обнаружилось), а являлись выражением определенных интересов широких групп крестьянства. Но кроме того в том же направлении действовала и другая струя сибирских настроений, именно та, в которой выражалась и раньше идея советского строительства. Рядом с двумя группировками, выше охарактеризованными, в сибирском крестьянском движении была и еще одна, третья группировка — чисто советская, или точнее: считавшая, что она представляет советское течение. Так же, как и первые две, она проявлялась повсюду в Сибири, где только находила подходящую почву для своего развития и зарождения. Но опять-таки, как первые две имели особые территориальные районы, в которых они проявлялись с особенной рельефностью, точно так же и советское течение нашло специальный район для своего развития и для своего идейного созревания. Этот район — Минусинский край, занятый с середины сентября 1919 года народно-крестьянской армией Кравченко и Щетинкина и принесшей туда с Мань традицию канских повстанцев. Как я уже упоминал, здесь с середины сентября 1919 г. начала выходить газета „Соха и Молот“, открыто защищавшая советскую платформу. Здесь же армия Кравченко и Щетинкина могла передохнуть и собраться не только с силами, но и привести в порядок свой идейный багаж. Нигде, кроме Минусинска, этого нельзя было сделать, и это действительно было выполнено в Минусинске.

II.

Как понимали партизаны советскую власть?

1. О материалах по данному вопросу.

Как я уже указывал, главным материалом для суждения по вопросу, как относились партизаны к советской власти, является минусинская газета „Соха и Молот“. Конечно, это не единственный источник, которым можно бы руководиться в данном случае. В районах, занятых партизанами, происходила своя работа политической мысли, вырабатывались свои организационные принципы, методы и системы управления. Для этой цели созывались съезды, то чисто повстанческие, то чисто крестьянские, из представителей мирного населения, то смешанные, из тех и из других. Напр., в Манском районе еще в начале марта 1919 г. происходил съезд 9 волостей, собравшийся в Степном Баджее. Съезд принял тогда советскую платформу. Позже, в половине мая 1919 г., перед началом наступлений чехов на Манский фронт, созывался новый съезд в том же районе, на этот раз от 16 волостей, с представителями от повстанческих армий, — всего до 400 делегатов. Съезд был съездом

вательно смешанный. Эти 16 волостей входили в состав южной части Канского и Красноярского у.у. и представляли собой приблизительно 120—130 тыс. населения.

В промежутке между обоими съездами на территории, занятой повстанцами, издавалась газета „Крестьянская Правда“. Печаталась она на гектографе. Крестьяне, приезжавшие с Маны в Красноярск (сообщение между Маной и Красноярском полностью никогда не прерывалось), передавали, что у повстанцев политическим руководителем является один учитель, кажется, Перовской волости, который объяснял им, что задачей повстанцев является восстановление „крестьянского права“. Теория эта позже была подробно развита в „Сохе и Молоте“.

Одновременно с газетой „Крест. Пр.“ издавалось во всем повстанческом районе до Тайшета много прокламаций, воззваний, всякого рода предупреждений, обращавшихся то к чехам, то к казакам, то вообще к населению; часто они были просто писанными, а не печатными. Весь этот материал представлял бы несомненную ценность для суждения о политических взглядах повстанцев и, в частности, об их оценке разных форм власти, но, к сожалению, в нашем распоряжении его нет, да и вообще едва ли он где-либо собран, кроме разве, как у чехов. Не располагаем мы также соответствующим материалом по другим районам повстанческого движения, напр., по Алтайскому, между тем там тоже происходили съезды и издавались полу-периодические органы в роде, напр., „Известий Главного Штаба Алтайского Округа“, в которых статьи информационного характера сопровождались руководящими комментариями. Печатались „Известия“ на пишущей машинке.

Таким образом, главнейшим материалом для суждения о понимании партизанами советской власти являются у нас статьи в минусинской „Сохе и Мол.“, но это, к счастью, не только главнейший материал, а и самый ценный из того, что имеется по данному вопросу.

Всего, с сентября 1919 г. по январь 1920, вышло около 60 №№ „Сохи и Молота“. Это был настоящий периодический орган, хотя без особенно строго установленных сроков выхода: то он выходил три раза в неделю, то ежедневно, кроме дней послепраздничных. Запас бумаги в Минусинске оказался ограниченным, не вся бумага была сразу взята на учет, и это сказывалось на сроках выхода газеты. Внешний вид газета имела вполне городской, печаталась на белой бумаге (большинство колчаковских газет выходило на желтой бумаге, как настоящая „желтая“ пресса); печать, корректура, расположение материала, выбор шрифтов находились в умелых руках. По формату газета представляла газетный полулист небольшого размера, заполненный с обеих сторон разнообразным материалом,—там были и передовые статьи программного характера, и статьи популярные, и беллетристические произведения, и даже стихи. Большое внимание уделялось воспоминаниям о только что проведенной боевой жизни, в частности событиям на Манском фронте.

Осведомленность газеты о событиях за пределами Минусинского края, а тем более о зарубежной жизни, представляется довольно слабой. Но зато

в том, что и правительство Колчака не баловало обывателей остальной Сибири излишними сведениями о загранице. Черепечивались больше, да и то редко, статьи Бурцева из „Общего Дела“, имевшего, в свою очередь, о Сибири, судя по его газете, сведения совершенно фантастические; кроме того, появлялись телеграммы, полу-случайно проскочившие с Дальнего Востока. Для того, чтобы судить о заграничной жизни, а отчасти и о сибирской, приходилось в то время пользоваться сравнительно свободной дальне-восточной прессой, как русской, так еще лучше иностранной. Получать все это в Минусинске, когда он был занят партизанами, не представлялось, конечно, возможным, тем более, что и до Красноярска, ближайшего губернского города к Минусинску, та-же дальне-восточная пресса, как несколько „крамольная“, доходила с трудом и не постоянно. При суждении о заграничной и общесибирской, в том числе и дальне-восточной жизни, авторы статей в „Сохе и Молоте“ использовали поэтому тот материал, который оказался в Минусинске к их приходу в оставленной там периодической печати. Едва-ли, впрочем, в этом была большая беда,—газета „Соха и Молот“ являлась чисто местным органом, обслуживавшим совершенно определенный круг интересов, и эту непосредственную свою задачу она выполняла очень удачно, порой даже талантливо. Этого вполне достаточно, чтобы признать за ней совершенно исключительное значение, как за официальным источником для суждения об общественно-политических взглядах сибирских партизан.

Повторяю еще раз: сколько мне известно, это единственная повстанческая газета в Сибири, столь долгое время, в самый разгар борьбы с правительством Колчака, проводившая на местах принципы советской власти. В этом ее значение для истории и оценки крестьянского движения в Сибири и, быть может, не только в Сибири, так как психология и мировоззрение крестьянства в общем всюду одинаковы, различалась только в оттенках и зависимости от тех или иных местных особенностей, учесть которые не так трудно.

2. Справка из прошлого.

В Красноярске весть о выходе минусинской газеты произвела большое впечатление и всех заинтересовала. Сведения о ней оказались довольно точными: говорили, что газета небольшая, выходит не регулярно, лозунгом выставила признание советской власти. Последнее было совершенно верно. С самого начала в „Сохе и Молоте“ появился амплаг крупными буквами, не снимавшийся до конца; в амплаге стояло:—„Вся власть рабочим и крестьянам в лице их советов“. Так и говорилось: не просто вся власть советам, а рабочим и крестьянам в лице их советов. Чувствовалось, что публицисты „Сохи и Молота“ делают ударение не на второй половине лозунга, а на первой.

С другой стороны, выходило как будто и так, что если советская власть не будет почему либо выражением власти рабочих и крестьян, то крестьяне и

рабочие оставят за собой право приступить к созданию каких-то иных форм государственного устройства, более полно отвечающих их интересам. Теоретически такое истолкование скрытого смысла лозунга, принятого „Сохой и Молотом“, вполне допустимо; по крайней мере, в нем нет ничего логически несообразного; тем не менее я склонен думать, что приведенная формулировка избиралась не в желании чем-то предупредить будущее,—на него все тогда в Сибири смотрели радужно, без страха и сомнений,—а учитывая некоторые особенности в поведении советской власти в прошлом. Даже официальные историки партизанского движения в Сибири признают теперь, что в деятельности советов за 1918 г., прерванной чехо-словацким переворотом, было много дефектов и упущений, благодаря которым—„крестьянство не понимало заданий советов, относилось к ним либо пассивно, либо отрицательно“¹⁾—как видим даже отрицательно.

„Все это — продолжает тот же автор — привело к тому, что трудовое крестьянство („середняки“) от советов отвернулось, беднота же не была организована“; вследствие всего этого—„на зов советов стать на борьбу с чехами отклика не было, и чехи без особых усилий сбросили власть советов по всей Сибири“.

Совершенно те же самые указания о прошлом встречаются в нескольких статьях „Сохи и Молота“, особенно за первые недели ее существования. То тут, то там в ней определенно говорилось о допущенных советской властью „ошибках“, которые не должны теперь повторяться и, по убеждению публицистов партизанской армии, повторены не будут. Следовательно, в этом прошлом советская власть, если не на деле, то в понимании самих народных пизов, не являлась выражением власти рабочих и крестьян, иначе они не относились бы к ней пассивно и даже отрицательно, и чехи не так легко свергли бы ее по всей Сибири.

Обращено было внимание в „Сохе и Молоте“ и еще на один факт, имевший крупное местное значение, это именно на обстоятельства, при которых в 1918 г. произошло свержение советской власти в самом Минусинском уезде. Как бы то ни было в остальной Сибири, но в Минусинском крае советская власть тогда оказалась свергнутой не чехо-словаками и вообще не какой-либо посторонней силой, а по решению самих крестьян. Это произошло в июне 1918 г. в результате большого и длительного конфликта между советской властью в Красноярске и крестьянами, собравшимися в Минусинске на обще-уездный съезд, так называвшийся VII уездный крестьянский съезд. Обстоятельства, при которых собрался этот съезд, были в свое время подробно описаны в местной печати, и я на них останавливаться не буду, подчеркнув здесь только самый результат разыгравшегося конфликта. Он дошел до такой острой степени, что делегатами съезда была объявлена целая крестьянская мобилизация для самозащиты, и минусинские крестьяне очень энергично

¹⁾ См. Сборник „Три года борьбы за диктатуру пролетариата“ (1917—1920). Омск Сиб. Гос. Издат. 1920—Цит. место на стр. 130.

откликнулись на призыв о помощи со стороны съезда. К Минусинску начали собираться целые отряды вооруженных, правда, вооруженных примитивным способом, крестьян. Настоящий лагерь их остановился под городом в ожидании развязки событий и исхода прений на съезде. Неизвестно, чем бы это все кончилось, как пришла весть о том, что из Красноярска власти уже эвакуировались, и город ими оставлен. Что происходило в Красноярске, на съезде в точности не знали, но что бы там ни происходило, а у крестьян Минусинского уезда создалось очень твердое и вполне понятное убеждение, что власть уступила свои позиции под их давлением, что настоящая сила в них и они сами хозяева своей жизни. Это сознание крестьянами своей силы сыграло позже крупное психологическое значение в местном крестьянском движении, и оно же положило свой отпечаток на вышеуказываемые статьи в „Сохе и Молоте“.

Не забудем, вместе с тем, и еще одного факта, для того времени весьма показательного: главно-верхом крестьянской армии являлся А. Д. Кравченко, агроном по образованию, много работавший притом в Минусинском уезде, поручик запаса во время войны 1914-1918 г., примыкавший к эсерам по общему уклону своего политического мировоззрения. В 1918 г. он был весьма далек от большевиков. Говорили, что именно он первым вошел в помещение Красноярского исполкома, когда члены последнего, оставили город и отплыли в Турханский край. Я не знаю в точности (меня в то время в Сибири не было), какую именно роль играл тогда Кравченко в организации борьбы с советской властью, но я не думаю, чтобы он оставался тут совершенно безучастным. Вероятнее всего, что он тогда сочувствовал падению власти советов.

Вот все это прошлое и отражалось в двусторонней формулировке лозунга, принятого в аишлагге „Сохи и Молота“. Насколько партизанская армия придавала указанным обстоятельствам большое значение показывает еще один чрезвычайно яркий факт,—это резолюции, принятые на съезде партизан в Красноярске в феврале 1920 г., уже при новой советской власти. Партизаны тогда настояли на том, чтобы им разрешено было созвать свой съезд, и он был, с соответствующего разрешения из центра, ими созван. В числе резолюций, принятых тогда участниками съезда, была и такая, которая опять-таки имела в виду прошлое и допущенные тогда „ошибки“. Правда, она оказалась выраженной не столь категорически, как выражались в таком случае авторы статей „Сохи и Молота“, но и сквозь ее туманно-дипломатический язык, через все ее эзоповские выражения, совершенно ясно, особенно для посвященных, пробивалась та же мысль о недопустимости повторения старых ошибок 1918 г.

Однако, я еще раз повторю: все это, как статьи „Сохи и Молота“, так и резолюции партизанского съезда, относилось к прошлому, а не к будущему и не к настоящему. Это были невольные воспоминания о печальных, но, так сказать, семейных недоразумениях, давно уже изжитых, о которых можно было тем спокойнее говорить, что, казалось, нет никаких данных бояться их возрождения снова. Настроение представлялось именно таким, и

и считают этот факт для истории общественных настроений в крае чрезвычайно характерным и важным, много объясняющим в дальнейшем ходе событий, почему и останавливаясь на нем так долго и жалею, что не могу остановиться еще дольше.

3. Крестьянские с'езды в Минусинске.

Для повстанцев в Минусинске боевая жизнь, хотя фронт продолжал существовать, оставалась уже в прошлом. Наступила осень, ясная и свежая, настоящая сибирская. Колчаковские войска, стоявшие по Тубе и по Енисею, большой опасности не представляли. Обе реки, большие и многоводные, представляли надежный рубеж, переходить через который, оставляя их у себя в тылу, было не безопасно. К тому же генералы колчаковской армии, поссорившись между собой из-за какого-то „гусака“, скорее готовы были загрызть один другого, чем допустить победу которогонибудь из них над врагом.

С другой стороны, и повстанцы не имели особенного желания переходить Тубу или Енисей, что диктовалось им соображениями дипломатического расчета, так как продвижение вперед к железной дороге увеличивало шансы их столкновения с союзническими отрядами, и прежде всего с чехами, а это для повстанцев не представлялось желательным. Поэтому, они предпочитали другое: ссорившись до поры до времени за речной преградой, собраться с силами для зимней кампании и прочее наладить отношения с местным крестьянством. Чрезвычайно любопытно проследить по „Сохе и Молоту“, как у них шла эта работа.

Во главе всего управления краем стоял Армейский Совет, подумывавшая организация, представлявшая идею коллективной военной диктатуры, вполне естественной в обстановке фронтовой жизни. Следует отметить, между прочим, что и сам Минусинск расположен на одной из проток Енисея и от линии фронта находился чрезвычайно близко (в 12 верст.), так что иногда разведки правительственных войск достигали почти его предместий. Случалось, стычки происходили на Тагарском острове, под городом, что заставляло быть бдительным и в самом городе. Но, являясь высшей формой власти в крае, Армейский Совет в своей коллективной диктатуре не шел по пути военной бюрократизации власти, а осуществлял ее через привлечение местного населения к отправлению функций революционного самоуправления. Власть, таким образом, оставалась в руках крестьян и рабочих, а осуществлялась через советы, в духе принятого лозунга.

Совершенно естественно при таких условиях, что первым шагом при организации местной власти явилось созвание Армейским Советом крестьянских с'ездов. Сначала крестьяне, повидному, не особенно охотно отзывались на этот призыв собраться на с'езд. Мало ли какие могли быть случайности и колебания в соотношении борющихся сил, не пришлось бы после отвечать

за эти с'езды; такова несомненно была мысль минусинского крестьянина. А кроме того, и по своему общему политическому настроению, поскольку оно проявлялось на губернском и всех уездных с'ездах, минусинский крестьянин должен был принципиально, по крайней мере первое время, занять выжидательную позицию, столь вообще свойственную „средняцкой“ крестьянской психологии. Минусинск—это край типичного средняцкого старожильского крестьянства, издавна сидевшего на земле, хлебопашеского и скотоводческого по преимуществу.

Не забудем также, что как раз из этих мест происходил и в этих местах работал (в дер. Пудиной) крестьянин Бондарев, о трудовой теории которого в 80-х гг. писал Глеб Успенский и своеобразный трактат которого о „Труде“ он передал Л. Н. Толстому, а Толстой опубликовал его, со своим предисловием, к большой гордости Бондарева, во французском переводе. Бондарев, несомненно, крупная фигура, глубокий и оригинальный ум, хотя ум темный, не обработанный современной культурой. Но такого рода Бондаревых, в меньшем только, разумеется, колибре, и теперь можно встретить по Минусинскому уезду: крестьянство в нем довольно интеллигентно по своему среднему уровню. В целом ряде больших и малых сел и деревень края, в таких как Курагинское на Тубе, как Шупинское, где когда-то отбывал ссылку Ленин ¹⁾, Ермаковское, одно из более культурных мест края, Абаканское и др., до сего времени вкраплены в общую массу крестьянства вполне интеллигентные, но и чисто крестьянские семьи, живущие землей не только материально, но идейно, в духе Бондарева, в современной лишь, социалистической, переработке его учения о труде. И в других отношениях,—по грамотности, числу больных, системам обработки земли,—Минусинский уезд выдвигается над средним уровнем по губернии. Все это должно было, конечно, сказываться на характере организации власти по уезду при коллективной диктатуре Армейского Совета. Достаточно было бы Армейскому Совету оставить за собой общее политическое руководство ходом краевой жизни, предоставив затем на местах управляться самому населению, сил для этого там хватило бы. Ко второму крестьянскому с'езду все это уже выяснилось, отношения до известной степени установились, затем и военная обстановка окрепла, и на этот раз крестьянство гораздо дружнее откликнулось на призыв собраться снова в городе.

На этот с'езд прибыло уже 400 с лишним делегатов; среди присутствовавших начали проскальзывать, как руководители, хорошо знакомые лица. Власть находила базу на низах и шла на соединение с ними достаточно осторожно, стараясь не быть лишней посудой и не создавать ненужных конфликтов. Так как население в крае представляло в общем однородную в хозяйственно-социальном отношении массу, так как известные навыки к революционному самоуправлению в нем уже составились, то делать то, что поставил себе целью Армейский Совет, не представлялось особенно трудным. Не нужно

¹⁾ Здесь в Шупине, между прочим, написан известный протест 17 соц.-дем., составленный Лениным против „Credo“ Кусковой и Прокоповича.

было лишь грубо ломать хорошие стороны установившегося раньше порядка, не нужно было пренебрегать создавшимися, путем большой предварительной работы, традициями у местного населения; следовало, напротив, постараться приспособить готовые уже навыки к отпавлению новых требований, не перегружая при этом деревню излишним бюрократическим надзором и опекой, и постепенно отношения бы наладились, да уже и налаживались. Обще-культурная жизнь в уезде за это время продолжала существовать и развиваться, как обычно, и быть может, лучше, чем обычно. Основные культурные завоевания, предыдущей эпохи—кооперация, самоуправление, школы и пр.—существовали, и, казалось, ничто не мешало им развиваться и дальше. Власть теряла свой прежний однозвонный характер, как при Колчаке, и становилась близкой к народу, и по духу, и по составу, рабоче-крестьянской.

И я глубоко уверен, что еслибы этот уголок Сибири, столь богатый естественными дарами природы, был бы тогда на более или менее значительное время предоставлен самому себе и мог бы спокойно, никем не тревожимый извне, развиваться, то в нем мало по малу действительно установился бы своеобразный режим, глубоко-демократический и вместе с тем свободный. Здоровые государственные начала силой вещей взяли бы верх над началами анархо-бунтарскими, „новоселовскими“, которые в минусинском крае тоже, разумеется, были, свои и транспортированные из других районов,—природный, ум крестьянина „середняка“, создавший когда-то трудовую философию Бондарева, вступил бы в свои права, и этот слой крестьянства, пользуясь советами, как аппаратом для защиты своих интересов, установил бы в конце концов такой строй, при котором народно-хозяйственная и политическая жизнь края вошла бы в привычное русло и создала бы оригинальную крестьянскую республику, самоуправляющуюся и свободную.

4. Вопрос об интеллигенции у повстанцев.

Параллельно крестьянскому, в Минусинске собирался Армейский Советом съезд учителей и учительниц сельских и городских школ, тоже в довольно многочисленном составе. По отчетам „Сохи и Молота“ на нем присутствовало около 60 делегатов. Если крестьянский съезд был съездом трудящихся, то это был съезд интеллигенции.

Заслуживает внимания уже тот факт, что такой съезд имел место и работал, сколько можно судить, по печатному отчету, довольно интенсивно. Вопрос об интеллигенции и об отношении к ней повстанцев был вообще за все это время большим вопросом общественной жизни в Сибири. Можно его поставить и шире, раздвигая до вопроса об интеллигенции за все время революции с 1917 по 1922-ой гг. За все это время в Сибири интеллигенции погибло очень много, головной мозг страны ампутировался. Она гибла всюду, от Петропавловска до Якутска, от Кузнецка до Сургута, и порой при очень трагических обстоятельствах. Самым часто там интеллигенция играла роль без имени

виноватых и своей жизнью платили за чужие грехи и ошибки. Для Сибири, вообще не обладающей большим запасом интеллигентных сил, это являлось и является огромным несчастьем, все последствия от которого еще будут долго давати знать о себе. Но, поскольку речь идет собственно о периоде колчаковского правления, то представляет еще большой вопрос, от кого собственно исходил более значительный урон для интеллигенции, от колчаковщины или от повстанцев.

Нет никакого сомнения, что на повстанческих низах царило часто крайне недоверчивое отношение к интеллигенции, и там „интеллигенция“ огулом причислялась к „буржуям“. Было бы странно, если бы этого не было при нашей общей некультурности. В частности в минусинской газете шла порой жестокая травля интеллигенции, правда, не вообще, а собственно кооператоров. Бывали случаи индивидуальных расправ с кооператорами. И тем не менее кооперация в Минусинском крае существовала, аппарат ее не разбивался и она могла достаточно свободно функционировать. Повстанцы все-таки чувствовали, что переустройство народно-хозяйственной жизни вещь не столь простая, как организация военной борьбы с деморализованной колчаковщиной, притом же и последняя, то-есть эта военная борьба, была вовсе не так уж легка. И это сознание сказывалось в поведении повстанцев там, где им, от чисто разрушительной работы, приходилось переходить так или иначе к работе созидательной.

Это же сказалось и на отношении их к такой квалифицированной сельской интеллигенции, как учителя. Ссориться с ними они, судя по отчетам „Сохи и Молота“, во всяком случае не желали, командовать же учительским персоналом на том основании, что теперь у них, повстанцев, сила, тоже как будто не имели склонности. На съезде учителей в Минусинске все это обнаружилось с достаточной ясностью. Характерно, между прочим, что там шли прения не только о профессиональных вопросах, но и чисто политических, дебаты о которых, повидимому, заняли особенное внимание съезда. На голосование ставились разные резолюции, одна с признанием Учредит. Собрания, другая за советскую власть, но ни та, ни другая не получили сколько нибудь значительного числа голосов. За первую было подано из общего числа 57-58 голосов всего 7 или 8, за вторую несколько больше, но не свыше 10-12. Так что обе эти резолюции в конце концов оказались снятыми с голосования. Огромным большинством была принята нейтральная резолюция, в которой говорилось, что непосредственной задачей народного образования является умственное и культурное развитие народа и подготовка его к умелому выполнению своих гражданских обязанностей и к защите им своих интересов. Это был своего рода аполитизм (на точке зрения аполитизма стояла при Колчаке и кооперация), но аполитизм для народного правления, каким старалась сделаться повстанческая военная пол-лективная диктатура, сравнительно благожелательный. При таких условиях между сельской интеллигенцией и новой властью мог установиться довольно прочный контакт, и работа по народному образованию могла бы идти без перебоев. Для начала этого было собственно вполне достаточно, остальное сделало бы

время, особенно, если бы новый порядок укоренился на более или менее продолжительный период. Совершенно в таком же положении находилась и остальная интеллигенция,—врачи, агрономы, техники и пр. В самом механизме общественного развития есть свои законы, так называемая, сила вещей, которая стихийно заставляла чувствовать свое влияние и подчинила своим требованиям даже нежелающих ей покориться. Колчаковским правлением к этому времени все уже пресытились, и перед новыми формами власти открывалось широкое поле деятельности и богатая жатва. Надо было только уметь пользоваться своим положением...

5. Политическая программа повстанцев.

Каждый факт в общественной жизни имеет только тогда крупное политическое значение, когда он является выражением известного принципа. В Минусинске, при господстве партизанской власти, существовали известные гражданские свободы, как в этом можно было убедиться из предыдущего изложения. Съезды учителей и съезды крестьянские служат тому достаточным доказательством. Что там существовала некоторая, даже, принимая во внимание обстановку военной жизни, довольно большая доля свободы в обсуждении событий текущего момента, это не представляет сомнений. Таков факт. Но, может быть, этот факт не является выражением какогонибудь принципа? Может быть, это только случайное проявление слабости власти, неуверенности ее в своем положении и неумения провести с достаточной последовательностью начала военной диктатуры? Если бы это было так, то самая наличность известных политических свобод при господстве партизанской власти не представляла бы скольконибудь серьезного политического значения. Но это совсем не так. Политические свободы, пусть даже в ограниченном масштабе, существовали там не потому, что они существовали, не из-за слабости власти, а потому что они являлись выражением известного, принятого руководящими слоями, принципа.

Чтобы убедиться в этом, достаточно опять-таки просмотреть ряд статей „Сохи и Молота“, порой чрезвычайно красноречивых, из числа тех, которые носили программно-политический характер. Все они весьма симптоматичны, так как представляли собой довольно стройное развитие совершенно определенной политической системы. В основе этой системы лежало то понятие о „крестьянском праве“, слухи о котором, как я упоминал выше, доходили еще зимой 1918 г. до Красноярска. Крестьянство является базисом всей общественной жизни, такова отправная мысль этой теории. Ему же должно быть предоставлено первое место и первый голос в выработке форм общественного устройства и в выборе методов управления. Этим у повстанцев в статьях „Сохи и Молота“ отнюдь не исключалось участие в такой политической работе других общественных групп, рабочего класса и трудовой интеллигенции, этим только намечалась пропорциональность в распределении между ними общественных прав и обязанностей. Строй вообще должен быть чисто трудовым, демокра-

тическим, — для теоретиков „Сохи и Молота“ такое условие являлось основным и непоколебимым опровержением. Всеобщее избирательное право, столь популярное в начале революции, ими решительно отменялось, как не выражающее принципов трудового строительства. Избирательное право должно быть ограниченным. Формой власти являются — советы, но советы-учреждения по самому своему существу классовые, а не всеобщие, не бесклассовые. Право участия в них, персональное или групповое, непосредственное или через посылку туда делегатов, определяется ограниченным избирательным правом, и мерилом, ограничивающим слои, имеющие право избирать, от лишенных такового права, будет — труд. Те, кто живет трудом своих рук, те получают такое право, те, кто живет не своим трудом, а эксплуатацией чужой рабочей силы, этого права лишаются.

Выведя этот принцип, публицисты „Сохи и Молота“ намечают три основные общественные группы, как обладающие правом участия в советском строительстве, — рабочий класс, трудовое крестьянство и трудовая интеллигенция. Все они в целом и в совокупности представляют собой ту чисто демократическую базу, на которой будет воздвигнуто советское строительство. Но, если избирательное право является, в вышеуказанном смысле, ограниченным, то внутри этих групп никаких новых ограничений не вводится. Напротив, в „Сохе и Молоте“ проповедывался своего рода принцип всеобщего избирательного права для трудовых элементов общества. Избиратели — это все, кто трудится, — таков принцип, никаких отступлений от него не допускается, по крайней мере не допускалось в статьях „Сохи и Молота“. Тот же принцип проводился повстанцами и непосредственно в жизни, доказательством чего являются выборы на крестьянский и учительский съезды. На первый выборщиками являлись трудовые элементы деревни, на второй — трудовые элементы интеллигенции, без ограничения прав внутри каждой из этих групп. Наличие таких принципов у повстанцев совершенно понятно: они были слишком тесно связаны с широкими крестьянскими массами, они были слишком полны верой в правоту своего дела, столь отвечающего, по их понятиям, интересам народных масс, чтобы они могли, в построении своих политических программ, думать иначе, чем выше охарактеризовано. Никакая другая концепция для них не была бы психологически приемлема.

Принимая такую теорию, они на страницах „Сохи и Молота“ делали и все выводы из нее. Очевидно, если демократические слои внутри себя вполне равноправны, то не могла бы быть допущена и какая-нибудь насильственная власть одного из них над остальными, то-есть диктатура того или иного слоя. Если бы такая диктатура оказалась допущенной, это явилось бы выражением неравенства в правах, а неравенства в правах теории политического строительства „Сохи и Молота“ не признавала. Совершенно последовательно поэтому она не признавала и такой диктатуры. Ее точка зрения в этом случае должна быть признана точкой зрения старого, романтического народничества времен его зарождения и первых шагов на общественном поприще, приблизительно в 70-х гг. прошлого столетия, эпохи „бавушкина“. И очень характерно, что публицисты

„Сохи и Молота“ неоднократно в своих популярных статьях вспоминали об этом времени и ни о ком так охотно не писали, как о тогдашнем авторитетном вожде этой ветви общественного развития, о Бакунии. Как самому Бакунину, так и роли его в истории Интернационала, там было посвящено несколько больших статей, достаточно хорошо аргументированных.

Отрицаи диктатуру в вышеуказанном смысле и развивая в остальном старо-народническую-революционную точку зрения с столь типичным для нее в 70-е г.г. недоверием к всеобщему избирательному праву и ко всякого рода парламентарным говорилкам, как выражались прежде бакунисты, — публикации „Сохи и Молота“ принимали и остальную часть тогдашнего символа веры, — именно, признание политических свобод, но только не вообще, а для трудовых элементов общества.

Такова была в целом их теория, и соответственно этой теории они строили в течение своего трехмесячного господства в Минусинском крае свою практику. Вот почему практика их в данном случае, являясь выражением известного принципа, — выдерживавшего или не выдерживавшего критику, это безразлично, представляла несомненно крупное политическое значение. Эта теория знаменует высший пункт, до которого тогда дорабаталась на сибирских таежных прогалинах политическая мысль партизан, предоставленная самой себе и не стесняемая никаким давлением со стороны.

6. Что объединяло повстанцев.

Было бы чрезвычайно интересно проверить на фактах, насколько вся эта политическая теория (совершенно утопическая с современной точки зрения) соответствовала настроению и взглядам остальных повстанческих армий и взглядам населения тех районов, которые эти армии занимали. За недостатком соответствующего материала ответить на этот вопрос можно только предположительно.

Она, конечно, была безусловно неприемлема для тех отрядов и для тех групп населения, которые стояли на анархо-бунтарской, чтоб прямо не сказать погромной, точке зрения в духе Рогова и Новоселова, как и вообще для всех, неподдающихся никакой государственной дисциплине, элементов населения. Как бы ни расцепивать, особенно с современной точки зрения, вышеохарактеризованную систему понятий, по ею во всяком случае устанавливались какие-то общеобязательные нормы поведения для населения, для проведения которых в жизненную практику потребовалась бы разумно определенная принудительная сила. Вся принудительного аппарата вообще не может существовать никакой государственная власть, эта абстракция социальной науки, теперь особенно для всех ясна. На этой почве та теория, которую развигала „Соха и Молот“, при первой же попытке привести ее в жизнь несомненно столкнулась бы с анархо-бунтарскими настроениями и должна была бы вступить с ними в борьбу. Что же подобное, как мы скоро увидим, неслось „вызов“ № 20.

место и в самом Минусинском районе, что тоже характерно. Но, с другой стороны, столь же несомненно, что та же теория „Сохи и Молота“ почти полностью могла бы оказаться вполне приемлемой, напр., для партизан, собиравших Черно-Ануйский съезд, несмотря на то, что они стояли как бы на иной точке зрения, именно на точке зрения отрицания советской власти. Но едва ли черно-ануйские партизаны стали бы в этом случае особенно перепираться с минусинскими повстанцами: крестьянская мысль для этого слишком реальна и деловита, и подобные споры для тех и для других повстанцев показались бы безусловно слишком академическими. Общую почву для политического соглашения между ними найти было бы во всяком случае не так трудно, что опять-таки понятно само собой.

Несколько сложнее обстоит дело с определением, насколько точка зрения, развитая в „Сохе и Молоте“, оказалась бы приемлема для других партизанских армий, официально стоявших на советской платформе, напр., для той же армии Мамонтова. Как и упоминал выше, там тоже издавались свои газеты и листки, в виде хотя бы „Известия Главы. Шт. Алт. Окр.“, но это не были политические органы, а главным образом информационные. Повстанческие армии являлись по преимуществу крестьянскими армиями, интеллигенция в них почти отсутствовала и вести политической работы было некому. В частности, в армии Мамонтова работа такая почти совсем не велась, да и там не представлялось нужным ее вести, так как „армия и без того жила ненавистью к колчаковщине и определенно шла под лозунгами советской власти“, как передавал один из участников этого движения. Это было, конечно, ошибкой. Дело состояло не в том, какие лозунги принимались разными группами повстанцев, а в том, как они эти лозунги понимали. И сожалению, судить о том, как эти лозунги понимали партизаны только что указанного Барнаульского-Славгородского района, мы не можем. И не потому, что материала для разрешения такого вопроса у нас нет под руками, а и потому, что его, по видимому, вообще нет, так как политической работы там не велось. Можно лишь судить о том, на какой почве партизаны тех мест объединялись, — этой почвой была ненависть к колчаковщине. Но ненависть к колчаковщине представляла только отрицательный лозунг движения, а не положительный, смысла же на принятие повстанцами лозунгов советской власти сама по себе не способна разрешить в этом случае всех сомнений. Так что, в итоге, при характеристике политических настроений и взглядов партизан, мы можем считать пока установленным, но правда, установленным безусловно, один факт: всех повстанцев, к какой бы политической категории они не принадлежали, объединяла во-первых прежде всего ненависть к колчаковщине. Это полное и глубокое единство в отрицании колчаковского строя и придавало такую мощь партизанскому движению.

Что касается определения положительных лозунгов движения, здесь тоже едва ли возможно было ожидать особенных разногласий. По видимому, без большого риска ошибиться, можно сказать, принимая во внимание группировки интересов в сибирском населении, отчасти нами уже указанные, что в общем

политическая система, намеченная в „Сохе и Молоте“, оказалась бы приемлемой для основной массы всех повстанческих армий и для мирного населения занятых ими территорий. Конечно, эта система представляется несколько элементарной и даже наивной, но чем элементарнее система, тем она понятнее для народной массы. „Простота прагматизма“, как говорил когда-то Достоевский. Теория „Сохи и Молота“ тем и была хороша, что она была простой и ясной, делавшей ненужным изысканный анализ. К чему анализировать, когда и так все понятно и убедительно! Поэтому, политическую теорию, развитую в „Сохе и Молоте“ ст. лица минусинских или, точнее, канских партизан, без большой натяжки можно считать выражением взглядов всего вообще сибирского партизанского движения. Так, как в „Сохе и Молоте“, очень многие сибирские партизаны понимали советскую власть, да и власть вообще, т. е. власть, правильно организованную. К такой же общественной позиции склонялись и к ней же в сущности подходили, но с другой стороны, самостоятельно, и в тех партизанских отрядах, которые стояли не на советской, а обще-демократической платформе или близкой к ней. Для серьезных конфликтов и разногласий тут во всяком случае не имелось места, заниматься же академическими спорами, а тем более спором о словах, никто бы не стал.

Почва для конфликтов, если и была, то не в этой плоскости, а в иной: не разные типы партизанского движения могли бы оказаться в конфликте, а на одной и той же территории и в среде одной и той же партизанской армии могли бы возникнуть недоразумения между верхами и низами, особенно низами из мирного населения. Форма власти, установившаяся в том же Минусинском районе, сводилась все-таки к военной диктатуре, пусть коллективной, но диктатуре. Представляло чрезвычайно большие удобства и для армии и для населения, что эта диктатура стремилась осуществляться через народ, через низшие ячейки, свободно избираемые населением. Это создавало контакт между низами и верхами и делало их единым слитным организмом, что представляло огромные преимущества для партизанской армии в ее борьбе с противником. Это не являлось и случайностью, это было логическим следствием из раз принятых принципов. Но логически же мыслимым представляется такой случай, когда требования этой военной власти оказались бы в некотором противоречии с мнением и настроением низов, когда, одним словом, низы с верхами разошлись бы. Нечто подобное однажды и случилось в Минусинске, что и было отмечено в „Сохе и Молоте“, это именно тогда, когда съезд учителей отказался принять чисто советскую резолюцию и почти единогласно высказался за резолюцию нейтрального характера. В „Сохе и Молоте“ тогда появилась очень резкая статья об учительском съезде. Но существу тут произошло незначительное столкновение, не имевшее особенных последствий, но при других условиях мог бы быть длительный конфликт, между, употребив старые термины, „силой власти“ и „силой мнения“. Как бы поступила в таких случаях власть, располагающая всем аппаратом коллективной военной диктатуры, и в какие бы отношения к ней поставила себя сила крестьянского мнения, такого аппарата не имеющая? Возможность такого столкновения логически

вполне допустима, и если бы во время борьбы с Колчаком она имела место, это до чрезвычайности ослабило бы позицию повстанцев и нарушило бы организационную связь между составными частями принятого у них, в аншлаге „Сохи и Молота“, лозунга. Но эта логическая возможность при борьбе повстанцев с Колчаком нигде не переходила в практику, оставаясь только возможностью логической. Мне, по крайней мере, такие случаи неизвестны. Так что, та политическая платформа, которую развивала „Соха и Молот“, вполне могла считаться общей почвой для объединения в одно целое всех оттенков партизанского движения, за исключением „Новоселовского“, до того времени объединявшихся одними отрицательными лозунгами.

7. Отрицательные стороны партизанского движения.

Говоря о жизни в Минусинске за период пребывания в нем партизан, надо принимать, конечно, во внимание общий культурный уровень повстанческой армии, в состав которой входили самые разнообразные и неравноценные элементы. Этот уровень не мог быть, и не был, особенно высоким. Права у нас всегда отличались жестокостью, особенно в деревне; к культуре крестьянство приобщалось только спорадически и только верхними слоями; с другой же стороны повстанцы шли прежде всего та „бродячая Русь“, о которой я упоминал выше; наконец, и вся обстановка гражданской войны мало способствовала смягчению нравов, так что в результате средний культурный уровень повстанческой армии еще более понижался.

Чрезвычайно любопытны в этом отношении в „Сохе и Молоте“ рецензии на театральные представления, так как они вскрывают перед нами некоторые характерные черты тогдашнего, повстанческого, быта в Минусинске. Быт повстанцев, это тема вообще незатронутая сибирской публицистикой, настолько незатронутая, что для характеристики его ценны даже театральные рецензии „Сохи и Молота“. Этот отдел в „Сохе и Молоте“ представляет сплошной публицистический вопль, иначе его никак нельзя определить. Все рецензии только частично говорят о самих пьесах и об их исполнении, — ставились обычно чисто провинциальные мелодрамы и исполнялись любителями по мере сил и талантов, — главное же внимание обращается в них на то, как во время представления вела себя публика, на три четверти состоявшая из солдат повстанческой армии. Судя по рецензиям в минусинской газете, публика вела себя крайне непристойно; конечно, совсем не так, как где нибудь в „Гран-Опера“ в Париже и даже не так, как в любом глухом итальянском театре, где полагается, таков уж быт, вести себя во время представления, как дома, или лучше сказать, как в своей привычной остерии. Там во время действия и пьют, и курят, и разговаривают, а если придется, то хором с мест аккомпанируют певцам на сцене. В театральном зале благодаря этому странно пакурено, пол гризаний, воздух тяжелый. Приблизительно то же самое наблюдалось и здесь, в Минусинске, но только в еще большей степени, чем там.

и без того налета своеобразного проявления все-таки культуры в этом быте казалось бы, столь некультурным, который так или иначе, по там, в Италии, чувствуется.

Здесь тоже и пили, и курили, и плевали на пол, но все это в какой-то обнаженности от великих культурных налетов формы. Но внешности как будто и то же самое, но по существу иное, нечто гораздо более неприглядное. Солдаты народной армии приходили на представление пьяные, дебоширили, не слушали, что идет на сцене, или хуже того, там, где надо плакать (как находил рецензент) смеялись, где надо смеяться возмущались, — кроме того задевали женщины, пачкали им платья, вообще держали себя не по-итальянски. Картина в результате получалась такая, что в каждом М театральные рецензенты тратили много сил на обличения и убеждал солдат народной армии не позорить свое звание таким непристойным поведением. Все это может показаться, конечно, мелочью, но во всяком случае эта мелочь характерная, пренебрегать которой, как материалом для характеристики тогдашнего быта, тоже нельзя. А затем, рядом с этим, можно привести факты и не столь уже мелочные, факты тоже обличительного свойства, но иного порядка.

Театральные обличения печатались в „Сохе и Молоте“ общеповенно в конце номера, в начале же его передо можно было найти официальные заявления от Армейского Совета, решительным образом и категорически запрещающие всякого рода самовольные реквизиции, захваты частного имущества и другие нарушения революционного порядка. Имущества, стало быть, захватывались, самовольные реквизиции производились, — это несомненно. Несомненно также, что во всем этом проявилась та же некультурность, как и в поведении повстанческих солдат на театральных представлениях, но только эти проявления некультурности были не столь уж невинного характера. Укоренившись в повстанческой армии, они могли повести к вырождению ее в отряды, занимавшиеся грабежом населения и мародерством, что грозило бы ее гибелью. Армейский Совет с этим вырождением усиленно боролся и не одними только публичными запрещениями реквизиций, а и более решительными мерами. Но, во всяком случае, тут находилась ахиллесова пята партизанской армии, ее больное место, для уничтожения которого было необходимо заранее принимать серьезные меры.

Быть может, партизанам собственными силами, без помощи со стороны, от правильно организованной регулярной армии, не удалось бы даже справиться с этими проявлениями гангрены на своем организме, требовавшими временами хирургических методов лечения. Эта опасность представлялась тем более серьезной, что и в самой политической системе, охарактеризованной выше, имелись такие же слабые, гангренозные места, существование которых могло быть чревато гибельными последствиями. В своем политическом развитии партизанские армии остановились вообще на 1918 г.; когда советская власть легко перерождалась в так называемую — „власть на местах“, не желавшую подчиняться дисциплинирующему влиянию центра. Для характеристики этого устройства чрезвычайно типичен один эпизод, разыгравшийся на VII крестьян-

ском уездном с'езде в Минусинске, на том самом с'езде, с которым связано падение советской власти в Минусинском уезде. Перед самым финалом, когда обстановка уже выяснилась и стало известно, что советской власти в Красноярске не существует, один из делегатов, имевших непосредственную связь с Красноярском, объявил на с'езде об образовании сибирского временного правительства и о том, что оно теперь является восприемником государственной власти от советов. Когда это было оглашено, присутствовавший на с'езде кооператор Б., типичный правый демагог, дал такую реплику: — „Вот, не успели свергнуть одно правительство, как явилось уже другое“. Реплика имела несомненный успех, так как повидимому чем-то отвечала общему настроению.

Не трудно даже понять чем, именно — „хорошо было бы хоть на время остаться без правительства, а жить самим по себе“ — такова несомненно была мысль многих из крестьян, присутствовавших на с'езде. Это для крестьянства типичный пример: идея государственной власти (безразлично в данном случае в чем она состоит), а тем более власти централизованной и дисциплинирующей с трудом переваривалась крестьянством. От этой власти крестьянство никогда не видело ничего для себя полезного, т. е. полезного непосредственно. „Москва павалилась, нас совсем задушила“, — такой пословицей великорусское крестьянство давно уже определяло свои отношения к центру.

Между тем без центральной государственной власти, притом власти дисциплинирующей, существовать мы не могли, партизаны же по самому существу своей социальной психологии с трудом ей поддавались. Вопрос о создании центральной государственной власти, которая, будучи действительной властью, вместе с тем сумела бы учесть все местные особенности и наладить свои отношения с группами, отличающимися центробежными стремлениями, такой вопрос являлся тогда кардинальнейшим в сибирской жизни. Правительство Колчака не сумело разрешить его и погибло.

8. Красноярские рабочие и партизаны.

Чтобы закончить этот схематический отчет о партизанском движении в Сибири при Колчаке, я должен коснуться еще одного пункта, именно отношения к партизанскому движению городских рабочих, в частности железнодорожного пролетариата. Наиболее ярким фактом, характеризующим эти отношения, мне представляется следующий. В тот момент, когда в Красноярске пала уже власть Колчака и наступило междоусобие, когда аппарат по управлению губернией перешел в руки Комит. Общ. Орг. (в просторечии „земская власть“), в красноярских жел.-дор. мастерских представителями названного Комитета был собран митинг для информации рабочих о текущих событиях. На митинг собралось небывалое количество рабочих, заполнивших весь сборочный цех — здание заводского размера. На этом митинге, между прочим, при голосовании резолюций поступило предложение со стороны одной группы рабочих: „передать власть Щеткинину“.

Было совершенно ясно, что партизанское движение среди рабочих пользуется непрерываемым авторитетом и сочувствием, но для меня лично представилось столь же очевидным, что рабочие не отдают себе должного отчета, в чем собственно оно состоит и какова его политическая физиономия. Я выступил тогда против этой резолюции, привел против нее целый ряд аргументов. Резолюция в конце концов была снята.

Итак, вот отношение красноярских железно-дорожных мастерских, самых левых и наиболее „большевистских“ настроенных во всей Сибири (Красноярск это „Сибирский Кропштадт“, как его называли там еще в 1917—1918 г.г.), к партизанскому движению. Этим собственно все сказано. Для партизан представилось разумеется чрезвычайно важным наиболее полно использовать это настроение в свою пользу. Деревня тогда боролась с городом, но одолеть город без помощи некоторых городских-же групп населения она не могла; это чувствовала она сама. Рука помощи со стороны городской демократии для нее была крайне необходима, просто спасительна. Так как фронт порой очень близко подходил к городу; так как между городом и крестьянством по ту сторону фронта общение не прерывалось; с другой стороны, так как деревня испытывала недостаток в целом ряде предметов чисто городского происхождения (медикаменты, перевязочные средства, деньги, оружие, военные припасы), то партизанам постоянно приходилось прибегать к помощи города, парижая туда специальных уполномоченных. Это были опасные экспедиции и кончались они не всегда благополучно. В декабре 1919 г. я имел сношения с одной из делегатов повстанцев, приехавших с манского фронта (она была арестована в Красноярске весной 1919 г.; я встречался с нею зимой, после ее выхода из тюрьмы, где она только случайно, заболев тифом, не была расстреляна) и от нее слышал кое-что о том, как ее встречал город, в частности жел.-дорожные рабочие во время ее приезда. Многим она осталась недовольна; той активной помощи, на которую она рассчитывала, и в той степени, на которую она имела право, она не получила. И это тоже было характерно. Город в общем оставался пассивным, при всем сочувствии деревне. Деревня боролась с властью, шедшей из городов, почти один на один, и это вносило в ее самочувствие горечь и недоумение. Я оставляю пока этот факт без комментариев, предполагая вернуться к нему еще впоследствии.

9. Итоги и выводы.

Как расценивала все приведенные мной факты та земско-социалистическая оппозиция, о которой я говорил выше? Здесь мне хотелось бы полнее обрисовать именно то, как она тогда их расценивала, дабы ввести читателя глубже в круг тогдашних сибирских взглядов, оценок и настроений. Ошибки исторической перспективы всегда возможны: так легко усвоить прошлому, хотя и очень от нас близкому, взгляды, которых в то время не существовало или которые, если и существовали, то принимали оттенки, почему либо стершиеся из памяти.

Я бы мог очень легко избежать всякой возможности подобных ошибок исторической перспективы чрезвычайно простым путем. Осенью 1919 г. работа земско-социалистической оппозиции, направленная против Колчака, шла уже во всем разгаре. Как я говорил, в конце сентября и начале октября 1919 г. в Иркутске собрался нелегальный земский съезд, создавший для объединения политической работы земств Земск. Полит. Бюро. Одновременно аналогичная организация создавалась на Дальнем Востоке, с которой я состоял в непосредственных сношениях, сначала от себя лично (до образования Бюро), а потом по поручению вновь созданной организации. Еще в сентябре мне пришлось послать из Красноярска во Владивосток подробную информацию о положении дела в средней и южной Сибири, и там было уделено много внимания крестьянскому движению по Енисейской губ. Вскоре после этого мной была помещена под псевдонимом „Русский Социалист“ большая статья в „Чехо-Словацком Дневнике“ (я писал ее по-русски, там она переводилась на чешский язык) в №№ 264, 267 и 268 за 1919 г., озаглавленная — „Крестьянское движение по Енисейской губ. и его вожди“, статья, дававшая оценку того повстанческого движения, которое прочно укоренилось к тому времени в деревнях приенисейского края. Наконец, еще позже, в ноябре мной была составлена, по одному частному случаю, докладная записка: „Земское Полит. Бюро и его задачи“ намечавшая общий план деятельности Бюро и его отношения к крестьянству. Кроме того, большое внимание крестьянскому движению я уделял в журнале „Нов. Земск. Дело“, который одно время (март—апрель 1919 г.) я редактировал в Красноярске. Если бы все эти документы имелись у меня сейчас под руками, я бы просто перепечатал их полностью или в выдержках, и тогда стало бы сразу ясно, как земская оппозиция оценивала весной и осенью 1919 года крестьянское движение. Но у меня нет ни этих материалов, ни многих других; я жил всегда в таких условиях, когда было не до того, чтобы хранить при себе личные архивы. Поэтому в нижеследующих строках я постараюсь восстановить свою тогдашнюю точку зрения так, как она осталась теперь в моей памяти. При случае мое изложение можно будет проверить¹⁾ всеми вышеуказанными документами.

Наблюдая крестьянское движение как в Енисейской губернии, так и в других областях Сибири (за исключением Дальнего Востока, с партизанами которого я не имел никаких личных связей), — я обращал внимание прежде всего на однородность его, на повторяемость при сходных бытовых и экономических условиях некоторых основных видов. Это облегчало ориентировку в крестьянском движении той или другой области безграничной по своим пространствам Сибири. Это же давало руководящие правила для разного рода практических соображений при решении вопроса, как успокоить взбаламученное

¹⁾ Отчасти это можно сделать и теперь. В книжке полк. Солодовникова „Сибирские авантюристы и ген. Гайда“ напечатан в выдержках мой доклад полк. Прхала, нач. 3-ей чех.-сл. дивизии, поданный мною ему 12 мая 1919 г. Доклад посвящен крестьянскому движению по Енисейской губ. Копию ее Солодовников (лично мне неизвестный) получил, повидавшему, в Владивостоке, куда мной в свое время был отослан ряд документов.

море крестьянской стихии. Рядом с этим фактом, и в непосредственной причинной связи с ним, стоял другой ряд наблюдений, подтверждавшихся многими знатоками сибирской жизни. Крестьянство всюду волновалось, это представлялось неоспоримым, но вместе с тем там же повсюду, в том числе и в повстанческих районах, жизнь все-таки шла в старых, привычных рамках, в частности не падал темп трудовой жизни, и — что мне казалось особенно важным — не сокращались запашки земель и посевы. Больше того, местами они даже увеличивались¹⁾.

Это обстоятельство заставляло обратить на него серьезное внимание; очевидно своеобразная — „власть земли“ в Сибири ничуть не ослабевала, несмотря на самые неблагоприятные условия для мирной трудовой жизни; очевидно крестьянин стихийно вытягивался в привычную для него, веками созданную, обстановку трудовой жизни. Некоторые весьма интеллигентные люди, с мнением которых я считался, так как они внимательно наблюдали местную жизнь, полагали даже, что к весне 1919 г. крестьянское движение само сойдет да-нет, вместе с этим стихийным тяготением трудового населения к земле и ее обработке. Взойдет весеннее солнце, пригреет землю, прогонит зимнее безделье, так хорошо питающее всякое ушкунничество, и жизнь войдет в норму. Так думали многие из местных людей. Мне не казались подобные соображения убедительными, но самый факт тяготения крестьянства к обычной трудовой жизни я считал чрезвычайно показательным.

Летом 1919 г. на этой почве в среде трудового сибирского крестьянства разгравивались иногда характерные явления. Самым ярким из них я считаю историю отношений между двумя волостями Канского уезда — Тассеевской и Рождественской. Эти две волости, Монтекки и Капулетти Канского уезда, они разной политической ориентации: Тассеево — советской, Рождественское, — трудно определить какой, скажем „земской“, хотя это будет не точно. Столкновения между ними случались постоянно и доходили иногда до кровавых стычек, особенно обострившихся при приходах карательных отрядов. К моменту полевых работ столкновения между ними так обострились, что для сенокоса и уборки хлебов приходилось выходить на работу с оружием в руках, ибо иначе нельзя было ни сено косить, ни хлеб убирать. Крестьяне скоро сами поняли, что нужно либо сражаться, воевать друг с другом, либо работать, делать же сразу и то, и другое нельзя. Путал войну с работой, они рисковали остаться на зиму без запасов, этот факт представлялся до такой степени ясным, до такой степени бесспорным, что обе волости заключили перемирие на период полевых работ и свято его соблюдали. Поля были благополучно убраны, хлеб свезен на место.

Для меня этот факт явился своего рода символом и в этом отношении привлекал особенное мое внимание. Не ясно-ли было, что „власть земли“ имела в деревне действительно решающее значение и не в этой ли области приходилось искать решение всех проблем, поставленных перед нами текущим моментом.

¹⁾ Сокращение площади посева стало наблюдаться гораздо позже.

В Степно-Баджейском районе в конце апреля оперировавший там повстанческий отряд выдержал до 70 боев, всю весну с марта месяца положение было крайне напряженным и тяжелым, шла неустанная военная работа. Тем не менее, все поля оказались засеянными; буквально все. Этот факт впоследствии был подтвержден статистическим путем земским обследованием. Следовательно и здесь трудовая психология давала о себе знать полностью. Если бы жизнь в сибирской деревне вошла в нормальное русло, то, очевидно, все конфликты и все партийные группировки, наметившиеся в ней, постепенно бы сами собой потонули в общем стремлении крестьян — „к красоте ржаного поля“, как выражался некогда Глеб Успенский. При Колчаке этого не произошло. Как только обнаружилось, что правительственная власть принимает определенный реакционный курс, как только ее авторитет стали поддерживать в деревне новые милицейские и разные атамань, там спутались все партии, исчезли все оттенки, самая „красота ржаного поля“ отошла как-то в тень, и крестьянство сплоченной массой выступило против правительственной реакции. Начались массовые крестьянские восстания, крайне сложные по составу участников, крайне запутанные по идеологии. Эта сложность состава участников и эта запутанность идеологии крестьянского движения имели, однако, ясно видимую причину: крестьянство объединялось не на почве положительных, а на почве отрицательных лозунгов движения, на почве ненависти к колчаковщине. Когда в Минусинском уезде Щетинкина спрашивали (разговор происходил у него с одним местным кооператором), какие у него лозунги, Щетинкин отвечал: — „Я иду против милиции, против казаков, против Колчака“. Он схватывал отрицательные стимулы восстания, стимулы реальные и жизненные, и мало интересовался его отвлеченной идеологией.

Получался в результате клубок запутанных интересов, который надо было как-то распутывать. Я полагал в то время, что из всего намеченного тут клубка противоречий выход найти все же не так трудно. Прежде всего разумеется нужно было удовлетворить законные, обще-гражданские и специальные крестьянские политические и экономические нужды. Этим устранялся условный, объединяющий крестьянство на почве одних и тех же отрицательных лозунгов. Практически это сводилось к низвержению власти адмир. Колчака, низвержению вооруженным путем, если не будет иного способа с ним покончить. К этой работе мне и пришлось приступить влотию с весны и особенно с лета 1919 г., весной, заведя сношения с представителями чехо-словацкой солдатской массы, а с лета, после свидания, с ген. Гайдой, отколовшимся тогда от Колчака.

Что касается дальнейшей работы по отношению к крестьянству, то и она была для меня ясна, так как определялась моим общим взглядом на роль трудового начала в крестьянской жизни, на роль в ней „красоты ржаного поля“. Не смотря на эту красоту, дело стояло, впрочем, прозаически. Я полагал тогда, что деревню успокоит и ее политическое доверие завоеует тот, кто даст ей товары. Товар — вот средство для политического завоевания деревни и создания в ней настоящей трудовой обстановки.

Но чтобы получить этот товар, нужно было иметь беспрепятственный выход к морю, к Владивостоку, а чтобы иметь беспрепятственный выход к морю, нужно было от чисто местных дел перейти к распутыванию некоторого клубка международных отношений. На пути к Владивостоку стояла — Япония. Я слишком хорошо знал роль Японии на Дальнем Востоке и внутри Сибири, чтобы преуменьшать значение этого факта¹⁾. Трагизм нашего положения в Сибири состоял в том, что мы не могли сделать ни одного шага во внутренней жизни ее, вплоть до налаживания наших отношений с крестьянством, не задевая какие-то сложные и болезненно переплетенные интересы больших капиталистических держав, творивших политику где-то там, за тридевять земель от нас, в бассейне Великого Океана. Надо было искать союзников не только в самой сибирской деревне, во внутренней группировке ее политических направлений, но и на арене международной политики. „Нужно, — как образно формулировал эту мысль ген. Гайда в последнем разговоре со мной на ст. Слюдянка (в Забайкалье) в конце июля 1919 г., — нужно привязать гири к ногам японских дивизий“. А этими гириями могли быть только американские броненосцы, что было для меня тоже ясно.

Всем сказанным определялась вся моя последующая общественно-политическая деятельность в Сибири, как одного из более ответственных руководителей Земск. Полит.-Бюро. Но прежде, чем перейти непосредственно к отчету о ней, я должен коснуться еще ряда сторон сибирской жизни при Колчаке, а равно должен остановиться на нем самом и на той роли, которую играли тогда в Сибири союзники.

Евгений Колосов.

Апрель—май 1922 г.

¹⁾ См. об этом в моей брошюре „Дальний Восток и наше будущее“. — Публичные лекции, прочитанные в Томске 15 ноября 1918 г. — Красноярск, 1919 г.

Царская Россия во время великой войны в изображении французского посла.

В „Revue des deux Mondes“ с начала 1921 г. печатается дневник Мориса Палеолога, бывшего французским послом в Петербурге с января 1914 г. до революции. Палеолог изо дня в день заносил в свой дневник текущие политические события, свои аудиенции у Николая II, официальные и неофициальные разговоры с русскими министрами и другими высокопоставленными лицами, слухи, ходившие в обществе, случайные впечатления, размышления и т. д. Круг, в котором вращался Палеолог, был, конечно, по преимуществу придворно-бюрократический; сравнительно редко приходилось ему сталкиваться с не принадлежащими к нему общественными деятелями или с представителями науки и литературы, да и то эти встречи были сильно затруднены: так рассказывая об одном обеде, на котором он встретился с Максимом Ковалевским, Милюковым, Маклаковым и Шингаревым, Палеолог прибавляет: «Во всякой другой стране этот обед был бы самою обыкновенною вещью; но здесь пропасть между официальным миром и общественными элементами так глубока, что мое поведение, я уверен, вызовет суровую критику». Само собою разумеется, что Палеолог даже в своих совершенно частных встречах и беседах ни на минуту ни забывал своего дела; между прочим, он старался вести по мере сил борьбу с широко, по его словам, распространенным среди русской интеллигенции убеждением в том, что Франция тяжело виновата перед русским народом, в прежнее время поддержав своим займам царизм, а теперь вовлекив Россию в войну; по его действия в этом направлении были сильно стеснены, так как, говорит он, «если я обнаружу свои связи с либеральными кругами, то вызову подозрение у императора и правительственной партии». Охрана тщательно следила за всеми встречами и действиями Палеолога и доводила о них до сведения Сазонова. Тем не менее, круг наблюдений Палеолога далеко не ограничивается высшими официальными сферами; тайные информаторы осведомляли его, например, о том, что делается в рабочих кругах, в среде учащейся молодежи, а вдумчивость, близкое знакомство с русской литературой (он постоянно цитирует русских писателей, — Достоевского, Алсаковых, Леонида Андреева, Горького, Вересаева и многих других), понимание русской музыки, — помогают ему систематизировать и пролунать эти случайные сведения. Вообще, в Па-

геологе мы видим наблюдателя внимательного, разностороннего и добросовестного. Поэтому, очень рано, уже с 1915 г., а в особенности с 1916 г. он лено слышал раскаты приближавшейся революционной грозы и тщательно отмечал ее симптомы.

Если бы мы имели перед собою мемуары, написанные *post factum*, то к указаниям такого рода можно было бы отнестись с недоверием: всем известно, как услужливо человеческая память снабжает нас фактами, задним числом подтверждающими нашу ироничность и прозорливость. Но перед нами дневник; ничто не обличает позднейшей его обработки; напротив, все записи носят явственный характер непосредственности, свежести, — и в этом их интерес; перед нами живое свидетельское показание современника в самом точном и тесном смысле этого слова. В этом большое достоинство дневника Палеолога, дающего массу ценных наблюдений.

Связанный своим положением, Палеолог, конечно, сдержан и осторожен в оценке событий и лиц (особенно таких, как император Николай II или императрица), хотя и в гораздо меньшей степени, чем этого можно было бы ожидать от дипломата, и притом дипломата союзной державы; поэтому Палеолог дает массу черточек, ярко характеризующих императорскую чету и окружающую их среду, в частности Распутина и его влияние на ход дел; — в этом отношении дневник Палеолога является ценным дополнением, а иногда и коррективом к „Воспоминаниям“ Витте (посвященным впрочем более ранней эпохе).

Вместе с тем, дневник Палеолога страдает и недостатком, неизбежно вытекающим из формы дневника: в нем не мало повторений; рядом с фактами и замечаниями, весьма интересными, в нем нагромождено много лишнего и прямо лишнего; рядом с событиями, известными ему, как дипломату, Палеолог заносит в свой дневник также события общезвестные, в свое время опубликованные во всех газетах. Так, например, он изо дня в день записывает все переписки Верденского боя, за которым внимательно следил в свое время и ежедневная печать. Все это, конечно, для читателя не интересно. Сама редакция „Revue des deux Mondes“ признает этот недостаток дневника и несколько сокращает его, но делает это она в недостаточной степени, и в дневнике все-таки остается слишком много лишнего, в особенности для читателя русского; ведь этому последнему совершенно не нужны довольно подробные изложения повестей Короленко или других русских писателей, которые Палеолог по временам вставляет в свой дневник.

В виду этого, я предлагаю читателю не перевод, а лишь небольшие извлечения из дневника Палеолога, преимущественно те места, в которых говорится не о войне, а о внутренней жизни России, и которые, как мне кажется, представляют для русского читателя более значительный интерес. Критике я его не подвергаю, довольствуясь возможно точной передачей фактов и изложением Палеолога и его личных мнений, оставили те и другие целиком на его ответственности, хотя очевидные ошибки встречаются и в тех, и в других. Но даже ошибки Палеолога представляют известный интерес, сообщая

читателю те слухи, которые ходили и которым верили в описываемую им эпоху в высших сферах, и те мнения, которые там находили своих защитников, причем нередко таких серьезных, как Палеолог. Отметим здесь только одну постоянно повторяющуюся ошибку, общую у Палеолога не только с большинством иностранцев, пишущих о России, но и со многими высокопоставленными русскими (напр. с Витте): они часто не разбираются в разногласиях левых общественных течений и смешивают в одну партию всех: для Палеолога и Керенский, и Чхеидзе одинаково лидеры то трудящихся, то социал-демократов, как для Витте и соц.-демократы, и соц.-революционеры одинаково анархисты.

Во время балканских войн 1912—1913 г. г. Палеолог был французским посланником в Софии. В декабре 1913 г. французское правительство (президентом республики тогда был его товарищ по учебному заведению и личный друг Пуанкаре, первым министром и министром иностранных дел — Думерг) предложило ему пост посла в Петербурге. Палеолог сперва отказывался на том основании, что, будучи решительным сторонником тесного союза Франции с Россией, «который один дает Франции возможность сохранить ее независимость», он настаивал на необходимости поддержания военной мощи Франции, а между тем боялся растущей силы социализма, который может положить предел необходимым, по его мнению, вооружениям. Вполне доверяя и сочувствуя лично Думергу, он боялся влияния Кайо, бывшего в кабинете Думерга министром финансов, общие политические взгляды которого сильно расходились со взглядами Палеолога. Но, в конце концов, Пуанкаре и Думерг убедили его, и Палеолог принял пост посла в Петербурге, «чтобы проводить на нем традиционную политику франко-русского альянса». «С твердым убеждением в нестерпимости мировой войны» он приехал в Петербург в самом начале 1914 г., Дневник его, однако, начинается значительно позднее, а именно с 20 (8) июля 1914 г., — дни приезда в Россию президента Пуанкаре.

Торжественная встреча Пуанкаре омрачена известием о совершенно неожиданной забастовке на многих заводах, причем, как сообщил Палеологу его информатор, хорошо знающий рабочую среду, движение было вызвано немецкими агентами». О связи забастовки с немецким шпионажем говорил ему и петербургский полицмейстер.

Мрачные предсказания Палеолога оправдались. Война была действительно объявлена. Палеолог рисует варваризма, сопровождающей ее объявление, уличные манифестации, хотя и не очень верит искренности этих процессий, регулярно собирающихся через определенные промежутки времени, точно по чьему-то приказу; а говоря о восторженной встрече, устремленной царю в Москве, он прибавляет: «чтобы оценить по достоинству народные приветствия императору сегодня на Красной площади, не следует забывать, что на этой самой площади 22 декабря 1905 г. пришлось расстреливать толпу, поющую Марсельезу». Но он останавливается на серьезном сочувствии войне в обществе: так, по словам одного из информаторов В., «человека очень передового», в данный момент нет оснований ожидать забастовок или волнений: «вышесказанный порок слишком для этого силен; даже среди социал-демократов».

дуют по заводам подчинение военному долгу," они убеждены, что война послужит и торжеству пролетариата; что война произведет смещение всех общественных классов, сблизит крестьянина с рабочим и студентом; что она прольет свет на позор нашей бюрократии и, таким образом, заставит правительство считаться с общественным мнением; наконец, что "она введет в офицерскую касту либеральный и даже демократический элемент в лице прапорщиков запаса". Союз Государственной Думы и Совета, "необходимый и естественный во всякой другой стране, а здесь неоголосиваемый, как проявление конституционализма," еще более укрепляет это настроение. В обществе преобладает мысль прийти на помощь правительству в выполнении его сложных обязанностей, которые ленивая и продажная бюрократия не способна выполнить своими силами». В высших кругах по отношению к войне царит, повидимому, тоже единодушное настроение. «Я спрашивал М. Стаховича, что думают о войне члены крайней правой Государственного Совета и Думы, которые устами гг. Менделеева, Щегловитова, бар. Розена, Пуришкевича и Маркова всегда проповедовали союз с германским империализмом. Он уверяет, что эта доктрина, внушенная соображениями внутренней политики, в корень разбита нападением на Сербию».

Только ближайшие сторонники Распутина думают иначе. Так, Вирубовъ голорича одной знакомой Палеолога: „Будь старое здесь, войны бы не было; и не знаю, что бы он сделал, что посоветовал, но Бог вдохновил бы его, а министры ничего не понимали и не могли ничему поменать. Какое несчастье, что это не было с нами, чтобы просветить императора". Сам Распутин в это время выдвигался в Тобольской губ. от нанесенной ему раны. Вернувшись в начале сентября в Петербург, он, хотя и убедил императрицу, что его выздоровление есть проявление божественного промысла, но сравнительно редко выдавался съ императорской четой, и многие даже думали, что император отделил его от себя. О войне Распутин то говорил „в темных, двусмысленных знаменательных выражениях, из которых заключали, что он ее не одобряет и предвидит от нее великие несчастья", то неожиданно заявлял: „Я рад войне; она избавит нас от двух зол — пьянства и немецкой дружбы. Горе царю, если он остановится на полпути к победе и не раздавит Германию".

В этом же духе (значительно позднее, в феврале 1915 г.) Распутин говорил с Палеологом во время их единственной встречи у г-жи О. У. наив, что перед ним французский посол, Распутин заявил, что хочет поговорить с ним, и быстро и страстно начал рисовать Палеолгу картину вызванных войной страданий, масс раненых и убитых, вдов, сирот, разорение полей деревень. В ответ на слова Палеолога, что будет еще хуже, если все эти жертвы не принесут никаких плодов, он согласился: „Ты прав, надо воевать до победы".

— „Я рад слышать, что от тебя, никому что знаю, что многие заговорились про тебя, чтобы убедить императора заключить мир.

„Он окинул меня неодобрительным взглядом и почесал бороду. Затем грубо заметил:

— „Везде есть дураки.

— „Плохо, что эти дураки пользуются доверием в Берлине. Император Вильгельм убежден, что ты и твои друзья употребите все свое влияние для заключения мира.

— „Император Вильгельм... Разве ты не знаешь, что его вдохновляет дьявол! Я знаю, что говорю; я понимаю толк... Только дьявол его и поддерживает. Но в один прекрасный день дьявол отступится от него, Бог так решил. И Вильгельм падет, как старая ветвь, которую бросают в мусор.

— „Значит, мы победим: не может же победить дьявол.

— „Да, мы победим, только когда?.. Бог избирает час для своих чудес по собственному произволению. Мы увидим еще много крови и слез...

„Затем Распутин заговорил о необходимости как-нибудь облегчить страдания народа.

— „Это обойдется дорого, миллионы рублей, но нечего смотреть на издержки... Ведь если народу очень тяжело, то он делается зол и может быть ужасен; он может заговорить о республике... Скажи это государю.

— „Не могу же я дурно говорить государю о республике, — возразил до-сол французской республики.

— „Конечно, нет. Но ты можешь сказать, что за счастье народа нельзя заплатить слишком дорого, и что Франция даст ему необходимые деньги... Ведь Франция богата.

— „Франция богата, потому что она трудолюбива и экономна... Еще недавно она дала большой заем России.

— „Заем, какой заем! Эти деньги опять пойдут чиновникам, престарелым не попадет ни копейки. Нет, послушай меня, скажи государю, что я тебе говорил.

— „Скажи ему сам, ты его видишь гораздо чаще, чем я.

„Мое упорство видимо не понравилось Распутину. Подняв голову и сжав губы, он ответил почти дерзко:

— „Это меня не касается. Я не министр финансов государя; я министр его души.

— „Ну, хорошо. В следующую аудиенцию я буду говорить с императором в том духе, как ты хочешь.

— „Спасибо, спасибо. Еще слово. Что, Россия получит Константинополь?

— „Да, если мы победим.

— „Наверное?

— „Я уверен в этом.

— „Тогда русский народ не будет жалеть о своих страданиях, для этого он все перенесет“.

Поражение под Сольдау и продвижение немцев во Франции замесили первоначальное одушевление толпы. Палеолог уже отбрасывает мысль, что немцев нам не победить, что они сильнее нас. Этот полумрак распутищины, распутишные слухи, что Франция скоро должна будет заключить мир. По словам Палеолога, сверху, а особенно на верхах, наблюдается самый крайний пессимизм. Здесь уже давно убеждены в неудачливости императора: ни одне

из его начинаний никогда не увенчивалось успехом, судьба всегда против него, он очевидно обречен какой-то катастрофой... И тому же у него устрашающие линии руки".

Мистическое сознание своей обреченности и покорность судьбе составляют преобладающую черту и самого императора. Палеолог передает разговор Николая II с П. А. Столыпиным, слышанный им от Сазонова. Подписывая какой-то указ, Николай II заметил, что данная мера все равно ни к чему не поведет. "Что я ни предпринимаю, из этого никогда ничего не выходит, мне ни в чем нет удачи; да и вообще человеческая воля так бессильна... Вы знаете, в какой день я родился, какого святого празднуют в этот день? Иова Многострадального".

Начало военных действий с Турцией пробудили в русском обществе старую мечту о Константинополе; и вот, в русском общественном мнении все более и более обрисовываются два течения: одно стремится к лучезарным горизонтам, к сказочным победам, Константинополю, Фракии, Армении, Трапезунду, Иерусалиму; другое, наталкиваясь на труднопреодолимое препятствие в лице Германии, возвращается к мрачным перспективам и кончается пессимизмом, чувством беспомощности и покорности судьбе.

"Любопытно, что оба течения часто сосуществуют или, по крайней мере, чередуются в одном и том же человеке, каждое отвечая резко выраженный склонностям русской души — мечте и разочарованию".

21 ноября 1914 г. Сазонов передал Палеологу, что государь желает говорить с ним. Темой разговора были условия будущего мира. Предупредив, что разговор носит частный характер, так как он не хочет решать эти вопросы, не посоветовавшись со своими министрами и генералами, Николай II изложил свои пожелания:

"Во первых, турки должны быть изгнаны из Европы; во вторых, Константинополь должен сделаться нейтральным городом с международным управлением. Само собою разумеется, мусульмане получают всевозможные гарантии уважения к их святыням и могилам. Фракия до линии Энос — Мидия должна перейти к Болгарии. Остальная ее часть, начиная от этой линии вплоть до ближайших окрестностей Константинополя, должна принадлежать России.

— "Итак, если я верно понимаю вашу мысль, турки должны быть ограничены пределами Азии с столицей Ангорой или Конией, как во времена первых Османов? Босфор, Мраморное море и Дарданеллы образуют такую образцовую западную границу Турции?"

— "Созвучно верно."

— "Ваше Величество не удивится, если я еще раз прерву вас напоминанием, что Франция имеет в Сирии и Палестине драгоценные исторические воспоминания, свои моральные и материальные интересы. Я рассчитываю, что Ваше Величество согласится на те меры, которые предпримет правительство Республики для ограждения этого наследия."

— "О, конечно!"

"Вышло" № 20.

„Затем, развернув карту Балкан, он рисует мне в общих чертах, как он понимает желательные территориальные изменения:

— „Сербия присоединит Боснию и Герцеговину, Далмацию и север Албании. Греция получит юг Албании, за исключением Валлоны, которая должна быть передана Италии. Болгария, при условии, что она останется благоразумной, получит от Сербии некоторые компенсации в Македонии... А Австро-Венгрия, что сделаем мы с ней?

— „Если ваша победоносная армия перенесет свои действия за Карпаты, если на сцену выйдут Италия и Румыния, то Австро-Венгрия вряд ли переживет те территориальные потери, на которые должен будет согласиться император Франц-Иосиф. После банкротства австро-венгерского союза, я полагаю, его составные части не захотят продолжать работать вместе, по крайней мере на прежних условиях.

— „И думаю также. Венгрии без Трансильвании трудно будет удерживать в своей зависимости хорватов. Чехия потребует по меньшей мере автономии, и Австрия сведется к своим старым наследственным владениям, немецкому Тиролю и Зальцбургу...

„Наибольшее изменение произойдут в Германии. Как я вам уже говорил, Россия присоединит территории старой Польши и часть Восточной Пруссии. Франция, конечно, вернет Эльзас-Лотарингию и может быть распространится даже на Рейнланд. Бельгия должна получить в районе Антверпена значительное приращение территории; она заслужила его. Что касается германских колоний, то Франция и Англия поделят их, как хотят. Наконец, я хотел бы, чтобы Шлезвиг, включая сюда зону Кильского канала, был возвращен Дании... А Ганновер? Не следует ли восстановить его? Создавая маленькое свободное государство между Пруссией и Голландией, мы значительно упрочим будущий мир. Наше дело будет оправдано перед Богом и историей только в том случае, если оно будет проникнуто моральной идеей — желанием на долгое время гарантировать мир всего мира...

— „Следовательно, — сказал я, — это конец Германии.

— „Император ответил твердым голосом:

— „Германия примет такую организацию, какую захочет сама; но звание императора не должно оставаться в доме Гогенцоллернов. Пруссия должна превратиться в обыкновенное королевство. Разве вы не согласны с этим, господин посол?

— „Германская империя так, как ее понимали, создавали и как направляли Гогенцоллерны, столь явно направлена против французского народа, что не я, конечно, буду защищать ее. Для Франции было бы большой гарантией, если бы силы германского мира не находились в руках Пруссии“.

Позднее пожелания России шли дальше. В январе 1915 г Николай II, беседуя с Палеологом, настаивал уже на присоединении Константинополя к России.

— „Помните наш разговор в ноябре? — говорил Николай. — С тех пор мои мысли не изменились. Но есть пункт, относительно которого я должен выска-

заться точнее: я говорю о Константинополе. Вопрос о проливах все больше и больше волнует русское общество. Я не в праве возложить на мой народ ужасные жертвы настоящей войны, не дав ему в награду осуществление его вековой мечты. Итак, господин посол, мое решение принято. Я требую радикального разрешения вопроса о проливах и Константинополе. Выход, о котором я вам говорил в ноябре, — он единственно возможный, единственно практический. Но город Константинополь и южная Фракия должны быть слиты с моей империей. Конечно, в управлении города я установлю специальный режим, считающийся с интересами иностранцев. Вы знаете, Англия уже сообщила мне о своем согласии. Если бы возникло какое нибудь затруднение относительно деталей, я рассчитываю на помощь вашего правительства“.

Сазонов вначале держался взгляда, что Россия должна получить на Босфоре солидные гарантии, но что касается самого Константинополя, то лично он не желал бы, чтобы турки были из него изгнаны, и охотно примирился бы с тем, чтобы им оставить старый византийский город с прилегающим санджаком; но, позднее (1 марта 1915 г.) Сазонов тоже уже не ограничивался этим:

„Еще несколько недель назад, — говорил он Бьюкенену и Палеологу, — я мог думать, что открытие проливов еще не делает необходимой окончательную оккупацию Константинополя. Но теперь я должен констатировать, что вся страна требует этого радикального решения проблемы“.

Военные действия, принявшие во время первого из приведенных сейчас разговоров о Константинополе сравнительно благоприятный для союзников оборот, в конце декабря 1914 г. неожиданно потонули на грозное предостережение: недостаток военных снарядов в России. Под 17 декабря 1914 г. Палеолог записывает:

„Великий князь Николай „с горестью“ уведомляет меня, что он принужден приостановить свои операции: он мотивирует это решение чрезвычайными потерями русских войск и другим еще более важным фактом, а именно, что артиллерия истощила свои запасы“.

„Я жалуюсь Сазонову на неожиданно отерявшееся для меня положение. Я говорю в довольно энергичном тоне:

— „Генерал Сухомлинов раз двадцать заявлял мне, что приняты все меры, чтобы обильно снабжать русскую артиллерию... Я настойчиво указывал ему на громадное потребление снарядов, сделавшееся обычным при современных битвах. Он утверждал, что в состоянии удовлетворить каким угодно требованиям, при всевозможных случайностях. Я получил от него на этот счет даже письменный отзыв... Я прошу вас передать это от меня императору“.

На следующий день Палеолог записывает:

„Вчера я узнал, что у русской артиллерии не хватает снарядов, сегодня я узнаю, что у пехоты нет ружей“.

Палеолог сильно волнуется; вместе с великобританским послом Бьюкененом он горячо говорит об этом председателю совета министров Горемыкину и другим высокопоставленным лицам, жалуясь на Сухомлинова, на русские порывы вообще, но Горемыкин сознается, что он стар, что у него нет энергии,

необходимой для борьбы, что его уже давно пора в гроб положить, но что государь удерживает его на посту, который для него не под силу; и ничего из этих жалоб не выходит.

Всплою недостаток снарядов привел к доспешному отступлению русских из Галиции и Польши. На общественные круги это произвело ошеломляющее впечатление и вызвало бурю негодования. „Со всех сторон требуют немедленного созыва Думы, — записывает Палеолог 31 июля 1915 г., — требуют даже ответственности министров“.

Известная резолюция Союза Земств и Городов также видит причину поражений в грехах нашего режима и требует образования правительства, облеченного народным доверием.

Народные массы тоже взволнованы. Анти-немецкие беспорядки в Москве в июне 1915 г. носят, по словам Палеолога, более серьезный характер, чем это можно подумать по газетным отчетам. В толпе говорят об измене, требуют низложения Николая II и передачи короны Николаю Николаевичу, обвиняют императрицу и требуют ее заточения в монастырь, а также казни Распутина. Особенно бурные манифестации произошли перед монастырем Марфы и Марии, аббатисой которого состоит сестра императрицы, великая княгиня Елизавета Федоровна, по мнению москвичей — германская шпионка, будто бы укрывающая у себя своего брата, вел. герцога Гессенского.

Даже в армии проявляется желание скорейшего окончания войны, усиленно поддерживаемое германской пропагандой:

„Мирная пропаганда, так активно развиваемая Германией в Петрограде, проникает и на фронт. Во многих пунктах захвачены прокламации, приглашающие солдат прекратить бойню; они утверждают, что Николай II своим отеческим сердцем уже согласен на мир“.

Предвидя, что Германия не преминет воспользоваться подобным приемом, Палеолог еще в самом начале войны рекомендовал Сазонову использовать его со своей стороны и установить связи в германских социалистических центрах — Берлине, Лейпциге, Хемнице. „В тот момент, когда Германия начнет терпеть поражения, говорил он, социалисты начнут требовать заключения мира, а мы поможем им в этом“. Но Сазонов решительно отклонил его совет, говоря, что России не может способствовать усилению революционного брожения в Европе.

Реакционная партия старается использовать свое влияние на государя. По словам Вырубовой, министр вн. д. Мамлюков, обер-прокурор Синода Саблер и министр юстиции Щегловитов усиленно отговаривают императора от созыва Думы и даже доказывают ему, что России не может продолжаться война. По вопросу о Думе император остается непроницаем, хотя императрица всеми силами поддерживает мнение министров. Что касается продолжения войны, то Николай II выразился с необычной для него резкостью: „заключение мира теперь — это бедствие и революция одновременно. Не смейте советовать мне это“. Императрица не менее энергично заявляет, что если Россия покинет теперь союзников, она покроет себя вечным позором. Но она убеждает царя

не делать уступок парламентаризму, повторяя ему: „помните, что вы самодержец в силу помазания Божия. Бог не простит, если вы не выполните возложенной на вас обязанности“.

В течение июля, однако, подписаны отставки Сухомлинова, Н. Маклакова, Щегловитова и Саблера, замененных Поливановым, Щербатовым, Хвостовым и Самариним; по настоянию Самарина, Распутину предписано уехать из Петербурга. В то же время Союз Городов и Земства и вновь созданный Военно-Промышленный Комитет, в состав которого, наряду с представителями промышленности, вошли представители Думы, берут, казалось бы, дело обороны в свои руки. „Наконец то Россия на верном пути!“ восклицает Палеолог, но тут же приводит мнения скептиков, вроде издателя „Нового Времени“ Суворина, которые утверждают, что общественный подъем—явление кратковременное, которое скоро заменится прежней апатией. Крайне пессимистически настроены даже Гучков и Родзянко.

В конце августа 1915 г. Распутин возвратился в Петербург и тотчас же был принят императрицей. Через несколько дней вел. князь Николай Николаевич был лишен звания главнокомандующего, принятого на себя самим императором. Эта мера, принятая вопреки настоянию большинства министров, внесла большое смущение в правящие круги. Сазонов, передавая Палеологу о решении императора, имел, по его словам, крайне расстроенный вид. Настояния вел. князя Дмитрия Павловича не устранить совсем из армии Николая Николаевича, назначив его начальником главного штаба армии при главнокомандующем—императоре, не имели успеха. Ссылаясь на „хорошие источники“, Палеолог дает такое объяснение этой замене:

„Опала вел. князя Николая подготовлялась уже давно его заклятым врагом генералом Сухомлиновым, который, несмотря на свои скандальные неудачи, втайне сохранил доверие императорской семьи. При поддержке Распутина и генерала Воейкова, он понемногу убеждал императора и императрицу в том, будто Николай Николаевич стремится приобрести в стране нездоровую популярность, надеясь, что народное движение вознесет его на трон. Воейков даже убеждал царя в существовании заговора в пользу Николая Николаевича. Однако, эти уговоры не приводили к цели; тогда императрица и Распутин обратились к религиозному чувству Николая. По словам Вырубовой, решаясь принять пост главнокомандующего, Николай произнес: „Может быть для спасения России нужна искупительная жертва. Я буду этой жертвой. Да исполнится воля Господня“. Это личное и истинное в важнейших государственных решениях естественно внушает Палеологу тревожные опасения за будущее.

Влияние Распутина все усиливается. Начальник военной канцелярии кн. Владимир Орлов, осмелившийся говорить императору против Распутина, 5 сентября получил отставку. Усиливаются и репрессии. Дума распущена 15 сентября; на заводах по этому поводу объявлены забастовки. „Это еще только генеральная репетиция“, говорит Палеологу его информатор, отмечаящий в то же время успехи ленинской пропаганды среди рабочих.

В конце сентября несколько министров, испуганных преобладающими при дворе реакционными течениями, адресовали государю коллективное письмо, умоляя его сойти с этого рокового пути и заявляя, что совесть не позволяет им продолжать работу под председательством Горемыкина. Кроме Сазонова, письмо подписали министр внутр. дел кн. Щербатов, министр земледелия Кривошеин, министр торговли кн. Шаховской, министр финансов Барк и обер-прокурор сипода Самарин. Военный министр генерал Поливанов и морской адмирал Григорович воздержались от подписания из уважения к военной дисциплине.

По получении письма император вызвал всех министров в Ставку... Дело развивается в строжайшей тайне.

В Могилеве государь обошелся с министрами, подписавшими письмо, крайне сурово. Он им резко заявил: „Я не допущу, чтобы мои министры устраивали забастовку моему председателю совета. Я требую от всех уважения к моей воле“.—Вскоре после этого Самарин и Щербатов уволены в отставку, Щербатов заменен А. П. Хвостовым, „лидером думской правой, известным как решительный сторонник кулака“; 9 ноября подписана отставка Кривошеина, обвиненного Распутиным в сношениях с революционерами.

Государыня всеми силами поддерживает Николая II во всех подобных мероприятиях. По словам Вирубовой, она осмеляет его восторженными похвалами с тех пор, как он себя ведет „истинным самодержцем“: „вы вступили на путь, предначертанный Божественным Провидением, повторяет она ему, и я не сомневаюсь более в нашей победе над врагами, как внутренними, так и внешними. Как хорошо, что мы послушали нашего дорогого Григория, как спасительны для нас его молитвы перед Господом!“

Обрисовывая таким образом печальную роль Александры Федоровны в деле усиления реакции, Палеолог настойчиво защищает ее от другого весьма распространенного в обществе обвинения—в преданности интересам Германии. Александра Федоровна, по его мнению, ни в коем случае не может быть названа немкой. Полуангличанка по матери, проводившая годы детства и юности при английском дворе, она по воспитанию, по внешним и нравственным навыкам является скорее англичанкой, чем немкой. Еще в 1894 г. о ней было известно, что она не любила Германию, особенно Пруссию, а в последние годы она с особой ненавистью относилась к императору Вильгельму, возлагая на него всю ответственность за начало войны. Что касается ее нравственного облика, то, по словам Палеолога, это совершенно больная женщина, страдающая наследственным предрасположением к душевным заболеваниям, которая в русской обстановке „путем страшной заразы приобщилась к древнейшим специфическим элементам русской души“; отсюда роль Распутина, к которому она относится, как относились к божьим людям московские царицы XVI в. Влияние его на императрицу безгранично; всякое его слово внедряется в ее мозг, не вызывая ни малейшего сопротивления, и она беспрекословно повинует ему. Наоборот, у цари „подчинение гораздо менее пассивно, менее пошло. Он, конечно, тоже думает, что Григорий „божний человек“, но он сохраняет

по отношению к нему свободную волю, он не уступает по первому побуждению. Эта относительная независимость проявляется особенно тогда, когда старец вмешивается в политику. Тогда Николай замыкается в своем молчании, обходит неудобные вопросы, откладывает решительный ответ, и, во всяком случае, подчиняется только после долгой внутренней борьбы, в которой часто побеждает здравый смысл. Но в моральных и религиозных вопросах император тоже испытывает глубокое влияние Распутина. Параллельно военным неудачам и усиливающейся реакции перед наблюдателем все более и более встает грозный призрак близкой революции.

„Среди рабочих волнения, записывает Палеолог 3 июля 1915 г. Один из моих осведомителей В. указывал мне на усиление социалистической пропаганды в казармах, особенно в гвардейских. Павловский и Волынский полки всецело проникнуты ею“.

„Военные неудачи, говорит Палеолог 24 августа 1915 г., естественно вызывают революционное брожение на петроградских заводах. Ежедневно происходят случаи забастовок и неповиновения. Глава партии трудовиков в Думе, Керенский, как меня уверили, уже подготовил обширную программу революционной деятельности, основанную на сотрудничестве рабочих и солдат. Он определенно говорит: „если армия не будет за нас, то ею воспользуются против нас“. Поэтому, он организует смешанные советы рабочих и солдат, которые в день восстания возьмут на себя руководство движением“.

О неизбежности близкой революции говорят решительно все, причем все согласны, что революция примет у нас формы самой жестокой и затяжной анархии. Говорит о ней (2 июня 1915 г.) крупный финансист, член Военно-промышленного комитета П., предсказывающий, что „дни царизма сочтены, царизм безвозвратно погиб; но царизм—это осто́в России, единственный связующий элемент ее национального единства“. Революция вообще, думает он, может быть созидательной, какою была великая французская революция. „но у нас революция может быть только разрушительной, потому что образованный класс представляет в стране лишь ничтожное меньшинство; оно не организовано, не имеет политического опыта и лишено соприкосновения с массами. Вот величайший грех царизма: вне бюрократии он не допускал ни одного очага политической жизни. И он преуснул в этом настолько, что в день, когда исчезнут чиновники, разрушится все русское государство... Нет сомнения, что сигнал к революции подадут буржуа, интеллигенты, кадеты, думающие этим спасти Россию. Но от буржуазной революции мы скоро перейдем к революции рабочей, а потом крестьянской. А тогда начнется страшнейшая анархия, бесконечная анархия, десятки лет анархии. Мы увидим эпоху Пугачова, а может быть и того хуже“.

О близкой революции говорит (13 ноября 1915 г.) и гл. Н., недовольный порядками, ультра-реакционер; он винит в ней прогрессистов, кадетов и октябристов и предсказывает, что революция скоро сметет и их, дав торжество сперва „социалистам“, а потом крестьянам. Тогда наступит пугачевщина. Наш единственный шанс на спасение, по его мнению,—в реакции.

О близости революции говорили Палеологу (15 сентября 1915 г.) и Миллюков, и Новалевский, прибавляя при этом: „поскольку это зависит от нас, революции до окончания войны не будет; но, вероятно, скоро это перестанет зависеть от нас“.

Собрав и продумав все эти наблюдения, Палеолог приходит к крайне пессимистическому выводу относительно будущности России. 3-го сентября 1915 г., отправляя Делькассе свой отчет о русских делах, он заканчивает его такими словами: „Что касается внутреннего положения России, то оно еще менее утешительно. До последнего времени можно было думать, что революционные беспорядки не вспыхнут до конца войны. Но теперь я бы не решился утверждать это“.

Единственно на чем Палеолог останавливается с удовольствием, это твердая решимость Николая продолжать войну. Ни одна попытка германского правительства нащупать почву для отдельных переговоров не имела успеха. Палеолог рассказывает о двух таких шагах со стороны Германии. Первый был сделан в конце декабря 1915 г. Министр двора барон Фредерикс получил письмо от своего старого друга, графа Эйленбурга, обер-гофмаршала двора Вильгельма II, убеждавшего его посодействовать примирению обоих императоров. „Наша обязанность перед Богом, перед нашими государями, перед страной велит нам сделать все, что в наших силах для обличения императоров, которые дали бы их правительствам возможность найти основы почетного мира. Если нам удастся возродить их прежнее дружбу, то мы скоро увидим конец этой ужасной войны“. Письмо было прислано Фредериксу по городской почте, следовательно кем-то доставлено в Петербург из Берлина.

Фредерикс немедленно передал письмо императору. Николай II спросил мнения Сазонова, и тот отвечал, что вряд-ли Эйленбург мог предпринять подобный шаг без ведома и одобрения Вильгельма, и что германское правительство, очевидно, придает большое значение плану отделить Россию от ее союзниц. Николай согласился с этими соображениями и поручил Сазонову составить проект ответа, прибавив: „Эйленбург, повидимому, не подозревает, что он предлагает мне совершить моральное и политическое самоубийство“; затем он еще раз перечел письмо, подчеркнул слова „прежняя дружба“ и написал на полях: „эта дружба умерла, пусть мне о ней не напоминают“.

На другой день Сазонов вручил Николаю проект ответа на письмо Эйленбурга, в котором неизменным условием переговоров ставил одновременное обращение Германии к остальным союзным державам. Но Николай, даже не взглянув на его проект, сказал, что всякий ответ, как бы холоден он ни был, может быть истолкован, как согласие вступить в сношение с Германией. И письмо Эйленбурга осталось без ответа.

Другая попытка была сделана тоже в декабре 1915 г. через посредство близкой Марии Александровны Васильчиковой, уже не молодой женщины, принадлежавшей к русской родовитой аристократии, и фрейлины императрицы. С начала военных действий Васильчикова жила в Земмеринге под Веной, в вилле, принадлежавшей князю Францу Ликтенштейну, бывшему в девино-

этих годах австрийским послом в Петербурге. Отсюда она была неожиданно вызвана в Дармштадт письмом великого герцога Гессенского, который обратился к ней с просьбой поехать в Петербург, чтобы убедить императора заключить мир с Германией; он намекал при этом, что Англия собирается вступить в частные мирные переговоры с Германией; настаивал на том, что сближение Германии и России необходимо для поддержания монархического принципа в Европе, и обещал, что Вильгельм согласится на самые выгодные для России условия. Все сказанное он продиктовал ей, как ноту для вручения Сазонову, а кроме того передал два письма императору и императрице. „Я знаю, что ты сделалась русской, кончалось второе из этих писем, но я не могу поверить, чтобы Германия была совершенно вытеснена из твоего немецкого сердца.“

Васильчикова через Копенгаген и Стокгольм отправилась в Петербург. По приезде она тотчас же передала Сазонову и ноту, и письма. Сазонов выразил ей негодование по поводу того, что она берет на себя подобные поручения, но на другой же день он доложил обо всем Николаю.

Император был возмущен:

— „Неужели она не понимает, что компрометирует и императрицу, и меня“, — восклицал он.

По его приказу Васильчикова была арестована и препровождена в Черниговский монастырь.

1916 год не дает Палеологу более радужных впечатлений. С одной стороны, продолжает расти революционное настроение. С другой — в правительственных кругах скандал за скандалом. 3 февраля уволен мин. внутр. д. Алексей Н. Хвостов. Ставленник Распутина, Хвостов, в последнее время поссорился со старцем и, желая дискредитировать его, отправил некоего Ржевского в Стокгольм к бывшему другу Распутина, к этому времени тоже разошедшемуся с ним, монаху Иллариону, у которого, по слухам, были очень компрометирующие Распутина документы. Но жена Ржевского донесла на мужа в департамент полиции, и Ржевский был арестован на обратном пути в Белоострове по распоряжению Белецкого. Интрига была открыта, и Хвостов потерял пост.

2 апреля уволен от должности военного министра генерал Поливанов. „Это чувствительная потеря для союза, замечает Палеолог. Поливанов восстановил возможный порядок в военных присутствиях, сколько возможно исправил ошибки, неадекватности, расточительность и измени своего предшественника Сухоминова“. Поливанов пользовался симпатиями Думы и имел друзей среди кадетов и октябристов; это, и особенно его личные отношения с Гучковым, „личным врагом Их Величеств“, дискредитировали его в глазах императрицы. Его заместителем, генерал Шувалов, — человек, по словам Палеолога, не блестящий умом (еще раньше того).

В начале апреля 1916 г. французское правительство решило послать в Россию особую делегацию из членов кабинета Вивьяни и Альбера Тома с целью установить более тесный контакт между русским и французским

правительством. Сообщая это Сазонову, Палеолог заметил в нем какую-то тревогу и тотчас же догадался об ее причине: Тома — социалист. Я указываю на роль Тома в войне, на его патриотизм, редкую интеллигентность, работоспособность, на его лояльные усилия поддержать согласие между рабочими и хозяевами предприятий, на то, что он потратил много сил и таланта ради нашего „священного союза“. Сазонов тронут моим панегириком. „Я повторю ваши слова, императору; но вы сами скажите это Штюрмеру и компании.“

Впечатление, произведенное приездом французской делегации на прессу и общественное мнение, было очень велико: „Особенно имя Альбера Тома производит впечатление в рабочей среде, и не меньшее, хотя противоположное — в авторитарической кстерии“, отмечает Палеолог.

Цель своей миссии делегаты формулировали следующим образом: 1) учесть военные ресурсы России и содействовать их развитию; 2) настоять на пересылке во Францию вспомогательного отряда в 400.000 человек последовательными партиями по 40.000; 3) оказать некоторое давление на Сазонова и добиться большей уступчивости со стороны русского главного штаба к Румынии; 4) добиться какого-нибудь определенного обещания в пользу Польши. Выслушав эти заявления, Палеолог отвечал:

„Относительно первого пункта, вы составите собственное впечатление; я надеюсь, что вы останетесь довольны работою последних месяцев, особенно работою земств и городов и Военно-Промышленного Комитета; что касается посылки во Францию 400.000 человек, то Алексея все время противился ей, указывая, что число обученных русских резервов и так недостаточно по сравнению с протяжением фронта; при настойчивости вам удастся может быть, добиться посылки нескольких бригад.“

„Относительно Румынии Сазонов вполне согласен с нами, но препятствие к соглашению не здесь, а в Бухаресте; что касается Польши, то отложим разговор о ней до последних дней вашего пребывания здесь; вы сами увидите, возможно ли касаться этого предмета; что до меня, я сомневаюсь“. Для понимания последнего пункта надо иметь в виду, что Палеолог был решительным сторонником автономии Польши не только ради нее самой, но ради военных успехов: он хорошо понимал, что если можно было бы сильно поднять дух польского народа в России и оттолкнуть прусских и австрийских поляков от Германии, и сильно опасался, что Германия, предупредив Россию на этом пути привлечет к себе все польские симпатии, отделив дело поляков от России. Но сделать в этом отношении Палеологу ничего не удалось, хотя против польской автономии был не Николай, который, по словам Палеолога, охотно соглашался бы на нее при условии, чтобы Польша осталась под скипетром Романовых, а правившая клика Штюрмера и компании, на этот раз находившая поддержку и в русском общественном мнении.

На другой день после своего приезда делегаты отправились в Царское Село на аудиенцию к императору. По дороге Тома высказал Палеологу свое желание повидать в Петрограде неофициальным образом несколько человек,

в том числе Бурцева, так как не повидаться с ним ему неловко перед своими товарищами по партии: „ведь Бурцев так хорошо вел себя во время войны, говорил таким языком патриотизма и перед русскими, и французскими товарищами!“ Палеолог ответил, что он и сам пользовался этим аргументом, когда по поручению французского правительства хлопотал об отмене высылки Бурцева в Сибирь; но вместе с тем ему известно, что Бурцев не отказался от своей *dées fi*хе убить государя. „Наконец, вспомните, кому я вас сейчас представлю, взгляните на эти красные дивреы, и вы поймете, что ваш план видется с Бурцевым не очень то приятен мне“.

Впечатления делегатов от поездки были не особенно радужные. „Ваши заводы работают недостаточно интенсивно, они могли бы производить вдвое-тро больше; надо милитаризовать рабочих“ — говорит Тома Штюмеру. „Милитаризовать рабочих! — восклицает Штюмер, — да мы поднимем против себя всю Думу!“

„Прием, оказанный Вивьяни начальником штаба, был холоден, или по меньшей мере сдержан, и это не удивительно. Генерал Алексеев — заядлый реакционер, страстный поклонник иерархического начала, традиций самодержавия и православия; вмешательство в военные дела штатского, да еще какого штатского, — социалиста, — должно ему представляться скандалом“.

Но, если правительство отнеслось к депутации довольно холодно, то общественные круги, наоборот, оказали ей самый сердечный прием. По инициативе Родзянко Государственный Совет и Дума устроили банкет в честь Вивьяни и Тома; этого было довольно, чтобы возбудить негодование царских министров, тем более, что число желающих принять участие было крайне велико, и банкет превратился в крупное политическое событие. Приглашенных не менее 400 человек. Представлены партии, даже крайняя правая, но особенно многочисленны представители левых. Не решился уклониться никто из министров. Мои английский и японский коллеги также получили приглашение.

„Вопрос о речах уладился по без затруднения. Первоначально министры заявили, что они не могут говорить в частном собрании. И дал понять Саломову, что если никто из членов царского правительства не согласится выступить с речью, я посоветую Вивьяни не быть на банкете. В конце концов все устроилось“.

В конце банкета член Государственной Думы В. А. Маклаков произнес пыльную речь о целях войны. „Эта война будет самоубийством войны, говорил он, ибо в день мира мы создадим такую партию Европы, которая сделает войну бесполезною“.

„Эта прекрасная речь производит большое впечатление в России, говорит Палеолог, обмениваясь при выходе с банкета впечатлениями с Вивьяни и Тома, но что за бессмыслица думать, что будущий мир будет вечным! Напротив, я думаю, что мир вступает в эпоху насилий, и что мы засеем семена будущих войн“. Тома ответил: „Да, предстоит еще годы новых войн“.

17 мая делегация уехала из Петербурга; цель ее удалась только отчасти; в сущности единственное, чего она добилась, это обещания отправить во Францию

пять бригад по 10.000 человек. Но „влияние Тама очень значительно; его поразительная энергия и практический — смысл гальванизировали военно-промышленные учреждения. Надо-го-ли?“ — меланхолически спрашивает Палеолог.

30 мая Палеологу было передано со слов Вирубовой, что решено дать отставку Сазонову; Штюрмер давно уже вел кампанию против него, обвиняя его в либерализме, в излишнем потворстве Думе, наконец, в том, что он слишком подчиняется влиянию французского и английского послов. Однако, отставка Сазонова состоялась несколько позже и довольно неожиданно.

12 июля все министры, и Сазонов в том числе, отбыли в Ставку, куда их вызвал Николай для совещания по польскому вопросу. Вернувшись из Ставки, Сазонов, довольный результатами совещания, сообщил Палеологу, что император согласился, наконец провозгласить автократию Польши и поручил ему, Сазонову, составить проект манифеста по следующей программе: 1) правительство королевства Польского состоит из наместника государя, совета министров и двух палат; 2) вся администрация подчиняется исключительно ее правительству, за исключением армии и дипломатии, которые, вместе с вопросами тамошних и финансов, имеющими отношение к обоим странам, и стратегическими железными дорогами остаются непосредственно в ведении империи; 3) все административные споры между империей и королевством будут решаться петербургским сенатом, в котором учреждается особый департамент с равным числом русских и польских сенаторов; 4) будущее присоединение прусской и австрийской Польши предусмотрено такой формулой манифеста: все поляки, став подданными короля и императора, благословят его установления.

Для более спокойной работы над текстом манифеста Сазонов уехал на две недели в Финляндию. Но уже 20 июля его товарищ Ператов сообщил Палеологу, что отставка Сазонова решена бесспорно; официальный мотив ее — нездоровье, но действительная причина его падения — его успех в польском вопросе, искусно использованный Штюрмером. Палеолог и Бюккенен тотчас же отправили своим военным представителям в Ставке однородные телеграммы:

„Мне сообщили, что здоровье Сазонова вынудило его просить у его величества отставку. Благоволийте официально проверить это известие у министра двора. Если оно правдиво, то немедленно доложите барону Фредериксу, что ободряющее слово его величества без сомнения даст Сазонову новые силы для выполнения его обязанностей. Мой коллега, посол Англии, и я, мы чрезвычайно заинтересованы извещением о тех комментариях, которые ввиду отставки министра, так как, разумеется, усталость не дает удовлетворительного объяснения. Всякая перемена в политике союзников в этот решительный момент войны может иметь самые печальные последствия“.

В тот же день в Ставку вехала императрица.

22 июля французский военный агент в Ставке сообщил Палеологу ответ Фредерикса: „Министр двора, хотя он и не всегда разделял взгляды Сазонова, тем не менее, уже по собственному почину, представил императору, что уход Сазонова в настоящих условиях должен произвести неблагоприятное впечатление; император ответил, что крайнее переутомление Сазонова, совершенно

лишившее его сна и аппетита, не позволяет ему продолжать исправлять свои обязанности, и что его, императора, державное решение уже принято. Фредерикс обещал тем не менее показать императору телеграммы послов Франции и Англии, но прибавил, что не будет просить у государя ответа“.

Одновременно, к Палеологу явился Ператов с заверением от имени императора, что перемена министра иностранных дел ни в чем не изменит курса внешней политики империи; а 23 июля газеты оповестили об отставке Сазонова и его замене Штюрмером.

Сообщая об этом событии своему правительству, Палеолог пишет:

„Я не боюсь непосредственного или даже близкого изменения во внешней политике, и декларация, сделанная мне 22 июля императором через Ператова, внушает мне полное доверие в настоящем. Официальная деятельность императорской дипломатии будет, повидимому, следовать тому же пути. Но можно опасаться, что понемногу в министерстве иностранных дел появятся новые фигуры и новый дух. Мы должны предвидеть, что тайны наших переговоров не останутся неизвестными некоторым лицам, которые по своим германофильским тенденциям, по своим отношениям к германской аристократии и финансовому миру, наконец, по своей ненависти к либерализму и демократии желают примирения с Германией. Теперь эти лица могут действовать в духе своих желаний лишь очень исподтишка. Национальный порыв еще слишком силен, и они погибнут, если откроют свою игру. Но если через несколько месяцев, к зиме, наши военные успехи не оправдают наших надежд, то германская партия в Петрограде станет опасной, благодаря своим соумышленникам в министерстве иностранных дел“.

Кто является истинным виновником трагического положения России? ставит себе вопрос Палеолог. С назначением Штюрмера странно усилилось влияние Распутина, который подлизывался императрице, как своим орудием; между тем, вследствие постоянного пребывания императора в Ставке, управление фактически было как раз в руках императрицы. „С тех пор, как император уехал в Ставку, императрица завалена делами, говорит Палеологу мать Вырубовой; — этот добряк Штюрмер обо всем советуется с ней“. То же впечатление производит Палеолог и из разговора с госпожой Штюрмер. „И вот чудодейственный мужик все более и более превращается в политика, авантюриста и мошенника. С ним в союзе банда еврейских спекулянтов, которая щедро награждает его за услуги. По их назначению Распутин посылает записки министрам, банкам, влиятельным лицам. Я видел некоторые из этих записок, безграмотные, написанные безобразным почерком, грубо повелительные. Отказать ему не смеют. Назначения, повышения, милости, субсидии — на все ему дается согласие. Если дело слишком важно, он обращается непосредственно к императрице. „Сделай это для меня“. И императрица тотчас же отдает соответствующее приказание, не подозревая, что она работает этим на Мануса и Рубинштейна, которые, в свою очередь, работают на Германию“.

„Если бы мне пришлось делать заключение по этому вопросу, говорит Палеолог в другом месте (10 дек. 1916 г.), я сказал бы, что роковым подли-

тика, ответственность за которую несут императрица и ее котерия, вдохновляется четырьмя лицами: председателем крайней правой в Государственном Совете Щегловитовым, митрополитом петербургским Питиримом, бывшим директором департамента полиции Белецким и банкиром Манусом. Вне этих четырех лиц, я вижу только игру анонимных сил, коллективных, рассеянных и порою бессознательных, которые выражают вековые традиции царизма, его инстинкт консерватизма. В этом квартете я отвожу особую роль банкиру Манусу: он налаживает сношения с Берлином; через его посредство Германия ведет свои интриги в русском обществе; он же распределяет германские субсидии“.

Не мало заметок посвящает Палеолог росту революционного движения в этот период. Характерны в этом отношении признания Мануйлова, директора канцелярии Штюрмера, сделанные им Палеологу. „Тыловые части армии развращены, говорит он. Люди находятся в бездействии или, по меньшей мере, мало заняты. Как вы знаете, зима—плохое время для обучения. А в этом году нам пришлось к тому же упростить и сократить военные упражнения вследствие недостатка ружей, пулеметов и еще более—недостатка офицеров. Прибавьте к этому, что солдаты в казармах помещены очень плохо. Их набивают, как попало, одного на другого. Преображенские казармы рассчитаны на 1.200 человек, а там помещаются 4.000. Представьте себе эти прокуренные комнаты, без вентиляции, почти без освещения. Солдаты болят от самого ужина до утра. Не забывайте, что среди них есть представители всех рас, всех национальностей империи, всех религий и сект, в том числе и евреи. А это прекрасный бульон для культивирования революционных идей. Наши анархисты давно поняли это“.—„А что думает г. Штюрмер?“ спрашивает Палеолог.—„Г. Штюрмер, только дайте ему действовать, и вы увидите, он сделает славное дело“.

„Если понимать под серьезными событиями народное волнение или разгон Думы,—говорил Палеологу в начале июля 1916 г. Миллюков,—то я могу вас уверить, что в настоящий момент их ожидать нельзя. Будут забастовки, но чисто местные, не сопровождаемые насилиями. Бунт поднимется только в том случае, если наша армия понесет поражение; общественное мнение не потерпит повторения отступления на Дунае. Можно ждать волнений и в случае голода. В этом отношении я несколько беспокоюсь за будущую зиму. Что касается разгона Думы, я не сомневаюсь, что Штюрмер и его банда думают о нем, но мы не дадим им ни малейшего предлога. Мы решили не поддаваться их провокации и противопоставить ей наше терпение и благоразумие. После войны—увидим. Однако, эта тактика имеет большой недостаток. Она вызывает против нас в либеральной среде упреки в трусости; она грозит нам потерей соприкосновения с массами, которые пойдут тогда за людьми крайних воззрений“.

„Особа, хорошо осведомляющая меня о том, что делается в прогрессивных кругах,—записывает Палеолог под 8 октября,—указывает на активную работу социал-демократии, особенно ее крайней группы, большевиков; про-

должительность войны, неуверенность в победе, экономические затруднения оживили надежды революционеров. Они готовятся к борьбе, считая ее близкой. Во главе движения стоят три депутата—Чхендзе, Скобелев и Керенский. Кроме того, два могущественные влияния доносятся из-за границы—Плеханова и Ленина. Что меня поражает в этом петроградском триумvirате, так это практический характер его деятельности. Разочарование 1905 г. принесло свои плоды. Уже не хотят вступать в соглашение с кадетами, так как кадеты—это буржуа, которые никогда не поймут пролетариата; не строят себя иллюзий: и на немедленную помощь деревенских масс, ограничиваясь в этом отношении обещанием раздела земли. Прежде всего организуют вооруженную революцию. Революционная диктатура будет достигнута тесным взаимодействием фабрики и казармы. Душой всего дела является Керенский“.

Правительство знает о росте революционного настроения и тем не менее устами нового министра внутренних дел, Протопопова, назначенного по рекомендации Распутина, провозглашает крайнюю реакционную программу. Палеолог передает заявление Протопопова, что он „несколько не боится взрыва революционных сил; он сам вызовет их в случае нужды, чтобы сломить одним ударом“.

„Министров открыто обвиняют в том, что они умышленно поддерживают голод, чтобы вызвать смуту и иметь повод раздавить социалистические организации. По заводам распространяются брошюры, приглашающие рабочих начать забастовку с требованием окончания войны. Откуда эти брошюры? Одни говорят, что их распространяют германские агенты, другие—охрана“ (24 октября 1916).

Под 31 октября Палеолог записывает: „Уже два дня бастуют все заводы. Рабочие, без всякого повода, покинули свои мастерские, повинувшись приказу какого-то таинственного комитета“.

В обществе Палеолог отмечает уныние; говорят о забастовках, о продовольственных беспорядках. Военное положениеотягченоразгромом Румынии. Ходит слухи об измене Штюрмера, о подготовке сепаратного мира; по утверждению одного придворного чиновника, с которым беседовал Палеолог, Штюрмер и компания являются орудием в руках какого-то анонимного синдиката балтийских баронов, высших чинов двора, ультра-реакционеров, синода, части промышленников и финансистов, которые добиваются заключения сепаратного мира. Если император будет противиться им, они убьют его или заставят отречься.

Уже давно отмечает Палеолог, что русское общество охладело к мечте о завоевании Константинополя; фраза о Константинополе в правительственной декларации в Думе 4 декабря 1916 г. „падает в пустое пространство, пустое пространство, созданное из удивления и безразличия“; „народ уже давно отказался от этой византийской мечты“, замечает Палеолог несколько позднее (25 декабря 1916 г.).

23 ноября Палеолог получил неофициальное известие об отставке Штюрмера и его замене Троповым, которое подтвердилось на другой день.

Палеолог радуется новому назначению: Трепов — враг Германии, кроме того, он энергичен, умен, настойчив. Тотчас по вступлении в должность „Трепов, которого, конечно, нельзя заподозрить в излишней снисходительности или робости перед Думой, сознал невозможность управлять вместе с Протопоповым, который все более и более обнаруживает признаки умственного расстройства. Неравнеча, на аудиенции у императора в Могилеве, Трепов умолял его назначить другого министра внутренних дел, напоминая его величеству, что отставка Протопопова была главным условием принятия им должности председателя совета. Но императрица, которая все еще находится в Ставке и внимательно следит за всем происходящим, предвидела этот удар. И хорошо вышколенный император ответил, что он рассчитывает на лояльность Трепова, чтобы облегчить Протопопову выполнение его обязанностей. Трепов твердо и почтительно повторил свою просьбу. Император остался непоколебим. — В таком случае, продолжал Трепов, мне остается только просить Ваше Величество принять мою отставку. Совесть не позволит мне взять на себя ответственность, если Протопопов сохраняет за собой портфель министра внутренних дел. После минуты колебания император произнес властным тоном: „Александр Федорович, я предписываю вам исполнять вашу должность с теми сотрудниками, каких я вам назначил“ (29 ноября 1916 г.).

„Положение Трепова очень щекотливое, замечает Палеолог. С одной стороны, он сознает невозможность управлять страной, честным образом, выполнить политику альянса, пока полицейская организация находится в руках Протопопова. С другой стороны, в качестве приверженца легальных установлений империи, он отрицает за Думой право вмешательства в суверенные прерогативы, из которых одна из важнейших — выбор министров. Поэтому, конфликт Думы с правительством готовит нам немало досадных инцидентов“.

Конец 1916 г. ознаменован убийством Распутина, на котором Палеолог останавливается очень подробно, но все эти подробности слишком хорошо известны русскому читателю, чтобы стоило на них останавливаться.

„Если судить по созвездиям русского неба, записывает Палеолог под 1 января 1917 г., год начинается при плохих предзнаменованиях. Повсюду уныние и беспокойство; войной более не интересуются; никто не верит в победу: все поворно ждут худшего“.

„Сегодня утром я обсуждаю с Покровским проект ответа на американскую ноту о целях войны. Мы ищем формулу по вопросу о Польше; и ставлю на вид, что восстановление Польши в целом и следовательно отнятие у Пруссии Познани имеет первостепенное значение. Покровский соглашается с принципом, однако, колеблется из боязни дать союзникам право вмешательства в польские дела... Он несколько переставляет спорное место и прибавляет серьезным тоном:

— „Это очень хорошо. Но как далеки мы до этого! Посмотрите на окружающую действительность.

„Я, как могу, утешаю его, говоря, что полная победа зависит исключительно от нашей энергии.

„Тяжело вздохнув, он возражает:

— „Взгляните, что происходит“.

Сознание, что так далее продолжаться не может, проникает все шире и шире. В монархически настроенных кругах оно вызывает мысль, что выход можно найти в дворцовом перевороте. 5 января, рассказывает Палеолог, „прунный фабрикант Богданов давал обед, на котором присутствовал член царской фамилии князь Гавриил Константинович, несколько гвардейских офицеров, в том числе граф Панин, адъютант военного министра, член Государственного Совета Озеров и несколько представителей финансовой аристократии, между прочим, Путилов.

„Во время оживленного обеда говорили исключительно о внутреннем положении. Обращаясь к князю Гавриилу, Озеров и Путилов заявили, что, по их мнению, единственное средство спасти царствующую династию и монархический режим — объединить всех членов императорской фамилии, лидеров партий в Совете и Думе, представителей дворянства и армии, торжественно провозгласить императора слабоумным, недостойным своей роли и неспособным царствовать и провозгласить вступление на престол цесаревича под регентством одного из великих князей.

„Ничего не протестуя, князь Гавриил ограничился несколькими чисто практическими возражениями и пообещал довести все сказанное до сведения своих дядей и двоюродных братьев.

„В тот же вечер я узнаю, что в семье Романовых большое волнение. Несколько великих князей, среди которых называют трех сыновей великой княгини Марии Павловны, Кирилла, Бориса и Андрея, говорят не более и не менее, как о спасении царизма путем смены императора. Они намереваются идти в Царское с четырьмя гвардейскими полками, верность которых уже сильно поколеблена, овладеть царскою четой и убедить императора отречься; императрицу заточить в монастырь; затем провозгласить воцарение цесаревича Алексея под регентством великого князя Николая Николаевича.

„Пинципаторы этой идеи считали, что великий князь Дмитрий Павлович, участвовавший в убийстве Распутина, должен и теперь руководить заговором и увлечь за собой войска. Его двоюродные братья Кирилл и Андрей Владимировичи были у него вчера в его дворце на Цевском и всеми силами убеждали его „довести до конца дело национального спасения“. После долгой борьбы со своей совестью Дмитрий Павлович решительно отказался „поднять руку на государя“; его последние слова были: „я не нарушу моей присяги“.

Гвардейские полки, среди которых организаторы заговора уже нашли приверженцев, это — Павловский, расположенный на Марсовом Поле, Преображенский, расположенный около Зимнего Дворца, Измайловский — около Обводного канала, Гвардейский казачий, расположенный за Александровско-Невской Таврой, и, наконец, эскадрон Гусарского полка, стоящий гарнизоном в Царском Селе. „Работа заговорщиков в казармах была почти тотчас обнаружена охраной. Белецкому поручено начать расследование параллельно с расследованием об убийстве Распутина“.

Палеолог обезопасил всем присутствующим в России, Палеолог просит аудиенцию у императора. Наконец найден случай попытаться коснуться в разговоре вопросу внешнего положения России. Все окружающие горячо поддерживают его в этом начинании. Палеолог, опираясь на о времени аудиенции, прибавляет: „Я умоляю вас говорить с государем вполне откровенно, ничего не скрывая. Вы нам окажете большую услугу“.

„При виде я был в расстройстве от удивленным видом императора, его напряженной, осунувшейся физиономией.“

— „Я просил ваше Величество принять меня, говорю я, так как всегда находил у вас поддержку и утешение и сильно нуждаюсь в них сегодня.“

„Беззвучным, неузнаваемым голосом он отвечает:

— „Я попрежнему рожусь вести войну до конца, до полной, решительной победы. Читали вы мой последний приказ по армии?“

— „О, конечно, и я восхищаюсь духом веры, несомкнутой энергии, которым дышит этот документ. Но, какая пропасть между этим блистательным утверждением вашей державной воли и фактической действительностью!“

„Император смотрит на меня недоверчивым взглядом. Я продолжаю:

— „В приказе вы говорите о вашем непоколебимом намерении овладеть Константинополем. Но как достигнет этого ваша армия? Неужели вас не пугает то, что делается в Румынии? Если отступление русских армий не будет остановлено, они должны будут очистить всю Молдавию и отступить за Прут или даже за Днестр. А вы не боитесь, что в таком случае Германия организует в Бухаресте временное правительство, посадит на престол кого-нибудь из своих принцев и заключит мир с этой новой Румынией?“

— „Это, действительно, очень тревожно. Но я делаю все, чтобы усилить армию генерала Сахарова; только трудность с транспортом и снабжением чрезвычайно велика. Но я надеюсь, что дней через десять мы будем в состоянии перейти в наступление в Молдавию.“

— „Как, в десять дней! Разве 31 пехотных и 12 кавалерийских дивизий, которые требует генерал Сахаров, находятся уже на фронте?“

„Он отвечает неопределенно:

— „Не могу вам сказать, не помню. Но там уже сосредоточено много войск, очень много, и я пошлю еще, еще...“

— „И скоро?“

— „Да, надеюсь.“

„Разговор еще тянется. Я не могу фиксировать на чем-нибудь ни взгляда императора, ни его мимимики. Мне кажется, что мы за тысячи верст друг от друга.“

„С жестом уныния я говорю ему:

— „Ваше Величество, я иду из вашего кабинета еще более обеспокоенным, чем вошел. Впервые я не чувствую себя в контакте с вашей мыслью.“

„Он с чувством протестует:

— „Но я отношусь к вам с полным доверием. У нас столько общих воспоминаний, и я знаю, что могу рассчитывать на вашу дружбу.

— „Именно эта дружба и заставляет меня тревожиться и печалиться; ведь я изложил вам только ничтожную часть моих опасений. Есть предмет, касаться которого французский посол не имеет права; вы понимаете, какой. Но я не оправдал бы вашего доверия, если бы умолчал о том, что симптомы, наблюдаемые мною в последние недели, расстройство в лучших умах, страх, овладевший вашими самыми верными подданными, пугают меня за участь России.

— „Я знаю, что в петроградских салонах очень волнуются.

„И по давам мне времени возразить что-нибудь на эти слова, он вдруг развязно спрашивает меня:

— „А что поделявает наш друг, Фердинанд Болгарский?

„Я отвечаю холодно-официальным тоном:

— „Я уже давно не имею о нем известий, и умолкаю...

„Пока императорский поезд увозит меня по метели в Петроград, я перебираю впечатления этой аудиенции. Слова императора, его неожиданное молчание, мрачная, напряженная физиономия, неуловимый, далекий взгляд, скованность мысли, что то смутное и загадочное во всем его существе еще более убеждают меня в мысли, уже давно приходившей мне в голову: император чувствует себя выбитым из колеи, события властвуют над ним, у него не осталось веры ни в свою миссию, ни в свое дело; он, так сказать, внутренне уже подписал отречение; он примирился с катастрофой и готов к жертве. Его последний приказ по армии, гордое упоминание о Польше и Константинополе, были, как и я предчувствовал, чем-то в роде политического заветования, внешним утверждением славной мечты, лелеянной им для России, мечты, которую он видит рабытой*.

На этом пока обрываются записки Палеолога.

В. Водовозов.

Легенда о С. А. Перовской.

(В видах беспристрастной истины).

Помещенные в № 19 „Былого“ за нынешний год „Воспоминания“ О. В. Антекмана интересны по содержанию и голивости изложения. Тем же менее, они заключают в себе недоразумение, которое мне хочется разъяснить в целях истины. Желание мое тем естественнее, что вопрос касается С. А. Перовской, память о которой сияет неувидаемой красотой и славой. Но, говоря о Перовской, мы должны быть особенно осмотрительны. Выдающийся человек не нуждается во внешних украшениях, чтобы влиять на окружающих силой и блеском своих духовных качеств. Подобно всем смертным, такой человек в своем физическом существе подвержен общим законам природы и с чародейством и мифологией не имеет ничего общего.

В виду этих соображений, я не могу не протестовать против строк, напечатанных О. В. Антекманом на стр. 126 „Былого“: „Молодая девушка, 18 лет, проникает в самое логовище чудовищного, можно сказать, апокалиптического зверя — в III Отделение, это „высшее в государстве полицейское учреждение“, как оно само важно величает себя. Девушка через одного подкупленного жандарма заводит сношения с сидищими там товарищами, получает и передает им записки и важные поручения, имеет с ними свидания в камерах и совершенно сказочным образом выводит своих товарищей для свидания с товарищами на воле, получает все следственное их дело из III Отделения и т. д., и т. д., — словом, девушка не больше, не меньше, хозяйничает в III Отделении. Эта девушка — Софья Перовская. Сколько драмы надо было иметь в 18-летней девушке, чтобы поручить ей такое рискованное дело“.

В этом месте находится ошибка, заключающаяся на статью Л. Б. Шинко: „Кружечный и кружок чайковцев“ а также на воспоминания В. В. Борзи (Флеровского).

Раскрывшем статью Шинко и наводящим следующее в печатных строках, единственные, относящиеся ко всей статье к Перовской: „Всем делами такого рода (как хранение печатного станка) заведывала (в кружке чайковцев) особая конспиративная комиссия, к которой принадлежала, между прочим, 18-ти-летняя Перовская. В ведении Перовской находились также сношения с аресто-

записки, сидевшими в III Отделении, через одного подкупленного жандарма, который регулярно приносил ей записки и принимал от нее поручения“.

Все, что так просто и ясно у Шинико, превратилось в статье О. В. Аптекмана в таинственное повествование, более замысловатое, пожалуй, чем некоторые рассказы из „Тысячи и одной ночи“, где, например, требовалось запомнить слова: „Сезам, Сезам отворись“, а перед С. Л. Перовской тяжелые тюремные замки сами собой отворились, заключенные оказывались переодетыми, выходили на улицу, и проч., и проч. Лично я не допускаю возможным, чтобы под пером О. В. Аптекмана шесть незамысловатых строк книги Шинико превратились в туманную мифологию. Я думаю, что свой рассказ О. В. Аптекман взял не из статьи Шинико, а из „Воспоминаний В. В. Берви („Голос Минувшего“ 1916, февраль, с. 82—83). В этих воспоминаниях, в рассказе о Перовской, действительно, трудно отличить быль от небылицы, и в подтверждение своих слов я приведу целиком несколько длинную выдержку для того, чтобы читатель сам мог судить о преобразовании, которое претерпел простой факт заведывания Перовской перепиской с заключенными в III Отделении. „Между всеми (пропагандистами)—лишь Берви—выдавалась Перовская; ее смелость, ее изобретательность и хитрость поражали и удивляли. Ей удалось вещь до того беспримерная— свидание с преступником, осуждавшимся на каторжные работы, в камере одиночного заключения Третьего Отделения“. Затем следует подробное описание устройства тюрьмы при III Отделении, а дальше— рассказ снова возвращается к Перовской: „Вы думаете, м. б., что свидание устроено было через крышу и потолок—несколько! Лицо, которому нужно было видеть будущего каторжника, было введено открыто жандармом в кордегардию; ему любезно отперли дверь в арестантские помещения, прорезали в верхний этаж; столь же обязательно отперли камеру каторжника и скромно удалились, чтобы дать им на свободе беседовать между собою. По распоряжению Перовской, заключенные в III Отделении надевали платье жандармов и свободно разгуливали по Петербургу, а жандармы передевались в гражданское платье. Ей приносили из III Отделения всякое дело, какое ей было нужно, и относили к тому из заключенных, которого она указывала. То, что составляло секрет для жандармов, не составляло секрета для нее. Она могла указать камеру, в которую должен был быть посажен заключенный; она помешала сидеть рядом со мною, и ее посадили. Три девушки, из которых я знал только одну, пожелали проводить меня в Москву. Жанд. офицер ввел меня в зал и посадил у окна, предупредив о появлении посетительниц, и, действительно, посетительницы явились. Самые отчаянные вещи предельноались именно теми жандармами, которые были на лучшем счету; они мне рассказывали, как они вкрадывались в доверие начальства: нужно было показывать бокалов усадеб и доносить о военных пустяках. Самое главное достоинство Перовской заключалось в том, что любимцы начальства могли вполне на нее положиться; там, где она распоряжалась, никогда никаких историй не выходило. Первые шаги на этом поприще требовали больших усилий и стоили очень дорого. Для жандармов это было глостью, они не решались действовать и сильно боялись наказания. Свидание, о котором я говорил, стоило несколько

сотен рублей. Однако же скоро дело пошло очень успешно: в Москве я извлек плату за передаваемое письмо до 10 коп. Между политическими заключенными в разных тюрьмах этого города пошла такая переписка, что я завален был письмами от совершенно незнакомых мне людей. В мою камеру вводили заключенных, желавших меня видеть; мне это ничего не стоило, не знаю, стоило ли это им. Такое развитие дела вытекало из того, что жандармы, по мере того как они знакомились с политическими, начинали сочувствовать им и увлекаться ими. Они мне не раз повторяли: если бы графу Шувалову назначить такое же жалованье, как простому жандарму—было бы справедливо⁴.

Источники приведенного мною неудачного рассказа ясны. Это прежде всего—преклонный возраст автора, когда то обладавшего светлой головой и ясными мыслями, увлекавшими русскую молодежь на служение родному народу.

Другая причина ошибок В. В. Берви кроется в том, что автор мало знаком с условиями заключения и тюремного режима вообще. Если, действительно, однажды, по желанию Перовской, ее посадили в камеру рядом с В. В. Берви, из этого, конечно, не следует, что Перовская распорядилась в тюрьме по своему усмотрению.

Маленький пример: когда я сидела в доме предварительного заключения (в 1882 году), заведующей женским отделением тюрьмы была черносотенная дама, вдова какого-то высокого чина. Тем не менее, если кто либо из политических заключенных просил перевести ее в такой то свободный номер, она иногда соглашалась на эту просьбу, зная, что исполнение такого незначительного желания благотворно подействует на психическое состояние заключенной, которая станет спокойнее и менее будет причинять хлопот заведующей и надзирательницам. Из этого, однако, не следовало, что политические заключенные распорядились в тюрьме и могли иначе, а именно: в какой мере должна сидеть та или другая заключенная.

Еще один повод к ошибкам В. В. Берви лежит в том, что он принимает на веру все то, что ему говорили жандармы, которые, может быть, желали подладиться к известному писателю, и льстили себя надеждою, что он сохранит о них хорошее воспоминание. И он, действительно, сохранил его. Он говорит между прочим: „Самые отчаянные вещи проделывались именно теми жандармами, которые были на лучшем счету; они мне рассказывали, как они вкрадывались в доверие начальства: нужно было показывать большое усердие и доносить о всяких пустяках⁵“. И В. В. Берви совершенно верно, что карьера жандармов вполне зависела от пустяков. Чем больше пустяков они донесут, тем милостивее будет к ним начальство, а серьезных доносов оно станет требовать от плохих жандармов.

О логических ошибках я не стану даже говорить: так их много, и так они очевидны. Но тот факт, что силлогизмы В. В. Берви неправильны, должно было навести О. В. Антокина на мысль, что в самом его рассказе о С. П. Перовской не верен.

16 июня 1922.

А. Прибылева-Норба.

Критика и библиография.

А. А. Шилов. *Что читать по истории русского революционного движения? Указатель важнейших книг, брошюр и журнальных статей.* Петербург. Государственное Издательство. 1922. Стр. 230.

Указатель А. А. Шилова отвечает давно назревшей потребности, ранее вызван ею, и поэтому даже как бы несколько запоздал; в настоящее время потребность в таком указателе огнюдь не больше, чем она была год, два, три, да, даже четыре тому назад. Оно и понятно; с библиографической работой по вопросу, не бывшему никогда предметом систематического изучения и, главное, свободного преследования, не именному „кафедры“ и не образовавшему „школы“, иначе и быть не может. Только, когда „курс истории революционного движения, или хотя бы отдельные лекции, с самого начала нашей революции делались непременным условием“ всех школ и учебно-просветительных предприятий—для множества людей явилась подлинная, можно сказать, гнетущая необходимость в быстро и легко ориентирующем пособии по литературе предмета, такого многосоставного по материалу своему содержанию и обьему, логически столь несовершенного отграниченного и до сих пор, организационно не связанного с общим процессом русского исторического развития. На наш взгляд, большой заслуга составителя этого пособия в том, что он сравнительно так скоро, в чрезвычайно невыгодной для библиографической работы обстановке, первый сумел его дать его растерянному среднему читателю нашего времени.

Автор, по его словам, „относительно не ставил своей задачей дать полный исчерпывающий перечень историко-революционной литературы“, справедливо считая это делом будущего „хотя, может быть, и близкого“. Его задача была дать „указатели, предназначенный для первых справок и, малым образом, рассчитанный на широкую массу читателей“. Именно поэтому он „вынужден сознательно не вводить в свой указатель многих мелких статей и заметок, ограничиваясь более крупными, дающими цельное представление о каком-либо событии или деятеле русского революционного движения“. То же внимание к массовому читателю было причиной „сознательного неведения в указатель“ конфискованных, или уничтоженных и заграничных изданий, обычно не встречающихся в общественных библиотеках среднего типа. Запросы и возможности такого читателя хорошо известны А. А. Шилову, много поработавшему в рабочей и в университетской аудитории, неоднократно читавшему специальные курсы по библиографии истории революционного движения для различных групп работников библиотечного дела и организатору объяснительных чтений на выставке „Революционной Книжки“, им же с немалым трудом и тщательностью и устроенной при Историко-Революционном Архиве в июне-августе 1921 г. Таким образом, составитель указателя шел непрерывным путем собственного своего разностороннего опыта, определившего задачу, характер, объем и построение книги. При таком эмпирическом процессе составления указателя вполне остается преемство А. А. Шилова по всем интересующимся—

„положить неизбежные во всякой библиографической работе пробы“ непосредственными обращениями к автору. От достоинств указателя, обусловленных сознательно поставленными себе автором ограничениями, не осталось бы и следа, если бы критика сосредоточила свои усилия на том, чтобы в последующих изданиях не было „пробелов“.

Составитель считал необходимым „не держаться и пределах партийной литературы“ и включил в указатель статьи и книги, вышедшие „из разных политических лагерей“. Желание „дать возможность читателю самому разобраться в литературе интересующего его вопроса и осветить его всесторонне“, руководившее А. А. Шиковым в данном случае, вполне закономерно и политично, особенно, при наличном состоянии указанной литературы. Но это бесспорное достоинство, кажется, послужило причиной и одного серьезного недостатка работы. Пользование указателем облегчено тем, что в конце книги дан алфавитный перечень имен и сюжетов со ссылками на соответствующие страницы. Точно также читатель будет благодарен автору за коротенькие ориентирующие характеристики, которыми сопровождаются (в первом разделе книги) „справочные издания, общие труды по истории революционного и общественного движения и издания материалов“. Однако, на этом и кончается содействующая роль составителя. Читатель далее остается предоставленным самому себе, в лесу названий книг и статей по данному вопросу, выписанных в алфавитном порядке. Он, разумеется, не станет требовать, чтобы всякая книга или статья была бы ему аттестована, но на страничке, отведенной Радищеву, он находит то, что ему как раз надо: две строчки, что „книжки А. и М. являются лучшими для первого знакомства с деятельностью Радищева“; хотя бы по прочтении всей указанной литературы о Радищеве лаче чаяния, и не согласился бы с составителем. Зато соседняя страничка о Повикове подвергает читателя риску заблудиться между Тихомировым и Усовой, т. е. обе эти биографии тогдашней по заглавию и, хотя стоят в конце перечня, зато от всех прочих отличаются тем, что годы и места их издания останутся интриговать читателя до тех пор, пока он не возьмет в руки самих книжек. Такое требование читателя тем более закономерно, что в одном, другом случае (правда, всего лишь в одном) читатель испытывает скрытое руководящее давление составителя, где оно совсем не нужно: с „Эпохой Николая I“ ему рекомендуют, между многим другим, „знакомиться по Туган-Барановскому „Русская фабрика в ее настоящем и прошлом“ в 3-ем издании, (с. 34) с „Заводскими бунтами“—но ему же, но во 2-м издании („в прошлом и настоящем“, с. 57), а с „Эпохой Александра II“—по изданию „1903 г.“ (с. 68), т. е. не по 2-му, которое помечено 1900 годом, и не по 3-му, помеченному 1909 годом, но тогда по какому же?—Думаем, что для практических целей, которым служит указатель, полезно и возможно включить в него примечания, рассчитанные: одни—на массового читателя неспециалиста, другие—на „специалиста“ „для первых справок“. Едва ли это увеличило бы объем книги, если внести в указатель условные сокращения для много раз повторяющихся названий или даже просто пожертвовать частью названий. Против последнего, м. б., будет возражать так назыв. специалист, но на массовом читателе оно не отразится при несомненном библиографическом богатстве нашего указателя.

Указатель, сверх первого (с. 11—23), состоит из след. крупных разделов: 2) Предшественники революционного движения XVIII в. (с. 27—29), 3) Александровская эпоха (с. 33—49), 4) Николаевская эпоха (с. 53—64), 5) Эпоха Александра II (с. 67—68), 6) Революционное движение 1860-х гг. (68—97), 7) 1870-х гг. (с. 101—129), 8) „Народная Воля“ и революционное движение 80-х гг. (с. 123—147), 9) Политические партии и их деятельность в 1889—1910 гг. (с. 151—170), 10) 1905 и следующие годы (с. 173—197), 11) Февральская революция (с. 201—205), 12) Эмиграция, тюрьма, ссылка и каторга (с. 209—224). В каждом из разделов существуют дальнейшие подразделения, имеющие в конечном счете до отдельных лиц, событий, категорий, явлений, учреждений, функций общественной жизни, хронологических отрезков и т. п. В этом пункте лежала для составителя, вероятно, максимальная трудность работы: дать систематизацию громадного печатного материала, в сущности, почти то же, что дать в высшей степени расчлененную программу

курса истории революционного движения и притом тактико, в которой недопустимо опущение неуспехов движения в схему предметов, однако же выдвинутых в литературе. В этом пункте „составитель“ как имеется себя А. А. Шилов, обращается в „автора“ хочет он этого или нет. Повидимому—не хочет. Но крайней мере, он уклонился от того, чтобы поместить в книге хотя бы суммарное оглавление, даже не перенумеровал разделов своего указателя. А между тем, для немого читателя хорошее оглавление, технически не обременяя пользования книгой, было бы полезным копенетом или чертёжком того предмета, интерес к которому не отрицает же и сам автор: истории революционного движения. Мы думаем, что для все тех же практических целей желательно включить в указатель и подробное оглавление.

Автор прямо не определяет, при этом, что он разумеет под „русским революционным движением“, но на деле он выключает из своего указателя аналогичные явления в жизни национальных меньшинств Б. Российской Империи (кроме евреев и отчасти поляков), имеет дело с XIX и XX столетиями (до февраля 1917 г. включительно), в XVIII ст. принимает во внимание лишь т. наз. „предшественников революционного движения“—Кречетова, Радикова, Пнина и Новикова с масонами, а в пределах названных столетий и на русской почве понимает свою задачу очень широко, следя, напр. и за заземным конституционным движением, и за правыми партиями, и за деятельностью Столыпина и т. п. Можно только приветствовать такое понимание в последнем случае и согласиться с установленными хронологическими рамками. Но изгнание национальных меньшинств, при всех трудностях, связанных с ним предметом, представляется все же несколько искусственным.

Б. Романов.

Н. И. Михайловский. *Что такое прогресс?* Под редакцией Иванова-Разумника. Изд. „Колос“. Петерб., 1922 г. Стр. 223.

Трактат Н. И. Михайловского о прогрессе, это не статья, а именно целый трактат, имеет одинаковое значение как для изучения теоретической социологии в России, так и нашего общественно-революционного движения. Это—настоящий манифест революционного народничества 60—70 гг., определявший его программу на много лет вперед. Ни один курс по истории революционного движения того времени не может обойтись без упоминания о трактате Михайловского: „Что такое прогресс“. Теперь эта работа выходит в отдельном издании „Колоса“ под редакцией Иванова-Разумника. Сочинения Михайловского давно уже раскуплены, на книжном рынке их нет, переиздать их полностью нет никакой возможности, поэтому появление, хотя бы главных произведений Михайловского отдельными выпусками, можно только приветствовать. Но „Колос“ дает не простую перепечатку „Что такое прогресс“, а делает попытку издать эту статью в таком виде, чтобы она могла послужить началом, если не основой, для будущего строго научного издания сочинений Н. И. Михайловского. Соединяя в собрание сочинений свои журнальные статьи, Михайловский, говорит редактор нового издания, „много вычеркивал, многое исправлял и перемещал“. Необходимо поэтому обратить внимание прежде всего на изучение текста его произведений, установив все встречающиеся там разночтения и дополнения. Так и проредактировала в настоящем издании статьи Михайловского „Что такое прогресс“. Многократные явные опечатки исправлены в тексте и в примечаниях без оговорок, разночтения и дополнения по журнальному тексту все внесены в примечания; кроме вариантов и дополнений, в примечаниях этих даны наиболее необходимые фактические комментарии к ряду мест, нуждающихся в разъяснении; в конце даны необходимые библиографические указания. Вся эта работа, прилагает Иванов-Разумник, может считаться подготовительной для будущего научного издания собрания сочинений Н. И. Михайловского. Продолжатели такой работы, несомненно, придут в свое время, пока же надо начать“. Такая программа, намеченная редактором статьи о прогрессе, программа очень интересная и чрезвычайно важная для подготовки научного издания сочинений Михайловского. К сожалению, самим Иванов-Разумником она вы-

полнена далеко не все. Начать хотя бы с того, что необходимых фактических комментариев к ряду мест статьи Михайловского мы совсем не нашли в примечаниях, между тем именно „Что такое прогресс“ особенно нуждается в такого рода комментариях и переработке его без них едва ли целесообразно. В примечаниях Иванова-Разумника, в общем чрезвычайно скудных, есть правда, несколько библиографических справок, но они ни в каком случае фактическими комментариями не являются. Притом эти справки не всегда точны и не всегда удачны. Восмущавшая в прим. 36 одно упоминание о Дарвине в „Что такое прогресс“, выдуманное автором, Иванов-Разумник упоминает, напр., о том, что свое отношение к Дарвину Михайловский выразил в ряде статей: „Теория Дарвина и общественная наука“, печатавшихся в 1870—1871 гг. На самом деле статьи эти печатались с перерывами с января 1870 по февраль 1873 г.

Это установление возможной точности в датах имеет большое значение для характеристики некоторых особенностей в эволюционном развитии Михайловского. Далее: прим. 33, посвященное статье Михайловского „Что такое счастье“, слишком кратко, необходимо было бы привести те разъяснения, которые делает по данному пункту сам Михайловский в статье о Слонимском (см. т. X, стр. 105—106). Эти два примечания, одно не совсем точное, а другое слишком не полное, и представляют те фактические комментарии к ряду мест, нуждающихся в разъяснении, которые обещаны были в предисловии редактора. Приблизительно также обстоит дело и с установлением изменений в тексте статьи Михайловского о прогрессе. Иванов-Разумник прежде всего слишком преувеличивает, когда говорит, что Михайловский „соединял в собрание сочинений свои журнальные статьи, многое вычеркивал, многое исправлял и перемешивал“. Михайловский, действительно, много статей своих не ввел в собрание сочинений, и те, которые там теперь есть, введены им туда не сразу. Первоначально даже „Что такое прогресс“ он колебался вводить в собрание своих сочинений, предполагал переделать этот трактат в самостоятельную книгу. Но когда ту или другую работу Михайловский вводил в собрание сочинений, то там он печатал ее почти без всяких изменений, а если и вычеркивал, исправлял, перемешивал, то лишь частности, не имеющие серьезного значения. В § 111 своих дополнений Иванов-Разумник сам отмечает тот же факт, говоря: „изменения и поправки („Что такое пр.“) были немногочисленны и несущественны“. На столько несущественны, что Михайловский писал однажды, что статью о прогрессе он перепечатал „без всяких изменений“. Правда, Иванов-Разумник устанавливает теперь ряд разночтений, имеющих в разных изданиях „Что такое прогресс“, и некоторые из его указаний очень ценны, но далеко не все. Иванов-Разумник сопоставляет два текста статьи о прогрессе, один 1906 года по 4-му изданию и другой 1869 г. по „Отечеств. Запискам“ (рукописи нет). Он находит здесь такие разночтения: напр. в IV изд. вместо „факторов“ говорится „фактов“, что конечно, далеко не одно и то же; вместо „сосуществование“ просто „существование“; вместо „сосуществующими“ опять „существующими“ и т. д. При ближайшем рассмотрении оказывается, однако, что эти разночтения являются просто опечатками и притом очень грубыми. Если бы Иванов-Разумник сравнил текст IV изд. с текстом 3-го издания, т. е. последнего, вышедшего при жизни автора, — то он увидел бы, что там ни одного из этих „разночтений“ нет, а везде, где нужно, так и стоит не существование, а сосуществование, не факты, а факторы и пр. Такую же лишнюю работу Иванов-Разумник исполнил и еще в одном отношении. В примечании 17 и 20 он, между прочим, делает пометку и словами Михайловского: „в другом месте мы имели случай показать“ и пр., что этия другим местом является статья „Преступление и наказание“. Но в 3-ем издании такое указание (см. наприм. стр. 93, т. 1) делает сам Михайловский, и если этого нет в IV изд., то исключительно по небрежности корректора или лиц, наблюдавших за изданием (IV-е издание принадлежало ред. „Русск. Бог.“). Все эти примеры показывают, с каким количеством опечаток действительно издавались статьи Михайловского, и, конечно, Иванов-Разумник прекрасно делает, что их исправляет. Не совсем, однако, удобно то, что, исправляя эти опечатки, он допускает тут же ряд новых, столь же грубых и неслыханных (см. стр. 20, 44, 45, 49, 62, 64, 65, 76 и др. изд. „Насоса“). Временами

получаются даже курьезы. В примечании Иванов-Разумник, как пример корректурной несообразности, которой много в тексте, приводит символ с первой книги Морья „Metaphysicalis“; напечатано „1865“, но в примеч. „1862 года“. Но как раз именно эта опечатка допущена у самого Иванова Разумника (см. стр. 29 „Что такое пр.“ под „Мол.“), и не пет в 3-ем изд. вышедшей при жизни автора. Если от всех этих мелких нестроиностей, едва ли, впрочем, умевших в научной работе, мы перейдем к работе Иванова-Разумника по непосредственному изучению текста сочинений Михайловского, в частности — истории текста „Что такое прогресс“, то встретимся здесь с еще более существенными пробелами. Работа по истории текста „Что такое прогресс“ почти не начата, но кое-что все таки уже сделано. Первые социологические наброски Михайловского относятся еще к 1865-1866 гг., во времени его работы в „Книжн. Вестн.“. После „Книжн. Вестн.“ он сотрудничал одно время, правда, очень кратко, в газете „Гласн. Суд“, это было летом 1867 г.; еще позже в „Неделе“ и, наконец, перешел в „Отеч. Зап.“, где в 1869 г. и была им помещена статья „Что такое прогресс“, сразу обратившая на него общее внимание. Позже статья „Что так. прогресс“ как бы затонула или затмила от наших взор ов весь предыдущий период деятельности Михайловского; создавала впечатление, что трактат его о прогрессе вырос как-то „друг“, внешне, и до этого трактата того Михайловского, каким мы его узнали позже, не существовало. Изучая теперь историю текста „Что такое прогресс“, мы убеждаемся, что подобное представление не соответствует действительности. Тот Михайловский, который после статьи о прогрессе навсегда вошел, как резко обозначенная фигура, в русскую жизнь и литературу, существовал уже, со всеми своими особенностями, за несколько лет раньше до своего открытого появления на литературной арене. Этот факт имеет не только биографическое, но и общелитературное значение, так как показывает, что Михайловский был Михайловским еще в самый разгар влияния и деятельности Писарева, причем восторго он тогда же (в „Кн. Вестн.“) выступал и как публицист, и как социолог.

Без всякого преувеличения можно сказать, что над статьей о прогрессе Михайловский непосредственно работал по меньшей мере с 1867 года, если еще не раньше, то есть в течение приблизительно двух лет; первые же его социологические наброски, вошедшие позже в ту же статью, текстовально относятся еще к более раннему времени — к 1865—1866 гг. Так как все указанные факты имеют очень крупное значение, то нас естественно интересовал вопрос, в какой форме они утварились у Иванова-Разумника и какие фактические комментарии к ним сделаны в его примечаниях к „Что такое прогресс“. Из всех этих фактов только один, но, без всяких комментариев, зарегистрирован Ивановым-Разумником в прим. к стр. 79-й. На стр. 79 Михайловский — для выяснения значения идеи социального организма“ цитирует отрывок из одной своей старой заметки о Дрепере (о его книге „Истор. гражд. развития Америки“), и в прим. 9-ом Иванов-Разумник поясняет, что эта цитата — „взята с небольшими изменениями из рецензии Михайловского на книгу Дрепера, см. „Кн. Вестн.“ 1866 г. август.“ И — только. Но, ведь, в статье „Что такое прогресс“ из одно лишь это место взято Михайловским из его же рецензий в „Кн. Вестн.“. Приведенное место находится в IV т. „Что такое прогресс“, главе, имеющей центральное значение для всей социологической теории Михайловского. Но в той же главе другое место ее, представляющее опять-таки „ключ к пониманию Михайловского“, именно все то, что там говорится о статье Спенсера „Философия слога“ и все те параллели, которые тут делает Михайловский между рассуждениями Спенсера о философии слога и его же рассуждениями о переходе от однородного к разнородному, как условии прогресса, точно также выити Михайловским частью прямо текстовально, частью в перефразис на его рецензии в том же „Кн. Вестн.“, но на этот раз не на книгу Дрепера, а на книгу Спенсера „Научные, политические и философские бытия“, том I. Затем вариацию тех же мест из „Кн. Вестн.“ представляют стр. 209—211 статьи о прогрессе в издании „Молода“, о чем Иванов-Разумник даже не упоминает, как будто этот факт не имеет никакого значения для изучения текста сочинений Михайловского. Изучая же изучение

теперь состоит только в механическом сопоставлении „Что такое прогресс“ по изданию 1906 г. с тем, в каком виде эта работа была напечатана в 1869 г. Под научным текстом какой либо литературной работы до сих пор понималось нечто более серьезное и более широкое по своему заданию; текст изучается в таких случаях не только механически, но и органически, не только в статике, но и в динамике. И если теперь статья о прогрессе изучать с последней точки зрения, то и вышеуказанным указанием пришло бы прибавить еще ряд новых, уже исторических, как и новым образом создавалось у Михайловского литературное выражение выработанных уже им социологических идей. Достаточно будет упомянуть, что в газ. „Правд. Суд“ он дает целый проспект будущей статьи о прогрессе, в одном из своих литературных обозрений, имеющих такой подзаголовок: „Собрание сочинений Герберта Спенсера—Роль искусства.—Прогресс органический и общественный.—Социальный организм.—Спенсер и идея социального организма“. —Статья с таким перечнем вопросов была напечатана в июле 1907. г. ровно за два года до появления „Что такое прогресс“. Я не считаю нужным приводить других аналогичных примеров,—их все равно не перечислить в журнальной рецензии. Да, кроме того, едва ли это и нужно. Все относящиеся сюда материалы, читатель может и так найти в X томе сочинений Н. Н. Михайловского, вышедшем еще в 1913 г. и в помещенных там „Библиографических Заметках“. Иванов-Разумник не пользовался этой работой, он в примеч. 9 китирует непосредственно „Кн. Вести“, но по видимому, он с „Кн. Вести“ (не говоря о „Прав. Суде“, „Неделе“ и пр.) не успел ознакомиться детально, потому и вышло так, что им не учтены даже факты, уже указанные в литературе о Михайловском. Такой метод работы при попытке дать читателям научное издание сочинений русского социолога, не кажется особенно удачным. „Продолжатели такой работы—говорит Иванов-Разумник—посомненно придут в свое время, пока же надо пачать“. Мы считаем себя в праве выразить опасение, основывавшееся на всем вышесказанном, что если продолжатели Иванова-Разумника будут в своей работе пользоваться такими же методами, как и он сам, то едва ли это даст очень много для будущего научного издания сочинений Н. Н. Михайловского.

Евгений Колосов.

Р. М. Кантор. *В поиске за Печисем*. — К характеристике провокационной политики III Отделения. Изд. „Мысль“. Петербург. 1922. Стр: 103.

Еще одна книжка, открывающая оборотную сторону мета революции. На ней лежит печать некоторого стремления к „поиску“ за сенсационным материалом для изучения нашего прошлого. Молодые исследователи такими темами теперь охотно занимаются, хотя часто они мало плодотворны с обще-научной точки зрения. Недавно, провокационная политика 3-го Отд. на рубеже 70-х гг. (от еще тогда: 50 лет назад),—это не только привлекает к себе внимание. Там, где провокации, всегда есть какой-нибудь революционный Романбод, а похождения Романбоды для широкого читателя всегда считались. Роль Романбоды у Р. М. Кантора играет „крупнейший“ на его взгляд,—агент 3-го Отд.“ за 1869-1870 гг., некий Карл-Август Роман. Это был „агент особенный“; „он был прекрасный, как иные выражаются, „физер“, в этом коренится его основное призвание. Филерский талант у него обнаружился рано“. „Наличие таланта первоклассного филера“, — и привлекло к Авиду-Карлу Роману внимание Р. М. Кантора. Этот первоклассный филер, что-то в роде Мелникова 60-х гг., — познакомился с Герценом и Ст. Тхоржевским; под именем „издателя Пестикова“ он попускает у Тхоржевского записки кн. Долгорукова, эмигранта-аристократа, автора книги „Правда о России“ становится затем, с разрешения 3-го Отд., издателем II тома мемуаров (точнее материалов по истории XVIII в.) кн. Долгорукова, входит близкими этому в дружбу с Ст. Герценом, а через него и с Бакуниным. Все это он продолжает—„в поиске за Печисем“, желая установить, где скрывается Печисев после убийства Иванова, но ничего этого не обнаруживает, несмотря на все свои таланты первоклассного сыщика и филера.

Наибольший интерес в книжке Р. М. Кантора представляет несомненно та часть ее, где он говорит о Герцене (ирония, очень мало), об Огареве и в особенности о Бакунина. Письма Бакунина, записки Огарева, это вечное безденежье и много из них, быстро наступившее умышленное разрушение второго, разговоры с ними Романа и его наблюдения над их жизнью, наблюдения, впрочем, более внешнего характера, но не безинтересные; поездка Романа, вслед за Бакуниным и по его поручению, в Японию в сент. 1870 г., когда там разгорелось известное восстание, затем поездки Романа, опять-таки по поручению Бакунина, в Россию, в частности в Премухино к его братьям, не впрочем о разделе наследства, — все это пригодится биографам двух старых русских революционеров и историкам общественного движения. Большого материала они там для себя не найдут, но кое-что любопытное, рассказано то тут, то там, главным образом в письмах Бакунина. „А я, брат, работаю хуже прежнего — пишет Бакунин Роману, — не только по интернационально-революционному, но и по славяно-русскому революционному делу, это мой насущный хлеб“. „И тому же я возвращаюсь назад не люблю. помел, значит или вперед, на шаг или пропал“ (83, 79). Трудно сказать, что это пишет автор „Исконверси“, тем не менее в его словах чувствуется большая жизненная, психологическая правда.

Все это интересно, все разговоры с ним и Огаревым, Роман докладывал в 3-е Отд., даже переписка его с братьями о наследстве шла тем же путем. „Не воображает старый революционер, вероятно, что 3-е Отд. доведет любовь свою до откопшения и ему так далеко, что даже наклеивает марки на его письма к братьям“, — писал Шувалову Филиппов, рассказывая о докладах Романа. Грустной провинцией веет от этих сношений Бакунина со своими братьями через агентов 3-го отделения, хотя то-ли еще мы видели из архивных документов последнего времени. Вся эта бытовая сторона тогдашней эмигрантской жизни заинтересовывает читателя, и книжку Р. М. Кантора он проглатывает, как роман.

Чуждо кажется лишь небрежность в авторской манере письма, его стремление к такому „словотворчеству“, которое в исторических серьезных работах едва-ли уместно. На стр. 13 автор, напр., желает свое изложение — „дополнить одним очень важным данным“. На 51 стр.: „однажды в Женеву приехал П. Воберминн, с кем Роман когда-то случайно познакомился в России“. Едва-ли также особенно удачно выражение: „нужно было построить постройку за деньгами на особом фундаменте“ (стр. 57). Или: „предложение же его, чтобы „Ностников“ поехал в Россию, совпадает с тем моментом, когда Роману очень хотелось поехать в Петербург“ (стр. 56). Как это может предложение совпадать с моментом — непонятно. На стр. 66: „все сообщенное здесь Романом похоже на вероиспытание“. Несколько раз автор пишет об „экспроприации бумаг ин. Долгорукова“, или выражается так: „он жаждал поймать его (Нечаева), но логика подсказывала ему, что гнаться надо медленно и осторожно“ (38), и т. д., и т. д.

Мешает чтению также обилие описаний, иногда совершенно неподобающих и даже непонятных. На стр. 53 есть такое место: „до апреля месяца 1871 г., т. е. до знакомства с Бакуниным, Роман не имел оснований“, и пр. Выходит, что до апреля 1871 года Роман не был знаком с Бакуниным, тогда как познакомился с ним он, как устанавливает сам Р. М. Кантор, 11 апр. 1870 г., ровно на год раньше. На той же 53 стр. читатель заметит „Голоса“ о прокламе бумаг ин. Долгорукова, при чем делается ссылка на номер от 30 мая 1871 г., но на следующей странице из письма Романа следует, что она была помещена в 1870 г. Желательно, чтобы таких описателей в исторических работах не допускалось. Еще хуже обстоит с датами на стр. 62 - 63. Здесь 6/18 августа 1870 года (ст. ст.), — автор так и пишет: 6/18 авг. ст. ст., — Роман едет в Премухино с письмом Бакунина, процитированным перед этим в 3-ем Отд., куда он его доставил, а „16/28 июля мы его опять встречаем на обратном пути в Петербург“. Действительно, это агент какой-то особый, „агент исключительный по тому времени величинин“, раз даже он может на себя опередить самого себя. Установив на стр. 46 знакомство Романа с Бакуниным, который сам по себе, как выражается автор, пред-

открыл огромную революционную работу Р. М. Кантора на стр. 67 почему-то подвергает, хотя и условно, критическому осуждению. И снова доказывать, что знакомство тогда действительно имело место. Читатель сам им только сбивает и путает.

Но кроме всего указанного есть у Р. М. Кантора и более серьезные пробы. Он прежде всего пытается изобразить своего героя, много раз подчеркивал, что это был агент особенный и исключительный, что в охранном мире он тоже представлял собою „стремную единицу“. Судя по тем данным, которые приводит автор, — ничего особенного и исключительного Роман себе не представлял. Он взялся отыскать Нечаева и не отыскал даже следов его, хотя при некоторой инициативе и смелости он безусловно мог это сделать, вызываясь друзьями Бакунина. Кроме Нечаева, он разыскивает еще кн. Оболенскую и то же безуспешно, хотя это дело не представляло никаких трудностей. Впрямь, на стр. 47 автор упоминает о некоем Бутковском: — „это был один из самых беспардонных агентов и шпионов“. И, однако, этот беспардонный агент и шпион соперничал в погоне за Нечаевым с таковой „стремной единицей“, как Роман. На стр. 85 Роман сам просит 3-е Отд. освободить его от розысков Нечаева, так как после разрыва Бакунина с Нечаевым, которое тогда произошло, это дело „требует теперь способностей специального агента, которым, сам сознаюсь, — я не являюсь“. Сам сознается, и совершенно справедливо, что не владеет такими способностями, но для Р. М. Кантора он все таки агент особенный, исключительный по своим талантам.

Кроме всего указанного необходимо отметить еще следующее. На стр. 7 Р. М. Кантор пишет: — „Это он Нечаев составил требовательный и суровый катехизис революционера“. Так можно думать 3-е Отд., да и вообще так можно было думать тогда, но теперь-то мы уже знаем, что катехизис был составлен не Нечаевым, а Бакуниным. Впрямь, на стр. 35—36 Р. М. Кантор цитирует статью Льва Мечникова о Бакунине (из „Ист. Вести.“ за 1897 г.) и упоминает о язвительной заметке в ней Н. Викторова. От Р. М. Кантора, понаблюдав, ускользнуло, что „Н. Викторов“, это Ва. Л. Бурцев. Бурцев прислал тогда статью Мечникова в „Ист. Вестн.“ и написал к ней предисловие под псевдонимом „Н. Викторова“.

Мы бы не хотели, однако, чтобы все указанные нами не столько ошибки, сколько естественные промахи при торопливой работе над немногими спасационным материалом, получили в глазах читателя такое впечатление, какое мы не хотим им вовсе придавать. При всех этих в общем мелких, хотя и значительных пробелах, работа Р. М. Кантора вполне добросовестна и серьезно выполнена; материал им изучен тщательно; документам использованы с умением. Брошюра его не останется не замеченной и достигнет определенного удовлетворения как специального-историка, так и широкому читателю.

Евгений Колосов.

Материалы по истории революционного движения. Под редакц. В. Т. Илларионова. Госиздат. Ивановый Новгород. Том I—1920 г.; том II—1922 г.

В 1919 г. в Иваново-Вознесенске местный Губернский гинустит «Иваново-Вознесенский вестник» из 1919 года. В нем, кроме статей общего характера, посвященных Октябрьской революции, были помещены также небольшие статьи с революционным уклоном. Иваново-Вознесенск. Если не считать мед. это было первое издание, посвященное революционному движению. С тех пор в провинции вышло несколько аналогичных изданий; часть из них была общетематическими для изучения местного края, другие — местными коммунистами. Местные коммунисты, в то время, в то время, когда социал-демократическое и рабочее движение, и периодическое издание, издавались, не восходит ранее конца 1890-х — нач. 1900-х г. (См. из них материалы сборниками воспоминаний (ка-

*) Приводим список таковых изданий, которые нам удалось видеть в Петербурге, список, не претендующий на исчерпывающую полноту: Иваново-Вознесенский губернский еженед-

тужский, гомельский, павлово-воинский, отчасти нижегородский), другие дают очерки движения, написанные на основании материалов местных архивов, архивов губерnsk. правлений и т. п. (нижегородский, владимирский, костромской сборники).

Воспоминания все имеют особый характер, выделяющий их из мемуарной литературы: в них нет ничего канцелярского мемуара „героического“ периода революционного движения, вроде И. Кривошанина, В. Фигера, Л. Дойча и др. Они, если можно выразиться, будничны, в них нет широкой картины, они захватывают отдельные моменты: работа в кружках, митинг, демонстрация, тайное печатание, арест, тюрьма и т. д. Личность мемуариста не выделяется. Это рядовой работник, маленький инжиг огромной машины, и потому эти воспоминания так характерны и ценны для освещения истории революц. движения, когда оно приняло массовый характер. Воспоминания эти насыщены фактическим материалом, сообщают много ценных деталей, дающих исследователю возможность составить общую картину нарастания массового движения.

Исторические очерки, написанные на основании местного архивного материала все страдают, естественно, неполнотой и отрывочностью, которые зависят не от составителя, не от его умения пользоваться документом, а от характера самого архивного материала. С одной стороны, многое было уничтожено в 1917 и сл. гг., с другой стороны, в местных учреждениях оставались сравнительно целыми, а главное восходяще к центру, в центральные учреждения, министерства, департаменты и т. п. Правда, кое-что важное, особенно относящееся к возникновению дела, сохранилось только в местных архивах. Естественно, что очерки, составленные на основании местного материала, являются, т. е. сказ, подготовительным этапом в разработке истории движения. Бесспорное значение имеют эти отрывочные воспоминания, очерки, характеристичны в том, что они намечают основные моменты в истории местного движения и позволяют произвести дополнительную работу уже не в темную, а по нарисованным определенным лицам и событиям. По второму этапу в изучении революционного краеведения непременно должно быть использование архивного материала, относящегося к данной местности и находящегося в центральных архивах — и только тогда из соединения местного и центрального архивного материала действительно получится цельная картина движения.

Из указанных провинциальных изданий на первое место должны быть особо выделены два тома нижегородского сборника, вышедших под редакцией молодого архивиста В. Т. Иларионова. Выделяются они и по своему интересу, и по обилию архивного и мемуарного материала, и по некоторым специфическим особенностям, резко отличающим его от аналогичных сборников. Первый выпуск сборника, вышедший в 1920 г., дает революционную хронику движения в Сормове, составленную редактором по данным нижегородского охран. отделения и жант. упр., и ряд воспоминаний о революционном прошлом 1900-х гг. в Сормове, Нижнем, Канавине и других местностях Нижегородской губ.

нык на 1920 г. (Пзд. Губисполкома. 1920 г., 223 с.).—Тоже на 1921 г. (Госиздат. 1921, 320 с.).—Из партийного изд. Сборник воспоминаний о партийной работе в Казани, под редакц. Казанск. Ком. по истории Окт. рев. и Р. К. П. (Госизд. 1921, 363 с.).—В. Смирнов (Малков), На заре рабочего движения гор. Павлова-Вознесенска (1875—1905) (Госизд. Владимир 1921, 127 с.). Революционная борьба в Гомельской губ. Истор. материализм. Гомельск. Губ. Ком. по собиранию и обработке матер. по ист. революции и Р. К. П. Вып. I (Гомель, Гомель, 1921, 173 стр.).—Труды Владимирского Губ. Научн. Об-ва по изучению истории края, В. I (Влад. 1921, 36 стр.) (Рабочее движение во Влад. губ. в нач. 1905 г.—Первое мая 1906 г. в Муроме. Истор.-револ. организации во Владимире). „Библиотека общ. движения в России“, изд. Костромск. об-ва по изуч. местн. края (первое три выпуска к местной истории относятся по теме), — четыре тома.—Из материалов по истории социализм. библиотеки Владимирской семинарии.—Записки Н. Л. Скаловубова.—Из материалов во начальн. истории костромского раб. движения) (Костр. 1921).

Как бы ни относились к сведениям, извлеченным из охранного, жандармского и т. п. материала, каковы бы мутными он ни представлялся нам, нельзя отрицать, что при известном умении исследователя обращаться с ним, при известной осторожности и перекрестной проверке, жандармский материал дает очень ценные фактические сведения. Дело самих участников — исправлять, дополнять его в своих воспоминаниях, объяснить мотивы, не объясненные в жандармском материале и т. п. Во втором выпуске сборника помещены целый ряд таких исправлений, дополняющих первый выпуск. И только соединяя то и другое, мы можем восстановить во всех деталях историю движения, каковы оно было на самом деле.

Вообще, второй выпуск шире и ярче первого; в нем чувствуется более опытная рука редактора, овладевшего материалом. Помещенные воспоминания ценнее и дают большое количество фактов о выходившей литературе, о партийной работе, о местной хронике. Фактическим материалом особенно богата статья В. Илларионова „Литература подполья“, выходившая в Сормове, Нижнем и др. в 1900—1901 гг.; преимущественное внимание уделено агитационной литературе; некоторые прокламации приведены в извлечениях, другие перепечатаны целиком, о третьих сообщаются сведения с обзором их содержания. Было бы желательно, чтобы каждый раз давалось точное заглавие прокламации, ее начало и ее внешнее описание (размер, количество столбцов, страниц и т. п.) для пополнения собраний агитационной литературы, имеющейся в библиотеках в центральных архивах, но, конечно, далеко неполных. И в этом отношении только местные деятели могут оказать существенную услугу в деле собрания и регистрации всей нехотанной печати.

Опубликованные документы из дел о „буинцовском кружке“ и о „распространении воззваний 11 сент. 1900 г. на Сормовских заводах“, кроме официальной переписки, дают списки обвиняемых с указанием их имен, отчества, возраста, социального положения, времени ареста, обысков и т. п. сведения, необходимые для составления словаря революционных деятелей или, по крайней мере, для предварительного списка такого словаря. Зарегистрировать сведения о сотнях революционеров более раннего времени сравнительно легко, но гораздо труднее собрать сведения о тысячах, десятках тысяч партийных и непартийных работников того времени, когда движение приняло массовый характер. И в этом случае местные исследователи, местные общества и комиссии Петнарта должны поставить себе одной из основных задач собрание биографических сведений о местных революционерах, извлекать их из воспоминаний, архивных материалов, местной печати и т. п.

Наконец, еще особенность нижегородского сборника заставляет обратить на него серьезное внимание всех местных исследователей. А. И. Мельников во второй книге дал опись делам нижегородского истор.-революционного архива с кратким обзором содержания каждого дела, так что исследователь может ясно представить его, не беря в руки самого дела. Подобные обзоры, являющиеся впервые в провинциальном сборнике, должны быть особенно рекомендованы всем местным работникам; только при учете всего разрозненного материала, разбросанного на огромной территории, исследователь, пользуясь материалами разных архивов, может действительно дать полную картину революционного движения. Остается пожелать, чтобы и другие провинциальные работники приляли во внимание в своих работах поставленные в нижегородской сборнике задачи.

Алексей Шилев.

Ф. М. Достоевский в издании его дочери А. Достоевской (Dostojewski geschildert von seiner Tochter A. (Aimée) Dostojewski) München, 1920. (Перевод с французской рукописи).

Л. Ф. Достоевская известна, как автор очерков „современных типов“, главным образом, из области женской патологии¹⁾. Они не отличаются ни художественностью,

¹⁾ В 1911—13 г. книги: „Больные женщины“, „Адвокат“, „Эмигранты“, выдержавшие от 2-х до 4-х изданий.

ны слишком глубоким анализом, порой вдаются в тяжеловестную фантастику, но авторское лицо все же оригинально. Но первоначальному замыслу лежачая перед нами книга должна была выйти в России, но революция помешала этому; в связи с тем, что книга теперь предназначается для европейских читателей, изменился и самый план ее: личные и семейные воспоминания расширились в длинную (слишком 300 стр.) биографию. Воспоминания эти представляют центральный и значительный интерес; остальная часть биографии сделана по „Материалам“ Миллера и Страхова (причем описана вся хронология) и не нова даже для Европы, где имеется хорошая книга Нини Гофман. Отсутствие попыток истории творчества и критической оценки произведений Достоевского я не нахожу недостатком: все это ограничено областью автобиографии и на большее не претендует. Но, кроме того, в книге есть „общий взгляд“, „общественная психология“ и „онит характеристики“ — эти „качества“ должны быть отнесены к категории недостатков и заставляют признать книгу в целом — неприемлемой, с неверной перспективой, противоречащей континентальному пониманию Достоевского, выработанному русскими мыслителями.

Общая точка зрения — „этнологической генеалогии“. Л. Достоевская, по ее словам, с детства увлеченная норманскими героями в истории Карамзина (с. 22.), развила свою склонность до того, что все ее мировоззрение получило парадоксальный отпечаток. Она тщательно исследует племенное происхождение своих предков, виля в нем неточности и объясняет не только крупные, но даже мельчайшие особенности индивидуальности. Достоевский пормано-литовско-украинского происхождения („Мы, Достоевские, литовцы, мы не поляки“ — говорил он) — и этого вполне достаточно для усиления его благородства, силы и энергии характера, поэтических наклонностей, а также того, что он аккуратно одевался и не целовал руки дамам. Несообразность и поверхностность, часто комичные, вытекают из попытки непременно объяснить частное и конкретное при помощи широких и растяжимых определений.

Затем — двойственное отношение к России. Россия отвлеченная — парод, „Вагнер“ ей представляется в ореоле упрощенного, вульгарного и довольно распространенного в Европе славянофильства, Святой Русью не в их символическом, а в буквальном смысле. Искра этой Руси, зароненная в литовский организм, дала миру гения — Достоевского. Но та Россия, которую она знает „Intellectuellen“ — собрание великих зод, некультурности, аморальности, влости, слабости, нигилистических утоний, деспотизма и пр. и пр. И она старается на множестве примеров доказать, что с этой Россией Достоевский не имел, да и не желал иметь, ничего общего, что он был европеец среди азиатцев, которых он сторонился, и которые отравляли его жизнь. Такой дух книги, как уже было отмечено, действует тяжело, тем более, что она предназначена для Европы, и что в глубине ее все-таки лежат основы, внушенные Достоевским: отношение к нигилизму. „Бесн“ — по так односторонне и безусловно усвоенные.

Несовольно приходит на ум слова Достоевского о „бессилии“ иностранцев „бросить пыльный взгляд на Россию и усвоить ее главную идею“, о „наком то большом чувстве недоверчивости... болшин примириться“ с непохожим на них и о „беспридельном высокомерии перед русскими“¹⁾, — хотя это и относится к его дочери.

Наконец, „культуровская“ характеристика Достоевского, как героя без слабостей и без упрека. „Характер его был чистого норманский: очень честный, очень прямой, открытый и смелый“ (с. 21). Это описание естественно для Л. Ф. Достоевской, выросшей в вулве своего отца, не подлежит оспариванию и, в некоторых случаях, оно плодотворно, обращая внимание на еще незамеченные черты: напр., на сильно развитое в Достоевском чувство семейной чести, по которому он взял на себя долги покойного брата. Но оно мешает беспристрастной передаче взаимоотношений его с обществом, со студенческой молодежью, с друзьями и врагами (Тургеневым) и выливается в сати-

¹⁾ Достоевский, Сочинения, т. IX, стр. 7, 8.

ментальную форму в рассказе о пребывании на каторге. Так выходит, что один каторжанин мнил его в баше, «как будто он был фарфоровый», потому что чувствовал, как драгоценен он для русского общества; другие не допустили его к участию в протесте против дурной пищи, чтобы не подвергнуть его наказанию; — все это оговаривается не суровой правдой «Мертвого Дома», а «Несчастливыми» Пепрасова, которые Л. Достоевская считает не менее реальным источником.

Благодаря таким особенностям, ценный и новый материал, даваемый Л. Достоевскою, требует фильтрации. Но, он чрезвычайно интересен и заслуживает ознакомления с ним — и фактические сведения, и доступные ей характеристики. Одновременно любопытны и семейные традиции, отчасти сохранившиеся Анной Григорьевной Достоевскою (ее записки должны быть опубликованы), и детские воспоминания автора.

Предки Достоевского, литовцы католики, происходят из окрестностей Пиньска, где есть местечко Достоево, бывшее имение семьи. В 18-м веке они переселились на Украину. Родоначальником православного поколения Достоевских был архирей Степан. По предположению Л. Достоевской, он переменил религию, чтобы жениться на украинке, и, овдовев, сделался монахом. В честь его Достоевский желал назвать Степаном своего последнего сына Алексея. Дед его — Андрей, вероятно, тоже был духовного звания и предназначал этот же путь и для сына. Но Михаил Андреевич — отец Ф. М. Достоевского, ушел из дому 15-ти лет, поступил на медицинский факультет Моск. ун-та и самостоятельно выбился в люди. Он никогда не говорил детям о своей семье; только однажды, уже лет 50-ти он поместил объявление в газете, прося откликнуться своих родных: но вести не было. Он женится на москвичке, вешной и болезненной. Характер Мих. Андр. был тяжелый — он был скуп и подозрителен, скупился на сыновей, хотя и не был беден. Овдовев, он стал пить, жил в деревне с младшими дочерьми и жестоко притеснял своих крестьян. Они задушили его из мести — по дороге из Дарового в Чермашню. Это преступление, о котором молчали все знавшие о нем, проливает свет на загадочное примечание Ор. Миллера, относительно начала эпилепсии у Ф. М. (по семейным преданиям, с ним случился тогда первый припадок¹⁾). Может быть, тем же объясняется пропуск в переписке братьев, относящейся к этому периоду (лето 1839?).

Первая жена Достоевского, Мария Дмитриевна Псаева, была дочерью пансионерского мамзюта²⁾; она выдавала себя за француженку. Л. Достоевская рисует ее лицемерной, коварной и „с африканскими страстями“. Предвидя близкое вдовство, она старалась поправить Достоевскому, разыгрывая серьезную и возвышенную женщину, и жила сю на себе после смерти мужа. Но в Кузнецке она любила одного домашнего учителя, возила его за собой, и эта связь продолжалась в Семилатинске, и даже после возвращения в Россию, в Твери. Только когда развивался чахотка М. Дм. довела ее до близкой смерти, этот учитель уехал. Тогда, в припадки бешенства, она рассказала мужу со всеми подробностями, сказала, что вышла за него только по расчету и порекнула его каторгой. Трудно определить точность этого рассказа. Во всяком случае, хронологию установить по нему нельзя. Автор говорит, что после этого припадка Достоевский уехал жить к брату в Петербург, т. е. в конце 1859 г., оставив М. Дм. в Твери. Последний факт вообще неверен: в 1859 г. ее видел в Петербурге Сграхов³⁾. Но date 1859 г. противоречит показанию, что припадок произошел незадолго до поездки за границу с Сузалью, т. е. в 1862 г. Весь рассказ о жизни Мар. Дм. в Твери без мужа остается на совести Л. Достоевской. Но внутренняя достоверность этой начальной истории вне сомнения. Врангель свидетельствует о „страстности и развращенности“ Мар. Дм. и о том, что она в Достоевского „заблуждена ничуть не была“. Их отношения на-

¹⁾ Матер. для биогр., стр. 141.

²⁾ Врангель говорит, что она была „кажется“ дочерью директора гимназии — см. Воспоминания о Достоевском в Сибирь.

³⁾ Матер. для биогр. письма, стр. 181.

злится ему „странными и непонятными“, и сам Достоевский говорил, что они „были положительно несчастны оба“¹⁾.

В „Вечном Муже“ Достоевский воспользовался пережитым.

После этого следует еще более пристрастный рассказ о Полине Н (Сусловой), „вечной студентке“, не учившейся, но деятельно участвовавшей в студенческой жизни, всюду бывавшей и всем знакомой. Л. Достоевская назидательно описывает ее „развратную жизнь“. Полина написала Достоевскому любовное письмо, найденное в его бумагах; оно „просто, наивно и поэтично“. Они собирались поехать за границу, но не могли одновременно, и решили встретиться в Париже. Через две недели после отъезда Полина влюбилась в одного француза и известила Достоевского, что между ними все кончено. Он „как безумный“, бросился туда, но, уважая чужую свободу, скоро оставил ее, поехал к Герцену в Лондон, потом в Италию и, отказавшись сопровождать Страхова в Париж, вернулся в Россию. Следующей весной (1863) Полина опять написала, что француз ее оставил, и уложила, угрожая самоубийством, навесить ее. Достоевский поехал. Она собиралась убить „негодяя“ француза (устроила „комедию“ — говорит Л. Достоевская), но Достоевский уговорил ее ехать с ним в Германию, в Висбаден, и потом в Италию. Вернувшись, Достоевский жил в Москве до смерти Мар. Дм. (т. е. до апреля 1864 г.), но Л. Достоевская говорит, что с Полиной было кончено после неуспеха (?) среди студентов „Преступления и наказания“ (т. с. в 1866 г.). Здесь, очевидно, общее место, да у нас и нет возможности проверить правду, за отсутствием всяких сведений об этой истории. Надо ждать, что найденный недавно дневник Сусловой лучше выяснит эпизод с героиней „Игрока“.

Коротко отметив главу „Достоевский — глава семьи“, где рассказаны все родственные отношения его, переходим к самому внутренне-ценному материалу — к прекрасной „копгениальной“ характеристике Анны Григорьевны. „Копгениальной“ потому, что духовный облик матери усвоен и понят автором гораздо вернее и доступнее, чем отца, и ценной тем более, что в отношениях автора, как в призме, преломилось отношение Анны Григорьевны к Достоевскому и ко всему окружавшему его миру.

Отец ее — Григорий Иванович Сниткин, добрый, слабый, сентиментальный и романтический человек — „настоящий славянин“, был большим другом и почитателем знаменитой актрисы Асенковой, благоговейно хранившим ее память. Он женился в молодых годах на Марии-Анне Мильтоус, гордой и самостоятельной, шведской красавице, которая сделала их большой дом центром шведо-финляндского высшего общества, приезжавшего в Петербург. Младшая дочь, Анна, не сближалась с этим чопорным и церемонным кругом, очень любила своего отца, имевшего на нее сильное религиозное и патристическое влияние, ходила с ним по церквям и монастырям. „Она не обладала широким умственным кругозором“, не увлекалась ни наукой, ни радикализмом, как большинство девушек 60-х годов, но зато имела много практического смысла (ее энергическая натура не выносила бездельности) и всегда доводила до конца предприятия. Вместе с тем, она была очень нервна, истерична, болезненно-самолюбива и слегка суеверна с склонностью к ясновидению — она пророчила, всегда смеяла и в шутку; эта способность исчезла с истериею к 50-ти годам.

Она не стремилась к широкому высшему образованию и хотела заниматься чемнибудь непосредственно полезным и зарабатывать на свои расходы. Поступив на степенграфические курсы Ольхина, Анна Гр. усерднее всего работала по мере навыков в степенграфии на столько, что к осени была единственной ученицей, которую Ольхин мог рекомендовать Достоевскому. Сниткин очень любил Достоевского еще с 40-х г. г., а „Увлеченными и Оскорбленными“ увлекались его дочери. Благодаря такому стародавнему увлечению, в семье считали писателя стариком, и мать позволила польщенной Анне Григорьевне принять предложение. Первое посещение очень разочаровало бедную де-

¹⁾ Врангель. Воспоминания о Достоевском в Сибирь.

вушки, мечтавшую поговорить о литературе и высказать свое восхищение перед талантом. Достоевский был после припадка, нервен, резок, рассеян, сердился на ее медленность и вообще не обратил внимания на молоденькую стенографистку. Она вернулась раздосадованной и решила тотчас же отказаться, но потом чувство долга вышло перх и занятия продолжались. Постепенно Достоевский почувствовал к ней симпатию и доверие и стал посвящать ее в свои бесчисленные заботы и неприятности. Перед ней раскрылась ужасная заброшенность и придавленность, все мелкие дризги, дунившие громадный талант, и в ней заговорила „душа предков“. Как отец ее был другом и опорой талантливой и болезненной Асенковой, так и она заотела поддержать того, кого всю жизнь считала ни с кем несравнимым писателем и знала, как доброго, доверчивого и самоотверженного человека. Она удлинила занятия, перенесла полами и к сроку кончила „Игрока“, а затем стала стенографировать эпизод „Прест. и Наказ“. Достоевский был очень благодарен, видя преданность своей скромной и сдержанной помощницы. Познакомившись с ее семейной обстановкой, он в скором времени сделал предложение, несмотря на юность своей невесты, которая всегда „смелась, разговаривая с ним, и вела себя, как ребенок“.

Л. Достоевская не идеализирует свою мать, часто наивно выставляет ее ограниченные стороны, но тем непосредственнее и дороже становится образ этой милой девушки. Откинув романтические прикрасы, без которых автор не может обойтись, нужно признать картину сближения верной.

Новый брак Достоевского был встречен недружелюбно его родными. Первоначально их интриги сделали семейную жизнь очень тяжелой для обоих, сеяли недоверие и отчужденность. Наконец, с трудом достали они денег, причем Анна Григ. заложила свое приданое, и уехали за границу за два дня до Пасхи. Только там, в Дрездене, начались их счастливые дни.

Очень интересен один неизвестный доселе факт. У Анны Григ. был брат, Иван Снитин, студент Петровской Академии, близкий друг Иванова, убитого Печаскиным. Узнав, что мать Снитина зовет его за границу, Иванов проявил большую энергию, чтобы выпроводить туда своего друга. Через несколько недель он был убит. Снитин ничего не знал о печаскинском кружке, хотя знал многих участников, сам он придерживался религиозных и монархических идей своего отца. Так как он не был привлечен к процессу, то вел себя старалась скрыть и не скомпрометировать его знакомствами. Таким образом, Достоевский не из одних только газет знал о процессе, и, хотя утверждение Л. Достоевской, что „Шатов, Верховский и другие герои „Бесов“—портреты“—слишком поспешно, но его близкое и подробное знакомство с печасками несомненно.

После возвращения в Петербург начинается отчасти период собственных воспоминаний автора. Они вели замкнутую, трудовую и экономную жизнь. Анна Григ. порой тосковала и безнадежно смотрела на вечную нужду, но деятельно издавала ¹⁾ и работала для семьи.

Л. Достоевская описывает их домик в Старой Руссе,—городок, топография которого и люди отразились в созданных там „Братьях Карамазовых“. Там была красивая Грушецкая, имевшая Андрей и Тимофей, лавка Шотниковых. Дом Карамазовых был их дом с небольшими изменениями. Там Достоевский гулял вдоль реки, задумавшись глубоко и машинально оделяя выстраивавшихся на его привычном пути кишеч. Анна Григ. раз вышла на дорогу, в платке, с дочерью на руках, и, протянув руку, жалобно сказала: „спяйтесь, барин, у меня большой муж и двое маленьких детей на руках“. Достоевский взглянул на нее и подат милостиню. Но когда она рассмеялась, он очень рассердился на эту шалость в присутствии ребенка. Это—один из примеров его рассеянности.

¹⁾ Она была первая русской женщиной, занявшейся крупными изданиями. Ее примеру и советам следовала гр. Толстая. Кроме основанного ею музея памяти Достоевского в Моск. Историч. Музее, она вдохновила основательниц двух других: памяти Л. Толстого и М. И. Глинки (осн. его сестрой Шестаковой).

Здесь родился его любимец Алеша, у которого был „удивительный, овальный, почти угловатый лоб — яйцевидная форма головы“, умерший 2½ лет от судорог. Врачи признали его жертвой неправильного черена, но А. Достоевская думает, что то была эпилепсия.

Интересны главы: „Достоевский в домашней жизни“ и „Достоевский отец“. Жизнь была правильной, однообразная; сложившиеся повседневные привычки, песенка за ужином и „Нам же ты ее не буди“, строгий порядок в кабинете, ящик в столе с восточными сладостями: сушенными фигами, финиками, изюмом, орехами, настолой, которыми он угощал и детей; семейные кадрили с детьми в две пары под собственным аккомпаниментом; ежедневная прогулка с покунами, если водились деньги, в лучшей кофточке „серой“. Он всегда покупал лучшее и ненавидел случайные и дешевые покупки. Вечером он читал, а писать начинал после чая в 9 часов, когда все ложилось, при свете 2-х свечей (он не любил ламп), много курил и попивая крепкий чай. Утром он диктовал жене сонниковую за ночь главу, поправлял ее копию, и вторичная копия отсылалась, куда нужно. Хотя Достоевский спрашивал мнения Анны Григ, но она воздерживалась от критики. Впрочем, А. Достоевская открывает ее козливое лукавство: боясь, чтобы ее согласие не казалось однообразным, она иногда предлагала легкие изменения в описании того или другого. „Достоевский охотно делал поправки и канипо думал, что доставляет этим большую радость жене. Мысль о хитрости никогда не приходила ему в голову“.

Средством воспитания детей Достоевский полагал чтение. Он начал читать им „Разбойников“ Шиллера, по 7 и 6-летие малыши чего-то не поняли. Позднее он читал былинки, поэмы Пушкина, казавшиеся поэмы Лермонтова, „Тараса Бульбу“, потом стихи Пушкина и Ал. Толстого, „которых он любил наиболее“ — некоторые стихи („Бедный рыцарь“) читал со слезами на глазах.

Анна Григ, по его просьбе, читала детям В. Скотта и Диккенса; первая книга, подаренная им дочери, была „История“ Карамзина.

Ежегодно вся семья ходила и причащала. В театр он брал детей только на „Руслана и Людмилу“, а в воскресную свою зиму представлял им огрызки из „Горе от ума“. Он даже хотел kostанить любительскими силами последний акт, предназначая себе роль Гепетимова, которого, по его мнению, не понимают актеры. Были начаты приготовления... Он, вообще, обладал актерским талантом. Так, после возвращения в Петербург из Сибири, он имел привычку впадать в разговор в манеру князя К. из „Дядюшкина сна“.

Одна глава посвящена салону гр. Толстой, вдовы поэта, где Достоевский охотно бывал и куда стеномелся желанием его слышать. Там он познакомился с цесаревной Марией Федоровной и через Победоносцева был приглашен к наследнику. А. Достоевская считает нужным отметить, что ее отец держался с Александром III без этикета и, уходя, повернулся спиной.

В январе 1881 г. приехала в Петербург его любимая сестра Вера¹⁾ для того, чтобы вынудить в пользу сестер его часть наследства от покойной тетки Куманиной²⁾.

Произошла неприятная сцена за семейным обедом, после чего у Достоевского открылось кровоотечение из легких. На 4-й день часы его были сочтены. Жена открыла ему из Евангелия известное место: „не удерживай...“; потом он причастился, простился с детьми, причел прощальную пощечу им о блудном сыне, простился по одиноким с ближними друзьями. К вечеру, после 3-его кровоотечения, он стал терять сознание; тогда вывели в комнату всех, и он умер, проговорив что то быстро и негромко, чего нельзя было понять.

Следуют воспоминания о похоронах, дополняющие существующую литературу.

Несмотря на свои недостатки, книга очень и очень заслуживает перевода.

В. Лейкина.

¹⁾ Ее семейство он изобразил в „Вечном муже“ под фамилией Захлебных. Ср. воспом. Н. фон-Фохта „Ист. Вестн.“ 1901, XII.

²⁾ Эту тещу Достоевский изобразил в „Игроке“ в образе „бабуленьки“.

Перечень книг и статей по истории революционного и освободительного движения в России, появившихся в 1922 году.

Целью настоящего перечня является регистрация книг, статей и заметок по истории революционного и общественного движений в России. Отсюда не должно еще заключить, что в настоящем номере читатель найдет полный список книг и статей за 1922 г. В очередных книгах „Былого“ последует его продолжение. Там же будет дан перечень соответствующих газетных статей, как столичных, так и провинциальных изданий, равно как и список рецензий и отзывов на книги, появившиеся в 1922 г. Именной и систематический указатели ко всем зарегистрированным книгам, статьям и заметкам будут напечатаны после того, как все издания 1922 г. будут использованы для списка.

В перечень занесены только те книги и журналы, время издания которых на обложке отнесены к 1922 г. Разноречия между датами обложки и титульного листа всегда особо оговорены в скобках. Кроме имени автора, заглавия и подзаголовка книги, приводится наименование издательства, место издания (два пункта в большинстве случаев указываются сокращенно: П.—Петербург и М.—Москва) и количество страниц. Последнее сохранено и в списке журналов и сборников, но с добавочным указанием на количество страниц интересующей нас статьи, чтобы в целях возможного статистического подсчета не трудно было бы по перечню определить, сколько внимания уделял данный журнал историко-революционным материалам. Хронологический период, которым ограничивается перечень—история революционного и общественного движения с конца XVIII века до февральской революции 1917 г. включительно. Регистрация обширнейшей текущей литературы по истории октябрьского переворота и о дальнейшем ходе революции не входит в задачу составителя.

В заключение уместным считаем обратиться с просьбой ко всем авторам, редакторам и издательствам о присылке в редакцию „Былого“ своих вновь выходящих изданий. Не говоря уже об отдельной книге по истории революционного движения, но каждая статья, всякая заметка, вне зависимости от своей научной ценности, должна быть зарегистрирована в перечне.

Р. М. Кантор.

ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ.

- Бакунин, Михаил. Избранные сочинения, т. V. „Альянс“ и Интернационал. Интернационал и Мадзини. С примечаниями Дж. Рильома. Перевод с французского Л. Юганни. П.-М. 1922 г. „Голос Труда“, с. 114.
- Берлин, П. А. Русская буржуазия в старое и новое время. М., 1922 г. „Книга“, с. 308.
- Бропинский, Н. Краткая история Российской коммунистической партии (большевиков). П., 1922 г., изд. Политического Отдела Петроградской дивизии, с. 38.
- Васильченко, С. и Ставский Ив. Первый бой. (К двадцатилетней годовщине ростовской стачки 17 ноября 1902 г.) М. 1922. Коопер. изд.—ва „Московский Рабочий“, с. 40.
- См. рецензию: А. Ставчинского в № 7 „Пролетарской Революции“, с. 220—225.
- Волконский, Сергей. О декабристах. (По семейным воспоминаниям.) П. 1922. „Начала“, с. 135.
- Вольфсон, С. Я. Великий социалист. Краткий очерк жизни Р. В. Плеханова. Минск. 1922 г. Госизд. Белоруссии, с. 43.
- Волькенбург, О. Э. и Фейдер, Вал. Что читать о первомайском празднике? Указатель литературы о 1-м мае. П. 1922 г. „Петрогуболизитпросвет“, с. 19.
- Генкин, И. По тюрьмам и этапам. П. 1922 г. Госиздат, с. 487.
- Герцен, А. И. Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке. Том XVII, П., 1922 г. Госиздат, с. IX + 443.
- То-же, т. XVIII, (на титульном листе: 1920 г.), с. X + 449.
- То-же, т. XIX, с. XI + 460.
- Голополосов, А. И. Из приключений старых революционеров. Побег Г. А. Лопатина с каторги. М. 1922 г. „Культура“, с. 32.
- Горбачев, Г. 9 января и декабрьские дни 1905 г. П. 1922 г. „Петрогуболизитпросвет“, с. 25.
- Григорович, В. Профессиональное движение рабочих в России. Изд. 2-е. Вып. I. М. 1922 г. РИО ВЦСПС., с. 215.
- Дейч, Лев. За полвека. Том I. Часть 1. М. 1922 г. „Задруга“, с. 127.
- Дульский, П. Графика сатирических журналов 1905—1906 г. Казань, 1922 г. Татаргосиздат, с. 104.
- Замятин, Е. Три дня. (Восстание на „Потемкине“). П. 1922 г. „Былое“, с. 27.
- Захаров, С. Путь к коммунизму. М. 1922 г. „Московский Рабочий“, с. 48.
- Зеликсон-Вобровская, Н. Записки рядового подпольщика (1894—1914). Часть первая. М. 1922 г. Госиздат (Истпарт), с. 83.
- Зиновьев, Г. Ленин. Очерк жизни и деятельности. П. Госиздат, 1922 г., с. 70.
- Нохельсон, В. И. Первые дни Народной Воли. П. 1922 г. „Музей Революции“, с. 58.
- Нохельсон, Вл. и Кантор, Р. Гесля Гельфман. Материалы для биографии и характеристики. П.—М. 1922 г. „Былое“, с. 48.
- Кантор, Р. М. В погоне за Нечаевым. К характеристике провокационной подттилки III Отделения на рубеже 70-х годов. П. 1922 г. „Мысль“, с. 104.
- Каплан, М. Я. Конспект по истории рабочего движения в России (с конца XVIII в. до 1917 г.) по книге проф. В. Фриче. П. 1922 г. Изд. Первой Петроградской Губернской Школы Комсостава Сов. Раб.-Кр. Миллицы, с. 29.

- Ред. Р. Кантор в № 2—3 „Красной Летописи“, с. 449-452.
- Каторга и ссылка. Сборник третий. М. 1922 г. Изд. о-ва бывш. полит. каторжан и сс.-поселенцев, с. 207.
- Содержание: Мелик Кюк, На Каре.— Нерчинская каторга: В. Плесков, Памятные дни.—Его-же, Среди сопок Забайкалья.—Г. М. Крамаров, Нерчинская каторга.—В. Пирогов, Смерть Сазонова.—А. П. Станчинский, В Алгачах.—Амурская колесная дорога: Андрей Соболев, „Колесуха“.—И. П. Дубинский.—Побег с „Колесухи“.—Бутырская тюрьма: В. Горев, Осколки первой революции в Бутырьках.—Бутырки в дни декабрьского восстания 1905 г.—сообщ. В. Н.—Лики отошедших: Е. Тимофеев.—Л. Д. Годун, Н. А. Снегульский, О. Апикин, А. Быков (Гр. Ив. Бельский); В. Левинский—А. Д. Покотилов;—Г. М. Крамаров—Памяти А. Воробьева;—Н. Овсянников, —Памяти тов. Люшвина.—А. Трояновский, Восстание в Киеве в 1907 г.;—П. Фабричный, Грамота и внига на каторге.
- То-же, сборник четвертый, с. 201.
- Содержание: Ф. Кюк, От Карц до Иркутска.—А. Станчинский, Очерки тюремного быта.—С. Васильченко, После первого бол.—Ссылка: Г. Крамаров, Из ссылки на волю.—Случайный, В минуту тоски.—Я. Япсон, Немного цифр (из жизни Верхотурской ссылки).—Александровский централ: А. Краковецкий, Военное дело на каторге.—П. Фабричный, Вооруженный побег.—И. Ф., Что пишет тюремный читатель на книге.—Бутырки: Д. Надельштейн, Наказание.—З. Кляшнина, Женщины-каторжанки в Бутырьках.—В. Бреслав, На волю.—Е. Самойленко, Тифлисский застенок.—Лики отошедших: В. Чашин, Памяти В. М. Серова.—Р. Кантор, Памяти Викт. Павл. Кранихфельда.—Е. Т., Памяти П. Д. Маркова.—Е. Т., Памяти С. И. Файнберга.
- Кропоткин, П. А. Одиночная газета Всероссийского Общественного Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина. М. 8 февраля 1922 г., с. 12.
- Лашин, И. И. Философские взгляды А. Н. Радищева. П., 1922, „Визант“, с. 36.
- Левин, Е. прик. Герцен. Личность. Идеология. М., 1922. Госиздат, с. 141.
- Лелевич, Г. Лидия Езерская и покушение на могилевского губернатора Клинтенберга 29-го октября 1905 г. По неизданным материалам. Гомель, 1922, „Гомгазета“, с. 28.
- Ленин, Н. (В. Ульянов). Собрание сочинений. т. VI. 1905 год. М., 1922, Госиздат, с. 631.
- Его-же. То-же. Том VII, часть II. Революция 1905—1906 годов. М., 1922, Госиздат, с. 304.
- Его-же. Что делать? Статьи 1902 г. М., 1922, Госиздат, с. 167.
- Его-же. I. Две тактики социал-демократии в демократической революции. II. Победа кадетов и задачи работ (партии. М., 1922, Госиздат, с. 125.
- Лепешинский, П. Н. На повороте (от конца 80-х годов к 1905 г.). Повутырные впечатления участника революционной борьбы. П., 1922, Госиздат (Испарт); с. 239.
- Лобанов, В. 1905 год в живописи. М., 1922 г. „З. И. Гржебин“, с. 32.
- Материалы по истории революционного движения (в Нижнем-Новгороде). Том II-ой. Под ред. В. Т. Илларионова. Нижний-Новгород. 1922, (На титульном листе: 1921 г.) (Испарт), 196+2.
- Мещеряков, Вл. Партия с.-р. (социалистов-революционеров). Часть первая. С начала деятельности годов до революции 1905 г. М. 1922. Главполитпросвет, с. 130.
- Михайлов, М. Ил. Записки (1861—1862). Редакция и вступительная статья А. А. Шилова. 1922. „Визант“, с. 159.
- Мстиславский, С. Пять дней. Начало и конец февральской революции. М. 1922. „З. И. Гржебин“, с. 93.
- Муравьев—Апостол, М. И., декабрист. Воспоминания и письма. Предисловие и примечания С. Я. Штрайха. П., 1922 г. „Визант“, с. 96.
- Новский, В. И. „Южнорусский рабочий Союз“ в гор. Николаеве в 1897 г. С приложением письма Л. Д. Троцкого. М. 1922 г. Госиздат. (Испарт), с. 96.
- Ольгинский, М. Из прошлого. Изд. 2-е. М. 1922., Госиздат. (Испарт), с. 84.
- Памяти Петра Алексеевича Кропоткина. П.—М. 1922 г., (На титульном листе: 1921 г.). Всероссийский Общественный Комитет по увековечению памяти П. А. Кропоткина, с. 172.

- Полонский, Вячеслав. М. А. Бакунин. Жизнь, деятельность, мышление. Том первый. Бакунин — романтик. М. 1922. Госиздат, с. III+418.
- Пролетарская революция на Дону. Сборник первый. Ростов на Д., 1922. Издарт, с. 112.
- Из содержания: Декабрьское восстание в освещении охранного отделения (5—28);— Декабрьское восстание в доносениях германского консула (29—33).— Дело о железнодорожной забастовке 7—22 декабря 1905 г. на Влад. ж. д. Воспоминания И. Питкевича (34—39).— Т. Крамаров. Памяти тов. Бекаса (40—44).
- Путь „Правды“. Материалы для истории. К десятилетнему юбилею 1912—1922 г. Статьи: Н. Ленина, Г. Зиновьева, И. Сталина, Г. Сокольников, Данского, М. Ольминского, Ил. Вардина, Т. Сафарова, А. Воронского, Б. Иванова, А. Сольца, Квирина, Ф. Сыромолотова, Г. Петровского, В. Молотова, К. Шведчикова, Артема Гертвика, Германова и других. Тверь, 1922 г. Тверское Издательство, с. 218.
- Российская Коммунистическая партия (большевики) в резолюциях ее съездов и конференций (1898—1921 г.). М. 1922 г. Госиздат. (Издарт), с. 368.
- Русская Политическая Литература за границей. Вып. I. Социал-демократические издания. Указатель социал-демократической литературы на русском языке 1883—1905 г. г. Составлен под ред. Л. Каменева. М. 1922 г. Госиздат. (Издарт), с. 60.
- Русская революция в Р. К. П. Вып. I. От зарождения с. д. до октябрьской революции. Иркутск, 1922 г. Изд. Окр. в.—ред. Совета 5-ой армии и В. С. В. О.—См. рецензию М. О. в № 7 „Пролетарской Революции“, с. 237.
- Рябинин, А. Н. Материалы для биографии Р. М. Семеникова (1877—1911). С приложением статьи Д. Бутина: Из истории рабочего движения в Иваново-Вознесенском районе. М. 1922 г. Госиздат. (Издарт), с. 73.
- Сверчков, Д. На заре революции. М. 1922 г. (На титульном листе: 1921 г.) Госиздат (Издарт), с. 312.
- Семевский, В. И. М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. Часть I, М. 1922 г. „Задруга“, с. 218.
- Семеников, В. П. Новый текст „Путешествия из Петербурга в Москву“ Радищева. М. 1922 г. „Былое“, с. 48.
- Столнянский, П. Н. Старый Петербург. Колыбель русской свободы (Дело 1 марта 1881 г.). П. 1922 г., Госиздат, с. 84.
- Его-же. Революционный Петербург. Колыбель русской свободы. Санкт-Петербург. 1922 г. „Колос“, с. 208.—К книге приложены 14 плашкетов.
- Татарчуков, А. Н. Материалы по истории революционно-социалистического движения в Воронежской губернии. Вып. I. 70—90 годы. Воронеж, 1922 г. Ред. М. И. Лызова. Воронежский отд. Госиздата (Издарт), с. 72.
- Троцкий, Л. 1905 год. М. 1922 г. Госиздат, с. 419.
- Его-же. Война и революция. Том I. П., 1922 г. Госиздат, с. 372.
- Февраль. Сборник воспоминаний о 1917 г. Саратов, 1922 г. (Издарт), с. 68.
- Фигнер, Вера. Запечатленный труд. Часть первая. М. 1922 г. (На титульном листе: 1921 г.). „Задруга“, с. VII+348.
- Что читать о 9 января 1905 года? Указатель литературы под ред. О. Э. Волыценбург. П. 1922 г. Петрогублитпросвет, с. 23.
- Чуковский, К. Поэт и палач (Некрасов и Муравьев). П. 1922 г. „Эпоха“, с. 48.
- Шилов, А. А. Что читать по истории русского революционного движения? Указатель важнейших книг, брошюр и журнальных статей. П. 1922 г. Госиздат, с. 230.
- Шляпников, А. Капун семнадцатого года. Ч. II-ая. М. 1922 г., Госиздат. (Издарт), с. 138.
- Штрайх, С. Я.—Брожение (в армии при Александре I. К столетию заговора декабристов. П. 1922 г., с. 48.
- Щеголев, П. Е. Мария Волконская. П. 1922 г. „Парфенон“, с. 47.

Журналы и сборники.

Архив Истории Труда, выпускаемый ученой Комиссией по исследованию истории труда в России. Книга третья. П., 1922. Изд. Культ.-Просв. Отд. Петр. Губ. Совета Профессиональных Союзов, с. 153.

Из содержания: Ю. Гессен, К истории стачек среди фабричных рабочих в начале 70-ых годов 19-го века (40—50). — Р. Кантор, Жандармерия и первые рабочие стачки в начале семидесятых годов 19-го века (71—77). — В. Невский, Выборы в комиссию сенатора Шидловского (78—90). — В. Колпенский, Холерный бунт 1892 г. (104—113). — Запрещение праздновать первое мая (155—156).

То-же, книга четвертая, с. 96—62.

Из содержания: В. Святловский, Из истории касс и обществ взаимопомощи рабочих (32—46). — А. Львович, Требования рабочих Балтийского и других морских заводов в январские дни 1905 года (85—96). — И. Вейдер, Златоустовская забастовка (50—53).

„Былое“, 1922 г. (на титульном листе: 1921 г.), № 17, с. 154.

[Книга целиком посвящена памяти П. А. Кропоткина.] — О ней см. рецензию А. А. Шилова в № 2—3 „Красной Летописи“, с. 445—449.

То-же, П. 1922 г., № 18, с. 256.

Из содержания: А. Успенская, Воспоминания шестидесятицы (19—45). — М. Н. Чернышевский, Пропавшие письма Н. Г. Чернышевского (46—57). — О. В. Аптекман, Флеровский-Берви и кружок Долгушина (58—77). — И. И. Майнов (Саратовец), На закате пародовольчества (78—123). — Р. М. Кантор, Стачка железнодорожных рабочих в Ростове на Дону в 1894 г. (124—134).

То-же, М. 1922 г. № 19, с. 231.

Из содержания: В. П. Семенников, Новый текст „Путешествия“ Радищева (3—29). О. К. Буланова, Декабрист Ивашев и его семья (30—60). — Э. К. Пикарский, Рабочий Петр Алексеев (80—119). — О. В. Аптекман, Флеровский-Берви и чайковцы (119—134). — Р. М. Кантор, На грани смерти. Страница из биографии рабочего пародовольца Петра Антонова (135—138). — В. В. Святловский, На заре российской социал-демократии (139—160). — М. Рафес, Мои воспоминания (177—197).

„Вперед“. Ежемесячник Ц. Бюро Коммунистической партии Белоруссии. Минск, май, 1922 г., № 1, „Ц. Б. К. П. В.“ „Вперед“, с. 75.

Ст.: С. Вольфсон — Г. В. Плеханов. Биографический очерк. (с. 47—51).

„Голос Минувшего“. Журнал истории и истории литературы. [М. 1922 г., июль № 1, с. 175.

Из содержания: Вл. Короленко, Земли, земли! Наблюдения, размышления, заметки (8—30). — Л. Гатаев, Письма С. В. Зубатову (1900—1903 г.) Сообщ. С. П. Мельгунов (51—59). — Вл. Короленко, История моего современника. Якутская область (69—101). — В. Алексеев, Студенческий кружок Аргиропуло и Зайцевского (102—123). — Н. И. Попов и Н. М. Мендельсон, Из воспоминаний о Г. Н. Потанино (138—157). „Дела и Дни“. Исторический журнал. Книга третья, П., 1922 г., Госиздат, с. 240.

Из содержания: Рассказ Н. П. Крюкова о заключении в Петропавловской крепости в 1826 году. — Сообщ. В. Л. Модзалевский (47—63). — В. А. Зельско, Из пережитого. Воспоминания о революционной деятельности учительства (99—120). — Г. А. Ве-

редакции, Материалы по истории бунтов в военных поселениях при Александре I (148—165).

„Еврейский Вестник“. Ежемесячный журнал. Петроград, июнь, 1922 г. № 3, с. 32.

Пропламяция „Земли и Воли“. — Сообщ. Н. Бухбиндер (с. 25).

Историко-Революционный Бюллетень. Ежемесячный сборник. М. 1922 г. Январь. № 1. Изд. общ.—ва бывш. полит. каторжан и сс-поселенцев и Исторической секции „Дома Печати“, с. 49.

Содержание: I. Статьи, воспоминания и исследования: От редакции — Вера Фигнер, Памяти Е. С. Сапонова — В. Горев, За кулисами первой революции — С. Мицкевич, О. П. Г. Зайтневском — Б. Козьмин, Материалы по истории революционного движения 60-ых годов — Р. Кантор, Смерть народолюбца А. Д. Михайлова — В. П. Из практики военно-полевой юстиции. — II. Материалы к историко-революционному биографическому словарю: В. Байкалов, Долг революции. — В. Плесков, Две жизни (Памяти А. В. Попова и В. М. Серова) — А. Стачинский, Памяти умершего друга Л. А. Плесковой. — III. Информация. — IV. Библиография.

То же. № 2—3, с. 100.

Содержание: I. Статьи, воспоминания, документы: II. Бороздин, II. А. Кропоткин, как историк — II. Н. Маланович, На горных высотах (Памяти В. Г. Короленко). — В. Фигнер, В. Г. Короленко — И. Кубинов, Девятое января — Н. Подвойский, Первый совет рабочих депутатов — М. Чернавский, К характеристике Г. В. Плеханова. — М. Новорусский, Рабочая группа военно-промышленного комитета. — II. Витязев, По поводу заметки о деле Исаевича-Крамарова. — Б. Козьмин, Материалы по истории революционного движения 60-х годов — Б. П. На „Колесухе“ — Авт., Восстание армии. II. Материалы к биографическому словарю русских революционеров: В. Левицкий, В. С. Цетлин-Ватурский — В. Л., В. А. Гинзбург-Колцов — З. Кляшпа, Памяти А. Трауберга и др. — III. Информация. — IV. Хроника. — V. Библиография.

„Книга и Революция“. Ежемесячный критико-библиографический журнал. Петерб., № 3 (15), Госиздат.

Ст.: М. Лемке, Н. А. Добролюбов, как политический поэт (с. 36—42).

То же, № 5 (17).

Ст.: Н. Тютчев, „Литература о Народной Воле“ (с. 7—14).

То же, № 6 (18).

Ст.: П. Витязев, П. Л. Лавров в эпоху 60-ых годов и его статья „Постепенно“. — П. Л. Лавров, Постепенно. Незданная статья (с. 9—18).

„Красная Летопись“. Исторический журнал Петроградского бюро Комиссии по истории октябрьской революции и Российской коммунистической партии. Петр., Госиздат. № 1, с. 340.

[Номер целиком посвящен 9 января 1905 года].

То же, № 2—3, с. 452.

Из содержания: В. Невский, Январские дни 1905 г. в Москве. — Н. А. Бухбиндер, Еврейское рабочее движение в Гомеле. — В. Перазич, Из воспоминаний. — Подпольная работа в Петрограде в годы империалистической войны (рассказы рабочих). — В. П. Павлов, Мои воспоминания о Крестах. — В. Святловский, Профессиональное движение рабочих в 1905 году. — В. Колпеский, Рабочее движение 90 г. и меры правительственной борьбы с ним. — Н. А. Бухбиндер, Независимая еврейская рабочая партия. — А. А. Шиллов, Последняя страница из деятельности Севердорского рабочего Союза. — Н. Ольшанский, Свеаборгское восстание. — Письмо В. И. Ленина о национальном вопросе. — С. Н. Валь, К документальной истории „Рабочего Знамени“. — Р. М. Кантор, Разыски К. Маркса в России. — В. Невский, К десятилетию Ленского расстрела.

См. рецензию Р. М. Кантора на оба выпуска в журн. „Книга и Революция“. № 6 (18) за 1922 г., с. 44-47.

То же, № 4, с. 429.

Из содержания: А. П. Герцен, Ответ на призыв польского республиканского центра к русским. (Неизданная статья), Сообщ. М. Лемке (7—11). — В. Карелина, На заре рабочего движения в С.-Петербурге (12—20). — В. Перазич, Еще о харьковском рабочем кружке конца 80-ых годов (21—27). — Ив. Книжник, Воспоминания о П. А. Кропоткине и об одной анархической эмигрантской группе (28—51). —

- В. Невский, Ливарские дни 1905 г. в провинции (52—132).—Н. А. Бухбиндер, Разгром еврейского рабочего движения в 1898 г. (147—197).—Н. Ольшанский, Свеаборгское восстание (198—233).—В. Колхепский, К истории рабочего движения в Петербурге в 1896 г. (242—249).—С. Вали. Материалы к истории первого мая в России (250—288).—Н. А. Бухбиндер, О зубатовщине (289—335).—„Рабочий Сборник“ 1894 г. (335—370).—Сообщ. С. Плотковский, Записка директора департа. полиции Долухина о стачках в июле 1905 г. в Одессе, Киеве, Николаеве (382—395).
- „Красный Архив“. Исторический журнал. М. 1922. Том первый. Центральный Архив Р. С. Ф. С. Р., с. 438.
- Из содержания: В. П. Алексеев, П. Г. Зайчиковский (273—279)—Обряд публичной казни над С. Г. Незавым, сообщ. В. М. (280—281)—К истории партии Народного Права, сообщ. В. М. (282—288)—Новое о Зубатовщине, сообщ. С. Плотковский (289—314)—А. И. Чемериский, М. Рафес, М. Фрумина (Эстер), Воспоминания об „еврейской независимой рабочей партии“ (315—328)—К истории карательных экспедиций в Сибирь, сообщ. В. М. (320—343)—Из переписки лейтенанта Шмидта, сообщ. В. М. (344—354).
- „Красный Север“ Орган Явутского губревкома. Кн. II-ая (Год издания точно неизвестен).
- Ст.: „Три дня с Н. Г. Чернышевским“. См. заметку Е. Прославского в № 6 „Пролетарской Революции“/с. 232—233.
- „Красный Флот“. Ежемесячный журнал ред.-изд. отдела Морского Комиссариата. П., 1922 г., апрель № 1, с. 135.
- Ст.: Моряки—пародовольцы (94—102). То-же, № 3—4, июль—июль, с. 207.
- Ст.: С. П. Лукашевич, Политический смысл и провокаторы в царском флоте (137—146).—С. Л. Вешенцев, Восстание эскадренного миноносца „Скорый“ 17 октября 1905 г. (146—148).
- „Металлист“. Двухнедельный журнал. Орган Ц. К. Всесоюз. союза рабочих металлистов. М. июль, 1922, № 12, изд. РНО ЦЕВС Р. М., с. 102.
- Ст.: В. Шмидт и Антипов, Петроградский союз металлистов в 1912—1914 г. (68—70)—Н. Иванов, „Солидарность“ и „Единение“ (81—88).
- „Молодая Гвардия“. Орган Центральных комитетов Р. К. П. и Р. К. С. М., М. 1922, № 1—2 (апрель—май).
- Ст. П. Лепешинский, Пролетарский классовый праздник (Исторический очерк празднования первого мая) (89—102). То-же, № 3, июль, 1922, с. 254.
- Ст.: Р. Ковнатор, Г. В. Плеханов (61—68).
- „Мысль“. Журнал Петербургского Философского Общества под ред. Э. Л. Радлова и Н. О. Лосского. № 2, март—апрель, 1922 г., „Academia“, с. 159.
- В. С. Иоф, Георгий Валентинович Плеханов. Некролог (97—102).
- „Новое Дело“. Научно-педагогический вестник рабочего факультета Казанского Государственного Университета. Казань, 1922 г., кн. I, с. 140.
- Ст.: М. К. Корбут, В. Н. Ульянов в Казанском университете (5—9).
- „Новый Мир“. Ежемесячный журнал художественной литературы, науки, искусства и публицистики. № 1, Москва, 1922 г. Кооперативное изд.—во „Новый мир“, с. 318.
- Ст.: Проф. В. Н. Сторожев, Начало конца—Ходячка. П. На пороге (203—220)—Н. Кубиков, —В. Обнорский и С. Халтурин (222—226).
- „Печать и Революция“. Журнал литературы, искусства, критики и библиографии. Книга шестая. М. 1922 г., июль—август, Госиздат, с. 324.
- Ст.: Ф. Коп, Нелегальная печать в Польше. Из воспоминаний (59—68).
- „Под знаменем марксизма“. Ежемесячный философский и общественно-экономический журнал. № 5—6, май—июль, 1922, с. 155.
- Всего книга посвящена Г. В. Плеханову.
- „Пролетарская Революция“. Исторический журнал Истпарта. № 3. М. 1922 г. Госиздат, с. 344.
- Из содержания: Л. Дейч, Н. А. Некрасов и семидесятилетие (с. 3—27).—Д. Маргушев, Детство и отрочество С. Халтурина (с. 39—43).—Л. Дейч, Виктор Обнорский (44—61).—М. Лядов, Третий съезд Р. С. Д. Р. П. 1905 г. (62—79).—„Рабочая Заря“ 1880 г. (122—124).—Документы и материалы III съезду Р. С. Д. Р. П. (125—166).—Гусев.

Письма из Петербурга к Ленину 1905 г. (167—175).—Г. Н. Котов, Мои воспоминания. I. Детство. II. Вступление в семью рабочих III. Тюремное крещение. IV. После тюрьмы. V Весна и лето 1905 г. VI В полугодовщину 9 января (176—215).—И. Рябков, Как я попал на работу при нашем подпольном правительстве и что именно выполнял. Воспоминания рядового революционера о 1906 г. (215—241).—М. Калинин, Пребывание в Ревеле (241—244).—Л. Троцкий, Автобиографическая заметка (244—249).—К. Басалин (К. Дальний), Мандат тов. Ленину. Из воспоминаний подполья (249—251).—Н. Н. Норданский, Октябрьские дни и Плеханов. (251—252).—П. Воеводич, Автобиографические сведения (252—255).—А. Коллонтай, Автобиографический очерк (261—303).—И. Красиков, Выручил К. Либкнехт. Из воспоминаний (336—338).

То же, № 4, с. 366.

Из содержания: О. Варенцова, Объединительный съезд Р. С.-Д. Р. II. (67—142).—Г. Котов, Второй раз в (нижегородской) тюрьме (176—199).—А. Митревич, Воспоминания о рабочем революционном движении 1895 г.—1919 г. (Петербург) (199—241).—А. Митревич, Заметки по рабочему движению от 1912 г. I Одно из заседаний П. К. Р. С.-Д. Р. II. II. Выборная комиссия в Государственную думу 4 созыва по питерской рабочей курии (241—245).—П. Куптуров, Записки рабочего (245—260).—А. Аросев, Из прошлого революции. Очерк I. Казань 1907—1909 г.г. (260—269). Очерк II. Вологодская организация 1911 г. (269—274).—М. Ольминский, Три письма Гр. Ив. Петровского, Я. М. Свердлова и В. П. Антопова-Саратовского (275—289).

То же, № 5, с. 231.

Из содержания: Феликс Коп, Памяти В. Г. Короленко (3—6).—С. Миндевич, Из далекого прошлого. Памяти П. П. Гольденберга-Мешковского (7—8).—Л. Каменев, И. П. Гольденберг-Мешковский (9—11).—Л. Лелевич, Ленский расстрел (12—23).—Л. Каменев, Лондонский съезд Р. С.-Д. Р. II. (24—44).—И. Вардин (Мгладзе), Политическая ссылка накануне революции (92—121).—Письмо Ленина к Я. М. Свердлову 1909 г. (122—124).—В. Цфанвух, Из протоколов и резолюций Лондонского

съезда Р. С.-Д. Р. II. (124—160).—Ем. Ярославский, Подпольная работа в армии в 1906 г. (164—184).—М. Васильев (Юшин), Из воспоминаний о московском восстании 1905 г. (184—194).—Серебров, Январские дни 1905 г. (194—200).—А. Васильев, издание газеты „Рабочий“ в 1907 г. (200—219).—Я. Бранденбургский (Валериан), Из воспоминаний: I. Екатеринославский Комитет Р. С.-Д. Р. II. в 1904—1905 г.г. II. Дело Петроградского Комитета („Дело 19-ти“) (219—225).—Б. Козловский, Партийная организация в эпоху реакции в Николаеве в 1903—1909 г.г. (225—231).—Л. Германов, Из партийной жизни в 1910 г. (231—238).—Д. Маркушевич, Еще о Степане Халтурине (296—297).—В. Невский, К истории „Партии русских социал-демократов“ („Благоевская группа“) (297—302).—Н. Клипович, Заметка о „группе Благоева“ (302—303).—Н. Семашко, Замечания по поводу биографии Г. В. Плеханова, составленной Ю. Арзаевым (303—305).—В. Невский, По поводу писем Т. Гусева (305—307).—Ем. Ярославский, „Соп большевика“ (307—312).

То же, № 6, с. 250.

Из содержания: Л. Германов, Материалы к биографии Г. А. Усиевича (9—13).—К. Норинский, О Петре Монтине (28—31).—К. Гандурин, О Лондонском съезде Р. С.-Д. Р. II. (35—60).—Ал. Коляткович, Из прошлого Олопецкой организации (61—97).—Ем. Ярославский, Страницы воспоминаний. 1905 г. (107—124).—Н. Голубев, Подпольная работа в Баку (124—135).—Е. Левицкий, Из жизни одесского подполья 1901—1907 г.г. (135—157).—П. Воеводич, 20 лет работы в большевистских организациях и встреча с тов. Лениным (180—193).—С. Моравский, О партийной работе в Варшаве 1905—1910 г.г. (225—227).—Финн-Епотаевский, Н. К. Крупская. А. И. Елизарова-Ульянова. М. Ф. Владимирский и Б. Эйдельман, К вопросу о первом съезде Р. С.-Д. Р. II. (227—230).—Сообщ. А. Дивильковский, Последний из могикан—удельный первоархатовец (223—234).

То же, № 7, с. 255.

Из содержания: Л. Дейч, Как Плеханов стал марксистом (97—140).—Феликс Коп, Из воспоминаний. Арест и первые дни в тюрьме (151—161).—А. Смирнов, О первом

кружке соц.-дем. рабочей партии гор. Екатеринбург 1894 г. (161—165).—К. Норинский, Екатеринбургская забастовка 1903 г. (166—169).—В. Новиков, Первые шаги: I. В Москве 1900—1905 г.г. II Два месяца в Иваново-Вознесенске ноябрь—декабрь 1905 г.) III. Приложение: О. М. Геннина (169—180).—В. Соколов, Транспортно-техническое бюро Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. (181—204).—Хр. Гринберг—Кон, Эпизод из жизни пародовольцев 1880 г. (241—243).

То-же, № 8, с. 250.

Из содержания: Е. Левицкая, Памяти старого друга В. Л. Шандера (3—7).—С. Петропавловский, Дворянство, бюрократия и монархия перед февральской революцией (8—26).—А. А. Френчер, На родине Г. В. Плеханова (27—47).—Феликс Кон, Из воспоминаний. В Варшавской цитадели (113—129).—М. Дейч, Записки о моей революционной работе (129—168).—В. Невский, Барышня. Страница из воспоминаний с.-д. пропагандиста 1907 г. (210—213).—Л. Хинчук, К воспоминаниям о Г. В. Плеханове (214—215).

„Пути Революции“. Исторический журнал Татбюро Истпарта. Казань, 1922 г., март, № 1, с. 200.

Из содержания: С. Шейнкман, Я. С. Шейнкман. — И. Волков, Воспоминания бывшего царского екатеринца. — А. Я. Аросев, Казань в глухих 1906—1909 г.г.—

И. А. Бедер, Примечания к воспоминаниям А. Я. Аросева. — С. Ливинц, Очерки истории казанской социал-демократии, ч. I. „Радуга“. Альманах Пупкинского Дома. II., 1922 г. Коопер. издательство литераторов и ученых, с. XI + 303.

Из содержания: А. Н. Радищев, Письмо родителям. С объяснениями В. П. Семенникова. — В. К. Кюхельбекер, Исповедь перед причастием. С объяснениями Н. А. Котляревского.

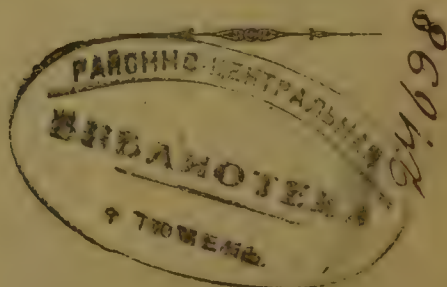
„Сибирские Огни“. Художественно-литературный и научно-публицистический журнал. № 2, май—июнь, 1922 г. Ново-Николаевск., изд. Сибирского областного отделения Госиздата.

Ст.: В. Косарев—„Партийная школа“ на острове Капри (63—75).
То-же, № 3, июль—август.

Ст.: Н. Бакай, О литературных занятиях декабристов в Восточной Сибири (60—64).

„Утренние звонки“, Книга II. Ред. Д. А. Лутохин. II. 1922 г., с. 197.

Ст.: С. Я. Штрайх, Новые письма декабристов (63—75).—Р. М. Кантор, Кризис „Московских Ведомостей“ в 1866 г. Письма М. Н. Каткова к Александру II и В. А. Долгорукову (80—89). С. П. Швецов, Тени прошлого. Огрывки из воспоминаний. Н. М. Ядринцев (90—100).



ИЗДАТЕЛЬСТВО „БЫЛОЕ“.

ВЫШЛИ В СВЕТ НОВЫЕ ИЗДАНИЯ:

Библиотека издательства „Былое“.

Заславский Д. Поляки в Киеве в 1920 году. Стр. 47.
Канторович В. Французы в Одессе. Стр. 27.
Клейнборг Л. Нападение на поезд (1920 г.). Стр. 48.
Майский С. Черный кабинет. Из воспоминаний цензора. Стр. 23.
Шеголев П. Любовь в равелине. Стр. 30.
Замятин Евгений. Три дня (Восстание на „Потемкине“). Стр. 27.
Никитин Ник. Американо-американское счастье и др. рассказы. Стр. 48.
Шишков Вяч. Провокатор и др. рассказы. Стр. 48.
Слонимский Мих. Палата смертников. Рассказы (печат.).
Форш Ольга. Обыватели. Рассказы (печат.).
Никитин, Ник. Камни. Рассказы (печат.).
Зощенко Мих. Разночье. Рассказы (печат.).
Павлов П. Агенты, жандармы и палачи (печат.).

проф. С. Я. Лурье.

Антисемитизм в древнем мире.

Попытки объяснения его в науке и его причины.

Петроград. 1922. 8°. Стр. 160.

Содержание: Часть первая. Антисемитизм в древнем мире и попытки его объяснения. 1. Еврейская религия, как причина античного антисемитизма. 2. Экономические отношения, как причина античного антисемитизма. 3. Политические соображения, как причина античного антисемитизма.—Часть вторая. Причины античного антисемитизма. Общие замечания. 1. Еврейское „нахальство“. 2. „Еврейская низость“. 3. „Еврейская сплоченность“.

В. С. Панкратов.

ЖИЗНЬ В ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЙ КРЕПОСТИ. 1884—1898.

Примечания Р. М. Кантора.

Петроград. 1922. 8°. Стр. 144.

Текст просмотрен и исправлен автором. К тексту Р. М. Кантором даны обширные примечания на основании неизданных архивных материалов, раскрывающих жизнь шлис-сельбургского тайника в освещении Департамента полиции. К изданию приложен исчерпывающий и достоверный список всех заключенных в Шлиссельбургской крепости за 1884—1905 гг.

Декабрист А. М. Муравьев.

ЗАПИСКИ.

Перевод, предисловие и примечания С. Я. Штрайха.

Петроград. 1922. 8°. Стр. 46.

